

11111

Annotation

В известном романе Альфонса Доде "Набоб" представлена французская действительность периода Второй империи с присущими тому времени политическими противоречиями, ложной системой выборов, развращенностью нравов.

- [Альфонс Доде](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [I. ПАЦИЕНТЫ ДОКТОРА ДЖЕНКИНСА](#)
 - [II. ЗАВТРАК НА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ](#)
 - [III. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. БЕГЛОЕ ЗНАКОМСТВО С ЗЕМЕЛЬНЫМ БАНКОМ](#)
 - [IV. ДЕБЮТ В СВЕТЕ](#)
 - [V. СЕМЕЙСТВО ЖУАЙЕЗ](#)
 - [VI. ФЕЛИЦИЯ РЮИС](#)
 - [VII. ЖАНСУЛЕ У СЕБЯ ДОМА](#)
 - [VIII. ВИФЛЕЕМСКИЕ ЯСЛИ](#)
 - [IX. БАБУСЯ](#)
 - [X. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. ПРИСЛУГА](#)
 - [XI. ПРАЗДНЕСТВА В ЧЕСТЬ БЕЯ](#)
 - [XII. ВЫБОРЫ ПО-КОРСИКАНСКИ](#)
 - [XIII. ДЕНЬ ХАНДРЫ](#)
 - [XIV. ВЫСТАВКА](#)
 - [XV. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. В ПЕРЕДНЕЙ](#)
 - [XVI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ](#)
 - [XVII. ВСТРЕЧА](#)
 - [XVIII. ПИЛЮЛИ ДЖЕНКИНСА](#)
 - [XIX. ПОХОРОНЫ](#)
 - [XX. БАРОНЕССА ЭМЕРЛЕНГ](#)
 - [XXI. ЗАСЕДАНИЕ](#)
 - [XXII. ПАРИЖСКИЕ ДРАМЫ](#)
 - [XXIII. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ](#)
 - [XXIV. В БОРДИГЕРЕ](#)
 - [XXV. ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МЯТЕЖА»](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Альфонс Доде

Набоб

ОТ АВТОРА

Сто лет тому назад Лесажа писал в предисловии к «Жилю Бласу»:

«Так как существуют люди, которые не могут прочитать книгу, не отождествив изображенные в ней характеры, порочные или смешные, с какими-либо определенными лицами, то я заявляю этим слишком догадливым читателям, что они тщетно стали бы искать подобного сходства в персонажах, нарисованных в данном произведении. Довожу до общего сведения: моей единственной целью было показать человеческую жизнь такую, какая она есть...».

Не претендуя на сравнение моего романа с романом Лесажа, я все же испытывал желание уже в первом издании «Набоба» перед текстом напечатать заявление вроде приводимого выше. Ряд причин удержал меня от этого. Прежде всего я побоялся, как бы такое обращение к публике не было принято некоторыми лицами за приманку для читателей, за желание привлечь их внимание. А затем я никак не мог предположить, что книга, написанная исключительно с литературными целями, сможет внезапно приобрести анекдотический интерес и вызвать против меня целую бурю обвинений. Никогда еще я не видел ничего подобного! В каждой строке моего романа, в каждом из его образов, хотя бы совсем бегло очерченных, искали намеков на личности и, найдя их, шумно протестовали. Тщетно автор защищался, призывая всех богов в свидетели того, что у его романа нет «отмычки», — каждый старался приобрести по меньшей мере одну такую «отмычку», с помощью которой можно будто бы отпереть этот сложный замок. Конечно, все эти типы — жившие когда-то люди, — да что там, еще живущие сейчас среди нас, точь-в-точь такие, какими я их изобразил, до мельчайших подробностей! Монпавон, например, — разве не ясно, что это такой-то? А Дженкинс — до чего же он похож! И вот один обижен тем, что оказался выведенным в романе, другой — тем, что не попал в него... А так как люди падки на все, что отзывается скандалом, то буквально все, вплоть до совпадения имен — чего не может не быть в романе из современной жизни! — до названий улиц, до номеров домов, выбранных автором наугад, послужило для отождествления с живыми людьми образов, сотканных из множества отдельно найденных черточек и, по существу, целиком вымышленных.

Автор слишком скромн, чтобы отнести весь этот шум на свой счет. Ему известно, какую роль здесь сыграли нескромные заявления друзей и

предательская болтовня газетчиков. Поэтому, не выражая особой благодарности первым и не слишком негодуя на вторых, он принимает всю эту шумиху как нечто неизбежное и лишь считает долгом чести, опираясь на двадцать лет своей добросовестной литературной работы, заверить, что ни в данном случае, ни когда-либо раньше он не прибегал к таким средствам, чтобы добиться успеха. Перебирая свои воспоминания — а это является и правом и обязанностью всякого романиста, — он припомнил любопытный эпизод из жизни космополитического Парижа, имевший место лет пятнадцать тому назад. Романическая история, ослепительная и краткая, одного человека, промелькнувшего, как метеор, на парижском небе, несомненно, послужила рамкой для «Набоба», этой картины нравов последних лет Второй империи. Но вокруг одного определенного положения, вокруг этих всем известных происшествий, которые каждый был вправе припомнить и описать, сколько игры фантазии, сколько выдумок, цветных узоров, а главное, сколько непрерывной наблюдательности, всюду рассыпанной и почти бессознательной, той наблюдательности, без которой невозможно создать художественное произведение! Чтобы убедиться в той работе «кристаллизации», которая при обработке самых простых явлений преобразует реальность в вымысел, а жизнь в роман, достаточно раскрыть «Монитор офисьель» за февраль 1864 года и сравнить отчет о некоем заседании Законодательного корпуса с картиной, нарисованной мною. Кто бы мог предположить, что по прошествии стольких лет наш Париж, обладающий короткой памятью, вдруг узнает первоначальную модель в далеко отошедшем от нее образе романа и поднимет крик, обвиняя того, кто, не будучи, конечно, его «постоянным сотрапезником», всего-навсего при редких встречах приметил его любопытным взором, в котором этот образ фотографически отпечатался и, подобно всем другим образам, им уловленным, так потом и не изгладился!

Я встретился с «подлинным Набобом» в 1864 году. Тогда я занимал одну полуофициальную должность, заставлявшую меня быть осторожным и не слишком часто посещать этого хлебосольного, жившего на широкую ногу левантинца. Позже я познакомился с одним из его братьев. Но в эту пору несчастный Набоб где-то далеко уже бился в тисках, истекая кровью, и лишь редко появлялся в Париже. Вообще говоря, порядочному человеку не очень приятно сводить счеты с мертвыми и заявлять: «Вы ошибаетесь. Хотя он был очень гостеприимен, я редко бывал у него». Достаточно поэтому, если я скажу, что, изображая в моем романе сына Франсуазы, я старался вызвать к нему сочувствие и что упрек в неблагодарности

представляется мне совершенно нелепым. Как далеко я зашел на этом пути, видно из следующего: многие лица находят, что, рисуя портрет, я польстил оригиналу, сделав его привлекательнее, чем он был на деле. Но этим лицам я отвечаю просто: «Жансуле производил на меня впечатление в общем неплохого человека. Если я ошибался, спорьте с газетами, раскрывшими его подлинное имя. Я предложил вам мою книгу только как роман, уж не знаю, плохой или хороший, но без всякого обещания дать точное подобие».

Что касается де Мора, то это — другое дело. Мои обличители подняли крик о проявленной мною нескромности, о политической измене... Бог мой, я никогда не скрывал моих мнений! Мне было тогда двадцать лет, и я работал в кабинете одного сановника, который и послужил мне прототипом. Друзья, меня тогда знавшие, помнят, какую важную политическую особу я собой представлял. Администрация тоже, без сомнения, сохранила забавное воспоминание об этом фантастическом служащем с гривой меровингских времен,^[1] всегда приходившем в канцелярию последним, а уходившем первым и никогда при этом не беспокоившем герцога просьбами отпустить его пораньше. Добавьте к этому независимую манеру держаться, полное отсутствие дифирамбов и мадригалов и столь слабую привязанность к империи, что однажды, когда герцог предложил молодому человеку занять некий пост в его министерстве, молодой человек счел себя обязанным с трогательной юношеской торжественностью заявить, «что он — легитимист».

«Императрица — тоже легитимистка», — ответил его светлость с высокомерной и спокойной улыбкой вельможи. Именно таким, улыбающимся, видел я его всегда, не имея для этого надобности заглядывать в замочную скважину, и таким я его изобразил в его любимой позе на людях — нечто среднее между Ришелье и Бреммелем.^[2] История займется им как государственным деятелем. Я же только показал в нем, связав этот образ с вымышленной мною драмой весьма слабыми нитями, светского человека, каким он был и каким он хотел быть. При этом я глубоко убежден, что, будь он сейчас в живых, он не был бы недоволен, что я изобразил его в таком виде.

Вот все, что я хотел сказать. А теперь, покончив с чистосердечными заявлениями, скорей перейдем к делу. Мое предисловие, вероятно, найдут слишком кратким, любопытные будут разочарованы, не отыскав в нем желательного им «перца». Ничем не могу быть им полезен. Как бы ни была коротка моя заметка, я не прочь был бы еще сократить ее раза в три. В предисловиях плохо главным образом то, что они мешают писать книги.

Альфонс Доде.

I. ПАЦИЕНТЫ ДОКТОРА ДЖЕНКИНСА

На пороге своего небольшого особняка на Лиссабонской улице стоял свежесбритый, с сияющими глазами, с полуоткрытым от довольства ртом, с ниспадающими на широкий воротник сюртука длинными, тронутыми сединой волосами, широкоплечий, здоровый и крепкий, как дуб, прославленный ирландский доктор Роберт Дженкинс, кавалер турецкого ордена Меджидиэ и особо почетного ордена Карла III Испанского, член многих научных и благотворительных обществ, председатель и учредитель Вифлеемских яслей, — одним словом, Дженкинс, изобретатель широко известных мышьяковых пилюль, Дженкинс, самый модный врач в 1864 году, самый занятой человек в Париже. Был конец ноября, утро. Доктор уже собрался сесть в свою карету, когда окно во втором этаже, выходящее на внутренний двор особняка, приоткрылось и женский голос робко спросил:

— Вы вернетесь к завтраку, Робер?

О, какой доброй, прямодушной улыбкой вдруг озарилось выразительное лицо ученого и апостола! Взгляд его, обращенный с нежным приветом к мелькнувшему за раздвинутой портьерой уютному белоснежному пеньюару, говорил о супружеской любви, спокойной и непоколебимой, которую привычка скрепляет мягкими, но прочными узами.

— Нет, мадам Дженкинс, — он любил, обращаясь к ней при других, подчеркивать звание законной супруги, словно находя в том душевное удовлетворение и как бы исполняя свой долг по отношению к женщине, дававшей ему столько радости в жизни, — нет, не ждите меня. Я завтракаю на Вандомской площади.

— Ах, да!.. У Набоба! — сказала прекрасная г-жа Дженкинс с весьма заметным оттенком уважения к атому персонажу из «Тысячи и одной ночи», о котором вот уже месяц говорил весь Париж.

Потом, после некоторого колебания, она произнесла очень нежно и совсем тихо, так, чтобы ее слова, заглушенные тяжелыми портьерами, мог расслышать один доктор:

— Только не забудьте, что вы мне обещали...

По-видимому, обещание это было очень трудно исполнить, потому что при напоминании о нем брови апостола нахмурились, улыбка застыла на губах и выражение лица стало до крайности жестким. Но это продолжалось лишь мгновение. У изголовья богатых пациентов модные врачи

приучаются носить на своих лицах маску притворства. И он ответил самым нежным, самым сердечным тоном, открывая при этом ряд ослепительно белых зубов:

— То, что я обещал вам, будет исполнено, мадам Дженкинс. Идите к себе и затворите окно. Сегодня очень холодный туман.

Да, туман был холодный и белый, как иней. Он стлался за стеклами просторной кареты, бросая мягкие блики на развернутую газету в руках доктора. Там, в густо населенных парижских кварталах, скученных и грязных, где ютятся мелкие торговцы и рабочий люд, не знают этого прелестного утреннего тумана, который надолго задерживается на больших авеню. С раннего утра люди, едва пробудившись от сна, бегут на работу, тележки зеленщиков, омнибусы снуют взад и вперед, тяжелые фургоны с грохотом везут железный лом — вся эта кипучая жизнь рассеивает туман, разрывает его, раскидывает в разные стороны. Каждый прохожий уносит его частицу в своем изношенном пальто, в потертом шарфе, в грубых перчатках, натянутых на руки, которыми он похлопывает одна об другую. Туман насквозь пронизывает куртки дрожащих от холода бедных тружеников, ватерпруфы, накинутые на жалкие юбки работниц. Он тает от дыхания, разгоряченного бессонницей или алкоголем, забирается в пустые желудки, наполняет открывающиеся лавчонки, темные дворы, ползет по лестницам, скопляясь в пролетах, цепляясь за стены, вплоть до нетопленных мансард. Вот почему его так мало остается на улицах. Но в той части Парижа с величественными, далеко отстоящими одно от другого зданиями, где проживали пациенты Дженкинса, на широких, обсаженных деревьями бульварах, на пустынных набережных туман беспрепятственно клубился, раскинувшись большими полотнищами, легкими, как вата. Все тут казалось замкнутым, скрытым от глаз, даже роскошным, когда солнце, лениво поднявшись, начало заливать красноватым светом тянувшиеся в ряд особняки, придавая туману, который окутывал их до самых коньков кровель, вид белой кисеи, наброшенной на пунцовые ткани. Можно было бы сравнить туман с большим занавесом, охраняющим поздний и легкий сон богачей, плотным занавесом, за которым ничего не слышно, кроме осторожного стука ворот, звяканья жестяных бидонов молочников, звона бубенчиков пробегающего рысью стада ослиц в сопровождении запыхавшегося пастуха и приглушенного скрипа колес кареты Дженкинса, начинавшего свой ежедневный объезд больных.

Первый визит — в особняк герцога де Мора. Этот великолепный дворец помещался на набережной Орсе рядом с испанским посольством; длинные террасы посольства казались продолжением террас герцогского

дворца. Главный вход был с улицы Лилль, но был и другой подъезд — со стороны реки. Карета Дженкинса стрелой пролетела между двумя высокими стенами, увитыми плющом и соединенными внушительными арками. Два громких звонка, возвестившие о его прибытии, вывели доктора из восторженного состояния, в которое, казалось, привело его чтение газеты. На обширном дворе, посыпанном песком, стук колес притих, и карета, описав изящный круг, остановилась у подъезда с большим навесом в виде ротонды. Сквозь туман можно было различить неясные очертания десятка карет, выстроившихся в ряд, и силуэты английских конюхов, водивших верховых лошадей герцога по аллее акаций с оголенными, как всегда в это время года, ветвями. Все свидетельствовало о роскоши — упорядоченной, спокойной, величественной и надежной.

«Как бы рано я ни приехал, всегда здесь много народу», — подумал Дженкинс, увидев вереницу экипажей, среди которых заняла место и его карета. Зная, что его не заставят ждать, он поднялся, высоко вскинув голову, спокойный и уверенный в себе, на ступени этого жилища сановника, на которые ежедневно взбирались нетвердой походкой столько снедаемых тревогой честолюбцев, столько дрожащих просителей!

Уже в вестибюле, высоком и гулком, как церковь, где, несмотря на калориферы, работавшие круглые сутки, дрова пылали в двух больших каминах, оживляя помещение своим пламенем, роскошь этого дворца разливалась теплыми, опьяняющими волнами. Казалось, вы находитесь не то в оранжерее, не то в бане. Тепло и ослепительно-светло было кругом: белые панели, белый мрамор, огромные окна, много воздуха и простора и всюду ровная температура, ибо здесь протекала жизнь существа избранного, утонченного и нервного.

Дженкинс расцветал от этого обманчивого сияния богатства.

— Доброе утро, дети мои! — приветствовал он швейцара с напудренной головой и широкой перевязью и лакеев, одетых в короткие штаны и голубые, шитые золотом ливреи, поднявшихся из уважения к нему со своих мест. Потом прикоснулся пальцем к большой клетке с прыгавшими и пронзительно визжавшими макаками и, насвистывая, взбежал по лестнице из светлого мрамора, покрытой пышным, как лужайка, ковром, которая вела в апартаменты герцога.

Вот уже полгода, как доктор посещал этот особняк, но всякий раз самый воздух этого дома возбуждал в нем чисто физическое ощущение легкости и прекрасное расположение духа.

Хотя вы и находились у первого сановника империи, ничто не обличало здесь канцелярии с ее папками, полными пыльных бумаг. Герцог

согласился занять высокий пост государственного министра и председателя совета министров только при том условии, что не покинет своего особняка. Он приезжал в министерство всего лишь на час или на два, чтобы подписать неотложные бумаги, и аудиенции давал в своей спальне. И теперь, несмотря на ранний час, гостиная была полна народу. Тут толпились провинциальные префекты с серьезными, озабоченными лицами, без усов, но с бакенбардами, характерными для этих чиновников, менее надменные в этой приемной, чем у себя в префектуре, судейские, весьма суровые с виду, и почти неподвижные депутаты, напускавшие на себя важность, крупные финансисты, богатые неотесанные заводчики. Кое-где мелькала скромная фигура исправляющего должность советника префектуры в костюме просителя: фрак и белый галстук. И все, сидя и стоя, в одиночку или группами, молча сверлили взглядом высокую дверь, за которой должна была решиться их участь, дверь, через которую они вскоре должны были выйти торжествующими или с поникшей головой. Дженкинс поспешно прошел сквозь эту толпу, и все с завистью смотрели на вновь прибывшего, которого дежурный чиновник с цепью на шее, сидевший за столом у двери, крайне сдержанный и холодный, встретил почтительной и в то же время фамильярной улыбкой.

— Кто сейчас у него? — спросил доктор, указывая на спальню герцога.

Едва шевеля губами, сощутив не без легкой иронии глаза, чиновник прошептал имя. Дойди оно до слуха высоких особ, уже целый час ожидавших окончания аудиенции, даваемой костюмеру Большой оперы, они пришли бы в негодование.

Послышались голоса, брызнула струйка света... Дженкинс вошел к герцогу. Его-то уж никогда не заставляли ждать.

В плотно облегавшей фигуру куртке из голубых песцов, своей нежной окраской подчеркивавших энергичное и надменное выражение его лица, стоял спиной к камину председатель совета министров. Костюмер тут же, на его глазах, набрасывал костюм Пьеретты, в котором герцогиня должна была появиться на балу. Сановник с такой же серьезностью отдавал ему указания, с какой диктовал проект нового закона:

— Мелко заплиссируйте рюши у воротника, у рукавов рюшей не нужно... Доброе утро, Дженкинс! Я к вашим услугам.

Дженкинс поклонился и сделал несколько шагов по огромной комнате. Окна ее, выходявшие в сад, который тянулся до самой Сены, как бы обрамляли один из красивейших видов Парижа — мосты, Тюильрийский дворец и Лувр среди сплетающихся, словно нарисованных тушью черных

деревьев на фоне растекшегося тумана. Широкая и очень низкая кровать, установленная на возвышении, к которому вели несколько ступенек, две-три ширмочки китайского лака с нежными и причудливыми золотыми разводами, двойные двери и пушистые ковры — все говорило о том, что забота об уюте доведена здесь до крайности. Диванчики, мягкие кресла, кушетки, низкие, с закругленными спинками, призывавшие к покою и неге, дополняли убранство этой знаменитой комнаты, где обсуждались с одинаковой серьезностью как важнейшие, так и самые легкомысленные вопросы. На стене прекрасный портрет герцогини, на камине бюст герцога работы Фелиции Рюис, удостоенный первой медали на прошлогодней выставке.

— Ну, Дженкинс, как поживаете? — спросил министр, приближаясь к доктору, в то время как костюмер собирал лежавшие на всех креслах модные картинки.

— А вы, дорогой герцог? Вчера, в Варьете, мне показалось, что вы бледны.

— Полноте! Никогда еще я так хорошо себя не чувствовал. Ваши пилюли оказывают на меня магическое действие!.. Я чувствую себя бодрым, совсем молодым!.. Если вспомнить, каким разбитым я был полгода тому назад...

Дженкинс молча приложил свою большую голову к меховой куртке министра в том месте, где у простых смертных бьется сердце. С минуту он выслушивал пациента, между тем как его светлость продолжал говорить равнодушным, словно усталым тоном — это была одна из его изысканных манер.

— С кем это вы были вчера вечером, доктор? Кто этот высокий, смуглый азиат, который так громко хохотал, сидя в вашей ложе?

— Это был Набоб, дорогой герцог... Знаменитый Жансуле, о котором сейчас столько говорят.

— Как это я не догадался? Весь зал не сводил с него глаз. Актрисы играли для него одного. Вы его хорошо знаете? Что это за человек?

— Я знаком с ним... то есть лечу его... Благодарю вас, дорогой герцог, я кончил. Сердце в полном порядке... Жансуле месяц тому назад приехал в Париж. Перемена климата на него повлияла. Он пригласил меня и как-то сразу почувствовал ко мне расположение... Я знаю о нем только, что у него огромное состояние, приобретенное в Тунисе на службе у бея, благородная душа, преисполненная прекрасных и гуманных чувств...

— В Тунисе? — перебил герцог, по природе своей весьма мало склонный к чувствительности и гуманности. — Почему же его называют

Набобом?

— О, парижане не разбираются в таких тонкостях!.. Для них всякий богатый чужеземец — набоб, откуда бы он ни явился. А Жансуле своей внешностью очень подходит для этой роли: бронзовое лицо, горящие глаза — и вдобавок колоссальное состояние, которым он распоряжается — смело могу сказать — самым достойным, самым разумным образом. Лишь благодаря ему, — тут доктор напустил на себя скромность, — мне удалось основать Вифлеемские ясли для грудных детей, о которых одна утренняя газета — я только что ее пробежал, кажется, «Мессаже», — говорит как о величайшей филантропической идее современности.

Де Мора бросил рассеянный взгляд на газету, которую протянул ему Дженкинс. Он был не из тех, на кого могла подействовать газетная шумиха.

— По-видимому, Жансуле очень богат, — заметил холодно герцог. — Он состоит пайщиком театра Кардальяка, платит долги Монпавона. Буа-Ландри поставляет ему лошадей для конюшни, старый Швальбах — картины для картинной галереи. На все это нужны деньги.

Дженкинс рассмеялся.

— Что прикажете делать, дорогой герцог? Этот славный Набоб бредит вами. Прибыв сюда с твердым намерением стать парижанином, светским человеком, он во всем взял вас за образец — и, не скрою, хотел бы получше узнать свой образец.

— Знаю, знаю... Монпавон уже просил разрешения привести его ко мне... Но я хочу подождать, разузнать о нем. С такими богачами, явившимися бог весть откуда, следует соблюдать осторожность... Вообще я не против...

Если бы я с ним встретился не у себя, а где-нибудь в другом месте, в театре, в чьей-нибудь гостиной...

— Госпожа Дженкинс намерена устроить вечер в будущем месяце. Если бы вы оказали нам честь...

— Охотно приеду к вам, дорогой доктор, и если ваш Набоб тоже будет, пусть мне его представят, я ничего не имею против.

Тут дежурный чиновник приоткрыл дверь.

— Господин министр внутренних дел в голубой гостиной... Он хотел бы сказать вашей светлости несколько слов... Префект полиции все еще ожидает внизу, в галерее.

— Хорошо, — сказал герцог, — сейчас иду... Но я бы хотел покончить с этим костюмом... Послушайте!.. Как вас там? Что же мы решим относительно рюшей? До свидания, доктор! Продолжать принимать пилюли, да?

— Принимайте пилюли, — ответил, раскланиваясь, Дженкинс.

Он вышел сияя: две удачи разом — честь принять у себя герцога и возможность оказать услугу милейшему Набобу. В приемной толпа просителей, сквозь которую ему пришлось пробираться, стала еще многочисленнее. Вновь прибывшие присоединились к терпеливо ожидавшим с раннего утра, некоторые поднимались еще по лестнице, озабоченные, с бледными лицами. Кареты все подъезжали и устанавливались в круг, двумя рядами, внушительно и торжественно, в то время как там, наверху, с не меньшей торжественностью обсуждался вопрос о рюшах.

— В клуб! — приказал Дженкинс кучеру.

Карета покатила по набережной, по мостам и достигла площади Согласия, которая за это время уже несколько изменила свой вид. Сквозь туман, отступавший к городским складам и к храму св. Магдалины в греческом стиле, можно было различить то белый султан фонтана, то дворцовую аркаду, то голову статуи или купы деревьев Тюильри, зябко жавшихся к решетке. Завеса не приподнялась, а только местами разорвалась, приоткрыв клочки голубого неба. По аллее, ведущей к Триумфальной арке, крупной рысью проносились шарабаны с восседавшими в них кучерами и темными дельцами, проходил конвой императрицы: длинными рядами попарно ехали драгуны в пестрых мундирах и меховых шапках, верхом на фыркавших лошадях, только что выведенных из конюшни, слышался звон шпор и позвякивание уздечек. Все это освещалось еще скрытым от глаз солнцем, выступало в расплывчатом тумане и снова тонуло в нем — то был как бы мгновенный образ квартала в его утреннем великолепии.

Дженкинс вышел на экипажа на углу Королевской улицы. В большом игорном доме вверх и вниз сновали лакеи, выбивая ковры, проветривая гостиные, где еще стоял дым от сигар, в каминах высились груды золы, еще совсем горячей, а на зеленых столах, хранивших следы судорожной ночной игры, свечи в серебряных шандалах догорали ровным пламенем в тусклом свете позднего утра. Шум и суета прекращались на четвертом этаже, где проживали некоторые из членов клуба. В их числе был и маркиз де Моипавон, к которому направлялся Дженкинс.

— Как, это вы, доктор?.. Черт побери!.. Да который теперь час? Не могу принять.

— Даже врача?

— Никого!.. Надо соблюдать приличия, дорогой мой. Впрочем, входите... Погрейте ноги, пока Франсис меня причешет.

Дженкинс вошел в спальню, банальную, как все спальни меблированных квартир, и приблизился к огню, на котором грелись всевозможных размеров щипцы для завивки волос, между тем как рядом, в своего рода лаборатории, отделенной от спальни пестрой занавеской из бумажной ткани, маркиз де Моипавон отдавал свою особу в руки камердинера. Запах пачулей, кольдкрема, рогового гребня и паленых волос доносился из уборной маркиза. Когда Франсис приходил менять щипцы, Дженкинс видел огромный туалетный стол, заваленный множеством мелких инструментов из слоновой кости, перламутра и стали — пилками, ножницами, пуховками и щеточками, — заставленный выстроенными в ряд флаконами, банками и склянками с косметикой под ярлычками, и среди всей этой выставки неловкую, дрожащую руку старика, худую и длинную, с холеными, как у японского художника, ногтями, которая что-то искала, не зная, на чем остановиться среди всех этих малюсеньких металлических изделий и игрушечного фаянса.

Приводя в порядок свое лицо, — самое продолжительное и сложное из его утренних занятий! — Монпавон принялся беседовать с доктором: он рассказывал ему о своих недомоганиях, о прекрасном действии пилюль, которые, по его словам, омолодили его. Издали, не видя маркиза, казалось, что слышишь герцога де Мора, настолько Монпавон усвоил его манеру разговаривать. Те же незаконченные фразы, сопровождаемые каким-то присвистом, те же «как, бишь, его», «как его там», вставляемые по всякому поводу, то же аристократическое бормотанье, глотанье слов, небрежное, ленивое, в котором чувствовалось глубокое пренебрежение к вульгарному искусству речи. Все окружение герцога старательно подражало тому, как он произносит слова, его нарочитой небрежности, стремившейся сойти за простоту.

Дженкинс, найдя, что маркиз слишком долго занимается своим туалетом, поднялся.

— До свидания. Я уйду. Вы будете у Набоба?

— Да, наверно, буду там завтракать... Обещал привести, как его там?.. Ну, вы знаете... Обещал привести для нашего крупного дела... фф... ффф...фф... Если бы не это, ни за что бы туда... Это не дом, а настоящий зверинец...

Ирландец, несмотря на всю свою благожелательность, согласился с тем, что у славного Жансуле общество несколько смешанное. Но что поделаешь! Бедняга в таких вещах не разбирается, его за это нельзя винить.

— Не разбирается, да и не хочет разбираться!.. — желчно заметил Монпавон. — Вместо того чтобы посоветоваться со сведущими людьми,

фф... фф... он предпочитает первого встречного дармоеда. Видели лошадей, которых всучил ему Буа-Ландри? Сплошное надувательство! Жансуле заплатил за них двадцать тысяч франков. Держу пари, что тому они обошлись тысяч в шесть.

— Полноте... Он же дворянин! — возразил Дженкинс с негодованием благородного человека, отказывающегося верить дурному.

Монпавон продолжал, не обращая внимания на слова доктора:

— И все потому, что лошади из конюшни де Мора.

— Вы правы, милейший Набоб влюблен в герцога. Я просто осчастливлю его, сообщив...

Доктор запнулся.

— Что вы ему сообщите, Дженкинс?

Слегка растерявшись, Дженкинс вынужден был признаться, что получил от его светлости разрешение представить ему своего друга Жансуле. Не успел ирландец договорить, как высокое привидение с дряблым лицом, с разноцветными волосами и бакенбардами вылетело из уборной в спальню, придерживая обеими руками у тощей, но очень прямой шеи светлый шелковый халат в лиловую горошину, который так же плотно его облегал, как обертка конфету. На этой героикомической физиономии резко выделялись большой орлиный нос, блестящий от кольдкрема, и глаза с быстрым и пронзительным взглядом, слишком молодые и ясные для прикрывавших их тяжелых, морщинистых век. У всех пациентов Дженкинса был такой взгляд.

В самом деле, нужно было сильно взволновать Монпавона, чтобы он появился в таком непрезентабельном виде. С побелевшими губами он изменившимся голосом обратился к доктору, уже не присвистывая и не останавливаясь после каждого слова:

— Ну нет, милый мой, никаких каверз против меня я не потерплю] Мы оба сошлись у одной кормушки: я вам оставляю вашу долю, не трогайте же и вы моей.

Изумленный вид Дженкинса не остановил его.

— Запомните раз и навсегда: я обещал Набобу представить его герцогу, как я когда-то представил ему вас. Не путайтесь в дело, которое касается меня одного!

Дженкинс, приложив руку к сердцу, стал уверять маркиза, что он вовсе не имел намерения... Монпавон, бесспорно, — ближайший друг герцога, и чтобы кто-нибудь другой решился... Как он мог подумать?..

— Я ничего не думаю, — заявил старый аристократ уже спокойнее, но так же холодно. — Я хотел только объяснить с вами начистоту, без

недомолвок...

Ирландец протянул ему свою широко раскрытую ладонь.

— Дорогой маркиз! Какие могут быть недомолвки у людей чести?

— Честь — слишком громкое слово, Дженкинс. Скажем: у людей хорошего тона — этого достаточно.

Хороший тон, на который он ссылался как на главный критерий поведения, внезапно напомнил ему об его комичном виде. Маркиз подал один палец своему другу, который с жаром его пожал, и с достойным видом скрылся за занавеской, доктор поспешно удалился и продолжал объезд больных.

Какая великолепная клиентура была у Дженкинса! Перед ним раскрывались аристократические особняки с утепленными лестницами, уставленными цветами на каждой площадке, обитые шелком альковы, где болезнь становится корректной, изящной, где не чувствуется грубая рука, бросающая на нищенское ложе тех, кто прекращает работу, только чтобы умереть. В сущности говоря, пациенты доктора-ирландца не были больными в прямом смысле этого слова. Их бы не приняли в больницу. Их органы не мог поразить недуг, настолько они были бессильны. Недуг нигде не гнезвился, и врач, склонившись над таким пациентом, напрасно искал бы болевых ощущений в теле, в котором уже чувствовались оцепенение и близость смерти.

То были истощенные, изможденные, малокровные люди, испепеленные нелепой жизнью, которая, однако, имела для них такое очарование, что они с ожесточением цеплялись за нее. Пилюли Дженкинса приобрели широкую известность именно тем, что подстегивали эти угасающие организмы.

— Доктор! Умоляю вас! Мне необходимо поехать сегодня на бал! — просила молодая женщина голосом слабым, как дуновение ветерка, лежа в изнеможении на своей кушетке.

— Вы и поедете, моя дорогая.

Она ехала на бал и в тот вечер была прелестна, как никогда.

— Доктор! Во что бы то ни стало, ценою жизни, я должен завтра утром присутствовать на заседании совета министров.

Он присутствовал и своим красноречием и тончайшим дипломатическим искусством одерживал блестящую победу. Потом... О, потом!.. Ну так что же?.. До последнего дня пациенты Дженкинса выезжали из дому, всюду бывали, обманывали ненасытный эгоизм толпы. Они умирали стоя, как полагается светским людям.

Исколесив шоссе д'Антен и Елисейские поля, посетив всех

миллионеров и титулованных особ, проживавших в предместье Сент-Оноре, модный врач остановился на перекрестке аллеи Кур-ла-Рен и улицы Франциска I перед круглым, занимавшим весь угол фасадом и вошел в квартиру нижнего этажа, совсем не похожую на те, в которых он побывал сегодня утром. Начиная с передней стены, обитые штофными обоями, старинные высокие окна в свинцовых переплетах, сквозь которые пробивался тусклый, неверный свет, огромная, резного дерева статуя святого, стоявшая напротив японского чудовища с выпученными глазами, со спиной, покрытой, как у черепахи, роговыми пластинками тонкой работы, — все обличало богатое воображение и прихотливый вкус художника.

Маленький слуга, отворивший дверь, держал на поводке арабскую борзую выше его ростом.

— Госпожа Констанция пошла к обеду, — сказал он. — А мадемуазель одна в мастерской. Мы работаем с шести часов утра, — добавил мальчик, жалобно зевнув, на что собака тотчас же ответила зевком, широко раскрыв розовую пасть с острыми зубами.

Дженкинс, который только что, как мы уже видели, спокойно входил в спальню государственного министра, дрожащей рукой приподнял портьеру, прикрывавшую незатворенную дверь в мастерскую. То была роскошная мастерская скульптора. Через застекленную ротонду с боковыми пилястрами, занимавшую круглый угловой фасад, широкой волной струился свет, ставший теперь опаловым из-за тумана. Убранство, богаче, чем бывает обычно в такого рода помещениях, похожих благодаря комьям алебаstra, инструментам, глине и разлитой воде на строительную площадку, где работают каменщики, придавало профессиональному облику мастерской некоторую кокетливость. По углам стояли зеленые растения, несколько прекрасных картин висело на голых стенах, две — три скульптуры Себастьяна Рюиса возвышались на дубовых консолях; последнее его произведение, выставленное уже после смерти, было покрыто черным крепом.

Хозяйка дома, Фелиция Рюис, дочь знаменитого скульптора, сама уже прославившаяся двумя шедеврами — бюстом отца и бюстом герцога де Мора, — стоя посреди мастерской, была занята лепкой фигуры. Амазонка синего сукна, ложившаяся глубокими складками, облегла ее стан, косынка китайского шелка была повязана вокруг шеи, как галстук у мальчика, мягкие черные волосы заколоты узлом на маленькой, античной формы, головке. Фелиция работала с необычайным рвением; выражение сосредоточенной мысли и удовлетворения придавало особую строгость ее

чертам, подчеркивая их красоту. Но лицо ее тотчас же изменилось, как только вошел доктор.

— Ах, это вы? — недружелюбно спросила она, словно очнувшись от сна. — Разве был звонок? Я не слыхала.

Скука и усталость мгновенно появились на ее прелестном лице. В нем не осталось ничего выразительного и яркого, кроме глаз, — их искусственный блеск от дженкинсовских пилюль оживлялся природным диким огоньком.

О, каким смиренным, вкрадчивым тоном ответил ей доктор!

— Вы так поглощены работой, дорогая Фелиция... Это что-то новое? Очень удачно!

Он приблизился к только еще намеченной, бесформенной группе, в которой неясно вырисовывались силуэты двух животных: одно из них — борзая собака точно неслась сломя голову, готовясь к необычному прыжку.

— Идея у меня явилась ночью... Я начала работу при лампе... Я измучила моего бедного Кадура, — сказала девушка, бросив ласковый взгляд на борзую. Маленький слуга старался расставить ей лапы и снова придать надлежащую позу.

Дженкинс отечески пожурил Фелицию за то, что она так себя утомляет, и, взяв ее руку с благоговением священнослужителя, заметил:

— Разрешите... Я уверен, что у вас лихорадка.

Почувствовав прикосновение его руки, Фелиция инстинктивно отстранилась.

— Оставьте!.. Оставьте!.. Ваши пилюли тут не помогут. Когда я не работаю, я скучаю, скучаю смертельно, готова наложить на себя руки. Мысли мои — цвета воды, которая течет там, за окном, горькая и тяжелая... Начинать жизнь, испытывая к ней такое отвращение!.. До чего это мучительно!.. Я готова завидовать бедняжке Констанции, которая целые дни проводит в кресле, не произнося ни слова, и улыбается при воспоминаниях о прошлом. Я лишена даже этого, у меня нет сладостных воспоминаний, которым я могла бы предаваться... У меня есть только одно — работа... работа!

Она говорила, продолжая напряженно лепить, работая то стекой, то пальцами, которые она время от времени вытирала маленькой губкой, лежавшей на деревянной подставке рядом с группой. И казалось, что ее горькие жалобы, непонятные в устах этой двадцатилетней красавицы, на которых в минуты покоя играла улыбка греческой богини, вырывались невольно и не были ни к кому обращены. Но Дженкинса ее слова все же

встревожили, чем-то смутили, хотя он внимательно смотрел на творение художницы, а вернее, на нее самое, на ликующую грацию этой прелестной девушки, казалось, самую природою предназначенной к служению пластическому искусству.

Почувствовав себя неловко под этим восторженным взглядом, Фелиция снова заговорила:

— Кстати, я видела вашего Набоба. Мне его показали в прошлую пятницу в опере.

— Вы были в пятницу в опере?

— Да... Герцог предоставил мне свою ложу.

Дженкинс изменился в лице.

— Я уговорила Констанцию поехать со мной. В первый раз за двадцать пять лет после ее прощального бенефиса она переступила порог Большой оперы. И какое это произвело на нее впечатление! Особенно балет. Она вся трепетала, она сияла, отблеск былых триумфов светился в ее глазах. Счастливы люди, которым доступны такие переживания!.. Занятная внешность у этого Набоба! Вы должны его ко мне привести. Я бы с удовольствием вылепила его бюст.

— Его бюст? Но он же страшилище... Вы его, наверно, не разглядели.

— Наоборот, прекрасно рассмотрела... Он сидел напротив нас. Эта физиономия белого эфиопа отлично получится в мраморе. Он по крайней мере не банален... К тому же он настолько уродлив, что вы не будете таким несчастным, как в прошлом году, когда я лепила бюст де Мора. Какой жалкий вид был у вас тогда, Дженкинс!

— За лишних десять лет жизни я бы не согласился вновь пережить те минуты, — мрачно пробормотал Дженкинс. — Но ведь вас забавляют чужие страдания.

— Вы прекрасно знаете, что меня ничто не забавляет, — с дерзким вызовом, пожав плечами, ответила она и, не глядя на него, вновь углубилась в свою работу — единственное прибежище истинного художника, куда он спасается от самого себя и от всего окружающего.

Дженкинс в волнении прошелся по мастерской, и признание, которое он уже готов был сделать, замерло у него на устах. Он пробовал заговаривать, но ответа не получал. Наконец, поняв, что его присутствие нежелательно, он взял шляпу и направился к дверям.

— Итак, решено... Я должен привести его к вам.

— Кого?

— Как кого? Набоба!.. Ведь вы сами только что...

— Ах да! — ответила странная девушка, скоро забывавшая о своих

прихотях. — Можете привести, если хотите... Мне это безразлично.

Звуки ее прелестного грустного голоса, в котором чувствовался надрыв, чувствовалась полная отрешенность от всего окружающего, даже от самой себя, — все говорило о том, что ей действительно все было безразлично.

Дженкинс вышел от нее в смятении, с хмурым лицом, но как только он оказался на улице, приветливая улыбка вновь заиграла на его губах, — он принадлежал к числу тех, кто на людях всегда носит маску. Между тем на смену утру уже надвигался день. Туман еще держался около Сены; теперь он носился клочьями, придавая воздушную легкость домам на набережной, пароходам — их колес не было видно. — горизонту, на котором купол Дома Инвалидов парил, подобно поволоченному аэростату, стряхивающему со своей сетки солнечный свет. Теплый воздух и уличное движение говорили о том, что недалек полдень, что скоро о нем возвестят колокола.

Прежде чем направиться к Набобу, Дженкинсу надлежало сделать еще один визит. Но это, по-видимому, очень его тяготило. Однако он обещал!

— Квартал Терн, улица святого Фердинанда, шестьдесят восемь, — приказал он кучеру, садясь в карету.

Кучер Джо дважды заставил его повторить адрес. Даже лошадь не решалась тронуться с места, словно и породистое животное и кучер в пышной ливрее были возмущены поездкой в отдаленное предместье, расположенное за пределами небольшого, но богатого района, где проживали пациенты хозяина. Тем не менее они беспрепятственно добрались до конца недостроенной провинциальной улицы и остановились у крайнего огромного шестиэтажного дома, будто посланного улицей на разведку, может ли она продолжиться в эту сторону. Дом стоял среди пустырей, из которых одни были расчищены для возведения построек, другие завалены обломками снесенных зданий: тесаными камнями, старыми ставнями, полусгнившими створками дверей с болтавшимися на них железными петлями — то было огромное кладбище пущенного на слом квартала.

Бесчисленные дощечки с надписями качались над входной дверью, украшенной побелевшей от пыли большой рамой с фотографиями, перед которой задержался Дженкинс. Уж не проделал ли знаменитый врач такой длинный путь, чтобы сняться? Право, можно было это подумать, видя, с каким вниманием он рассматривал выставленные фотографии, на которых была изображена одна и та же семья, в разных сочетаниях и позах, с разными выражениями лиц: старик в белом галстуке, подпиравшем подбородок, с кожаным портфелем под мышкой, окруженный выводком

девиц с заплетенными косами или с развевающимися локонами, со скромными украшениями на черных платьях. На иных фотографиях старый господин был снят с двумя девушками, или же на снимке был запечатлен в естественной и непринужденной позе одинокий силуэт юного прелестного создания, облокотившегося на обломок колонны и склонившего голову над книгой. Но в общем это была та же тема с вариациями: старик в белом галстуке и его многочисленные дочери.

«Фотография на шестом этаже», — гласила надпись над рамой. Дженкинс вздохнул, измерил взглядом расстояние от панели до балкончика наверху, под облаками и наконец решился войти. В подъезде он столкнулся с господином в белом галстуке, с величественным кожаным портфелем, очевидно, с оригиналом бесчисленных портретов в витрине. На заданный вопрос он ответил, что г-н Маран действительно проживает на шестом этаже. «Но этажи, — присовокупил незнакомец с приветливой улыбкой, — очень невысоки». Получив столь утешительные разъяснения, ирландец начал взбираться по узкой, совсем новой лестнице с площадками не шире ступенек, с одной дверью на каждом этаже и окнами в мелких переплетах, в которые виднелись унылый, вымощенный булыжником двор и другие лестничные клетки, совершенно безлюдные. Это был один из тех отвратительных современных домов, десятками возводимых предпринимателями, не имевшими гроша за душой, — домов, главным недостатком которых являлись тонкие перегородки, вследствие чего всем жильцам приходилось жить бок о бок, как в фаланстере.^[3] В данном случае неудобство это не было особенно ощутительным, так как заняты были только пятый и шестой этажи, словно квартиранты свалились туда с неба.

На пятом этаже за дверью, украшенной медной дощечкой с надписью: «Г-н Жуайез — ведение бухгалтерских книг», — слышались легкие шаги, раскаты молодого смеха и веселая болтовня, сопровождавшие доктора до следующего этажа, где находилась фотография.

Одна из неожиданностей, с которыми сталкиваешься в Париже, — это маленькие ателье, забившиеся в уголки, которые как будто не сообщаются с внешним миром. Невольно возникает вопрос — чем живут эти люди, избравшие себе подобного рода профессии, какое заботливое провидение может привести клиентов в фотографию, помещающуюся на шестом этаже, среди пустырей, в конце улицы св. Фердинанда, или кто поручит ведение торговых книг бухгалтеру на пятом? Размышляя об этом, Дженкинс улыбнулся с презрительной жалостью, затем вошел в дверь, руководствуясь надписью: «Входить без стука». Увы, этим разрешением не злоупотребляли!.. Высокий юноша в очках сидел за маленьким столиком,

закутав ноги пледом, и писал. Он быстро поднялся со своего места при входе посетителя, которого по близорукости не узнал.

— Здравствуй, Андре! — сказал доктор, протягивая свою честную руку.

— Господин Дженкинс!

— Как видишь, я был и остаюсь человеком покладистым... покладистым... Твое поведение, твой упорный отказ жить под родительским кровом требовали бы от меня, хотя бы из чувства собственного достоинства, больше сдержанности... Но твоя мать плачет, и вот — я у тебя.

Говоря это, он разглядывал бедную маленькую мастерскую с голыми стенами и скудной мебелировкой, фотографический аппарат, почти не бывший в употреблении, новенькую печурку, в которой никогда не разводили огня. Свет, падавший через застекленную крышу, удручающе подчеркивал убожество жилья. Худощавое лицо, жиденькая борода молодого человека, светлые глаза, узкий высокий лоб и длинные, откиннутые назад белокурые волосы, придававшие ему вид мечтателя, — весь его облик с особой отчетливостью выступал при этом резком освещении. Твердая воля светилась в его ясном взгляде, который холодно остановился на Дженкинсе, заранее противопоставляя всем доводам отчима, всем его возражениям непоколебимый отпор.

Но добрейший доктор сделал вид, что ничего этого не замечает.

— Ты ведь знаешь, милый Андре... С тех пор как я женился на твоей матери, я считаю тебя своим сыном. Я рассчитывал передать тебе свой кабинет, свою практику, хотел обеспечить тебе блестящее будущее и был бы счастлив, если бы ты посвятил свои силы служению человечеству... И вдруг, без всяких объяснений, не считаясь "с тем, какое впечатление такой разрыв произведет в свете, ты уходишь от нас, бросаешь свои занятия, отказываешься от карьеры ради какого-то жалкого существования, берешься за нелепое ремесло, к которому вынуждены обращаться только опустившиеся люди.

— Я взялся за это ремесло ради куска хлеба... Я добываю этим путем средства к жизни, в ожидании...

— В ожидании чего... литературной славы?..

Дженкинс презрительно покосился на исписанные листки, разбросанные по столу.

— Но ведь все это несерьезно. А я вот хочу тебе предложить: представляется счастливый случай, перед тобой открывается блестящее будущее. Вифлеемские ясли учреждены... Осуществилась самая

прекрасная из моих филантропических идей... Мы купили чудесную виллу в Нантерре, чтобы поместить там, в виде первого опыта, наше учреждение. И вот управление этим делом, руководство им я думаю поручить тебе как полноправному моему помощнику. Роскошная квартира, жалованье дивизионного генерала и нравственное удовлетворение от помощи, которую ты окажешь великой семье человечества! Скажи слово, и я повезу тебя к Набобу, к этому великодушнейшему человеку, который принял на себя расходы по нашему начинанию... Согласен?

— Нет, — ответил пасынок настолько сухо, что Дженкинс пришел в замешательство.

— Так я и думал... Я ожидал отказа, когда ехал сюда, но все-таки приехал. Я избрал своим девизом «Делать добро, не ища награды», и я остаюсь верен этому девизу... Итак, решено?.. Почетной, достойной, плодотворной деятельности, которую я тебе предлагаю, ты предпочитаешь жизнь, полную случайностей, лишенную цели и достоинства?..

Андре ничего не ответил, но его молчание было красноречивее слов.

— Ну, смотри!.. Ты ведь знаешь, к чему приведет твое решение — к окончательному разрыву с нами. Но ты всегда к этому стремился... Не надо объяснять тебе, — продолжал Дженкинс, — что порвать со мной — это значит порвать и с твоей матерью. Мы с ней — одно целое.

Молодой человек побледнел. С минуту он колебался, — затем с усилием произнес:

— Если мама захочет меня навестить, я, конечно, буду счастлив повидаться с ней... Но решение мое оставить ваш дом, не иметь с вами ничего общего — бесповоротно.

— Но, может быть, ты по крайней мере скажешь, чем оно вызвано?

Андре отрицательно покачал головой.

Тут уже ирландец пришел в ярость. Лицо его стало хмурым и злобным, что весьма поразило бы людей, знавших только доброго и приветливого Дженкинса. Но в его намерения не входило продолжать это объяснение, которого он столь же боялся, как и желал.

— Прощайте, — сказал он с порога, слегка повернув голову, — и никогда больше не обращайтесь к нам.

— Никогда, — твердо ответил пасынок.

На этот раз, когда доктор крикнул Джо: «На Вандомскую площадь», — лошадь, словно поняв, что едут к Набобу, гордо зазвенела сверкающей сбруей, и карета понеслась стрелой, превращая в солнечный диск каждую спицу своих колес... «Проделать такой длинный путь и встретить подобный прием!.. Какой-то шалопай позволяет себе так обращаться со

знаменитостью наших дней! Вот и старайся делать добро!..» Дженкинс излил свой гнев в длинном монологе, затем отогнал от себя докучные мысли: «А ну его!»-и все заботы, омрачавшие его лицо, мгновенно рассеялись, когда он оказался на Вандомской площади. Всюду при ярком солнечном свете раздавался полуденный звон. Выйдя из-за завесы тумана, пробужденный от сна, Париж богачей начинал свой суетный день. Витрины на улице Мира так и сверкали. Особняки на площади, казалось, горделиво выстроились в ряд, готовые к дневным приемам. А в самом конце улицы Кастильоне с ее белыми аркадами были видны в лучах зимнего солнца Тюильрийский дворец и его статуи, дрожащие и порозовевшие от холода, среди аккуратно посаженных оголенных деревьев.

II. ЗАВТРАК НА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ

Не менее двадцати человек собралось сегодня утром в столовой у Набоба, в столовой резного дуба, вчера только вышедшей из магазина известного торговца мебелью. Тот же мебельщик одновременно обставил и тянувшиеся анфиладой четыре гостиные, которые были видны в раскрытые настежь двери, задрапировал потолки, доставил художественные изделия, люстры, серебряную посуду, красовавшуюся на поставцах, рекомендовал даже прислуживавших здесь лакеев. Это был дом, созданный экспромтом только что вышедшим из вагона несметно богатым выскочкой, который спешил насладиться жизнью. Хотя за столом не радовали глаз женские наряды, светлые ткани, общий вид столовой не лишен был красочности, настолько разнородно и необычно было здесь общество, собравшееся со всех концов света, — образчики всех племен, населяющих Францию, Европу, весь земной шар, от самых верхов до самых низов общественной лестницы. Прежде всего — сам хозяин дома, настоящий великан с обветренным, загорелым, шафранового цвета лицом и короткой шеей, которому приплюснутый нос, терявшийся между одутловатыми щеками, курчавые волосы, надвинувшиеся, подобно барашковой шапке, на низкий и упрямый лоб, косматые брови над глазами стерегущего добычу разбойника придавали свирепый вид дикаря, промышленяющегося набегам и грабежом. Но приятная улыбка, игравшая на его оттопыренных толстых губах, озаряла нижнюю часть лица, облагораживала, как-то вдруг преображала эту свирепую, уродливую физиономию, такую своеобразную, несмотря на ее вульгарность, смягчала ее, придавая ей выражение доброты, какое мы видим на изображениях св. Венсана де Поля.^[4] Его плебейское происхождение изобличали не только лицо, но и голос ронского лодочника, хриплый и глухой, благодаря которому южный акцент становился скорее грубым, нежели твердым, и руки, широкие и короткие, с волосатыми четырехугольными пальцами, почти лишенными ногтей; лежавшие на белоснежной скатерти, они с излишней откровенностью говорили о своем прошлом. Напротив хозяина, на другом конце стола, восседал один из завсегдаев этого дома, маркиз де Монпавон, но Монпавон, отнюдь не похожий на размалеванное привидение, с которым мы встретились ранее, а представительный человек неопределенного возраста, с большим,

величественным носом, с барской осанкой, все время старательно выпячивавший грудь, выставя напоказ широкою, туго накрахмаленную, ослепительной белизны манишку. Похрустывание этой вздымавшейся манишки напоминало звук, с каким надувается белый индюк или распускает свой хвост павлин. Его фамилия «Монпавон» подходила ему^[5] как нельзя лучше.

Монпавон происходил из знатной семьи, имел богатую родню, но игра и спекуляции разорили его, и Монпавон благодаря дружбе с герцогом де Мора был назначен главным сборщиком податей в один из перворазрядных округов. К несчастью, здоровье не позволяло ему оставаться на этом высоком посту, — хорошо осведомленные люди, правда, говорили, что здоровье здесь ни при чем, — и он уже год как проживал в Париже, ожидая, по его словам, выздоровления, чтобы вновь вступить в свою должность. Те же люди утверждали, что он ее никогда не займет и что, не пользуйся он покровительством высоких особ... Тем не менее он был самым важным лицом на этом завтраке: это было заметно по тому, как ему прислуживали лакеи и как осведомлялся об его мнении Набоб, величая его «господином маркизом», точно на сцене Французской комедии, не столько из уважения к Монпавону, сколько из тщеславия, из желания, чтобы почет, оказываемый гостю, относился и к хозяину. Полный пренебрежения ко всем окружающим, г-н маркиз говорил мало, свысока, как бы снисходя к тем, которых удостаивал своей беседой... Время от времени он бросал Набобу через стол загадочные фразы, непонятные остальным сотрапезникам:

— Вчера был у герцога.... Он говорил со мной о вас... по поводу того дела... Знаете?.. Ну как его там... Понимаете?

— В самом деле?.. Он говорил с вами обо мне?

Набоб торжествующе оглядывался, комично кивая при этом головой, или принимал сосредоточенный вид богомолки, когда при ней упоминается имя божие.

— Его светлость благосклонно отнесся бы к вашему вступлению в этот... фф... фф... Ну как его там... в это дело.

— Он вам говорил?

— Спросите у патрона... Он слышал.

Тот, кого называли «патроном», был маленький человечек, носивший фамилию Паганетти, шумливый, оживленно жестикулирующий, на которого утомительно было смотреть: столько разных выражений принимало его лицо в течение одной минуты. Он возглавлял Корсиканский земельный банк, крупное финансовое предприятие; в этот дом его ввел Моипавон, почему он и занимал здесь почетное место. По другую руку

Набоба сидел старик в сюртуке, застегнутом до подбородка, без лацканов, со стоячим воротником, как на мундирах восточного образца; лицо его было изборождено множеством шрамов, седые усы подстрижены по-военному. Это был Ибрагим-бей, считавшийся храбрейшим полководцем в годы тунисского регентства,^[6] адъютант покойного бей, при котором Жансуле разбогател. О героических подвигах этого воина свидетельствовали морщины и неизгладимые следы распутства — обвислая, точно обмякшая, нижняя губа и красные, воспаленные глаза без ресниц... Таких субъектов обычно встречаешь на скамье подсудимых в процессах при закрытых дверях. Прочие гости сидели как попало, в зависимости от того, кто когда пришел и с кем повстречался в пути, ибо дом был открыт для всех и стол каждое утро накрывался на тридцать персон.

Здесь находился и директор театра, где Набоб состоял пайщиком, Кардальяк, известный своим остроумием почти столько же, сколько и своими банкротствами, и славившийся умением разрезать дичь. Разрезая молодую куропатку, он придумывал очередную остроту и подавал ее вместе с крылышком на протянутой тарелке. Он скорее напоминал тщательно отделяющего свою фразу писателя, чем импровизатора, вот почему новый способ подавать жаркое «по-русски», то есть заранее нарезанное, стал для него роковым, лишив его предлога для сосредоточенного молчания, во время которого он обдумывал свои остроты. Говорили, что он начинает выдыхаться. Вообще же это был парижанин, денди до мозга костей и, как он сам хвастался, без всяких предрассудков. Это позволяло ему сообщать пикантные подробности об актрисах своего театра Ибрагим-бею, который слушал его с таким выражением лица, точно перелистывал непристойную книгу, и одновременно обсуждать теологические вопросы со своим ближайшим соседом, молодым священником из захолустного прихода на юге, худощавым, с опаленным солнцем лицом, под стать выцветшему сукну его сутаны, с выдающимися скулами и острым носом честолюбца. Кюре говорил с Кардальяком громко и покровительственно, авторитетным тоном священнослужителя.

— Мы очень довольны господином Гизо...^[7] Он выбрал правильный путь... вполне правильный. Это большая победа церкви.

Около прелата с накрахмаленными брыжами сидел старый Швальбах, знаменитый торговец картинами, и выставлял напоказ свою бороду пророка, местами пожелтевшую, как грязное овечье руно, и свои три

порыжевших сюртука, одетые один на другой. Ему прощали его неряшливый, нечистоплотный вид во имя искусства, ибо в те времена, когда люди, движимые тщеславием, настолько увлекались картинными галереями, что тратили на них миллионы, считалось хорошим тоном принимать у себя главного посредника по таким делам. Швальбах не принимал участия в беседе, он довольствовался тем, что наводил свой огромный, похожий на лупу монокль на своих сотрапезников и втихомолку ухмылялся; глядя на это странное, пожалуй, единственное в своем роде сборище. Г-н де Монпавон, к примеру, имел своим соседом певца Гарригу (нужно было видеть, как все презрительнее становилась горбинка его носа при каждом взгляде, бросаемом в сторону соседа!), земляк Жансуле, известного чревовещателя, исполнявшего партию Фигаро на провансальском наречии и не имевшего себе равных в подражании животным. Несколько дальше сидел Кабассю, тоже земляк Жансуле, маленький человечек, коротконогий и коренастый, с бычьей шеей и бицепсами, какие можно видеть у фигур Микеланджело, похожий и на марсельского парикмахера и на ярмарочного борца, массажист, мозольный оператор, специалист по уходу за ногтями и отчасти зубной врач; он сидел, поставив локти на стол, с самоуверенным видом шарлатана, которого принимают по утрам и которому известны интимные недуги и тайные горести хозяев. Эту серию второстепенных личностей, имевших по крайней мере какую-то профессию, дополнял Бомпен. Он был секретарем, управляющим, доверенным лицом, через руки которого проходили все дела в этом доме. Достаточно было посмотреть на эту торжественную позу, на это тупое лицо с мутным взглядом, на турецкую феску, напяленную на голову сельского учителя, чтобы понять, кому были вверены огромные имущественные интересы Набоба.

Среди этих бегло обрисованных персонажей находились и восточные люди — тунисцы, марокканцы, египтяне, левантинцы и, наконец, смешавшаяся с экзотическим элементом парижская разношерстная богема — разорившиеся аристократы, темные дельцы, исписавшиеся журналисты, изобретатели странных снадобий и предметов, а также уроженцы южных департаментов, прибывшие в Париж без гроша в кармане. Словом, тут были все, кого манит к себе огромное состояние, как свет маяка манит к себе корабли, блуждающие в море в поисках провианта, или стаи птиц, кружащие во мраке. Набоб допускал к своему столу весь этот сброд по доброте, по слабости характера, из великодушия, по незнанию людей и по неумению разбираться в них, в силу тоски по родине и вследствие той общительности, которая побуждала его принимать в Тунисе, в роскошном

дворце в Бардо, всех прибывавших из Франции, от бедного промышленника, экспортирующего парижские изделия, до знаменитого пианиста, совершающего турне, и генерального консула.

Слушая этот смешанный говор, вслушиваясь в непривычные для французского уха интонации, то крикливые, то похожие на бормотание, глядя на эти разнохарактерные физиономии, грубые, дикие, вульгарные, сверхутонченные, увядшие, дряблые, типичные для завсегдатаев бульваров, на столь же разношерстную челядь — на проходимцев, только вчера вышедших из конторы по найму прислуги, с наглыми лицами, похожих не то на дантистов, не то на банщиков, суетившихся между эфиопами, неподвижными и блестящими, как канделябры черного мрамора, невозможно было понять, где вы находитесь. Во всяком случае, трудно было представить себе, что вы на Вандомской площади, в самом центре современного Парижа, где бьет ключом жизнь столицы. На столе — тоже экзотика: странные восточные кушанья, приправленные шафраном, соусы с анчоусами, пряные турецкие сласти, куры, нафаршированные жареным миндалем. Все это в сочетании с банальностью обстановки, с позолотой на стенах и потолке, с пронзительным звоном новеньких звонков напоминало табльдот большой гостиницы в Смирне или в Калькутте или роскошную столовую какого-нибудь трансатлантического парохода — «Перейра» или «Синай».

Казалось, что такое разнообразие гостей — я чуть было не сказал: пассажиров — должно было вызвать за столом оживление и шумные разговоры. Ничуть не бывало! У всех был натянутый вид, все молча, украдкой наблюдали друг за другом, и даже у самых светских людей, которые должны были бы чувствовать себя непринужденнее, был блуждающий, растерянный взгляд, словно их угнетала неотвязная мысль, мучительная тревога, заставлявшая их говорить невпопад, слушать, не понимая ни единого слова.

Вдруг дверь в столовую растворилась.

— А, вот и Дженкинс! — радостно воскликнул Набоб. — Здравствуйте, здравствуйте, доктор! Как поживаете, любезный друг?

Приветливо улыбнувшись гостям и крепко пожав руку хозяину дома, Дженкинс занял место напротив него, рядом с Монпавоном, перед прибором, который поспешно, не дожидаясь приказания, поставил для него слуга, точь-в-точь как за табльдотом. Среди озабоченных, возбужденных лиц этот человек по крайней мере отличался хорошим расположением духа, жизнерадостностью и словоохотливостью, желанием сказать каждому что-нибудь любезное — словом, тем, что заставляет считать ирландцев в

известной мере английскими гасконцами. И с каким здоровым аппетитом, с каким увлечением, с каким простодушием работал он своими прекрасными белыми зубами!

— Скажите, Жансуле, вы читали?

— Что именно?

— Как! Вы не знаете, что сегодня напечатали о вас в утреннем выпуске «Мессаже»?

Несмотря на сильный загар, щеки Набоба запылали, как у ребенка, глаза засверкали от удовольствия.

— Что вы говорите!.. В «Мессаже» напечатано обо мне?

— На двух столбцах... Разве Моэссар не показал вам газеты?

— О, это не так важно! — скромно отозвался Моэссар.

Моэссар был мелкий журналист, блондин с розовыми щечками, довольно красивый, но с помятым лицом и с профессиональными ужимками, какие бывают у лакеев в ночных ресторанах, у актеров и у проституток и которые отчетливо проступают даже при тусклом свете газа. О нем говорили, что он состоит на содержании у какой-то весьма легкомысленной королевы, лишившейся трона. Эти слухи, ходившие о нем, создавали ему в его мирке особое положение, вызывавшее презрение и зависть.

Жансуле захотел непременно прочесть статью, чтобы узнать, что о нем пишут. К сожалению, Дженкинс оставил свой экземпляр у герцога.

— Достаньте газеты, да поживей, — приказал Набоб лакею, стоявшему за его стулом.

— Не нужно, — вмешался Моэссар. — Я, наверно, взял статью с собой.

С бесцеремонностью завсегдатая кабачков, репортера, который за кружкой пива строчит для отдела происшествий, журналист достал бумажник, набитый заметками, гербовой бумагой, газетными вырезками и раздушенными записочками с девизами. Все это он, отодвинув свою тарелку, разбросал по стулу, чтобы отыскать корректуру статьи.

— Вот она, — сказал он и протянул ее Жансуле, но Дженкинс запротестовал:

— Нет, нет, прочтите вслух!

Все гости хором его поддержали, и Моэссар начал громко читать статью «Вифлеемские ясли и господин Бернар Жансуле» — длинный дифирамб искусственному кормлению, написанный под диктовку Дженкинса, о чем свидетельствовали его излюбленные напыщенные выражения: «длинный мартиролог детей...», «торговля женской грудью...»,

«коза — благодетельница и кормилица...». Статья заканчивалась описанием великолепия нантеррских яслей, похвалами Дженкинсу и прославлением Жансуле: «О Бернар Жансуле, благодетель младенчества!..»

Нужно было видеть раздраженные и возмущенные лица гостей. Что за интриган этот Моэссар! Какая беззастенчивая лесть! Все губы кривила завистливая, презрительная улыбка. А приходилось, черт возьми, рукоплескать, выражать восхищение, ибо хозяин дома не был еще пресыщен фимиамом, он принимал все за чистую монету — и статью и крики одобрения, которые она вызвала. Его широкое лицо сияло во время чтения. Как часто там, далеко, он мечтал о хвалах, расточаемых ему парижской прессой, о возможности играть роль в этом обществе, первом в мире, источнике света, к которому прикованы взоры всего человечества. Теперь эта мечта осуществилась. Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столом, на остатки изысканных блюд, на столовую с деревянными панелями, высокую, как церковь в его родной деревне, прислушивался к глухому гулу Парижа, к стуку экипажей и топоту ног под окнами, прислушивался с затаенной надеждой, что он станет большим колесом этой деятельной и сложной машины. Как бы в силу контраста с блаженным состоянием, в каком он сейчас находился, и со строками восхваления перед ним прошла вся его жизнь — несчастное детство, молодость, печальная и беспокойная, дни без хлеба, ночи без крова. Когда чтение окончилось, под влиянием переполнявшей его радости, непреодолимой потребности южанина излить свою душу он воскликнул, обращаясь к гостям с простодушной улыбкой на толстых губах:

— Ах, друзья мои, дорогие мои друзья, если бы только вы знали, как я счастлив, как я горд!

Прошло не более полутора месяцев, как он приехал во Францию. За исключением двух-трех земляков, он знал тех, кого называл своими друзьями, чуть ли не со вчерашнего дня, и то только потому, что давал им деньги взаймы. Поэтому его внезапный порыв вызвал недоумение, но Жансуле был так взволнован, что не заметил этого.

— Я нахожусь в огромном Париже, — продолжал он, — меня окружают знатные люди, высокие умы, я слушаю статью и невольно вспоминаю отцовскую лавчонку! Да, я родился в лавке... Мой отец торговал старыми гвоздями возле километрового столба в Бур-Сент — Андеоль... Не всегда хватало у нас хлеба в будни, не всегда было мясо к воскресному обеду. Спросите Кабассю. Он знал меня в те времена. Он может это подтвердить... И натерпелся же я нужды! — Он гордо поднял голову, вдыхая запах трюфелей, распространившийся в спертom воздухе

столовой. — Настоящей, безысходной нужды! Долгие годы терпел я и холод и голод, тот голод, от которого ты, как пьяный, от которого начинает болеть живот, кружится голова, от которого чуть не слепнешь, точно устричным ножом выковыривают у тебя зрачки. Целыми днями я валялся в постели за ненемением верхней одежды и радовался тому, что у меня есть хоть кровать. Я испробовал все профессии ради куска хлеба, и этот хлеб давался мне ценой таких мук, был таким черным и жестким, что у меня до сих пор остались горечь и вкус плесени во рту. Так жил я до тридцати лет. Да, друзья мои, в тридцать лет — а теперь мне еще нет пятидесяти — я был нищим, без гроша за душой, без будущего и терзался угрызениями совести из-за бедной матушки, которая, овдовев, умирала с голоду в своей лавчонке, а я ничем не мог ей помочь.

Любопытно было взглянуть на лица гостей, окружавших хлебосольного хозяина, который рассказывал о тяжелых днях своей жизни. Некоторые из них были сильно шокированы, особенно Монпавон. Выставлять напоказ свое рубище — какой дурной вкус, какое пренебрежение всеми правилами приличия! Кардальяк, скептик по натуре, человек утонченный, враг трогательных сцен, с неподвижным, словно окаменевшим лицом резал грушу, придерживая ее вилкой, тонкими, как папиросная бумага, ломтиками. Паганетти, наоборот, своей выразительной мимикой и восторженными восклицаниями выражал изумление и сочувствие, а неподалеку от него, по странному контрасту, Ибрагим-бей — грозный вояка, на которого чтение статьи после сытного завтрака и последовавшее затем выступление хозяина навеяли благотворный сон, — спал, широко раскрыв рот под седыми усами; его лицо стало еще багровее от высокого стоячего воротника. Но большинство лиц выражало безразличие и скуку. Какое дело было всем этим людям, позвольте вас спросить, до детства Жансуле в Бур-Сент-Аидеоль, до его страданий, до его мытарств? Не для этих рассказней пришли они к нему. Их притворно заинтересованный вид, их глаза, считавшие завитушки на потолке или хлебные крошки на скатерти, зубы, стиснутые, чтобы подавить зевок, изобличали нетерпение, вызванное этой неуместной откровенностью. А Жансуле не унимался. Ему отрадно было вспоминать о пережитых невзгодах, подобно тому как моряк, достигший твердой земли, любит рассказывать о своих путешествиях по далеким морям, об опасностях и кораблекрушениях. Затем Жансуле перешел к описанию удачи, выпавшей на его долю, того чудесного случая, который неожиданно открыл перед ним дорогу к богатству.

— Я бродил по Марсельскому порту вместе с товарищем, таким же

горемыкой, как и я, и который тоже разбогател на службе у бея... Он был моим другом, моим компаньоном, а потом стал злейшим врагом. Я могу наввать его имя. Оно достаточно известно... Это Эмерленг. Да, господа, глава большого банкирского дома «Эмерленг и сын» не имел в то время двух су, чтобы купить себе ракушек на набережной... Самый воздух там навевает мечту о путешествиях. Мы задумали уехать, чтобы поискать счастья в солнечных краях, коль скоро страны туманов были к нам так жестоки... Но куда направить путь? Мы поступили так, как иногда делают матросы, чтобы решить, в каком притоне спустить свой заработок. К полям своей шляпы они прикрепляют бумажку, а затем вертят шляпу на палке, пока она не остановится, и тогда идут по указанному бумажкой направлению... Бумажная стрелка указала нам Тунис... Через неделю я высадился в Тунисе с десятифранковиком в кармане, а вернулся оттуда с двадцатью пятью миллионами...

Словно электрический ток пробежал вокруг стола; молния сверкнула во всех глазах, даже в глазах слуг. Кардальяк воскликнул: «Черт побери!» Нос Монпавона точно уменьшился в размерах.

— Да, друзья мои, двадцать пять миллионов, не считая того, что я оставил в Тунисе: двух дворцов в Бардо, кораблей в Гулетском порту, бриллиантов и драгоценных камней, — все это стоит вдвое дороже. И знаете что? — добавил он с добродушной улыбкой хриплым, грубоватым голосом. — Если даже все это спустить, кое — что останется.

Сидевшие за столом вскочили, как ужаленные.

— Bravo! Bravo!

— Замечательно!

— Вот это я понимаю!

— Вот это здорово!

- Такому человеку место в палате!

— Ой там и будет, *per Vasso*,^[8] ручаюсь вам! — громовым голосом заявил Паганетти.

В порыве восторга, не зная, как проявить свое восхищение, он схватил толстую волосатую руку Набоба и бессознательным движением поднес ее к своим губам. На его родине люди очень экспансивны...

Все были на ногах, никто уже не садился.

Жансуле, сияя, тоже поднялся и, бросив салфетку, пригласил:

— Идемте пить кофе.

Его слова были встречены радостным гулом голосов, разнесшимся по гостиным, по этим огромным комнатам, блестящим столь яркой позолотой, что она могла бы затмить дневной свет, убранство покоев, всю

их пышность. Золото падало ослепительными лучами с потолка, сочились струйками со стен, образуя поперечины и рамы самых разных форм. Оно прилипало к рукам, когда передвигали мебель или отворяли окна, и даже портьеры, словно окунутые в эту золотоносную реку, сохраняли в своих прямых складках твердость и блеск металла. Здесь не было ничего интимного, личного, изысканного. Это была шаблонная роскошь меблированной комнаты. И впечатление временности этого пристанища, казавшегося привалом летучего отряда, еще усиливалось мыслью о странствиях, которая витала над этим богатством с далекими истоками и говорила об его ненадежности и о грозящих ему опасностях.

Гости столпились вокруг стола, на котором был подан в маленьких чашечках, отделанных серебром филигранной работы, кофе, приготовленный по-восточному, с гущей. Каждый торопился выпить свою чашку, обжигаясь, все следили друг за другом, а главное, не спускали глаз с Набоба, выжидая благоприятную минуту, чтобы броситься к нему, увлечь в один из уголков этих огромных комнат и заговорить с ним наконец о денежной ссуде. Вот чего они ждали уже два часа, вот что было целью их прихода, вот какая мысль сверлила их мозг за завтраком» придавая им такое растерянное, притворно-внимательное выражение. Но теперь уже было отброшено — всякое стеснение, всякое лицемерие. Это пестрое общество хорошо знало, что в заполненной жизни Набоба час, когда пили кофе, был единственным подходящим моментом для конфиденциальных бесед, и каждый стремился им воспользоваться. Вот почему все пришедшие сюда, чтобы вырвать клоч золотого руна, которое само с такою легкостью готово было перейти в руки просителя, умолкали и ничего уже не слушали, поглощенные своим делом.

Начинает милейший Дженкинс. Он отводит своего друга Жансуле к окну и представляет ему смету нантеррских яслей. Немало средств придется туда вложить, черт возьми! В сто пятьдесят тысяч франков обошлась только покупка виллы, не говоря уже об огромных расходах на обзаведение, содержание персонала, на постельные принадлежности, кормящих коз, экипаж доктора, омнибус, посылаемый к каждому поезду за детьми... Нужно много денег... Но как им будет там хорошо, этим дорогим крошкам, какая польза от этого Парижу, всему человечеству!.. Правительство, безусловно, наградит красной ленточкой такую бескорыстную преданность филантропии.

— Пятнадцатого августа вы получите орден...

Этими магическими словами Дженкинс добивается всего, чего хочет. Своим зычным, веселым голосом, словно окликаая лодку в тумане. Набоб

кричит:.

— Бомпен!

Человек в феске, оторвавшись от шкафчика с ликерами, с величественным видом идет через всю гостиную, о чем-то шепчется с хозяином, уходит и возвращается с чернильницей и чековой книжкой, листочки которой словно сами отрываются и немедленно исчезают. Чудесная вещь-богатство! Подписать на колене чек на двести тысяч франков для Жансуле так же просто, как вынуть луидор из кармана.

Злобствуя, уткнув носы в чашки, остальные гости издали следят за этой сценой. Когда же Дженкинс, приветливо улыбаясь, удаляется быстрым шагом, отвесив общий поклон, Монпавон хватает директора банка — «теперь наш черед!»-и оба кидаются к Набобу, тащат его на диван, усаживают, сжимают с двух сторон, кровожадно посмеиваясь. Этот смешок как будто означает: «Что мы с ним сделаем?» «Сорвем с него деньги, как можно больше денег». А денег нужно много, очень много, чтобы снять с мели Земельный банк, уже несколько лет как завязший в песке, занесенный песком до самой верхушки мачт... Спустить его на воду — выгоднейшая операция, если верить этим двум господам, ибо затонувший корабль наполнен золотыми слитками, драгоценным сырьем, бесчисленными и разнообразнейшими богатствами неизведанной страны, о которой все говорят и которой никто не знает. Основывая это не имеющее себе равного предприятие, Паганетти из Порто-Веккьо поставил себе целью захватить в свои руки эксплуатацию всех богатств Корсики, захватить железные и медные рудники, самородную серу, мраморные каменоломни, коралловые рифы, устричные отмели, железистые и сернистые источники, огромные леса туи и пробкового дуба и для облегчения разработок покрыть остров сетью железных дорог, а кроме того, установить пароходное движение. Таково гигантское предприятие, в которое впрягся Паганетти. Он вложил в него немалый капитал, и явись теперь на готовенькое какой-нибудь делец, этот счастливец пожнет все плоды.

В то время как уроженец Корсики с итальянским акцентом, неистово жестикулируя, перечисляет все выгоды этого дела, Монпавон, высокомерный, преисполненный чувства собственного достоинства, одобрительно кивает головой и время от времени, когда находит это нужным, произносит имя герцога де Мора, которое всегда оказывает сильнейшее действие на Набоба.

— Ну, а сколько же требуется?

— Миллионы, — гордо заявляет Монпавон тоном человека, которому нетрудно обратиться к другому лицу. — Да, миллионы, но дело

великолепное, и, как сказал его светлость, капиталист, вступив в такое предприятие, сумеет занять высокое положение, стать политическим деятелем. Подумать только: страна, где в обращении так мало денег! Там можно сделаться генеральным советником, депутатом....

Набоб вздрогнул... А маленький Паганетти, почувствовав, что рыбка клюнула, воскликнул:

— Да, депутатом, и вы станете депутатом, когда я этого захочу!.. Стоит мне только подать знак, и все пойдут за вами...

Тут он переходит к сногшибательной импровизации, подсчитывает голоса, которыми он располагает, кантоны, которые откликнутся на его призыв.

— Вы даете мне капитал, а я даю вам целый народ.

Сделка состоялась.

— Бомпен, Бомпен! — вне себя от восторга зовет Набоб.

Он опасается, как бы это дело не ускользнуло от него, и, чтобы связать Паганетти, который не скрывает своей нужды в деньгах, спешит сделать первый взнос в Земельный банк. Снова появляется человек в красной феске с чековой книжкой в руках; он с важностью прижимает ее к своей груди, как певчий, которому поручено нести Евангелие. Снова Набоб ставит подпись на чеке, а патрон небрежно кладет его в карман.

Под действием этого листочка Паганетти мгновенно преобразается: смиренный, пресмыкавшийся еще несколько минут назад, он удаляется с самоуверенным видом человека, который обрел равновесие благодаря четыремстам тысячам франков, а Монпавон, еще выше чем обычно, вскинув голову, идет следом за ним и, не отрываясь, глядит на него с более чем отеческой нежностью.

«А ведь действительно превосходное дело, — думает Набоб. — Теперь я смогу выпить кофе».

Но десять человек, желающих у него занять, поджидают его во всех углах. Самый быстрый, самый ловкий из них — это Кардальяк, директор театра. Он устремляется к Набобу и увлекает его в боковую гостиную.

— Два слова, любезный друг. Я должен обрисовать вам положение театра.

По-видимому, положение очень запутанное, так как снова появляется г-н Бомпен. Он приближается, и голубые листки снова улетают из книжки. Кто теперь на очереди? Журналист Моэссар, который требует уплаты за статью в «Мессаже». Набоб будет теперь знать, во что обходятся дифирамбы в честь «благодетеля младенчества», напечатанные в утренней газете. Провинциальный кюре просит денег на восстановление своей

церкви и штурмом берет чек с грубостью Петра Пустынника. За ним следует старый Швальбах, уткнув нос в бороду и таинственно подмигивая. Тсс!.. Он *насел земцуэину* для галереи господина *Зансуле*, пейзаж Гоббеми из коллекции герцога де Мора. Но многие охотятся за этой картиной. Обделать это дело нелегко.

— Я хочу иметь ее во что бы то ни стало, — говорит Набоб, соблазненный именем де Мора. — Слышите, Швальбах? Мне нужен этот *Габбема*...^[9] Двадцать тысяч вам, если добудете.

— Сделаю все возможное, господин *Зансуле*.

Старый плут, откланиваясь, подсчитывает, что двадцать тысяч от Набоба да еще десять, которые обещал ему герцог, если он избавит его от этой картины, составят недурной барыш.

В то время как эти счастливицы проходят один за другим, остальные следят за ними вне себя от нетерпения, с ожесточением грызя ногти, ибо все они явились сюда для тех же целей. Начиная с добрейшего Дженкинса, открывающего шествие, до массажиста Кабассю, который его замыкает, — каждый уводит Набоба в одну из отдаленных гостиных. Но как бы далеко ни затащили его в этой анфиладе комнат, всюду находится нескромное зеркало, в котором отражаются силуэт хозяина дома и игра мышц его широкой спины. Как красноречива эта спина! Иногда она выпрямляется в негодовании: «О нет!.. Это уж слишком!» Иногда сгибается с комичной покорностью: «Что делать! Раз нужно...» И все время в каком-нибудь уголке красуется феска Бомпена.

Уходят одни, появляются другие. В жестоких схватках на реке мелкая рыбешка идет следом за крупными хищниками. Не прекращается хождение взад и вперед по роскошным гостиным, белым с позолотой, хлопанье дверей, непрерывный поток беззастенчивых, низкопробных вымогателей, привлеченных со всех концов Парижа и из его предместий колоссальным состоянием и податливостью владельца.

Для небольших сумм, для непрекращающихся подачек Набоб не прибегает к чековой книжке. Для этой цели у него в одной из гостиных стоит безобразнейший маленький комод красного дерева — обычно такие вещи покупает какой-нибудь консьерж на свои сбережения, — первое приобретение Жансуле после того, как он выехал из меблированных комнат, вещь, с которой он не расставался, словно игрок с талисманом. В трех ящиках комода всегда хранятся двести тысяч франков звонкой монетой. К этому неиссякаемому источнику он обращается в дни больших приемов, чванливо перебирает своими грубыми руками золотые и серебряные монеты, набивает ими карманы, чтобы потом вытащить их

жестом барышника, с подчеркнутой наглостью приподнимая фалды сюртука и запуская руку в самую гущу драгоценного металла. Сегодня ящики маленького комода понесли огромный урон.

После всех этих таинственных переговоров шепотом, требований, просьб, выраженных более или менее ясно, неожиданных появлений и торжественных выходов, после того, как был выпровожен последний проситель и комод заперт на ключ, квартира на Вандомской площади опустела и погрузилась в полумрак, — было уже четыре часа, то есть конец ноябрьского дня, который тянется потом до бесконечности, но уже при свете ламп. Слуги убрали кофе и арак, уносили открытые, наполовину опустошенные ящики с сигарами. Набоб, полагая, что он один, вздохнул с облегчением:

— Уф! Кончено!..

Но нет! Из потемневшего угла вынырнул незнакомец и приблизился к нему с письмом в руке.

Еще один!

Измученный Жансуле машинально полез в карман. Так же инстинктивно незнакомец отшатнулся, и столь поспешно, с таким оскорбленным видом, что Набоб, поняв свою ошибку, дал себе труд посмотреть на стоявшего перед ним молодого человека, просто, но прилично одетого. Его матово-бледное лицо без малейшего признака растительности, с правильными чертами, быть может, слишком серьезное и замкнутое для его лет, белокурые, в мелких завитках волосы, похожие на напудренный парик, придавали ему вид молодого депутата третьего сословия времен Людовика XVI. Он напоминал Барнава^[10] в двадцать лет. Этот юноша, хотя Набоб видел его впервые, показался ему знакомым.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он.

Взяв письмо из рук молодого человека, он отошел к окну.

— Да это от матушки!

Он произнес слово «матушка» с таким просветлевшим лицом, — озаренным такой молодой, такой доброй улыбкой, что посетитель, которого сначала оттолкнул вульгарный вид этого выскочки, почувствовал к нему живейшую симпатию.

Набоб вполголоса прочел эти несколько строк, написанные безграмотно, неровными крупными буквами, так не соответствовавшими атласной, большого формата почтовой бумаге с печатным заголовком «Замок Сен — Роман»:

«Дорогой сынок) Это письмо передаст тебе старший сын господина де Жери, покойного мирового судьи в Бур — Сент-Андсоль, который сделал

нам столько добра...»

Набоб оторвался от письма.

— Я должен был бы узнать вас, господин де Жери... Вы похожи на вашего отца... Сделайте одолжение, садитесь...

Он прочел письмо до конца. Мать ни о чем определенном его не просила, но в память услуг, оказанных некогда семейством де Жери его родным, она горячо рекомендовала Поля. Он сирота и имеет на своем попечении двух младших братьев, принят в сословие адвокат тов на Юге, поехал в Париж попытать счастья. Она умоляла сына оказать ему поддержку, «потому что бедняжка очень в ней нуждается». Подписалась она так: «Твоя тоскующая по тебе мать Франсуаза».

Это письмо от матери, которую он не видел уже шесть лет, эти южные выражения, в которых ему слышались знакомые интонации, эти крупные буквы, рисовавшие ему нежно любимое лицо, все в морщинах, опаленное солнцем, с потрескавшейся кожей, но улыбающееся под крестьянским чепцом, глубоко взволновали Набоба. В течение полутора месяцев, проведенных им во ^Франции, в водовороте парижской жизни, поглощенный хлопотами об устройстве, он еще не подумал о своей дорогой старушке, а теперь он всю ее видел в этих строках. С минуту он молча смотрел на письмо, дрожавшее в его толстых пальцах. Затем, оправившись от волнения, сказал:

— Господин де Жери! Я счастлив представившемуся случаю в какой-то мере отплатить вам за то добро, которое ваша семья сделала моей... С сегодняшнего дня, если вы на это согласны, я беру вас к себе на службу. Вы образованны, по-видимому, умны, вы можете оказать мне большие услуги. У меня масса проектов, масса дел. Меня увлекают в ряд крупных промышленных предприятий. Мне нужен человек, который помогал бы мне, заменял бы меня в случае надобности. Правда, у меня есть Бомпен — мой секретарь и управляющий, но ему, бедняге, все чуждо в Париже. Он совсем растерялся. Вы скажете, что тоже только что прибыли из провинции, Но это ничего не значит. Хорошо воспитанный человек, как вы, живой и сметливый южанин быстро освоится со столичной жизнью. Заботы о вашем воспитании я беру на себя. Не пройдет и нескольких недель, как вы станете, без всякого сомнения, таким же настоящим парижанином, как я.

Бедняга! Смешно было слышать речи о том, что он настоящий парижанин, об его опытности из уст человека, которому суждено было до конца дней оставаться в Париже дебютантом.

— Итак, решено: вы будете моим секретарем... Я назначу вам

жалованье — об этом мы сейчас с вами условимся — и сделаю все, чтобы вы возможно скорее составили себе состояние...

Де Жери, внезапно освободившись от тягостной неуверенности впервые попавшего в Париж провинциала, просителя, новичка, вступающего на незнакомое ему поприще, не смел пошевелинуться, боясь развеять чудесный сон, а Набоб ласково добавил:

— Сядьте вот сюда, рядом со мною. Поговорим о моей матушке-

III. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. БЕГЛОЕ ЗНАКОМСТВО С ЗЕМЕЛЬНЫМ БАНКОМ

...Я только успел закончить скромную утреннюю трапезу и запер по обыкновению остатки моих скудных припасов в несгораемый шкаф зала заседаний, величественный несгораемый шкаф с секретным замком — этот шкаф служит мне кладовой вот уже четыре года, с тех пор, как я поступил в Земельный банк, — как вдруг вбегают патрон, весь красный, с горящими глазами, словно после попойки, тяжело дыша, и грубо, с итальянским акцентом говорит мне:

— Какая здесь вонь, мусью Пассажон!

Никакой вони не было. Я только, сказать по правде, раздобыл несколько луковиц для кусочка телячьей ножки, присланной мне мадемуазель Серафиной, кухаркой с третьего этажа, для которой я по вечерам записываю расходы. Я хотел это объяснить патрону, но он обозлился и стал кричать, что, по его разумению, нельзя отравлять воздух в банке и что не стоило снимать помещение за двенадцать тысяч франков в год с восемью окнами по фасаду, выходящими прямо на бульвар Мальзерб, чтобы поджаривать здесь лук. И чего только он мне не наговорил в запальчивости! Я, разумеется, был задет его словами и оскорбительным тоном. Черт возьми! Можно по крайней мере вежливо обращаться с человеком, которому не платишь жалованья. Я ему ответил, что весьма об этом сожалею, но если бы Земельный банк отдал мне то, что должен, а именно жалованье, не уплаченное за четыре года, а также семь тысяч франков из моих собственных средств, израсходованные мною на личные нужды патрона, на его сигары, газеты, извозчиков, на американский грог в дни, когда собирается совет, то я, как подобает порядочному человеку, питался бы в ближайшей кухмистерской и не был бы вынужден поджаривать для себя в зале заседаний жалкий кусок телятины, которым я обязан сердобольной кухарке. Вот тебе, мол...

Я высказал это, поддавшись охватившему меня негодованию, вполне понятному для каждого, кто знает, каково мое положение... К тому же я не позволил себе какой-либо непристойности, а держался в рамках приличия, как подобает человеку моего возраста и воспитания.

(Я уже, по всей вероятности, где-нибудь упоминал в своих мемуарах,

что из шестидесяти пяти лет, прожитых мною на этом свете, я тридцать лет прослужил на филологическом факультете Дижонского университета. Отсюда мое пристрастие к докладам, к запискам, ко всем особенностям академического стиля, что и отразилось в ряде мест моего кропотливого труда.)

Итак, я объяснился с патроном с величайшей сдержанностью, не прибегая к тем оскорбительным словам, которыми его постоянно осыпают все, начиная с членов ревизионной комиссии, — г-н де Монпавон, к примеру, когда появляется у нас, иначе его не называет, как «Мазасский цветочек»,^[11] а г-н де Буа-Ландри, первейший болтун, грубый, как конюх, всегда говорит ему на прощание: «Ползи на свою кровать, вонючий клоп!», — и кончая нашим кассиром, который неоднократно заявлял во всеуслышание, стуча по своему гроссбуху: «У меня здесь хватит материала, чтобы упечь его на каторгу». И вот, представьте себе, мое простое замечание произвело на него необыкновенное действие. Белки его глаз пожелтели, и он изрек, дрожа от злобы, дикой злобы, характерной для его земляков:

— Пассажон, вы хам!.. Еще одно слово — и я вас выгоню!

Я остолбенел от изумления. Выгнать меня, меня! А жалованье, не выплаченное за четыре года, а семь тысяч, данные займы? Патрон, словно читая мои мысли, сказал, что все долги будут погашены.

— А теперь, — присовокупил он, — позовите всех служащих ко мне в кабинет, я должен сообщить им важную новость.

С этими словами он, хлопнув дверью, ушел к себе.

Будь он проклят! Хоть мы его знаем, как свои пять пальцев, знаем, что это лгун и притворщик, а все-таки он может кого угодно сбить с толку своими рассказами... Мне все заплатят!.. Мне!.. Я был так взволнован, что когда я созывал персонал, ноги отказывались мне служить.

По уставу в Земельном банке должно быть двенадцать служащих, включая патрона и красавца Моэссара, главного редактора «Верите финансьер», но налицо имеется меньше половины. Уже в течение двух лет, с тех пор как газета не выходит, Моэссар ни разу не появлялся у нас. По слухам, он в большой чести и богат; дама его сердца — королева, настоящая королева, которая дает ему столько денег, сколько он пожелает. О этот Париж! Настоящий Вавилон!.. Остальные время от времени заходят справиться, нет ли случайно какого-нибудь пополнения в кассе, но так как никогда ничего подобного не бывает, то мы по целым неделям их не видим. Четверо или пятеро преданных служак, таких же, как я, бедных стариков, упорствуют и аккуратно являются каждое утро в один и тот же час по

привычке, от нечего делать, не зная, как убить время, но каждый занимается чем — нибудь, не имеющим ничего общего с банком. Жить-то ведь надо, сами понимаете... И затем, нельзя же проводить весь день, пересаживаясь со стула на стул или переходя от окна к окну, чтобы поглазеть на улицу (этих окон всего восемь по фасаду, выходящему на бульвар). Ну, и стараешься заработать, как можешь. Я вот веду расходы мадемуазель Серафины и еще одной кухарки из нашего же дома. Кроме того, пишу мемуары, что тоже отнимает немало времени. Наш инкассатор — он-то у нас не очень завален работой — плетет сети для одной фирмы, торгующей рыболовными принадлежностями. Один из двух экспедиторов, обладающий хорошим почерком, переписывает пьесы для какого-то театрального агентства, другой изготавливает мелкие дешевенькие игрушки, которые продают уличные торговцы под Новый год на перекрестках, и умудряется благодаря этому не умереть с голоду. На сторону не работает один только наш кассир: он боится уронить свое достоинство. Это очень гордый человек, который никогда не ропщет и озабочен лишь тем, чтобы не заподозрили, что у него нет белья. Запершись в своем помещении, он с утра до вечера мастерит из бумаги манишки, воротнички и манжеты и достиг в этом деле совершенства. Он всегда в ослепительно белом белье, которое можно принять за настоящее, только при малейшем движении, когда он садится или ходит, оно хрустит, как будто в животе у него картонная коробка. К великому сожалению, эти бумажные изделия его не кормят, и он так бледен и худ, что хочется спросить, чем он живет. Между нами говоря, я подозреваю, что он иногда заглядывает в мою кладовую. Ему-то это просто: кассир должен знать шифр, открывающий секретный замок, и я полагаю, что стоит мне отвернуться, как он начинает рыться в моей провизии.

Вот что происходит — как это ни странно, даже невероятно — за фасадом нашего банкирского дома. Между тем я ни на йоту не отступил от истины. В Париже множество финансовых предприятия, подобных нашему. И если я когда-нибудь опубликую свои мемуары... Однако вернемся к прерванной нити моего повествования.

Когда мы собрались в кабинете директора, он торжественно заявил:

— Милостивые государи и дорогие друзья! Время испытаний миновало... Земельный банк вступает в новую фазу...

Затем он стал рассказывать о замечательной *combinazione* — это его любимое слово, и он произносит его каким-то особенно вкрадчивым тоном. В этой *combinazione* принимает участие знаменитый Набоб, о котором кричат все газеты. Земельный банк сумеет таким образом расплатиться со

своими верными слугами, оценить людей самоотверженных и отделаться от непригодных. Последнее, видимо, было сказано по моему адресу. В заключение он объявил:

— Приготовьте счета. Они завтра же будут оплачены.

К несчастью, он так часто убаюкивал нас лживыми заверениями, что речь его не произвела никакого действия. В былые времена мы все попадались на удочку. При сообщении о новой *combinazione* мы начинали прыгать, плакать от радости, обнимать друг друга, как потерпевшие кораблекрушение при виде спасительного паруса. Каждый из нас готовился к завтрашнему дню счет, как нам было сказано. Но назавтра патрон не являлся, послезавтра он тоже не приходил. Оказывалось, что он предпринял небольшое путешествие. Когда мы в таких случаях собирались все вместе, доведенные до отчаяния, измученные, разъяренные тем, что нас только по губам помазали, неожиданно появлялся патрон: он падал в кресло, закрывал лицо руками и, прежде чем кто-нибудь успевал произнести слово, принимался кричать: «Убейте меня, убейте! Я гнусный обманщик... *Combinazione*^[12] не удалась. Она не удалась *peckero*,^[13] эта *combinazione!*

И он вопил, рыдал, бросался на колени, рвал на себе волосы, катался по ковру, называл нас уменьшительными именами, умолял лишить его жизни, говорил о своей жене и детях, о том, что он их довел до разорения. И при виде такого отчаяния у нас не хватало духа что-нибудь требовать от него. Под конец мы к нему чувствовали даже жалость. Нет, с тех пор как существует театр, никогда еще не было такого талантливого комедианта. Только теперь уже не то, доверие к нему иссякло. Когда он уехал, все пожали плечами. Должен сознаться, что в первую минуту я заколебался. Этот апломб, с которым он меня увольнял, потом упоминание имени Набоба, такого богача...

— Вы верите? — спросил меня кассир. — Вы навсегда останетесь простаком, мой бедный Пассажон... Можете не беспокоиться. С Набобом будет то же самое, что с моэссаровской королевой.

И он снова принялся за изготовление манишек.

То, о чем он упомянул, относится к временам, когда Моэссар ухаживал за своей королевой. Он обещал патрону в случае удачи убедить ее величество вложить деньги в наше предприятие. Мы все были осведомлены об этом новом деле и, как вы сами понимаете, чрезвычайно заинтересованы в его быстром и благоприятном исходе, ибо от этого зависело и пополнение наших карманов. В течение двух месяцев это событие держало нас всех в напряжении. Мы волновались, следили за

выражением лица Моэссара и находили, что дама слишком долго ломается. А наш старый кассир с гордым и серьезным видом, сидя за своей решеткой, глубокомысленно отвечал на наши расспросы: «Ничего нового» или: «Дело на мази». И все были довольны и говорили: «Дело идет на лад... дело идет на лад...», — словно речь шла о какой-нибудь самой обычной операции. Нет, поистине только в Париже случаются подобные вещи... Положительно голова идет кругом... В конечном счете Моэссар в одно прекрасное утро прекратил посещения нашего банка. Он-то, говорят, добился успеха, но Земельный банк показался ему недостаточно прибыльным предприятием, чтобы поместить туда капитал своей дамы сердца. Разве так поступает порядочный человек, как, по-вашему?

Впрочем, трудно даже поверить, как легко утрачивается чувство порядочности! Подумать только, что я, Пассажон, убеленный сединами, почтенного вида человек с незапятнанным прошлым — тридцатилетнее служение науке! — чувствую себя как рыба в воде среди всех этих мерзостей и среди всех этих грязных делишек!.. Поневоле возникают вопросы: что я здесь делаю, почему я здесь остаюсь и как я сюда попал?

Как я сюда попал? Боже мой, очень просто! Четыре года тому назад, когда жена моя умерла, дети все переженились, а сам я вышел в отставку, уйдя из университета, случайно мне попалось в газете объявление: «Требуется пожилой служащий в Земельный банк, бульвар Мальзерб, 56. Без хороших рекомендаций не обращаться». Прежде всего должен сказать откровенно, что современный Вавилон меня всегда манил. К тому же я был еще очень бодр и считал, что у меня добрых десять лет впереди, в течение которых я сумею немного заработать, а возможно даже, и много денег, если вложу свои сбережения в банкирский дом, где буду служить. Итак, я написал письмо и послал свою фотографию от Креспона с Рыночной площади, на которой я изображен с гладко выбритым подбородком, с ясным взглядом из — под седых, лохматых бровей, со стальной цепью на груди и значком университетского служащего, «точь-в-точь римский сенатор в своем курульном кресле»,^[14] как говорил наш декан, господин Шальмет. (Он находил, что у меня большое сходство и с покойным Людовиком XVIII, хотя я не так тучен.)

Я представил наилучшие рекомендации, самые лестные отзывы научных деятелей нашего факультета. С обратной почтой патрон мне ответил, что моя наружность его вполне удовлетворяет (еще бы, черт возьми: ведь Это приманка для акционеров, когда в вестибюле их встречает такой представительный человек, как я!) и что я могу явиться, когда мне будет угодно. Вы, может быть, скажете, что и я должен был навести

справки? Бесспорно! Но я был так озабочен представлением сведений о себе, что мне и в голову не пришло что-нибудь разузнать о моем будущем хозяине. Да и как может возникнуть недоверие при виде такого роскошного помещения с высокими потолками, несгораемых шкафов величиною с буфет, зеркал, в которых видишь себя с головы до ног! А эти широковещательные рекламы, миллионы, казалось, парившие в воздухе, грандиозные предприятия со сказочными прибылями!. Я был ослеплен, очарован. Впрочем, надо заметить, что в ту пору наше учреждение имело другой вид, чем сейчас. Конечно, и тогда дела шли уже плохо — наши дела всегда шли плохо — и газета выходила нерегулярно. Но маленькая *combinazione* патрона позволяла еще сохранять благопристойный вид.

Представьте себе: он задумал открыть патриотическую подписку для сооружения памятника генералу Паоло или Паоли^[15]-словом, какому-то великому человеку на его родине. Корсиканцы небогаты, но тщеславны, как индейские петухи, поэтому деньги потекли в Земельный банк. К несчастью, это длилось недолго. Через два месяца статую проели, прежде чем она была воздвигнута, и поток опротестованных векселей и судебных повесток возобновился. Теперь я к этому привык. Но тогда я только что прибыл из провинции, и объявления о торгах, толпы зевак у дверей производили на меня весьма неприятное впечатление. В банке никто уже на это не обращал внимания. Все знали, что в последнюю минуту явится какой — нибудь Монпавон или Буа-Ландри и укротит судебного пристава: ведь все эти господа так тесно связаны с нашим предприятием, что готовы всячески нам помочь, лишь бы дело не дошло до банкротства. Это и спасает нашего хитрого патрона. Прочие хлопочут о своих деньгах — понятно, каким это является козырем в наших руках, — и им не пришлось бы по вкусу, если бы все имеющиеся у них акции превратились в оберточную бумагу.

Все мы, от мала до велика, заинтересованы в участи нашего банка. Начиная с домовладельца, которому не платят за помещение вот уже два года и поэтому он на боязни все потерять предоставляет его даром, и кончая нами, бедными служащими, вплоть до меня, поплатившегося семью тысячами франков сбережений и жалованьем за четыре года, — мы все добиваемся своих денег. Вот почему я здесь и остаюсь.

Разумеется, несмотря на мой преклонный возраст, я мог бы благодаря моей представительной наружности, моему воспитанию и моей всегда опрятной, хотя и поношенной одежде предложить свои услуги в каком-нибудь другом предприятии. Один мой знакомый, г-н Жуайез, весьма почтенный человек, бухгалтер крупного банкирского дома «Эмерленг и

сын» на улице Сент-Оноре, при встрече со мною каждый раз говорит мне:

— Пассажон, друг мой! Не оставайся ты в этом разбойничьем притоне. Напрасно ты упорствуешь: ты не получишь с них ни единого су. Переходи к Эмерленгу. Я берусь приискать тебе там местечко. Жалованья тебе положат меньше, зато получать ты будешь намного больше.

Я сознаю, что этот достойный человек вполне прав. Но это сильнее меня, я не могу решиться уйти отсюда. А ведь жизнь, которую я здесь веду, не слишком — то радостна: проводить все дни в больших холодных помещениях, куда никто никогда не заходит, где каждый забивается в угол и молчит... А как же иначе? Все хорошо знают друг друга, обо всем уже переговорили. До прошлого года у нас еще бывали заседания ревизионной комиссии, собрания акционеров, шумные и бурные собрания, настоящие баталии дикарей, когда крики доносились до церкви св. Магдалины. Несколько раз в неделю являлись возмущенные вкладчики с жалобами, что их не ставят в известность относительно судьбы внесенных ими денег. Вот тут-то наш патрон и проявлял свой талант. Я видел людей, милостивый государь, которые входили к нему в кабинет разъяренные, как волки, жаждущие крови, а через четверть часа выходили оттуда кроткие, как агнцы, довольные, успокоенные, и притом освободившись от нескольких банковских билетов. В этом-то и была вся хитрость — вырвать деньги у несчастных, пришедших их требовать. Теперь акционеры больше у нас не показываются. Я полагаю, что все они перемерли или покорились своей участи. Совет никогда не собирается. Заседания происходят только на бумаге. На меня возложена обязанность составлять так называемый протокол — всегда один и тот же, — который я переписываю каждые три месяца. Мы бы не видели ни одной живой души, если бы изредка не появлялся из глухого уголка Корсики какой-нибудь чудаковатый человек, приславший деньги на памятник Паоли и желающий узнать, как подвигается работа, или страстный почитатель «Верите финансьер», не выходящей уже более двух лет, который пришел возобновить подписку и робко просит, нельзя ли несколько упорядочить высылку газеты. Существуют же доверчивые люди, которых ничто не может поколебать!

И когда такой простак нападет на нашу голодную свору, то пощады ему нет. Его окружают, набрасываются на него, пытаются включить в один из подписных листов, и в случае сопротивления, если он не хочет подписаться ни на памятник Паоли, ни на постройку корсиканских железных дорог, наши сотрудники прибегают к тому, что у нас называют — перо мое краснеет, когда я это пишу, — «трюком с возчиком».

Вот в чем он заключается: у нас всегда имеется наготове тщательно

завязанный бечевкой ящик, который якобы прибыл с вокзала, как раз когда такой клиент находится у нас. «Двадцать франков за доставку», — говорит тот из нас, кто приносит ящик. (Двадцать, а иногда и тридцать, в зависимости от выражения лица посетителя.) Тут каждый начинает рыться у себя в карманах: «Двадцать франков за доставку! Но у меня их нет!» «И у меня тоже». Вот беда! Бегут в кассу — закрыта; ищут кассира — куда-то вышел. А из передней раздается грубый голос выведенного из терпения возчика: «Ну что, долго еще ждать?» (Благодаря моему густому басу роль возчика приходится исполнять мне.) Что делать?.. Отослать обратно посылку? Патрон, пожалуй, рассердится. «Господа! Прошу вас, позвольте, я...» — решается предложить невинная жертва, открывая свой кошелек. «Что вы, сударь, помилуйте!..» Он дает нам двадцать франков, мы его провожаем до самых дверей, и стоит ему ее захлопнуть, как мы поровну делим добычу, да еще хохочем, как настоящие разбойники.

Фи, господин Пассажен!.. В ваши годы заниматься таким ремеслом!.. Ах, господи, разве я сам этого не понимаю, разве я не знаю, что покинуть этот вертеп было бы куда достойнее? Но как уйти? Пришлось бы отказаться от всех своих денег. Нет, это невозможно. Нет, надо оставаться, неотступно следить, ни на минуту не покидать поста. Надо пользоваться случайным доходом, если он подвернется... Но — клянусь моим академическим значком, моим тридцатилетним служением науке — если когда-нибудь, благодаря какому-нибудь делу, как, например, тому, в котором принимает участие Набоб, мне вернут все, что мне должны, я, не задерживаясь ни на минуту, сразу же уеду в Монбар и займусь своим прелестным маленьким виноградником, навсегда отказавшись от жажды обогащения. Но, увы, это несбыточная мечта! Мы истощили все ресурсы, прогорели дотла и приобрели такую печальную славу в парижских коммерческих кругах, что наши акции уже не котируются на бирже, обязательства грозят превратиться в оберточную бумагу, а кругом столько лжи, столько долгов, мы проваливаемся в яму, увязаем все глубже и глубже... (В настоящее время у нас долгу три с половиной миллиона, но не эти три миллиона нас беспокоят. Напротив, они нас поддерживают, а вот у привратника имеется счетец на сто двадцать пять франков за почтовые марки да месячный счет за газ и еще много других. Вот что ужасно!) И нас хотят уверить, что такой крупный финансист, как Набоб, — пусть бы он прибыл даже из Конго или спустился с Луны — будет настолько безрассуден, что вложит деньги в такое сомнительное предприятие, как наше! Оставьте!.. Никогда не поверю!.. Рассказывайте другим, любезнейший патрон!

IV. ДЕБЮТ В СВЕТЕ

— Господин Бернар Жансуле!..

Это плебейское имя, с особой торжественностью провозглашенное лакеем, прозвучало в гостиных Дженкинса как кимвал или гонг, которым в спектаклях-феериях возвещается появление фантастического персонажа. Свет люстр побледнел, во всех глазах вспыхнул огонек, вдали мерещились ослепительные сокровища Востока, дождь цехинов и жемчугов, низвергающий на землю магические слоги этого еще накануне неизвестного имени.

Да, это был он, Набоб, богач из богачей, предмет повышенного любопытства парижан, лакомое блюдо для пресыщенной толпы, привлеченной пряным духом приключений! Гости обернулись, разговоры смолкли, все столпилось у дверей, началась толкотня, как на набережной морского порта, когда прибывает фелука, груженная золотом.

Даже сам Дженкинс — столь радушный, столь превосходно владеющий собой, — стоя в — первой — гостиной, где он встречал гостей, внезапно покинул своих собеседников и бросился навстречу мощному галиону.

— Как благодарить вас за вашу любезность?.. Мадам Дженкинс будет так счастлива, так горда!.. Разрешите проводить вас...

Захлебываясь от переполнявшего его тщеславия, он так поспешно увлек за собой Жансуле, что тот даже не успел представить ему своего спутника Поля де Жери, которого он в первый раз вывозил в свет. Молодой человек был доволен этой оплошностью. Он проскользнул в толпу черных фраков, все сильнее теснимую с прибытием каждого нового гостя, и затерялся в ней, охваченный безотчетным страхом, который испытывает всякий молодой провинциал, впервые попавший в парижский салон, особенно если он умен и чуток и если не защищен, как кольчугой под крахмальной манишкой, непоколебимым апломбом деревенского увальня.

Вам, прирожденным парижанам, с шестнадцати лет привыкшим порхать во фраке и с цилиндром в руке по салонам, вам незнакомы терзания, вызванные тщеславием, робостью, воспоминаниями о прочитанных романах, терзания, которые сковывают движения молодого провинциала, заставляют его, стиснув зубы, часами стоять, подобно истукану, в простенке или же у окна, превращают его в несчастное, жалкое создание, не знающее, куда приткнуться, способное в доказательство, что

оно все-таки живое существо, только переходить с места на место и готовое лучше умереть от жажды, чем приблизиться к буфету с напитками. Такой юноша покидает салон, не произнеся за весь вечер ни единого слова или же промямлив несусветную чушь, о которой потом вспоминает целые месяцы, а ночью при мысли о ней зарывается головой в подушку и тяжело вздыхает от стыда и ярости.

Поль де Жери был одним из таких страдальцев. Там, у себя на родине, он жил уединенно с дряхлой теткой, унылой и богомольной. Когда же он сделался студентом юридического факультета, избрав вначале поприще, на котором его покойный отец оставил по себе добрую память, его стали приглашать члены суда в свои старые, унылые жилища с потускневшими высокими зеркалами, где почтенным старцам требовался четвертый партнер для виста. Вечер у Джемкинса был именно дебютом для этого провинциала, причем самая его неискушенность и свойственная южанину живость восприятия мгновенно обострили его наблюдательность.

Он смотрел на любопытную вереницу гостей Дженкинса, продолжавших прибывать еще после полуночи, — на эту клиентуру модного врача. Здесь собрались сливки общества, множество государственных деятелей и финансистов, банкиры, депутаты, художники — представители высших парижских кругов, переутомленные, с мертвенно-бледными лицами и блестящими глазами, — они, точно жадные крысы, объелись мышьяком и все никак не могут насытиться ни ядом, ни жизнью. Из гостиной, через огромную переднюю, где были сняты двери, видна была устланная цветами лестница особняка, по которой струились длинные шелковые шлейфы, словно оттягивавшие назад декольтированные плечи женщин, грациозно поднимавшихся по ступеням; силуэты их постепенно обрисовывались и наконец выступали во всем своем блеске. Казалось, прибывавшие пары всходили на подмости. И в самом деле, нахмуренные брови расправлялись, морщины сглаживались, каждый оставлял на последней ступеньке свои заботы, гнев и печаль, чтобы войти с довольным, умиротворенным лицом, расплывшимся в приятной улыбке. Мужчины обменивались крепкими рукопожатиями, дружескими приветствиями. Женщины, ничего не слушая, занятые только собой, легко и изящно изгибались, играли глазами и плечами и лепетали любезности:

— Благодарю вас!.. Благодарю!.. Как это мило с вашей стороны!..

Потом пары разлучались, ибо вечера теперь уже не являются турниром изящных умов, когда перед женским остроумием галантно склонялись воля, глубокие познания, даже талант мужчины; нет, они превратились в многолюдные сборища, на которых женщины сидят особняком, щебеча, как

пленницы гарема, испытывая лишь одно наслаждение — быть или казаться прекрасными.

Поль де Жери побродил по библиотеке доктора, по оранжерее, заглянул в бильярдную, где курили. Ему наскучили серьезные, сухие разговоры, столь неуместные на этом роскошном празднике в краткие часы, посвященные удовольствию (какой-то господин, не глядя на него, спросил, что было сегодня на бирже!), и он подошел к большому залу, где у самых дверей столпились мужчины в черных фраках и, склонив головы, тесня друг друга, на что-то смотрели.

Богатое убранство огромной комнаты свидетельствовало о художественном вкусе хозяина и хозяйки дома. На стенах, обитых светлыми штофными обоями, висели старинные картины. Монументальный камин украшала чудесная мраморная группа «Времена года» Себастьяна Рюиса, окруженная длинными зелеными стеблями, то зубчатыми, как кружева, то прямыми и жесткими, как узорчатая бронза, — они склонялись к зеркалу, словно к прозрачной глади вод. Женщины, сидевшие в низких креслах, собрались тесным кружком, и нежные оттенки их нарядов почти сливались, образуя огромную корзину живых цветов, над которой сверкали обнаженные плечи и прически, усыпанные бриллиантами, казавшимися каплями росы на черных локонах и искорками на белокурых. Все было напоено тем же опьяняющим ароматом, слышалось то же неясное, мягкое жужжанье, образуемое волнами тепла и трепетом неуловимых крыльев, который овеивает жарким летом клумбу с цветами. Порой в этой лучезарной атмосфере звучал серебристый смех, прерывистое дыхание приводило в движение перья и локоны, неожиданно вырисовывался чей — нибудь прекрасный профиль. Таков был общий вид этого зала.

Здесь было всего несколько мужчин, все люди избранного круга, отягощенные годами и орденами. Они разговаривали, присев на краешек дивана или стоя, облокотившись на спинку кресла, с тем снисходительным видом, с каким обычно обращаются к детям. Среди шелеста этой беседы один голос гремел медными раскатами — голос Набоба. Набоб спокойно расхаживал среди этой прелестной оранжереи и держал себя с полной непринужденностью, которую ему придавало его огромное состояние и легкое пренебрежение к женщинам, усвоенное на Востоке.

В данную минуту, развалясь в кресле, бесцеремонно сложив на коленях свои толстые руки в желтых перчатках, он говорил с очень красивой молодой особой, чье оригинальное лицо-строгое и вместе с тем очень оживленное — своей бледностью резко выделялось среди этих

миловидных мордочек, а белоснежное платье, падавшее классическими складками и облежавшее ее грациозный, гибкий стан, представляло такой же разительный контраст с более богатыми нарядами, ни один из которых не отличался столь смелой простотой. Поль де Жери из своего угла любовался ее гладким лбом, челкой, глазами с удлинненным разрезом, бездонной синевы, ртом классической формы, который, переставая улыбаться, принимал усталое, презрительное выражение. В целом-слегка высокомерный облик существа исключительного.

Кто-то, стоявший рядом, назвал ее: Фелиция Рюис. Только тут Поль уловил, в чем неизъяснимая прелесть этой молодой девушки, унаследовавшей талант отца. Молва об ее славе, окруженной ореолом красоты, дошла и до него, когда он еще жил в провинции. Он смотрел на нее, не отрываясь, любуясь каждым ее жестом, слегка заинтригованный загадочностью ее прелестного лица, и вдруг услышал за собой шепот:

— Посмотрите, как она любезничает с Набобом! А если приедет герцог...

:- Герцог де Мора должен быть?

— Конечно. Ведь в его честь и устроен этот вечер... чтобы представить ему Жансуле...

— И вы думаете, что герцог и мадемуазель Рюис...

— Да неужели вы ничего не слышали?.. Эта связь известна всему Парижу... Началось это с последней выставки, когда она лепила его бюст.

— А герцогиня?..

— Она еще и не то видывала!.. А, госпожа Дженкинс собирается петь!

Произошло движение в зале, давка у дверей усилилась, разговоры на минуту прекратились. Поль де Жери вздохнул с облегчением. От невольного подслушанного разговора у него сжалось сердце. Он чувствовал себя задетым, запятнанным грязью, брошенной в поднятую им на пьедестал прелестную молодую девушку, расцветшую под лучами искусства, полную глубокого очарования. Он отошел на несколько шагов, боясь услышать еще какую —нибудь произнесенную шепотом мерзость... Голос г-жи Дженкинс подействовал на него благотворно — этот стяжавший славу в парижских салонах голос, в котором, несмотря на силу и звучность, не чувствовалось ничего профессионального: ее пение казалось взволнованной речью, изливавшейся в безыскусственных созвучиях. Певица была женщиной лет сорока-сорока пяти, с великолепными волосами пепельного цвета, с тонкими, немного безвольными чертами лица, дышавшими бесконечной добротой. Она была еще хороша собой и одевалась со вкусом; ее дорого стоивший наряд говорил о том, что эта

женщина еще хочет нравиться. Да, она еще хотела нравиться. Около десяти лет назад она вторично вышла замуж за доктора, и казалось, они еще переживают счастье первых месяцев супружества. Когда она исполняла русскую народную песню, широкую и нежную, как улыбка славянина, приветливое лицо Дженкинса сияло, выражая простодушную гордость, которую он не старался скрыть. А она, наклоняя голову, чтобы набрать воздуха, посылала ему боязливую влюбленную улыбку, искавшую его поверх поставленных перед нею нот. Потом, когда она кончила петь, когда вокруг нее пронесся восхищенный, хвалебный шепот, трогательно было смотреть, как она робко, украдкой пожимает руку мужа, словно желая на своем публичном торжестве ощутить семейное счастье. У молодого де Жери стало тепло на душе при виде счастливой четы, как вдруг возле него кто-то, понизив голос, сказал (но это был уже не тот голос, который он слышал раньше):

— Вы знаете: говорят... что Дженкинсы не обвенчаны.

— Быть не может!

— Уверяю вас... Оказывается, где-то существует настоящая госпожа Дженкинс, не та, которую мы знаем... Впрочем, разве вы не заметили...

Разговор продолжался шепотом. Г-жа Дженкинс подходила к гостям, раскланивалась, улыбалась, меж тем как доктор, остановив проходившего с подносом лакея, подал ей рюмку бордо с такой заботливостью, какую способны проявить только мать, импресарио или возлюбленный. О клевета, как ядовито твое жало! Теперь внимание Дженкинса к жене показалось провинциалу преувеличенным. Он находил в нем что-то притворное, деланное, а в словах благодарности, с которыми жена вполголоса обратилась к мужу, ему почудились боязливость и покорность, несовместимые с достоинством законной супруги, счастливой и гордой, уверенной в своем счастье. «Как мерзок свет!»-подумал де Жери в ужасе, с похолодевшими руками. Улыбки на лицах производили на него впечатление гримас. Он испытывал стыд и отвращение. Затем, глубоко возмущенный, он произнес вслух:

— Нет, это невозможно!

И, словно в ответ на это восклицание, злословие вновь развязно заговорило за его спиной:

— Сказать по правде, я в этом не уверен. Я повторяю то, что слышал! Посмотрите! Да тут и баронесса Эмерленг!.. У Дженкинса собрался весь Париж.

Доктор бросился баронессе навстречу, и теперь она шла с ним под руку; несмотря на все искусство владеть собой, доктор казался слегка

встревоженным и смущенным. Милейший Дженкинс думал воспользоваться этим вечером, чтобы примирить своего друга Эмерленга со своим другом Жансуле, примирить двух самых богатых своих пациентов, вражда которых создавала для него большие затруднения. Набоб лучшего и не желал. Он не питал неприязни к своему бывшему товарищу. Причиной их ссоры была женитьба Эмерленга на одной из фавориток покойного бея. «Словом, дамские дела», — говорил Жансуле и добавлял, что был бы счастлив с этим покончить, ибо всякая длительная неприязнь была тягостна для его экспансивной натуры. Но барон, очевидно, был не расположен к примирению; вопреки обещанию, которое он дал Дженкинсу, его жена приехала одна, к великой досаде ирландца.

Это была высокая, худощавая, хрупкая женщина с необычайно густыми изогнутыми бровями, моложавая и застенчивая (несмотря на ее тридцать лет, ей можно было дать не более двадцати); черные, цвета воронова крыла, волосы, усыпанные бриллиантами, были украшены зеленью и колосьями. Своими длинными ресницами, бледностью лица и той прозрачностью кожи, которая характерна для женщины, долгие годы прожившей затворницей, она, несколько стесненная парижским нарядом, походила не столько на былую пленницу гарема, сколько на монахиню, отказавшуюся от своего обета и вернувшуюся к мирской жизни. Благочестивый взгляд, что-то елейное в обращении, особая, свойственная духовным лицам манера ходить, потупив глаза, прижав к талии локти и скрестив руки на груди, усвоенная ею в том набожном кругу, в котором она вращалась после своего недавнего крещения, довершали ее сходство с монахиней. Нетрудно себе представить, до чего было возбуждено любопытство светского общества этой бывшей одалиской, превратившейся в ревностную католичку, которая шла в сопровождении мертвенно-бледного человека, похожего на пономаря в очках, лионского депутата Лемеркье, доверенного Эмерленга, сопутствовавшего баронессе, когда барон «бывал не совсем здоров», как, например, сегодня вечером.

Когда они появились во второй гостиной. Набоб направился навстречу баронессе, полагая, что за нею покажется одутловатая физиономия его старого товарища, которому, как было условлено, он должен был протянуть руку. Увидев его, баронесса еще сильнее побледнела. Из — под длинных ресниц сверкнула молния. Ноздри ее раздулись и затрепетали, и когда Набоб склонился перед ней она ускорила шаги, вздернула голову, и с ее тонких губ сорвалось арабское слово, никем не понятое, за исключением бедного Набоба, слово, по-видимому, весьма оскорбительное, ибо, когда он выпрямился, его загорелое лицо было цвета обожженной глины, только что

вышедшей из горна. Он застыл на месте с выпяченной от злости нижней губой, судорожно сжав свои огромные кулаки. К нему подошел Дженкинс, и де Жери, следивший издали за этой сценой, увидел, что они с озабоченными лицами оживленно беседуют.

Дело сорвалось. Примирение, столь хитро задуманное Дженкинсом, не состоялось. Эмерленг не пожелал его. Хоть бы герцог сдержал свое слово! Было уже поздно. Г-жа Вотерс, которая должна была приехать после окончания спектакля, чтобы спеть арию царицы ночи из «Волшебной флейты»,^[16] уже прибыла, тщательно укутанная, в теплом кружевном капоре.

А министра все еще не было.

Между тем он обещал, обо всем условился. Монпавон должен был заехать за ним в клуб. Время от времени Дженкинс вынимал часы из кармана, рассеянно аплодируя каскаду бисерных трелей, лившихся из божественных уст г-жи Вотерс, каскаду стоимостью в три тысячи франков, бесполезному, как и все другие расходы по втому вечеру, если герцог не приедет.

Вдруг обе створки дверей распахнулись.

— Его светлость герцог де Мора.

При появлении могущественного сановника трепет, пробежал по двум шеренгам расступившихся перед ним гостей. Это почтительное любопытство нисколько не походило на грубую давку, вызванную прибытием Набоба.

Никто лучше герцога не умел появиться в обществе, пройти со значительным видом гостиную, улыбаясь, подняться на трибуну, серьезно отнестись к пустякам, небрежно обсуждать важные вопросы: такова была сущность, парадоксальная изысканность его поведения. Несмотря на свои пятьдесят шесть лет, он был еще хорош собой благодаря элегантности и удачному сочетанию изящества денди с мужественностью, которую придавали ему гордое выражение лица и что-то сохранившееся, от военной выправки. Он великолепно носил фрак, на этот раз украшенный в честь Дженкинса несколькими орденами, которые он надевал только в особо торжественные дни. Ослепительное белье, белый галстук, матовый блеск орденов, мягкость редких, с легкой проседью волос подчеркивали бледность лица, более бескровного, чем все бескровные лица, которые сегодня можно было видеть у ирландца.

Он вел такую ужасную жизнь! Политика, игра во всех видах — на бирже, за карточным столом — и репутация любимца женщин, которую необходимо было поддерживать во что бы то ни стало... О, он был на-

стоящим пациентом Дженкинса! Он должен был, по совести, почтить своим сановным визитом изобретателя таинственных пилюль, которые придавали его взгляду столько огня и всему его существу такую необычайную стремительность.

— Дорогой герцог! Разрешите вам...

Монпавон, торжественно выпятив грудь, с вздувшейся манишкой, пытался представить ему того, кто столь долго ожидал этой минуты. Но его светлость, чем-то отвлеченный, не слышал маркиза: он направлялся к большому залу, словно уносимый тем электрическим током, который подчас нарушает светское однообразие. В то время как он проходил по гостиным, здоровался с прекрасной г-жой Дженкинс, женщины слегка наклонялись, мило смеялись, стараясь ему понравиться, привлечь его внимание, но он видел только одну — Фелицию, которая, стоя в кругу мужчин, о чем-то с ними рассуждала, как у себя в мастерской, и, спокойно лакомясь щербетом, смотрела на приближавшегося к ней герцога. Она непринужденно его приветствовала. Ее собеседники незаметно отошли. Несмотря на все, что слышал де Жери об их связи, казалось, что их соединяет только платоническая дружба, своего рода игривая фамильярность.

— Я заезжал к вам, мадемуазель, по дороге в Булонский лес.

— Мне передавали. Вы даже заходили в мастерскую.

— И видел замечательную скульптурную группу... Мою группу.

— Ну? Что же вы о ней скажете?

— Отличная вещь... Борзая несется как бешеная... Лисица удирает во всю прыть... Только я не совсем понял... Вы мне говорили, что она олицетворяет наши отношения.

— Да, да... Подумайте хорошенько... Это притча, которую я прочла у... Вы не читаете Рабле, герцог?

— Нет, признаюсь. Он слишком груб.

— Ну, а я даже читать научилась по Рабле. Меня ведь очень дурно воспитывали. Очень дурно! Итак, я заимствовала эту притчу у Рабле. Я вам ее расскажу. Вакх создал изумительную лису, которую нагнать невозможно. А Вулкан наделил одну собаку способностью ловить каждого зверя, за которым она погонится. «Случилось, — говорит Рабле, — что они встретились». Понимаете, какая это скачка, бешеная и... нескончаемая? Мне кажется, дорогой герцог, что волею судеб мы встретились друг с другом, наделенные противоречивыми качествами, — вы, получивший от богов дар побеждать все сердца, и я, чье сердце покорить невозможно.

Она говорила это, глядя ему прямо в глаза, почти смеясь, но в то же время строгая и прямая в своей белой тунике, которая, казалось, оберегала

девушку от игры ее слишком свободного ума. Он же, против которого никто не мог устоять, еще никогда не встречал такого рода женщины, смелой и своенравной. Поэтому он старался обворожить ее всей силой своих чар, меж тем как доносившиеся до них мелодичный говор, серебристый смех, шелест шелка и нитей жемчуга служили как бы аккомпанементом этому дуэту светской страсти и юной иронии.

— И как же боги вышли из этого трудного положения? — спросил он.

— Они обратили обоих бегунов в камни.

— Вот как? — сказал герцог. — Не могу согласиться с такой развязкой... Я не допущу, чтобы боги обратили мое сердце в камень.

Огонек вспыхнул в его глазах и тут же погас при мысли, что на них смотрят.

Действительно, на них смотрели с большим вниманием, но никто не смотрел так пристально, как Дженкинс, который бродил вокруг них, нетерпеливый и раздраженный, словно досадуя на Фелицию, что она захватила самого знатного гостя на его вечере. Девушка, смеясь, высказала это герцогу:

— Скажут, что я завладела вами.

И она указала на ожидавшего Монпавона, который стоял рядом с Набобом, устремившим на его светлость умоляющий и покорный взгляд большого доброго дога. Министр вспомнил о том, что его сюда привело. Он поклонился молодой девушке и подошел к Монпавону, который смог наконец представить ему «своего достопочтенного друга господина Бернара Жансуле». Его светлость кивнул головой, выскочка склонился до земли, затем они побеседовали несколько минут.

Любопытную картину представляли эти собеседники. Жансуле — высокий, толстый, плебейского вида, с загорелым лицом, с широкой спиной, как будто навсегда согнувшейся от поклонов восточного царедворца, с толстыми короткими руками, на которых чуть не лопались светлые перчатки, с чрезмерно живой мимикой, экспансивный, как истый южанин, пересыпавший свою речь выразительными словечками. Де Моракровный аристократ, человек светский до кончиков ногтей, олицетворение элегантности, с непринужденными, редкими жестами, небрежно роняющий неоконченные фразы, смягчающий легкой улыбкой серьезное выражение лица, скрывающий под изысканной любезностью беспредельное презрение к мужчинам и женщинам-презрение, составлявшее его главную силу... В каком-нибудь американском салоне этот разительный контраст был бы не столь резок. Миллионы Набоба восстановили бы равновесие и даже склонили бы в его сторону чашу весов. Но в Париже не ставят еще деньги

выше всякого другого могущества: чтобы убедиться, достаточно было посмотреть на толстосума, посмотреть, как он трепещет перед вельможей, с каким заискивающим видом стелет ему под ноги, словно горностаевую мантию царедворца, свою гордыню толстокожего выскочки.

Из угла, в который он забился, Поль де Жери с живым интересом следил за этой сценой, зная, какое значение придает его друг знакомству с герцогом, как вдруг, по воле случая, в течение всего вечера так безжалостно разрушавшего его наивные иллюзии дебютанта, он услышал краткий разговор, происходивший среди несмолкавших частных разговоров, в которых каждый слышит только то, что его интересует:

— Да, уж Монпавон обязан доставить ему хоть несколько хороших знакомств; немало он навязал ему дурных... Он посадил ему на шею Паганетти со всей его бандой.

— Несчастный!.. Да они сожрут его!

— Ну и поделом! Пусть отдаст хоть часть того, что награл... Достаточно он наворовал там, на Востоке.

— Вы так думаете?.

— Еще бы! На этот счет у меня имеются самые точные сведения: я знаю это от барона Эмерленга, банкира. Он-то может порассказать о Набобе! Представьте себе...

Мерзости сыпались как из рога изобилия... В течение пятнадцати лет Набоб самым недостойным образом пользовался доверием покойного бей. Называли имена поставщиков, сообщали о разных проделках, поражающих своей беззастенчивостью и наглостью: рассказывали, например, о фрегате с музыкой, да, с настоящей музыкой, вроде музыкального ящика для столовой — эта штука обошлась Набобу в двести тысяч франков, а перепродал он ее бей за десять миллионов, — о троне, за который он поучил три миллиона и который, по записям в бухгалтерских книгах мебельщика из предместья Сент-Оноре, стоил всего сто тысяч. Забавнее всего то, что бей передумал, и королевский трон, впавший в немилость раньше, чем его распаковали, до сих пор лежит на триполийской таможне в том ящике, в котором совершил свое путешествие.

Помимо безобразной наживы на комиссионных сделках по доставке всяких пустяков, выдвигались обвинения более серьезные, но не менее достоверные, так как почерпнуты они были из того же источника. Рядом с сералем был устроен для его высочества гарем европейских женщин, прекрасно обставленный Набобом, который не был новичком в такого рода вещах, ибо он занимался когда-то в Париже, до своего отъезда на Восток, странными делами: наживался на контрамарках, держал танцевальный зал

у заставы и дом, пользовавшийся еще худшей репутацией... Перешептывание закончилось приглушенным смехом, плотоядным смешком разговаривающих между собой мужчин.

Услышав эту гнусную клевету, молодой провинциал готов был обернуться и крикнуть:

— Вы лжете!

Если бы это случилось на несколько часов раньше, он без колебаний так бы и поступил, но за время, проведенное в этом доме, Поль сделался подозрительным и скептическим. Поэтому он сдержался и дослушал все до конца, не двигаясь с места, испытывая в глубине души безотчетное желание побольше разузнать о своем принцепале. А в это время Набоб, находившийся в полном неведении, что он является героем такой чудовищной хроники, спокойно сидел в маленькой гостиной (голубая обивка и две лампы под абажуром придавали ей вид укромного уголка) и играл в экарте с герцогом де Мора.

О магическая сила миллионов! Сын мелкого торговца железным ломом сидел за карточным столом с первым сановником империи. Жансуле с трудом верил венецианскому зеркалу, в котором отражались его сияющее лицо и голова с широким пробором его светлейшего партнера. В благодарность за великую честь он старался благопристойно проиграть как можно больше тысячи — франковых билетов, чувствуя, что он все-таки останется в выигрыше, и гордясь тем, что его деньги переходят в эти аристократические руки. Он изучал малейшие движения этих рук, когда они снимали, сдавали или держали карты.

Их обступили, хотя держались на почтительном расстоянии, как того требует этикет при поклоне принцу крови. Это были свидетели его торжества. Набоб все это видел, как во сне, упоенный чарующими, приглушенными аккордами, летевшими издали, мелодиями, из которых до него доносились отдаленные созвучия, словно отраженные зеркальной гладью пруда, опьяненный ароматом цветов, особенно сильно распускающихся к концу парижского бала, когда в поздний час утрачивается всякое понятие о времени и утомление от бессонной ночи, вся ее нервная атмосфера погружают мозг в какой-то сладостный дурман.

Здоровая натура Жансуле, этого цивилизованного дикаря, была более чувствительна, чем натура всякого другого человека, к этим доселе ему неведомым утонченным впечатлениям. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не обнаружить радостным возгласом, неуместным потоком слов или неумеренной жестикуляцией чисто физическую радость, переполнявшую его существо, как это бывает с большими сенбернарами,

которых одна капля спирта приводит в неистовство.

— Небо ясное, тротуары сухие... Если ничего не имеете против, дорогой мой, отошлем карету и вернемся пешком, — сказал Жансуле своему спутнику, выходя от ирландца.

Де Жери охотно согласился. Он чувствовал потребность пройтись, стряхнуть с себя на свежем воздухе мерзость и ложь этой светской комедии, заставившей его сердце похолодеть и сжаться, а кровь прилить к вискам, на которых вздулись и бились жилы. Он шатался, подобно больному, у которого только что сняли катаракты с глаз и который, словно страшись возвращенного зрения, не решается сделать ни шагу. И какой грубой рукой была произведена операция! Итак, эта талантливая художница, носящая славное имя, прекрасная чистой и неприступной красотой, представшая перед ним как волнующее видение, всего лишь куртизанка... Г-жа Дженкинс, эта величественная дама, которая держалась так гордо и вместе с тем кротко, не носила фамилию Дженкинс... Известный ученый с открытым лицом, такой приятный в обращении, имел наглость выставлять напоказ свою постыдную связь... Парижский свет подозревал это, что не мешало ему собираться на их вечера. Наконец, Жансуле, такой добрый и великодушный, которому он был стольким обязан, попал в шайку разбойников и сам тоже разбойник, вполне достойный того, чтобы его обобрали и заставили вернуть награбленные миллионы...

Так ли это, и чему после этого верить?

Взгляд, искоса брошенный на Набоба, который хвоей особой загромождал весь тротуар, вдруг открыл ему в этой тяжелой, говорящей о грузе миллионов походке нечто неизменное и наглое, чего он раньше не замечал. Да, перед ним был настоящий южный авантюрист, пропитанный грязью марсельских набережных, истоптанных всеми кочевниками, всеми бродягами морских портов. Добрый, великодушный... Да, черт возьми, как бывают добры и великодушны проститутки или воры! Золото, струящееся потоками в этом средоточии порока и роскоши, забрызгивая даже стены, несет с собой, как Полю казалось теперь, всю накипь, все нечистоты своего грязного и мутного источника. Раз это так, ему, Полю де Жери, остается только одно — уехать, как можно скорее покинуть это место, где он рискует запятнать свое имя, единственное отцовское наследие. Да, конечно. Но там, на родине, кто уплатит за учение двух его маленьких братьев? Кто поддержит их скромный дом, чудом восстановленный благодаря большому жалованью старшего брата — главы семьи? И едва он произнес мысленно эти два слова: «глава семьи», как в его душе сразу же началась борьба,

борьба выгоды с совестью: выгода, грубая, сильная, нападала открыто, шла напролом, совесть готова была на сделку, пускала в ход те же уловки. А в это время Набоб, причина этой борьбы, шел большими шагами рядом со своим молодым другом, с наслаждением вдыхая свежий воздух и покуривая сигару.

Никогда еще жизнь не казалась ему столь прекрасной. Вечер у Дженкинса, его первое появление в свете оставили впечатление воздвигнутой в его честь триумфальной арки, сбжавшейся толпой, которая усылала его путь цветами.

Правду говорят, что вещи таковы, какими мы их видим. Какой успех! Герцог, прощаясь, пригласил его осмотреть свою картинную галерею, а это означает, что не пройдет и недели, как двери дворца де Мора будут для него открыты. Фелиция Рюис согласилась лепить его бюст, значит, в Салоне будет выставлено мраморное изваяние сына торговца гвоздями, созданное тем же большим мастером, что и бюст государственного министра. Итак, все его ребяческие тщеславные мечты осуществлены!

Оба ушли в свои мысли: один-в мрачные, другой — в радостные, — позабыли обо всем окружающем, были настолько поглощены своими думами, что до самой Вандомской площади, залитой голубоватым холодным светом, безмолвной площади, где гулко раздавались их шаги, они не обменялись ни единым словом.

:- Уже пришли, — сказал Набоб, — а мне бы хотелось еще немного пройтись. Вы ничего не имеете против?

В то время как они несколько раз обходили площадь, Набоб уже не мог сдержать огромную, переполнявшую его радость, и она по временам прорывалась:

— Как хорошо! Как легко дышится! Убей меня бог, я бы не отдал сегодняшней вечер за сто тысяч франков... Какой славный человек этот Дженкинс!.. Скажите, нравится вам тип красоты Фелиции Рюис? Я в восторге... А герцог?.. Вот настоящий вельможа! И так прост, так любезен!.. До чего прекрасен Париж, не правда ли, милый друг?

— Он слишком сложен для меня... Он меня пугает, — глухо ответил Поль де Жери.

— Да, да, понимаю, — сказал его собеседник с простодушным самодовольством. — Вы еще не привыкли, но ничего, скоро обживетесь, можете быть уверены. Посмотрите на меня — за один месяц я здесь совершенно освоился.

— Потому что вы уже бывали в Париже... Вы ведь и раньше здесь жили.

— Я? Никогда. Кто это вам сказал?

— Вот как? А я думал... — начал было молодой человек, и тут же целый вихрь новых мыслей закружился у него в голове. — Что вы сделали барону Эмерленгу? Вы смертельно ненавидите друг друга.

Набоб остановился в замешательстве. Имя Эмерленга, неожиданно ворвавшееся в их беседу, нарушило его радужное настроение, напомнив единственный неприятный эпизод сегодняшнего вечера.

— Ему, как и всем, я делал только добро, — печально сказал Набоб. — Мы начали вместе бедняками. Мы возвышались, богатели вместе. Когда он решил отделиться, я стал помогать ему и всегда его поддерживал, как только мог. Я выхлопотал ему поставки на флот и армию, на десять лет. На них он нажил почти все свое состояние. И вот в один прекрасный день этот тупоумный флегматичный швейцарец изволил увлечься какой-то одалиской, которую мать бея прогнала из гарема. Распутница была красива и честолюбива. Она заставила его жениться на себе, и естественно, что, сделав такую «блестящую партию», Эмерленг вынужден был покинуть Тунис... Его уверили, будто по моему настоянию бей запретил ему переступать границы Туниса. Но это неверно. Напротив, я добился от его высочества того, что он разрешил остаться в Тунисе Эмерленгу-младшему — сыну от первого брака — для защиты их интересов, оставшихся без надзора, в то время как отец основывал в Париже свой банкирский дом. Нечего сказать, хорошо я был награжден за эту услугу!.. Когда, после смерти доброго Ахмеда, Мушир, брат покойного, вступил на престол, Эмерленги, снова вошедшие в милость, начали мне вредить как только могли, стараясь опорочить меня в глазах нового государя. Бей все еще относится ко мне благосклонно, но кредит мой пошатнулся. И вот, несмотря на все козни, которые строил и продолжает строить мне Эмерленг, я готов был сегодня протянуть ему руку... Но этот негодяй не только не захотел со мной примириться, он еще оскорбил меня устами своей жены, дикой и злой твари, которая не прощает мне того, что я не принимал ее у себя в Тунисе... Знаете, что она мне сегодня бросила, проходя мимо? «Вор и собачий сын...» Не очень-то стесняется в выражениях эта одалиска!.. Если бы я не знал, что Эмерленг так же труслив, как и тот... В конце концов пусть говорят, что хотят. Плевать мне на них! Что они могут мне сделать? Очернить меня перед беем? Мне это безразлично. Мне больше нечего делать в Тунисе, я постараюсь закончить там все дела как можно скорее. Есть только один город, одно место в мире — это Париж, Париж радушный, гостеприимный, без предрассудков, где всякий умный человек находит простор для самой широкой деятельности...

А я, милый мой, хочу посвятить себя именно такой деятельности... Мне надоела жизнь торгаша... Я двадцать лет работал ради денег, а теперь я жажду славы, уважения, известности. Я хочу, чтобы мое имя вошло в историю моей родины, и мне нетрудно будет достичь этого. Благодаря моему огромному состоянию, знанию людей и деловому опыту, с моей головой я могу добиться всего, и я стремлюсь ко всему... Верьте мне, дорогой мой, и никогда меня не покидайте (казалось, он читает мысли своего юного собеседника). Оставайтесь верны моему кораблю. Оснастка у него прочная, запас угля достаточный... Клянусь вам, мы пойдем далеко, и притом быстро, черт возьми!

Так в ночной тишине простодушный южанин делился своими планами, оживленно жестикулируя. Меряя большими шагами словно выросшую, безлюдную площадь, окруженную величественными замкнутыми дворцами, он поднимал время от времени голову и устремлял взор на бронзовую статую, венчавшую колонну,^[17] как бы призывая в свидетели того прославленного выскочку, присутствие которого в самом центре Парижа поощряет все честолюбивые замыслы, оправдывает самые несбыточные мечты.

Юность одарена душевной теплотой, она чрезвычайно легко отдается порыву и загорается от малейшей искры. Слушая Набоба, Поль де Жери чувствовал, что его подозрения исчезают, что возвращаются симпатии к нему, но только с оттенком жалости... Нет, без сомнения, Набоб отнюдь не негодяй, а просто человек, сбитый с толку, которому богатство бросилось в голову, оказало на него такое же действие, какое оказывает слишком крепкое вино на желудок, долгое время довольствовавшийся водой. Один в самом сердце Парижа, окруженный врагами и корыстолюбцами, Жансуле казался ему путником, который с грузом золота пробирается через лес, кишаций всяким сбродом, в темноте, без оружия. И он подумал о том, что обязан, не подавая вида, охранять своего покровителя, сделаться зорким Телемахом этого слепого Ментора,^[18] указывать ему на рытвины, защищать его от грабителей — словом, стараться помочь выйти невредимым из лабиринта ночных засад, которые, как он чувствовал, яростно грозят Набобу и его миллионам.

V. СЕМЕЙСТВО ЖУАЙЕЗ

Каждое утро в любое время года, ровно в восемь часов, новый, почти необитаемый дом в одном из отдаленных парижских кварталов оглашался криками, возгласами, серебристым юным смехом, звеневшим на пустынной лестнице:

— Папа, не забудь мои ноты!..

— Папа, шерсть для вышивания!..

— Папа, купи нам булочки!..

А снизу раздавался голос отца:

— Яйя, принеси портфель.

— Подумайте только, он забыл портфель!..

Во всем доме поднималась веселая суэта, беготня прелестных девушек с заспанными мордочками, с растрепанными волосами, которые они на ходу приводили в порядок. Это продолжалось до того мгновения, когда весь выводок, склонившись над перилами, звонко посылал прощальный привет маленькому старому человечку, чистенькому, гладко причесанному, румяному, худощавая фигурка которого исчезала, наконец, из виду за поворотами лестницы. Г-н Жуайез отправлялся на службу... После этого вся стайка, выпорхнувшая из голубятни, быстро поднималась на пятый этаж и, заперев входную дверь, теснилась у открытого окошка, чтобы еще раз взглянуть на отца. Старичок оборачивался, обменивался с дочерьми воздушными поцелуями, потом окно закрывалось. В новом безлюдном доме водворялась тишина, только вывески, раскачиваемые ветром, гулявшим по недостроенной улице, плясали бешеную сарабанду, словно развеселившись от всей этой суматохи. Несколько минут спустя фотограф спускался с шестого этажа, чтобы вывесить у дверей свою витрину, всегда с теми же снимками, на которых был изображен старичок в белом галстуке, окруженный своими дочерьми в самых разных позах. Затем фотограф поднимался к себе, и по внезапно наступившей тишине после недолгого утреннего оживления можно было предположить, что отец и «его барышни» возвратились в рамку с фотографиями, где и оставались до вечера, неподвижные и улыбающиеся.

От улицы св. Фердинанда до банкирского дома «Эмерленг и сын», где служил г-н Жуайез, надо было идти около часа. Г-н Жуайез шагал, не поворачивая головы, держа ее прямо, словно боясь помять чудесный бантик галстука, завязанный дочерьми, или сдвинуть шляпу, надетую их же

руками. И если старшая, такая заботливая и предусмотрительная, поднимала, когда он выходил из дому, воротник его пальто, чтобы предохранить отца от проклятого сквозняка на пере- крестке, г-н Жуайез даже в очень теплые дни не опускал его до самого банка, подобно тому как любовник, вырвавшийся из объятий возлюбленной, не смеет пошевелиться из боязни рассеять опьяняющий аромат.

Овдовев несколько лет тому назад, этот почтенный человек жил только для дочерей, думал только о них, совершал свой жизненный путь, окруженный белокуроыми головками, которые витали вокруг него, словно ангелы на картине, изображающей Успенье божьей матери. Все его желания, все его планы сосредотачивались на его «барышнях», мысль его беспрестанно возвращалась к ним, сделав порой большой круг, потому что г-н Жуайез, вероятно, из-за своей короткой шеи и маленького туловища, где кипящая кровь совершала оборот в один миг, был одарен изумительным, богатым воображением. Мысли кружились у него в голове с такой же быстротой, с какой пустые колосья кружатся в грохоте. На службе цифры своей положительностью приковывали его внимание, но на улице его мозг вознаграждал себя за служение этой безжалостной профессии. Привычный процесс ходьбы по изученной до малейших подробностей дороге предоставлял полную свободу его воображению. Он придумывал такие необычайные происшествия, каких хватило бы на два десятка бульварных романов.

Если, к примеру, г-н Жуайез, идя по правой стороне улицы предместья Сент-Оноре — он всегда держался этой стороны, — замечал тележку прачки, несущуюся во весь опор, причем лошадью правила крестьянка, а ребенок ее, сидя на тюке с бельем, слегка наклонялся, добряк в испуге кричал:

— Ребенок! Смотрите за ребенком!

Голос его терялся в стуке колес, и лишь таинственное провидение слышало его предостерегающий возглас. Тележка проезжала мимо. С минуту он провожал ее глазами, потом продолжал свой путь. Однако драма, возникшая в его мозгу, не переставала развиваться во множестве эпизодов... Ребенок упал... Он сейчас попадет под колеса... Г-н Жуайез кидается, хватая малютку, который был уже на волосок от смерти, но его самого дышло ударяет прямо в грудь, и он падает, обливаясь кровью. Его несут в аптеку в сопровождении собравшейся толпы. Затем кладут на носилки и относят домой. Вдруг он слышит душераздирающий крик дочерей, его горячо любимых девочек. И этот крик отчаяния проникает в самое его сердце, он слышит так явственно, так отчетливо: «Папочка,

дорогой папочка!..», что сам кричит на улице, к великому удивлению прохожих, и таким хриплым голосом, что пробуждается от кошмара, возникшего в его воображении.

Хотите еще один пример игры его фантазии? Идет дождь, холодно, погода отвратительная, и, чтобы поскорей добраться до банка, г-н Жуайез сел в омнибус. Напротив него расположился какой-то великан с грубым лицом и необычайно развитой мускулатурой. Маленький, щупленький г-н Жуайез, с портфелем на коленях, подбирает под себя ноги, чтобы освободить место для огромных столбов, поддерживающих монументальный корпус сидящего напротив гиганта. Под стук колес омнибуса и шум дождя г-н Жуайез начинает мечтать. И вдруг великан, у которого, в сущности, довольно добродушная физиономия, с изумлением видит, что маленький старичок меняется в лице, что он смотрит на него, скрежеща зубами, свирепым взглядом убийцы. Да, настоящего убийцы, ибо в эту минуту перед г-ном Жуайезом встает страшное видение... Одна из его дочерей сидит здесь, против него, рядом с этим исполинского роста скотом, и этот мерзавец обнимает ее под накидкой за талию.

— Уберите вашу руку, милостивый государь! — уже два раза повторил г-н Жуайез. Но великан только посмеивается... Теперь он собирается поцеловать Элизу...

— Ах, разбойник!..

Г-н Жуайез, слишком слабый физически, чтобы защитить свою дочь, с пеной у рта ищет в кармане нож, наносит наглецу удар прямо в грудь н, высоко подняв голову, преисполненный сознания своих прав оскорбленного отца, отправляется заявить о своем преступлении в ближайший полицейский участок.

— Я только что убил в омнибусе человека.

При звуке собственного голоса — а он действительно произнес эти зловещие слова, и не в полицейском участке, — несчастный приходит в себя, догадывается по испуганным лицам пассажиров, что он, по-видимому, высказал вслух свои мысли, и тут же, воспользовавшись возгласом кондуктора: «Церковь святого Филиппа!.. Пантеон!.. Бастилия!»- смущенный, спешит выскочить из омнибуса, оставив публику в полнейшем недоумении.

Эта постоянная игра воображения наложила свою печать на лицо г-на Жуайеза, всегда лихорадочно возбужденное, носящее следы глубоких потрясений и представляющее разительный контраст с корректным обликом мелкого служащего. За один день он переживал столько бурных жизней!.. Таких людей, которые грезят наяву, гораздо больше, чем принято

думать. Их доля слишком тесна для них, она подавляет их нерастроченные силы и героические склонности... Грезы являются отдушиной, через которую эти силы находят себе выход; они вырываются со страшным клокотанием, как пар из раскаленного горна, вырываются вместе с неясными образами, которые тут же исчезают. После таких видений одни сияют от радости, а другие возвращаются к повседневной жизни обессиленными и подавленными. Г-н Жуайез принадлежал ко второй категории: он беспрестанно возносился на такие высоты, откуда спуск, да еще столь стремительный, невозможен без ушибов.

Итак, однажды утром наш фантазер, покинув свой дом в обычное время и при обычных обстоятельствах.

78 начал, свернув с улицы св. Фердинанда, сочинять один из своих ненаписанных романов. Приближавшийся конец года, а возможно, дощатый барак, который сколачивали на соседнем дворе, навел его на мысль о новогодних подарках, о радостях Нового года. И сразу же слово «наградные» возникло в его мозгу как исходная точка самой поразительной истории. В декабре все служащие Эмерленга получали двойной оклад жалованья, а, как вам известно, в семьях скромного достатка на такого рода даяниях строится множество честолюбивых планов, на них зиждется возможность оказать внимание близким, сделать подарки, обновить что-нибудь на мебели, отложить небольшую сумму на черный день.

Дело в том, что г-н Жуайев был не богат. Его жена, урожденная де Сент-Аман, обуреваемая стремлением к пышности и светской жизни, поставила скромный дом мелкого служащего на такую широкую ногу, что за три года, прошедшие после ее смерти, то есть с того дня, как хозяйство начала вести, со всем присутим ей благоразумием, Бабуся, им не удалось сделать никаких сбережений: настолько тяготело над ними прошлое. И вдруг почтенный Жуайез вообразил, что в этом году наградные будут значительно повышены из-за увеличения объема работы в связи с тунисским займом. Этот заем был выгодным делом для его хозяев, даже слишком выгодным, и г-н Жуайез позволил себе заметить на службе, что на этот раз «Эмерленг и сын» уж чересчур коротко обстригли турка.

«Без сомнения, наградные будут удвоены!» — думает фантазер, шагая по улице, и он уже представляет себе, как через месяц поднимется со своими товарищами для новогоднего поздравления по маленькой лестнице, ведущей в кабинет Эмерленга. Хозяин сообщает им эту приятную новость, потом на минутку задерживает у себя одного г-на Жуайеза. И вот банкир, обычно такой высокомерный, утопающий в своем желтом жире, как в тюке шелка-сырца, становится сердечным, общительным, говорит отеческим

тоном. Он хочет узнать, сколько у Жуайеза дочерей.

— У меня их три... то есть четыре, господин барон... Я всегда путаю... Старшая — такая умница...

Барон пожелал также узнать их возраст.

— Алине двадцать, господин барон, она старшая... Следующая — Элиза, ей восемнадцать; она готовится к экзамену. Дальше-Анриетта, ей четырнадцать лет, и Заза, или Яйя, ей всего двенадцать.

Уменьшительное имя Яйя позабавило барона, и он поинтересовался, на какие доходы живет это симпатичное семейство.

— Только на мое жалованье, господин барон... Других доходов у нас нет... У меня была отложена небольшая сумма, но болезнь жены, воспитание дочерей...

— Вы мало зарабатываете, милейший Жуайез... Я назначаю вам тысячу франков в месяц.

— О господин барон, это слишком много!

И хотя он произнес последнюю фразу вслух, чуть не за самой спиной полицейского, который, обернувшись, подозрительно посмотрел на проходившего старичка, размахивавшего руками и мотавшего головой, бедный фантазер не очнулся от своих грез. Г-н Жуайез видит, как вне себя от восторга он возвращается домой, сообщает радостную весть дочерям и ведет их вечером в театр, чтобы отпраздновать это счастливое событие. Господи, до чего были прелестны барышни Жуайез, сидевшие в первом ряду ложи! Букет роз! На другой день у него просят руки двух старших дочерей... Кто именно просит их руки, осталось неизвестным, так как г-н Жуайез = неожиданно для себя очутился у особняка Эмерленга, перед вращающейся дверью, над которой золотыми буквами выведена вывеска: «Касса».

«Я никогда не исправлюсь», — подумал он, улыбаясь, и провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота.»

Его мечты, а также ярко пылавшие каминные в тянувшихся анфиладой банковских помещениях нижнего этажа с паркетными полами и решетками на окнах» откуда проникал тусклый свет, позволявший, не портя зрения, считать блестящие золотые монеты, привели г-на Жуайеза в отличное расположение духа. Он весело поздоровался с остальными сотрудниками, надел рабочую блузу и черную бархатную ермолку, как вдруг сверху раздался свист. Бухгалтер, приложив трубку к уху, услышал невнятный, гнусавый голос Эмерленга, единственного настоящего Эмерленга (сын неизменно пребывал в отлучке), требовавший г-на Жуайеза. Что такое? Неужели сон продолжается?..

В сильном волнении он стал подниматься по маленькой лестнице, по которой только что в своем воображении так храбро взбирался, и вошел в кабинет банкира — узкую комнату с высоким потолком, с зелеными портъерами, обставленную огромными кожаными креслами, приспособленными к необыкновенной толщине главы фирмы. Банкир, тучный, пыхтящий, сидел у своего письменного стола, к которому его живот мешал придвинуться вплотную. Он был до того желтый, что его круглая физиономия с крючковатым носом, придававшая ему сходство с ожиревшим больным филином, как бы светилась на фоне внушительного и мрачного кабинета. Настоящий толстый мавританский купец, покрывшийся плесенью от сырости своего маленького двора. При входе Жуайеза из-под тяжелых, с трудом приподнявшихся век на минуту блеснули глаза банкира. Он знаком приказал бухгалтеру приблизиться и медленно, холодно, отрывистыми из-за одышки фразами вместо «Господин Жуайез! Сколько у вас дочерей?» сказал следующее:

— Жуайез! Вы позволили себе критиковать в банке наши последние операции на тунисской бирже. Оправдываться бесполезно. То, что вы говорили, мне было передано слово в слово. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь из моих служащих вел такие разговоры, и потому заявляю вам, что с первого числа вы можете считать себя свободным.

Кровь бросилась в лицо старому бухгалтеру, затем отхлынула, затем снова прилила. В ушах у него зазвенело, в голове, как в калейдоскопе, промелькнуло множество безотрадных мыслей и образов.

Его дочери!

Что с ними станет?

Так трудно найти место в это время года!

Перед ним встал образ нужды и еще один образ: он увидел себя на коленях перед Эмерленгом, умоляющим, грозящим, хватающим его за горло в припадке отчаяния и ярости. Все эти переживания пробежали по лицу старичка, как порыв ветра, который покрывает зыбью поверхность озера, бороздя его во всех направлениях, но сам он стоял молча, неподвижно и лишь после того, как хозяин предложил ему удалиться, спустился, шатаясь, и принялся за работу в бухгалтерии.

Вечером, вернувшись на улицу св. Фердинанда, г-н Жуайез ничего не сказал дочерям. Он не мог на это решиться. Мысль омрачить лучезарную радость, царившую в доме, вызвать слезы на ясных глазах показалась ему невыносимой. Он принадлежал к тем слабым, боязливым людям, которые постоянно говорят себе: «Подождем до завтра». Итак, он не сказал им о своей беде, дожидаясь конца ноября, убаюкивая себя смутной надеждой,

что Эмерленг еще изменит свое решение, как будто ему не было известно злобное упорство этого обрюзгшего моллюска, прилепившегося к слитку золота. Когда же ему было выплачено в последний раз жалованье и другой бухгалтер занял его место за высокой конторкой, за которой он простоял столько лет, Жуайез возымел надежду скоро найти другую должность и поправить беду, прежде чем он будет вынужден признаться в ней своим дочерям.

Каждое утро он делал вид, что отправляется на работу, позволяя снаряжать и провожать себя как обычно, брал с собой объемистый кожаный портфель, подготовленный для исполнения бесчисленных поручений, которые давались ему на вечер. О некоторых из них он преднамеренно забывал, так как подходил конец месяца, который ему ничего не сулил, хотя времени у бедняги, конечно, хватило бы, чтобы выполнить все эти поручения. Весь день принадлежал ему, бесконечный день, который он проводил, бегая по Парижу в поисках места. Ему давали адреса, отличные рекомендации, но в декабре — в этом жестоком месяце, когда стоит такой холод, а дни так коротки, месяце, отягощенном предстоящими расходами и заботами, служащие запасаются терпением, так же как и хозяева. Каждый старается спокойно окончить год, откладывая до января, до великого перехода к новому этапу, все перемены, попытки улучшить, по-новому устроить свою жизнь.

Всюду, куда являлся г-н Жуайез, лица внезапно принимали холодное выражение, как только он объяснял цель своего прихода. «Скажите, пожалуйста! Вы больше не служите у Эмерленгов? Как же это случилось?» Он пытался объяснить свое увольнение капризом банкира, этого свирепого Эмерленга известного всему Парижу. Но в ответе, который он неизменно получал: «Наведайтесь после праздников», — чувствовались холодность и недоверие. Бывали дни, когда по свойственной ему робости он уже не осмеливался куда-нибудь обратиться. Двадцать раз проходил он взад и вперед мимо порога, который так и не решился бы переступить, если бы не мысль о дочерях. Эта мысль толкала его в спину, придавала прыти ногам, гоняла в один и тот же день в противоположные концы Парижа по путаным адресам, которые ему давали товарищи, — в Обервилье, к примеру, на большую фабрику по обжигу костей, куда его напрасно заставили приходить три дня подряд.

Дождь, изморозь, захлопывающиеся перед носом двери, безуспешные попытки застать хозяина, который куда-то вышел или занят, обещание, данное и тут же взятое обратно, обманутые надежды, тягостное длительное ожидание, унижения, выпадающие на долю каждого человека, который

просит работы, словно нуждаться в ней постыдно, — все эти печали изведаль г-н Жуайев, а также и горькие минуты, когда от упорных преследований судьбы иссякает терпение. Легко себе представить, что жестокие терзания «человека, ищущего места», удесятерились миражами, создаваемыми его воображением, призраками, выставившими перед ним из бульжника парижской мостовой, которую он исколесил во всех направлениях.

В течение целого месяца он был одной из тех жалких марионеток, произносящих монологи и жестикулирующих на тротуаре, у которых при каждом соприкосновении с толпой вырываются восклицания лунатика: «Я это предвидел» или «Будьте уверены, сударь». Прохожие готовы уже рассмеяться, но их останавливает жалость к этим несчастным людям, не совнающим, где они, находящимся во власти навязчивой идеи, к этим слепым, которые двигаются, как во сне, ведомые невидимой нитью. Всего ужаснее после длинных и жестоких дней полного бездействия и усталости было возвращение к себе домой, когда г-ну Жуайеву приходилось разыгрывать роль человека, вернувшегося после трудового дня, рассказывать о всех событиях, случившихся за день, передавать сплетни товарищей, которыми он постоянно забавлял своих барышень.

В скромных семьях всегда бывает имя, которое повторяется чаще других: оно упоминается в критические минуты, связанные со всеми надеждами и всеми пожеланиями, и даже дети, проникшиеся его значением, пользуются им в своих играх. Это имя человека, являющегося вторым провидением или скорее божком домашнего очага, его добрым гением. Обычно это имя хозяина предприятия, директора фабрики, домовладельца или министра, который держит в своей могущественной длани благоденствие и даже самое существование целой семьи. Для Жуайезов это был Эмерленг, имя его повторялось десять, двадцать раз в день в разговорах девиц, оно связывалось со всеми проектами, со всеми их тщеславными мечтами: «Если бы Эмерленг захотел... Все зависит от Эмерленга». Всего милей была фамильярность, с какой девицы Жуайез говорили о толстом богаче, хотя они его никогда в глаза не видели.

Они справлялись о его здоровье. Расспрашивали, говорил ли с ним отец, в хорошем ли он был расположении духа... И подумать только: как бы ни были мы смиренны и принижены судьбой, всегда найдутся люди еще более смиренные, еще более приниженные и несчастные, которым мы кажемся великими, для которых мы боги и в качестве богов равнодушны к ним, презрительны и жестоки!

Можете себе представить пытку г-на Жуайеза, принужденного

выдумывать забавные эпизоды, всякие истории о негодяе, безжалостно уволившем его после десятилетней честной службы. Тем не менее он разыгрывал эту маленькую комедию, и настолько удачно, что ему удавалось обмануть своих близких. Дочери только замечали, что, вернувшись домой, он набрасывается на обед с волчьим аппетитом. Еще бы! С того дня, как бедняга потерял место, он уже не завтракал.

Время шло, а г-н Жуайез все не находил работы. Правда, ему предложили место бухгалтера в Земельном банке, но он от него отказался: он слишком хорошо знал банковские операции, всю подноготную финансовой системы вообще и Земельного банка в частности, вот почему он не согласился работать в этом вертепе.

— Я вам ручаюсь, что речь идет о серьезном деле, — сказал ему Пассажон, так как это именно Пассажон. встретив славного старика и узнав, что он без места, предложил ему поступить на службу к Паганетти. — У нас много денег, теперь у нас платят и даже со мной расплатились: посмотрите, каким я стал щеголем!

И действительно, старый служака был обряжен в новенькую форму, и теперь под курткой с посеребренными пуговицами величественно выступало его брюхо. Тем не менее г-н Жуайез не поддался искушению даже после того, как Пассажон, выпучив свои голубые глаза, со свойственной ему высокопарностью шепнул приятелю на ухо следующие, полные самых заманчивых перспектив, слова:

— В деле принимает участие Набоб!

Даже после этого г-н Жуайез имел мужество отказаться. Лучше умереть с голоду, чем поступить в нечистоплотную фирму, отчетность которой, быть может, ему придется когда-нибудь проверить по поручению суда.

Итак, он продолжал бегать по Парижу, хотя, упав духом, прекратил поиски места. Так как ему приходилось проводить время вне дома, он подолгу задерживался у книжных ларьков на набережных или часами, облокотившись на перила, смотрел на реку и на разгрузку судов. Он стал одним из тех праздношатающихся, которых встречаешь в первом ряду всех уличных сборищ, которые укрываются от ливня в подъездах, подходят погреться к печам под открытым небом, где варится гудрон для асфальта, бессильно опускаются на скамьи бульваров, когда ноги отказываются служить.

Ничего не делать — какое это отличное средство продлить свою жизнь!

Однако по временам, когда г-н Жуайез очень уставал или небо было

слишком мрачно, он выжидал за углом, пока его барышни закроют окна, и возвращался домой, прижимаясь к стенам, взбегал по лестнице, проходил мимо своей двери, затаив дыхание, и находил приют у фотографа. Андре Маранн, осведомленный о беде, постигшей соседа, радушно принимал его у себя, сочувствуя ему, как сочувствуют друг другу бедняки. Клиенты редки в квартале, граничащем с предместьем. Г-н Жуайез проводил долгие часы в ателье, вполголоса беседовал со своим другом или читал, прислушиваясь к дождю, барабанившему по стеклам, Или к ветру, завывавшему, как в открытом море, раскачивавшему старые двери и оконные рамы на строительной площадке, где валялись обломки снесенных домов. Снизу до него доносились знакомые, полные прелести звуки: кто-то напевал за работой, довольный своим делом, слышались смех, тиканье метронома: Бабуся давала урок музыки — вся эта милая суетня, от которой ему становилось тепло на душе. Он жил со своими дорогими девочками, которые, конечно, и не подозревали, что он так близко от них.

Однажды в отсутствие Маранна г-н Жуайез — верный страж ателье и новенького фотографического аппарата — услышал, как из пятого этажа два раза очень отчетливо постучали в потолок, а затем последовал шорох, похожий на мышиную возню. Дружеские отношения фотографа с соседями вполне допускали такое перестукивание. Но что это означало? Как ответить на этот, как ему показалось, призыв? На всякий случай г-н Жуайез тоже стукнул разика два так, совсем легонько, и на этом разговор прекратился. Возвратившись, Маранн объяснил, в чем дело. Все было очень просто: иногда среди дня барышни, встречавшиеся с соседом только по вечерам, справлялись, нет ли чего нового, не заходил ли кто-нибудь из клиентов. Стук, который слышал г-н Жуайез, означал: «Как сегодня обстоят дела?»- и г-н Жуайез по наитию, ничего не зная, ответил: «Не так плохо для этого времени года». Хотя Маранн, рассказывая, густо покраснел, г-н Жуайез поверял ему. Мысль о частых переговорах между фотографом и его барышнями возбудила в нем, однако, опасение, как бы его тайна не раскрылась, и с тех пор он стал воздерживаться от того, что у него называлось «днями, посвященными искусству». Впрочем, близился час, когда он все равно больше уже не сможет скрывать свое несчастье: подходил конец месяца, а вместе с ним — увы! — конец года.

В последние недели декабря Париж принимает праздничный вид. Только в эти дни еще веселится и радуется вся нация, весь народ. Безумства карнавала уже отошли в область преданий вместе с Гаварни. Церковные праздники, о которых возвещает колокольный звон, заглушаемый уличным шумом, справляются за тяжелыми закрытыми дверями храмов, а

Пятнадцатое августа всегда было праздником только для казарм. Но Париж неизменно чтит Новый год.

С начала декабря весь город ребячится. По улицам везут ручные тележки, наполненные позолоченными барабанами, деревянными лошадками, всякими игрушками, которые продаются десятками. В кварталах кустарей, во всех помещениях шестиэтажных домов, в старинных особняках района Марэ, где магазины отличаются высокими потолками и величественными двойными дверями, все ночи напролет возятся с тюлем, цветами и фольгой, наклеивают этикетки на атласные коробки, ставят фабричное клеймо, сортируют, упаковывают — это целый мир разнообразнейших детских игрушек, изделия для предпраздничной торговли, на которые Париж налагает печать своего изящества. Все это пахнет новым деревом, свежей краской, сверкающим лаком, и в пыли чердаков, на убогих лестницах, куда бедный люд заносит уличную грязь, прилипшую к подошвам, валяются стружки розового дерева, лоскутья атласа и бархата, кусочки мишуры, все отходы роскоши, ослепляющие детские глаза. Потом украшаются витрины магазинов. За зеркальными окнами книги с золотым обрезаем и тиснением, предназначенные для подарков, вздымаются сверкающими волнами при свете газа, ткани разнообразных, заманчивых оттенков падают крупными, тяжелыми складками, между тем как продавщицы, с высоко взбитыми прическами, с бархатками на шее, расставляют товары, отставив мизинец, или наполняют муаровые мешочки, в которые конфеты сыплются бисерным дождем.

Но наряду с этой буржуазной торговлей, уютно расположившейся в теплых помещениях, отгородившейся от улицы богатыми витринами, тянется двойной ряд деревянных ларьков, не защищенных от ветра, на которых выставлены другие товары, создаваемые экспромтом; они придают бульварам вид ярмарочного гулянья. Именно здесь сосредоточен весь интерес, здесь таится вся поэзия новогодних подарков. Нарядные — в районе церкви св. Магдалины, мещанские — по направлению к бульвару Сея-Деи, простонародные — поблизости от Бастилии, ларьки эти видоизменяются в зависимости от покупателей, ибо выручка определяется тем, насколько туго набиты кошельки у прохожих. Между ларьками расставлены переносные столы, заваленные мелкими вещицами, чудесами парижского ремесла, созданными словно из воздуха, такими хрупкими и легкими, что из-за самой этой легкости мода иногда подхватывает их и увлекает в своем внезапно набежавшем вихре. Наконец вдоль тротуаров, затерявшись между вереницами экипажей, которые задевают их на ходу, шмыгают торговки апельсинами с грудами ярко-оранжевых плодов на

лотках под фонариками из красной бумаги, выкрикивая: «Апельсины, валенсийские апельсины!» Они словно дополняют эту картину бродячей торговли среди тумана, шума, невероятной спешки, в которой Париж заканчивает старый год.

Обычно г-н Жуайез принимал участие в суете этой озабоченной толпы, которая двигалась во всех направлениях, нагруженная пакетами, побрякивая деньгами в карманах. Он ходил вместе с Бабусей за подарками для своих барышень и останавливался у прилавков мелких торговцев, которые еще не привыкли продавать и потому волнуются при виде каждого покупателя, рассчитывая за короткий срок предпраздничной торговли нажать огромные барыши. И тут начинались разговоры, толки, бесконечные колебания, ибо что-нибудь всегда отвлекало этот сложный маленький мозг от того дела, на котором сейчас следовало сосредоточиться.

В этом году — увы! — ничего похожего! Г-н Жуайез печально бродил по радостно возбужденному городу, еще более угнетенный, еще тяжелее переживая свою праздность среди окружавшей деятельной толпы, задевавшей, толкавшей его, как и всех, кто мешал движению. Сердце его билось от непрерывного страха, так как Бабуся в последнее, время делала ему за столом весьма прозрачные и многозначительные намеки относительно новогодних подарков. Он избегал оставаться с нею вдвоем и запретил ей заходить за ним в банк после окончания занятий. Но, несмотря на эти предосторожности, он понимал, что приближалась минута, когда скрывать тайну станет уже невозможно, что она будет разоблачена... Такой ли уж грозной была эта Бабуся, которой так боялся г-н Жуайез?.. О нет!.. Несколько строга, вот и все, — и какая прелестная улыбка, тут же прощающая виновного! Но г-н Жуайез по своей природе был нерешителен, робок, и двадцать лет супружеской жизни с властолюбивой женщиной «знатного происхождения» навсегда превратили его в раба, как одного из тех каторжников, которые, отбыв срок наказания, остаются еще на некоторое время под особым надзором. Он же оставался в таком положении всю жизнь.

Однажды вечером семейство Жуайез собралось в маленькой гостиной — этом последнем обломке былой роскоши, где сохранились еще два мягких кресла, множество вязаных салфеточек, фортепьяно, две карселевые лампы под зелеными колпачками и шифоньерка, уставленная безделушками.

Настоящий домашний очаг бывает только в скромных семьях.

Из экономии во всем доме топился только один камин, зажигалась

только одна лампа, вокруг которой собиралось все семейство, занимаясь каким-нибудь делом или весело болтая, вокруг славной большой семейной лампы под старым абажуром с прозрачными картинками — ночными пейзажами, усеянными блестящими точками. Абажур этот вызывал изумление и радость у барышень Жуайез, когда они были маленькие. Мягко выступали из полумрака комнаты четыре белокурые и темноволосые головки, склонившиеся под уютным, греющим светом лампы, который, падая на верхнюю часть улыбавшегося или же сосредоточенного лица, казалось, придавал особый блеск глазам, подчеркивал лучезарную юность, запечатленную на ясном челе, лелеял их, укрывал, охранял от стужи, свирепствовавшей на улице, от призраков, от всяких козней, от горестей и ужасов, от всего зловещего, что бродит парижской зимней ночью в отдаленном квартале.

Замкнувшись в тесном кругу, в маленькой комнатке на пятом этаже безлюдного дома, уютной и опрятной, в тепле и безопасности, семейство Жуайез производит впечатление гнезда на макушке высокого дерева. Девушки шьют, читают, изредка переговариваются. Слышно, как гудит пламя, как трещат дрова в камине, да изредка что-нибудь скажет г-н Жуайез, который сидит поодаль от семейного кружка, забившись в темный уголок, где он скрывает свое озабоченное лицо и все причуды своего воображения. Он сидит, удрученный невзгодами, сознавая необходимость сегодня же вечером или, самое позднее, завтра во всем признаться дочерям, — и вдруг ему представляется, что в последнюю минуту неожиданно приходит помощь. Эмерленг, которого начала мучить совесть, посылает ему, как и всем остальным служащим, работавшим по тунисскому займу, декабрьские награды. Приносит их высокий лакей: «От господина барона!» Фантазер произносит эти слова вслух. Девушки оборачиваются к нему, смеются, суется, и несчастный тотчас пробуждается от грез... О, как жестоко корит он себя за то, что давно обо всем не рассказал, что поддерживал вокруг себя этот обманчивый покой, который придется внезапно разрушить! И с чего это он вздумал критиковать тунисский заем? В эту минуту он даже упрекает себя за то, что не поступил в Земельный банк. Разве он имел право отказываться?.. Как жалок глава семьи, который не в силах уберечь, оградить счастье своих близких!.. Глядя на прелестную группу девушек, освещенную лампой под большим абажуром, безмятежную, счастливую, составляющую столь разительный контраст с его душевными тревогами, он терзается угрызениями совести, и они настолько невыносимы для его слабой души, что тайна готова сорваться у него с языка, излиться в рыданиях... Но тут

раздается звонок — не в его воображении, а на самом деле. Все вздрагивают, и признание отца замирает на его устах.

Кто бы это мог прийти в такой час? Они жили уединенно после смерти матери, почти ни с кем не общались. Когда Андре Маранн на минуту заходил к ним, он стучал как друг, для которого двери всегда открыты.

В гостиной наступило глубокое молчание. На площадке велись продолжительные переговоры. Наконец старая служанка — она находилась в этом доме столько же времени, сколько и большая лампа, — ввела совершенно незнакомого молодого человека, который остановился на пороге, пораженный прелестной картиной: четыремя очаровательными созданиями, собравшимися вокруг стола. Вот почему он смутился, когда вошел, почувствовал себя неловко, что, однако, не помешало ему членораздельно объяснить причину своего посещения. Его направил к г-ну Жуайезу один знакомый, славный старик Пассажон: ему нужно познакомиться с бухгалтерией. Один из его друзей принимает участие в крупных операциях, вложил в них значительные суммы. Молодой человек хотел бы услужить своему другу, контролируя вложение капиталов, правильное ведение дел, но он адвокат, мало знаком с финансовой системой и банковской терминологией. Не мог ли бы г-н Жуайез за несколько месяцев, давая ему три-четыре урока в неделю...

— Конечно, милостивый государь, конечно, — пробормотал г-н Жуайез, ошеломленный этой неожиданной удачей. — Я берусь за несколько месяцев обучить вас всей этой премудрости... Где будут происходить уроки?

— У вас, если позволите, — ответил молодой человек, — я бы не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моих занятиях. Только мне было бы очень прискорбно, если бы мой приход каждый раз обращал всех в бегство, как сегодня вечером.

И в самом деле, при первых же словах незнакомца четыре девушки в локончиках, перешептываясь и шелестя юбками, скрылись, и гостиная, когда большой круг под светом лампы опустел, казалось, потускнела.

Весьма ревниво относясь ко всему, что касалось его дочерей, г-н Жуайез ответил, что «барышни рано расходятся вечером по своим комнатам». Это было сказано сухим тоном, который означал: «Прошу вас, молодой человек, перейдем к делу». Они условились относительно дней и часов для занятий по вечерам.

Что касается оплаты, то г-н Жуайез предложил молодому человеку самому ее определить.

Посетитель назвал цифру.

Старый бухгалтер густо покраснел: это была сумма, которую он получал у Эмерленгов.

— О нет, это слишком много!

Но собеседник не слушал его. Он замялся, как будто слова вертелись у него на языке, но он затруднялся их произнести, затем вдруг, собравшись с духом, сказал:

— Вот, пожалуйста, за первый месяц...

— Помилуйте, сударь!..

Молодой человек настаивал. Г-н Жуайез его не знает, и будет вполне справедливо, если он заплатит вперед... Очевидно, Пассажон предупредил его... Г-н Жуайез это понял и пробормотал вполголоса:

— Благодарю вас, благодарю вас!..

Он был так взволнован, что не находил слов. Спасены! Обеспечены на несколько месяцев, а за это время он сумеет оглядеться, приискать себе место. Его милые девочки ни в чем не будут нуждаться. Они получают подарки к Новому году. О провидение!..

— Итак, до среды, господин Жуайез?

— До среды, господин...

— Де Жери... Поль де Жери.

И они расстались, оба очарованные и восхищенные: один — неожиданным появлением спасителя, другой — мелькнувшей перед ним прелестной картиной, юными созданиями, собравшимися вокруг заваленного книгами, тетрадами и мотками ниток стола, милыми девушками, от которых веяло чистотой, порядочностью и трудолюбием. Для Поля де Жери открылся доселе ему неизвестный Париж, мужественный, семейственный, совсем не похожий на тот, который был ему знаком до сих пор. Об этом Париже не пишут фельетонисты и репортеры. Он напомнил Полю его провинцию, только с оттенком утонченности и прелести, который окружающая суматоха и шум придают тихому, укромному приюту.

VI. ФЕЛИЦИЯ РЮИС

— А ваш сын, Дженкинс?.. Что с ним стало?.. Почему его больше не видно у вас?.. Он очень милый юноша.

Говоря это резким и пренебрежительным тоном, каким она почти всегда обращалась к ирландцу, Фелиция продолжала работать над бюстом Набоба, только еще начатым ею, поправляла позу своей модели, бросала стеку и снова бралась за нее, быстро вытирая пальцы маленькой губкой. Через застекленную ротонду в мастерскую вливались покой и свет чудесного воскресного дня. Фелиция «принимала» по воскресеньям, если «принимать» означает широко раскрыть для всех свои двери, позволять людям входить, удаляться, на минуту присесть, в то время как хозяйка дома не отходит от своей работы, даже не прерывает беседы, чтобы приветствовать гостя. Ее посещали рыжебородые художники с тонкими лицами, заходили друзья Покойного Рюиса — старые романтики с седыми гривами, навещали любители, светские люди, банкиры, биржевые маклеры и молодые фаты, привлеченные скорее красотой хозяйки, чем ее скульптурой, и приходившие, чтобы иметь право вечером в клубе небрежно уронить: «Я был сегодня у Фелиции». Бывал у нее и Поль де Жери. Всегда молчаливый, исполненный восторга, который с каждым днем все больше овладевал его сердцем, он старался понять этот прекрасный сфинкс. В этот день, облаченная в алое кашемировое платье с кремовыми кружевами, в фартуке, закрытом, как у полнровщицы, до самой шеи, Фелиция неутомимо обрабатывала глину. А над фартуком высилась гордая головка, освещенная теми прозрачными тонами, теми мягкими лучами, которыми мысль и вдохновение порой озаряют человеческие лица. Поль хорошо помнил то, что при нем говорилось о ней. Он пытался составить свое собственное суждение, давал себе слово больше сюда не возвращаться — и не пропускал ни одного воскресенья. Тут же всегда присутствовала, сидя на одном и том же месте, маленькая женщина с седой напудренной головой, в косыночке, обрамлявшей ее розовое лицо, похожая на пастель, выцветшую от времени; она сидела в тусклом свете угасавшего дня, кротко улыбаясь, положив руки на колени, неподвижная, как факир.

Дженкинс, любезный, с открытым лицом, черными глазами, с видом апостола, подходил то к одному, то к другому из посетителей, пользуясь всеобщей симпатией и всем хорошо знакомый. Он тоже не пропускал ни одного приемного дня Фелицин. Ему приходилось вооружаться терпением,

ибо все колкости, которые позволяла себе художница и красивая женщина, предназначались ему одному. Как бы не замечая этого, неизменно спокойный, улыбающийся, снисходительный, он продолжал посещать дочь своего старого друга, которого он так любил и которого окружал заботами до самой его кончины.

Однако на этот раз вопрос, с которым обратилась к нему Фелиция по поводу сына, произвел на него крайне неприятное впечатление. Нахмутив брови, с выражением нескрываемой досады он ответил:

— Что с ним стало? По правде сказать, я об этом знаю не больше вас. Он окончательно порвал с нами. У нас ему было скучно.... Он любит только свою богему.^[19]

Фелиция сделала такое порывистое движение, что все вздрогнули. Глаза у нее сверкали, ноздри раздувались.

— Это уж слишком!.. — крикнула она. — Скажите, пожалуйста, Дженкинс, что вы называете богемой? Прелестное слово! Кстати сказать, оно должно было бы рисовать в нашем воображении долгие блуждания под открытым небом, привалы на опушке леса, свежесть сорванных плодов и родниковой воды, которые случайно попадают на дорогах... Но раз вы всю эту прелесть обратили в оскорбление, втоптали в грязь, к кому же вы применяете это слово?.. К беднякам в лохмотьях, с длинной гривой, влюбленным в свою независимость, которые умирают с голоду на шестом этаже, любясь слишком близкой голубизной неба или подбирая рифмы под черепичной кровлей, пропускающей дождь, к безумцам, встречающимся все реже и реже, которые, питая отвращение ко всем условностям, ко всем традициям, ко всем пошлостям жизни, очертя голову бросаются в ее просторы... Но ведь это уже устарело. Ведь это богема Мюрже,^[20] с больницей для бедных в финале, — пугало для детей, угроза спокойствию родителей, Красная шапочка, съеденная волком. Эта сказка давно отжила свой век... В наши дни, как вам отлично известно, художники — самые благодетельные люди на свете: они зарабатывают деньги, платят долги и стараются ничем не отличаться от других... Подлинных представителей богемы тем не менее сколько угодно: современное общество кишит ими, только находишь их главным образом в нашем кругу... Да, ярлык на них не наклеен, никто не питает к ним недоверия, но что касается неопределенности их доходов и беспорядочности жизни, то в этом они нисколько не уступят тем, кого они столь презрительно называют: «Цыгане». Ах, если бы всем стало известно, какие мерзости, какие фантастические, чудовищные поступки скрываются под фраком — самым

корректным из всех ваших отвратительных современных костюмов! Вот, например, на последнем вечере у вас, Дженкинс, я забавлялась тем, что подсчитывала всех авантюристов высокого...

Маленькая румяная и напудренная старушка тихо промолвила, не сходя со своего места:

— Фелиция, не увлекайся!..

Но та, не слушая ее, продолжала:

— А кто, по-вашему, Моипавон?.. А Буа-Ландри?.. И даже сам де Мора? И...

Она чуть было не сказала «и Набоб», но удержалась.

— И сколько еще таких!.. Я бы не советовала вам говорить с презрением о богеме... Ваша клиентура модного врача, благороднейший Дженкинс, сплошная богема — богема промышленников, финансистов и политиканов, опустившихся людей с подмоченной репутацией. Они встречаются во всех слоях общества, и чем выше мы поднимаемся, тем их больше, потому что видное положение обеспечивает безнаказанность, а богатство щедро оплачивает молчание. — Она говорила взволнованно, выражение лица у нее было сурово, верхняя губа приподнялась от яростного презрения. Дженкинс, неестественно посмеиваясь, повторял наигранно-непринужденным и снисходительным тоном:

— Ах, бедовая головка! Бедовая головка!

При этом он встревоженно, с умоляющим видом поглядывал на Набоба, словно прося у него извинения за все ее дерзкие выходки.

Но Жансуле, которого ее слова, казалось, нисколько не задевали, довольный тем, что он позирует красивой художнице, гордясь оказанной ему честью, одобрительно кивал головой.

— Она права, Дженкинс, — сказал он, когда Фелиция умолкла. — она права. Настоящие представители богемы — это наши братья. Возьмите, к примеру, меня, возьмите Эмерленга, богатейших дельцов Парижа. Когда я вспоминаю, с чего мы начали, какими только профессиями не занимались, — Эмерленг был полковым маркизантом, а я ради куска хлеба грузил мешки с зерном в марсельском порту, — и благодаря каким чисто случайным удачам мы составили себе состояние, что, впрочем, можно теперь сказать обо всех крупных состояниях... В самом деле, черт побери! Прогуляйтесь-ка между тремя и пятью под колоннадой Биржи... Простите, мадемуазель, с моей привычкой жестикулировать во время разговора я потерял позу... Как нужно сесть? Вот так?..

— Не стоит, — ответила Фелиция, бросая стеку жестом избалованного ребенка. — Сегодня я больше не буду работать.

Странная девушка была эта Фелиция, истинная дочь художника, высокоодаренного и беспорядочного, верного романтическим традициям, каким был Себастьян Рюис. Фелиция не знала матери. Она была плодом мимолетной связи, неожиданно вторгшейся в холостяцкую жизнь скульптора, как ласточка, залетевшая в дом, двери которого всегда открыты, и покидающая его из-за невозможности свить там гнездо.

На этот раз женщина, улетающая, оставила знаменитому скульптору, достигавшему тогда сорокалетнего возраста, прелестного ребенка, которого он усыновил, воспитал и который стал самой большой радостью, самой нежной привязанностью всей его жизни. До тринадцати лет Фелиция оставалась у отца, внося ребяческую, трогательную нотку в эту мастерскую, где толпились бездельники, натурщицы, а на диванах, вытянувшись во всю длину, лежали борзые. Там был уголок, предназначенный для девочки, для ее первых скульптурных опытов, полное микроскопическое оборудование, подставка, воск, и старый Рюис кричал входящим в мастерскую:

— Туда не ходи!.. Ничего там не трогай!.. Это уголок малютки.

Таким образом, Фелиция к десяти годам едва умела читать, но лепила уже с изумительным искусством. Ее отец рад был бы никогда не расставаться с ребенком: приобщенная чуть ли не с младенческих лет к великому братству художников, девочка ни в чем его не стесняла. И все же больно было видеть ее среди бесцеремонных в обращении завсегдаев дома и непрекращавшейся толчеи натурщиц, видеть в этой мастерской, где велись с чисто натуралистическими подробностями нескончаемые споры об искусстве, особенно когда она сидела за шумными воскресными трапезами, среди артисток, балерин и певиц, которым отец, всем без исключения, говорил «ты». После обеда все эти женщины курили, положив локти на стол, размякшие от сальных анекдотов, до которых хозяин дома был большой охотник. К счастью, детство охраняется душевной чистотой, словно глазурью, по которой стёкает вся грязь. Фелиция была слишком резва, шумлива, дурно воспитана, но ее детскую душу не затронула низменная сторона жизни..

Каждое лето она проводила несколько дней у своей крестной матери, Констанции Кренмиц, Кренмиц-старшей, которую долгое время вся Европа величала «прославленной балериной»; теперь старушка спокойно доживала свой век в Фонтенебло.

Приезд «бесенка» вносил в жизнь старой балерины такие волнения, от которых она с трудом могла оправиться в течение целого года. Тревоги, причиняемые этой не знавшей страха девочкой, лазавшей по деревьям,

прыгавшей, ездившей верхом, все порывы этой необузданной природы делали ее пребывание в Фонтенебло отрадным и вместе с тем мучительным для Кренмиц: отрадным потому, что она обожала Фелицию, которая была единственной привязанностью, оставшейся у этой старой саламандры в отставке после тридцати лет «батманов»^[21] при ярком свете газа, а мучительным потому, что «бесенок» безжалостно разорял гнездышко балерины, нарядное, тщательно убранное, раздушенное, как ее уборная в Большой опере, украшенное целым музеем подарков, преподнесенных ей на подмостках театров всего света.

В пору детства Фелиции женское начало было представлено одной лишь Констанцией Кренмиц. Легкомысленная, ограниченная, смотревшая на все явления жизни сквозь розовую дымку, цвета ее трико, она по крайней мере во всем проявляла чисто женскую кокетливость, ловкими пальцами искусно шила, вышивала, наводила порядок, умела придать изящество и уют всем уголкам своего жилья. Она взялась отшлифовать юную дикарку, незаметно пробудить женщину в этом странном создании, на котором накидки, меха, все элегантные вещи, изобретенные модой, ложились слишком прямыми складками или несуразными изгибами.

И опять-таки балерина — вот до чего заброшена была маленькая Рюис, — поборов отцовский эгоизм, настояла на необходимой разлуке, когда Фелиции пошел тринадцатый год. Она взялась подыскать приличный пансион и намеренно остановила свой выбор на солидном буржуазном учебном заведении, расположенном в самом конце одного из предместий, где было много воздуха, в большом старинном здании, окруженном высокими стенами и развесистыми деревьями, своего рода монастыре, где, однако, не прибегали к принуждению и не пренебрегали серьезными занятиями.

В пансионе г-жи Белен воспитанницы много работали, отлучки разрешались только по большим праздникам, не допускались сношения с внешним миром, кроме свиданий с родными по четвергам в цветущем садике или в огромной приемной с резными и позолоченными дверными карнизами. Первое появление Фелиции в этом полумонашеском учебном заведении вызвало некоторое волнение. Ее платье, выбранное австрийской балериной, волосы, локонами падавшие до самой талии, угловатые, мальчишеские манеры возбудили неодобрительные замечания, но девочка, как истая парижанка, умела приноровиться к любому положению, к любому месту. Через несколько дней Фелиция лучше всех носила черный фартучек, к которому наиболее кокетливые воспитанницы прикалывали часы, узкое платье (этот строгий фасон был особенно тягостен в ту пору,

когда мода расширяла женскую фигуру бесчисленными оборками) и особую прическу — две косы, подколотые довольно низко, у самой шеи, как у римских простолюдинок.

Странное дело! Усидчивые занятия в классах, размеренные и спокойные, пришлись по нраву Фелиции, одаренной и живой. Она училась прилежно, но не утратила своей юной жизнерадостности и с удовольствием принимала участие в шумном веселье воспитанниц на переменах. Ее полюбили. Среди дочерей крупных промышленников, парижских нотариусов и дворян, среди этого маленького, степенного, слегка чванного мирка, прославленное имя старого Рюиса, уважение, которым окружает Париж высокоодаренных представителей артистического мира, создали Фелиции исключительное, завидное положение, ставшее еще более блистательным благодаря ее школьным успехам, благодаря ее выдающимся способностям к рисованию и благодаря ее красоте — преимуществу, находящему признание даже у самых молоденьких девушек!

В здоровой атмосфере пансиона ей было отрадно сознавать, что она становится женственной, такой же, как другие девушки, что она познакомилась о порядком и всеми общепринятыми правилами приличия, но уже помимо очаровательной балерины, чьи поцелуи всегда имели привкус румян, а сердечные излияния сопровождались неестественными плавными жестами. Старик Рюис каждый раз, когда навещал дочь, приходил в восторг, находя, что она все больше становится похожей на благовоспитанную девицу, что она умеет появиться в комнате, пройтись по ней, выйти, сделав грациозный реверанс, заставлявший всех пансионеров г-жи Белен мечтать о шуршащем шлейфе длинного платья.

Вначале он приезжал часто, потом стал реже появляться в приемной пансиона. Все его время поглощали работы, под которые ему приходилось брать аванс, чтобы как-нибудь покрыть долги — следствие его беспорядочной жизни. А потом он заболел. Тяжелая, неизлечимая анемия заставляла его по целым неделям не выходить из дому, лишала возможности работать. Тогда он настоял на том, чтобы к нему вернулась дочь. И из пансиона, где все дышало чистотой и покоем, Фелиция опять попала в отцовскую мастерскую, которую посещали все те же сотрапезники-паразиты, увивающиеся вокруг всех знаменитостей. Но среди них появился и новый для нее человек, которого сюда привела болезнь отца, — это был доктор Дженкинс.

Его открытое красивое лицо, прямодушие и спокойствие, которыми веяло от этого врача, уже известного, но умевшего так просто говорить о своем искусстве и в то же время совершать чудесные исцеления, заботы,

которыми он окружал ее отца, — все это произвело на молодую девушку глубокое впечатление. Дженкинс сразу стал другом, которому поверяют тайны, бдительным и ласковым наставником. Нередко, когда в мастерской кто-нибудь — чаще других отец — позволял себе слишком вольное слово, рискованную шутку, ирландец хмурил брови, досадливо прищелкивал языком или старался отвлечь внимание Фелиции. Он часто увозил ее на целый день к г-же Дженкинс, стараясь помешать ей вновь сделаться дичком, каким она была до пансиона, или даже чем-нибудь похуже, а именно это ей и грозило в окружавшей ее атмосфере морального одиночества, особенно тягостного для молодого существа.

Но у Фелиции была еще и другая защита, более надежная, чем безупречный пример светской красавицы, г-жи Дженкинс: то было искусство, которое она боготворила, которое ее вдохновляло, вселяло в открытую для всего доброго душу чувство красоты и правды, чувство, переходившее из вдумчивой головки в ее пальцы с их нервным трепетом, с их страстным желанием завершить задуманное, воплотить возникший образ. Целыми днями она была занята лепкой, запечатлевая свои мечты с бессознательной радостью, присущей юным художникам, которая придает столько прелести их первым произведениям. Увлекаясь искусством, она реже вспоминала о строгой жизни в пансионе г-жи Белен — жизни, укрывавшей от внешнего мира, как легкая вуаль прикрывает лицо послушницы, еще не давшей обета. Искусство охраняло ее и от опасных разговоров, да она их и не слышала: она была всецело поглощена своими замыслами.

Рюис гордился растущим подле него дарованием. С каждым днем он терял силы; он уже находился в том состоянии, когда художник с горечью ощущает, что его песенка спета, и находил утешение в наблюдениях за дочерью. Резцом, дрожавшим в его руке, овладела тут же, около него другая, уверенная рука с чисто мужской твердостью, смягченной утонченностью, какую только женщина по самой своей природе способна вложить в произведение искусства. Своеобразное это чувство — сознать себя вдвойне отцом, когда талант покидает того, кто уходит в иной мир, и переселяется в другое, родное по крови существо, приходящее ему на смену! Так прелестные, привыкшие к дому птицы, почуяв в нем смерть, еще накануне покидают мрачную кровлю и перелетают на другую, более благополучную.

В последнее время Фелиция — большой художник и все еще дитя — выполняла половину отцовских работ. Трудно себе представить что-нибудь более трогательное, чем это сотрудничество отца с дочерью, работавших в

одной и той же мастерской, над одной и той же скульптурной группой. Не всегда работа протекала мирно. Хотя Фелиция и была ученицей своего отца, ее индивидуальность уже восставала против деспотизма руководителя. В ней уже пробуждались смелые дерзания начинающего художника, предвосхищение будущего, свойственное молодым талантам: она противопоставляла романтическим традициям Себастьяна Рюиса стремление к реализму, потребность водрузить старое, прославленное знамя на новый памятник.

И тогда происходили жестокие стычки, споры, в которых отец терпел поражение, побежденный логикой дочери, полный изумления перед тем длинным путем, который прошли дети, тогда как старики, проложившие им дорогу, застряли на исходной точке. Когда Фелиция работала для отца, она легче шла на уступки, но в том, что касалось ее собственного творчества, оставалась непреклонной. Так, например, «Мальчик, играющий в шары», первое произведение Фелиции, выставленное в Салоне 1862 года^[22] и имевшее огромный успех, стало поводом для бурных сцен между двумя художниками, таких резких столкновений, что Дженкинсу пришлось вмешаться и присутствовать при отправке на выставку гипсовой фигуры, которую Рюис грозился разбить.

Эти маленькие драмы ни в коей мере не отражались на нежной привязанности двух существ, боготворивших друг друга и исполненных сначала предчувствия, а затем и твердой уверенности в близости жестокой разлуки. И вот совершенно неожиданно в жизни Фелиции произошло страшное событие. Однажды Дженкинс увез ее к себе обедать, что случалось довольно часто. Г-жи Дженкинс не было — она куда-то уехала вместе с сыном на несколько дней, но возраст доктора, его отеческое отношение к Фелиции позволяли ему принять у себя, даже в отсутствие жены, эту пятнадцатилетнюю девочку, которая, хотя и расцвела к пятнадцати годам всей пышной красотой еврейки, дочери Востока, все же оставалась почти ребенком.

Обед прошел очень весело, Дженкинс был по обыкновению любезен и радушен. Потом они перешли в кабинет доктора. И вдруг на диване, среди душевной, дружеской беседы о ее отце, о ее здоровье и их совместных работах, Фелиция почувствовала, что бездна раскрылась между нею и этим человеком: лапы фавна сжали ее в похотливом объятии. Она увидела доселе ей неизвестного Дженкинса, исступленного, заикающегося, с бессмысленным смехом и оскорбительными жестами. Когда он набросился на нее, как дикий зверь, другая девочка ее возраста, совсем наивная, застигнутая врасплох, погибла бы. Но ее спасло то, что она многое знала.

Она всего наслышалась за отцовским столом! И потом, само искусство, жизнь в мастерской... Фелиция не была неопытным ребенком. Она сразу поняла, что значат этн объятия, стала бороться, вырываться и, чувствуя, что у нее не хватает сил, закричала. Ирландец испугался, отпустил ее, она, высвободившись, встала, а мужчина рыдал перед ней на коленях, моля о прощении... Он уступил безумной страсти... Она так прекрасна, он так ее любит! Целые месяцы он борется с собой... Но теперь все кончено, больше никогда, никогда!.. Он не коснется края ее платья. Девушка молчала; вся дрожа, она лихорадочным движением оправляла прическу и платье. Она хочет уехать, сейчас же уехать, и притом одна. Он послал с ней служанку и, когда она садилась в экипаж, шепнул:

— Только никому ни слова!.. Это убьет вашего отца.

Прекрасно зная ее, Дженкинс был твердо уверен, что мысль об отце заставит ее послушаться, а потому на следующий день негодяй явился как ни в чем не бывало, такой же веселый, с открытым лицом. И действительно, она ничего не сказала об этом ни отцу, ни кому-либо другому, но только с этого дня она изменилась, словно ее уязвленная гордость искала выхода. У нее появились капризы, появилась апатия, появилась горькая складка отвращения, от которой кривилась ее улыбка. Иногда она загоралась гневом против отца, бросала на него презрительный взгляд, как бы упрекая его за то, что он не сумел ее уберечь.

— Что с нею? — спрашивал старик Рюис.

Дженкинс авторитетным тоном врача объяснял это переходным возрастом и связанными с ним изменениями в организме. Он сам избегал обращаться к ней, рассчитывая, что время изгладит тяжелое впечатление. Однако он не терял надежды добиться своего, его тянуло к ней сильнее прежнего, он был охвачен безумной страстью сорокасемилетнего мужчины, неизлечимой страстью пожилого человека; эта страсть была возмездием лицемеру... Странное состояние дочери печалило скульптора, но печаль его была недолгой. Рюис умер внезапно, как все пациенты ирландца. Последними его словами были:

— Дженкинс! Я поручаю вам мою дочь.

В этих словах заключалась такая трагическая ирония, что Дженкинс, присутствовавший при агонии, невольно побледнел...

Фелиция была больше ошеломлена, чем опечалена своей утратой. Смерть, с которой она встретилась впервые и которая сразила самое дорогое для нее существо, не только потрясла ее, но и вызвала в ней чувство глубокого одиночества среди окружающего мрака и опасностей.

Друзья скульптора собрались на семейный совет, чтобы обсудить

будущее несчастной девушки, оставшейся без родных и без средств. В вазе, стоявшей на в тажерке в мастерской, куда Себастьян Рюис клал свои деньги, — вазе, хорошо знакомой беднякам, которые запускали туда руку без всякого стеснения, — нашли всего лишь пятьдесят франков. Никакого другого наследства покойник не оставил, по крайней мере в наличных деньгах. Правда, имелись прекрасная мебель, произведения искусства, ценные антикварные вещи, несколько дорогих картин, валялись денежные расписки, но все это с трудом могло покрыть бесчисленные долги. Хотели устроить аукцион. Фелиция, когда спросили ее мнение, ответила, что ей безразлично: пусть хоть все продают, только оставят ее в покое.

Аукцион все же не состоялся благодаря крестной матери, доброй старушке Кренмиц, которая неожиданно появилась, как всегда спокойная и кроткая.

— Не слушай их, дитя мое, ничего не продавай. У твоей старой Констанции пятнадцать тысяч франков дохода, которые были предназначены тебе. Ты воспользуешься ими теперь же, вот и все. Мы будем здесь жить вместе. Ты увидишь, я тебя стеснять не стану. Ты будешь заниматься своей скульптурой, а я буду вести хозяйство. Согласна?

Она произнесла это с такой нежностью, с такой детской интонацией, характерной для иностранцев, когда они говорят по-французски, что девушка была растрогана до глубины души. Ее окаменевшее сердце раскрылось, слезы горячим потоком хлынули из глаз, она бросилась к старой балерине и замерла в ее объятиях.

— Ах, крестная, какая ты добрая!.. Да, да, не покидай меня!.. Живи всегда со мной... Жизнь так страшна, так отвратительна... Кругом столько лицемерия и лжи!..

И когда старая балерина устроила себе вышитое шелком гнездышко в доме, напоминавшем стоянку путешественников, загроможденную богатствами, привезенными из всех стран света, совместная жизнь этих двух женщин, столь непохожих друг на друга, скоро наладилась.

Немалую жертву принесла Констанция своему дорогому «бесенку», покинув тихую пристань в Фонтенебло для Парижа, внушавшего ей смертельный страх. Старая балерина, следуя своим причудам, в былое время пропустила сквозь свои пальчики не одно огромное состояние. Когда же она спустилась на землю с высоты театральных апофеозов, еще и сейчас слепивших ей глаза, и попыталась врати в обыденную жизнь, управлять своим достоянием, вести скромное хозяйство, то немедленно стала жертвой самой беззастенчивой эксплуатации. Ее обманывали на каждом шагу — так мало знала жизнь эта бедная бабочка, растерявшаяся перед лицом

действительности, все время обивавшая себе крылья о неведомые ей доселе трудности. В доме Фелиции ее ответственность еще возросла из-за расточительности, которая была свойственна дочери, как прежде отцу, — двум художникам, не знавшим, что такое бережливость. Пришлось преодолевать и другие трудности. Ей была нестерпима мастерская, где непроницаемым туманом стоял табачный дым, где велись споры об искусстве, где разнузданность мысли проявлялась в блестящем и неясном вихре слов, вызывавшем у нее мигрень. Особенно пугали ее «шуточки». Привыкшая в качестве иностранки и бывшей балетной звезды к старомодным комплиментам, к галантной любезности в стиле Дора,^[23] она не вполне понимала это острословие, приходила в ужас от чрезмерных преувеличений, от парадоксов этих парижан, которые, пользуясь свободой, царившей в мастерской, старались перещеголять друг друга.

Констанция Кренмиц, которой в свое время ум заменяли гибкость и подвижность ног, робела перед этими людьми и превращалась в простую компаньонку. Глядя на эту любезную старушку, которая, молча улыбаясь, сидела в застекленной ротонде с вязаньем на коленях, словно мещаночка с картины Шардена,^[24] или семенила рядом с кухаркой по длинной улице Шальо на ближайший рынок, никто бы не подумал, что эта пожилая женщина когда-то покоряла королей и принцев, пленяла сердца вельмож и крупных финансистов чарами своих пуант и сложных пируэтов.

Париж полон таких угасших светил, снова затерявшихся в толпе.

Некоторые из этих прославленных жрецов искусства, этих знаменитостей былых времен, таят злобу в душе, другие же, наоборот, благодушно смакуют прошлое, находят неизъяснимое блаженство в том, чтобы вновь переживать свои блистательные и оставшиеся далеко позади успехи, и желают лишь покоя, тишины и уединения, чтобы предаться воспоминаниям; они так далеко отходят от жизни, что смерть их вызывает удивление, их уже давно считали умершими.

Констанция Кренмиц принадлежала к числу этих счастливиц. Но какое странное это было сожительство, сожительство двух детей, сожительство, в котором сочетались неопытность и честолюбие, спокойствие уже завершенной судьбы и лихорадочный трепет жизни в самом разгаре борьбы! Какой яркий контраст между спокойным обликом блондинки, бледной, как выцветшая роза, казавшейся в своей светлой одежде все еще озаренной бенгальскими огнями, и брюнеткой с правильными чертами лица, всегда облакавшей свою красоту в темные ткани, падавшие прямыми складками и придававшие ей мужественный вид!

Непредвиденные обстоятельства, каприз, незнание мелочей жизни приводили в полное расстройство денежные средства этой семьи, и преодолевать их удавалось путем лишений, прибегая к увольнению слуг и к другим, иногда нелепым крайностям. Во время одного из таких кризисов Дженкинс намеками, очень деликатно предложил свою помощь, но она с презрением была отвергнута Фелицией.

— Нехорошо так обижать бедного Дженкинса, — говорила ей Констанция. — В сущности, в его предложении не было ничего оскорбительного. Старый друг твоего отца...

— Разве он может быть кому-нибудь другом? Гнусный лицемер!

С трудом преодолевая отвращение, Фелиция обращала все в шутку, передразнивала Дженкинса, плавным движением прижимала руку к сердцу, надувала щеки и напыщенно, громко произносила, подражая его лживым излияниям:

— Будем гуманны, будем добросердечны... Делать добро, не ища награды!.. Это главное.

Констанция невольно хохотала, хохотала до слез, так велико было сходство.

— Все равно... Ты слишком жестока к нему... Он перестанет у нас бывать.

Фелиция покачивала головой, словно говоря: «Да, как же, перестанет!..»

И действительно, он не прекращал своих посещений, ласковый, любезный, скрывая свою страсть, проявляющуюся только тогда, когда он ревновал ее к новым знакомым. Он осыпал знаками внимания старую балерину, которой, несмотря ни на что, нравилась мягкость его обращения, ибо она видела в нем человека своего времени, когда мужчины, подойдя к женщине, целовали у нее руку и говорили комплименты, восхищаясь цветом ее лица.

Как-то утром Дженкинс, объезжая больных, заглянул к Фелиции и застал в передней старую балерину, сидевшую в одиночестве и без дела.

— Видите, доктор, я стою на карауле, — спокойно сказала она.

— Как так?

— Фелиция работает. Она не хочет, чтобы ее тревожили, а слуги до того тупы! Я сама дежурю, чтобы не был нарушен ее запрет.

Заметив, что Дженкинс направляется в мастерскую, она его остановила:

— Нет, нет, не ходите... Она просила никого к ней не пускать.

— Даже меня?

— Прошу вас!.. Иначе мне достанется.

Дженкинс уже собирался уйти, как вдруг раскаты смеха Фелиции, донесшиеся из-за портьеры, заставили его насторожиться.

— Значит, она не одна?

— Нет, не одна. У нее Набоб... Он позирует ей для бюста.

— Но почему такая таинственность?.. Вот что странно...

Он зашагал по передней, с трудом сдерживая ярость.

В конце донцов его прорвало. Это же неслыханное неприличие — оставлять девушку наедине с мужчиной! Он удивляется, что такая почтенная, такая преданная особа, как Констанция... На что это похоже?

Старая дама посмотрела на него с изумлением. Будто Фелиция такая же девушка, как другие! И какую опасность представлял Набоб, человек положительный и притом такой урод? К тому же Дженкинсу хорошо известно, что Фелиция никогда ни с кем не советуется, а всегда поступает по-своему.

— Нет, нет, это невозможно, я этого не могу допустить, — заявил ирландец и, не обращая внимания на балерину, которая возносила руки к небу, словно призывая небо в свидетели того, что сейчас произойдет, направился в мастерскую... Но вместо того, чтобы войти, он тихонько приоткрыл дверь, приподнял угол портьеры и увидел, хотя и на довольно далеком расстоянии, именно ту часть комнаты, где позировал Набоб.

Жансуле сидел без галстука, в расстегнутом жилете и о чем-то с взволнованным видом вполголоса говорил. Фелиция отвечала ему, смеясь, тоже почти шепотом. Сеанс протекал очень оживленно... Потом наступило молчание, послышалось шуршанье юбок, и художница, приблизившись к своей модели, непринужденным жестом отогнула воротничок сорочки Жансуле и слегка провела рукой по его загорелой шее.

Эту эфиопскую образину с трепещущими от опьянявшего его блаженства мускулами, с длинными ресницами, опущенными, как у засыпающего дикого зверя, которого щекочут, смелый силуэт молодой девушки, склонившейся над этим странным лицом, чтобы проверить его пропорции, наконец, резкое, произвольное движение Набоба, схватившего на лету тонкую ручку и прижавшего ее к своим толстым горячим губам, — все это увидел Дженкинс как бы при багровой вспышке молнии...

Шум, произведенный его приходом, заставил обоих действующих лиц вновь занять соответствующее положение. При ярком дневном свете, слепившем ему глаза, глаза кота, подстерегающего добычу, Дженкинс увидел стоящую перед ним девушку, изумленную, полную негодования,

готовую воскликнуть: «Кто тут? Кто посмел?..»-и Набоба на низеньком помосте, с отогнутым воротничком, окаменевшего, монументального.

Слегка сконфуженный, смущенный собственной дерзостью, Дженкинс пробормотал извинения... Ему необходимо передать г-ну Жансуле важную, не терпящую отлагательств новость... Он узнал из достоверных источников, что к шестнадцатому марта предполагается награждение орденами. Лицо Набоба, за минуту до этого нахмуренное, прояснилось:

— В самом деле?

И он нарушил позу... Дело того стоило, черт возьми! Г-ну де Лаперьеру, одному из секретарей императорской канцелярии, было поручено императрицей обследовать Вифлеемские ясли. Дженкинс заехал за Набобом, чтобы завезти его в Тюильри к этому секретарю и условиться о дне. Посещение Вифлеемских яслей этой особой обеспечит Жансуле орден.

— Едем!.. Сейчас, сейчас, милый доктор...

Он уже не сердился на Дженкинса за несвоевременный приход; он торопливо завязывал галстук, позабыв под впечатлением этого известия испытанное им только что волнение, ибо честолюбие у него все оттесняло на второй план.

В то время как мужчины вполголоса беседовали, Фелиция, не двигаясь с места, с раздувающимися ноздрями и презрительно приподнятой губой, в негодовании смотрела на них, словно говоря: «Ну, что там такое? Я жду».

Жансуле извинился, объяснив, что принужден прервать сеанс; чрезвычайной важности дело...

Она снисходительно усмехнулась:

— Пожалуйста, пожалуйста!.. Работа настолько подвинулась, что я могу продолжить без вас.

— О да, — сказал доктор, — бюст почти окончен.

И добавил с видом знатока:

— Превосходная вещь!

Рассчитывая, что этот комплимент облегчит ему отступление, он уже собирался улизнуть, но Фелиция резким движением его удержала:

— Оставайтесь... Мне надо поговорить с вами.

По ее взгляду он понял, что следует уступить во избежание бури.

— Вы позволите, дорогой друг? — сказал он Набобу. — Мадемуазель хочет сказать мне несколько слов... Моя карета у двери. Садитесь. Я сейчас приду.

Как только двери мастерской закрылись за Жансуле, удалявшимся тяжелыми шагами, Фелиция и доктор пристально посмотрели друг на друга.

— Вы, должно быть, пьяны или сошли с ума, что позволили себе такую дерзость? Как вы осмелились ворваться ко мне, когда я не желаю никого принимать? Чем объяснить такую грубость? По какому праву?..

— По праву безнадежной, непреодолимой страсти.

— Замолчите, Дженкинс, вы произносите слова, которых я не хочу слышать... Я позволяю вам приходить ко мне из жалости, по привычке, потому что отец был привязан к вам... Но не смейте упоминать о вашей... любви, — последнее слово она произнесла тихо, как нечто постыдное, — иначе вы никогда больше меня не увидите, если бы мне даже пришлось умереть, чтобы раз и навсегда от вас избавиться.

Ребенок, уличенный в проступке, не опускает с таким смирением голову, как сделал это Дженкинс, когда отвечал ей:

— Да, да, я виноват... Я обезумел, я обо всем позабыл... Но почему вам доставляет особое удовольствие терзать мою душу?

— Очень вы мне нужны!

— Нужен или нет, я все же бываю здесь, я вижу, что здесь происходит, и ваше кокетство причиняет мне невыносимые страдания.

При этом упреке краска слегка выступила на ее щеках.

— Мое кокетство?.. С кем же я...

— Вот с этим... — сказал ирландец, указывая на обезьяноподобный и горделивый бюст.

Она принужденно засмеялась.

— С Набобом?.. Какой вздор!

— Зачем вы лжете?.. Вы думаете, что я слеп, что я не отдаю себе отчета во всех ваших проделках? Вы с ним подолгу остаетесь наедине... Я сейчас был здесь... и видел вас... — Он понизил голос; казалось, он задыхался. — К чему вы стремитесь, странная и жестокая девушка? Я знаю, что вы оттолкнули самых красивых, самых знатных, самых достойных людей. Этот юнец де Жери пожирает вас глазами, — вы не обращаете на него внимания. Сам герцог де Мора не мог найти доступа к вашему сердцу. А этот человек, безобразный, вульгарный, который о вас и не думает, у которого не любовь, а совсем другое на уме... Вы сами видели, как он шел... Куда вы клоните? Что вы от него хотите?

— Я хочу... я хочу, чтобы он женился на мне. Вот и все.

Спокойно, уже более мягким тоном-словно это признание сближало ее с тем, кого она так презирала, — Фелиция изложила свои мотивы. Жизнь, которую она ведет, заводит ее в тупик. Она любит роскошь, любит сорить деньгами, привыкла жить без расчета и ничего не может с собой поделаться, а это неизбежно приведет к нищете ее и милую Кренмиц, которая покорно

дает себя разорять. Еще три, самое большее четыре, года, и все будет исчерпано, после чего их ждет нищенское существование художников-неудачников: неоплаченные долги, лохмотья, стоптанные башмаки, всяческие ухищрения, чтобы заткнуть дыры. Или же придется подыскать любовника, пойти на содержание, а это рабство и позор.

— Полноте, — сказал Дженкинс. — А меня-то вы забыли?

— Все, что угодно, только не вы! — крикнула она, выпрямляясь. — Нет, мне нужен, мне необходим муж, чтобы защищать меня от других и от меня самой, охранять от мрачных мыслей, пугающих меня, когда я скучаю, от бездны, в которую я могу упасть. Я хочу, чтобы кто-нибудь оберегал меня, когда я работаю, чтобы кто-нибудь сменил мою бедную старенькую добрую фею, изнемогающую от усталости... Этот человек мне подходит, я подумала о нем, как только его увидела. Он безобразен, но с виду он добр. Кроме того, он несметно богат, а иметь такое огромное состояние, должно быть, очень занятно... О, я понимаю: наверно, в его прошлом есть какое-нибудь пятно, которое способствовало его успеху. Все это золото добыто нечистыми руками... Скажите, Дженкинс, положи руку на сердце, — вы же так часто взываете именно к сердцу, — не кажется ли вам, что я завидная супруга для порядочного человека? Судите сами: из всех молодых людей, которые, как милости, добиваются позволения бывать у меня, кто подумал о том, чтобы попросить моей руки? Никто. И де Жери тоже не просил меня стать его женой... Я пленяю, но меня боятся... Это понятно: что может собой представлять девушка, воспитанная, как я, боа матери, без семьи, выросшая среди натурщиц, среди любовниц отца? И каких любовниц, боже мой!.. И Дженкинс в качестве единственного наставника... О, когда я вспомню... когда я только вспомню...

И при мысли об этом, уже далеком прошлом перед ней возникли картины, от которых в ее голосе зазвенели гневные ноты:

— Да, черт возьми! Я плод любовной авантюры, и мне нужен муж-авантюрист.

— Подождите по крайней мере, чтобы он овдовел, — спокойно заметил Дженкинс. — Боюсь, что вам долго придется ждать, потому что его левантинка, по всей видимости, прекрасно себя чувствует.

Фелиция стала бледна как смерть.

— Он женат?

— Конечно, женат, у него куча детей. Все это многочисленное семейство прибыло два дня тому назад.

Она замерла на месте, вперив взгляд в пространство; лицо у нее нервно подергивалось.

Смотревшая на нее широкая, уродливая физиономия Набоба с приплюснутым носом и чувственным, добродушным ртом, воплощенная в свежей глине, дышала жизненной правдой.

С минуту она смотрела на бюст, потом, подойдя к нему, жестом отвращения сбросила на пол вместе с высокой деревянной подставкой жирную и блестящую глыбу, и глыба распалась, превратившись в кучу грязи.

VII. ЖАНСУЛЕ У СЕБЯ ДОМА

Женат он был уже двенадцать лет, но не обмолвился об этом никому из своих парижских приятелей, следуя обычаю Востока, где туземцы никогда не упоминают о женской половине своего дома. Но вдруг стало известно, что г-жа Жансуле должна приехать, что нужно приготовить помещение для нее, для детей и для ее служанок. Набоб снял весь третий этаж дома на Вандомской площади, выселив оттуда квартиранта, которому было уплачено с обычной для Набоба щедростью. Выезд также был увеличен, штат прислуги удвоен. Затем в один прекрасный день кучера и кареты отправились на Лионский вокзал встречать г-жу Жансуле. Она занимала вместе с сопровождавшими ее негрityнками, газелями и арапчонками целый поезд, который нарочно для нее отапливался от самого Марселя.

Она вышла из вагона в полном изнеможении, обессиленная, разбитая долгим путешествием по железной дороге, первым в ее жизни, так как, приехав в раннем детстве в Тунис, она никогда его не покидала. Из кареты два негра отнесли ее в приготовленные для нее апартаменты в кресле, которое с тех пор оставалось внизу, в подъезде, всегда наготове для трудных перемещений. Г-жа Жансуле не могла подниматься по лестницам — это вызывало у нее головокружение, — но не желала пользоваться и лифтом, который трещал под ее тяжестью; да и вообще она не делала ни шагу. Огромная, настолько тучная, что нельзя было определить ее возраст, — ей можно было дать от двадцати пяти до сорока лет, — с довольно миловидным, но заплывшим жиром лицом, с безжизненными глазами под тяжелыми, в глубоких бороздах, точно раковины, веками, в кричащих туалетах, изготовленных на экспорт, усыпанная бриллиантами и прочими драгоценностями, подобно индусскому идолу, она представляла превосходный образчик переселенных на Восток европейских женщин, которых именуют «левантинками». Странная порода разжиревших креолок, связанных с нашим миром только языком и костюмом! Восток обволакивает их всей причудливостью своей атмосферы, тончайшими ядами напоенного опиумом воздуха, в котором все разлагается, все ослабевает, начиная с кожного покрова и пояса и кончая мыслями и душой.

Эта особа была дочерью сказочно богатого бельгийца, который торговал в Тунисе кораллами. Жансуле прослужил у него несколько месяцев. Мадемуазель Афшен, в то время прелестная десятилетняя куколка, пышущая здоровьем, с ослепительным цветом лица и чудесными

локонами, часто заезжала за отцом в его контору в огромной коляске, запряженной муламн, которая увозила отца и дочь на их чудесную виллу в окрестностях Туниса. Эта всегда декольтированная девочка с пухленькими плечиками, которую Жансуле случалось видеть лишь мельком, издали, в роскошном обрамлении, поразила авантюриста. И спустя несколько лет, когда он разбогател, сделался любимцем бея и стал подумывать о браке, именно на ней остановил он свой выбор. Ребенок превратился в полную девушку, неповоротливую и бледную. Ее разум, тупой от природы, отяжелел от сонного оцепенения, в котором она жила из-за беспечности отца, поглощенного делами, от куренья папирос с опиумом, от пристрастия к варенью из роз, от плохой циркуляции ее фламандской крови, циркуляции, еще более замедленной восточной ленью; к тому же она была дурно воспитана, обжорлива, чувственна и спесива — словом, настоящая левантинская жемчужина.

Но Жансуле всего этого не замечал.

Для него она была и оставалась до приезда в Париж существом высшего порядка, женщиной из самого изысканного общества, урожденной Афшен. Он говорил с ней почтительным тоном, держался по отношению к ней с некоторой робостью и смирением, без счета давал ей деньги, удовлетворял все ее самые разорительные прихоти, самые нелепые капризы, все причуды, какие только может придумать ум левантинки, развращенный скукою и праздностью. Одно обстоятельство все извиняло: она была урожденная Афшен. Ничто не связывало супругов: муж находился постоянно в Казбе или в Бардо, подле бея, чтобы всячески ему угождать, или же сидел в своих конторах, а жена целыми днями лежала в постели, в диадеме из жемчугов, стоившей триста тысяч франков, с которою она никогда не расставалась, куря до одурения, проводя время, как в серале, окруженная еще несколькими левантинками, любуясь собой в зеркале, наряжаясь. Любимым занятием этих дам было обмерять ожерельями свои руки и ноги — чьи толще. Она рожала детей, которыми не занималась, которых никогда не видела и из-за которых даже не страдала, так как роды проходили под хлороформом. Белая мясная туша, надушенная мускусом! А Жансуле с гордостью говорил! «Моя жена — урожденная Афшен!»

Но под парижским небом, под его холодным светом наступило разочарование. Решив здесь обосноваться, принимать, устраивать вечера и балы. Набоб выписал жену-в доме должна была быть хозяйка. Но когда она вышла из вагона и он увидел эту выставку кричащих тканей, безвкусаейших драгоценностей и всю причудливую сопровождавшую ее

свиту, ему показалось, что это королева Помаре в изгнании. Дело же было в том, что он успел познакомиться с настоящими светскими дамами и не мог не сравнить ее с ними. Он предполагал ознаменовать приезд жены большим балом, но был достаточно благоразумен, чтобы от этого отказаться. К тому же г-жа Жансуле не хотела никого видеть. В Париже к ее природной апатии присоединилась тоска по родным местам, вызванная сразу после ее прибытия холодным желтым туманом и проливным дождем. Несколько дней она не вставала с постели, плача навзрыд, как ребенок, кричала, что ее привезли в Париж, чтобы уморить, отказывалась даже от услуг своих горничных. Она выла, зарывшись в кружева подушки, волосы у нее сбились вокруг диадемы. Окна ее покоев оставались закрытыми, занавеси были спущены, лампы горели день и ночь, а она вопила, что хочет «уе...хать, уе...хать». Печальную картину представляла ее спальня, погруженная в погребальный полумрак, с наполовину распакованными чемоданами, валявшимися на коврах, с испуганными газелями и с негритянками, сидевшими на корточках вокруг своей госпожи, бившейся в истерике, тоже стонущими, с блуждающим взглядом, подобно собакам полярных путешественников, которые впадают в бешенство, не видя солнца.

Ирландский врач, приглашенный в эту юдоль печали, своим отеческим обхождением и вкрадчивым, слащавым тоном не добился успеха. Левантинка ни за какие блага не соглашалась принимать мышьяковые пилюли Дженкинса, чтобы придать себе бодрости. Жансуле был вне себя. Что делать? Отправить ее с детьми обратно в Тунис? Невозможно. Он впал там в немилость. Эмерленги восторжествовали. Последняя обида переполнила чашу: при отъезде Жансуле бей поручил ему отчеканить на парижском Монетном дворе на несколько миллионов золотых монет нового образца, и вдруг это поручение было у него отнято и передано Эмерленгу. На это публичное оскорбление Жансуле ответил так же демонстративно: он объявил о продаже всей своей недвижимости, дворца в Бардо, подаренного ему покойным беом, загородных вилл в Марсе, целиком из белого мрамора, окруженных великолепными садами, торговых помещений, самых больших и роскошных в городе, и, наконец, чтобы подчеркнуть свой окончательный разрыв с этой страной, поручил премудрому Бомпену привезти его жену и детей. Все это получило настолько широкую огласку, что теперь ему нелегко было бы вернуться в Тунис. Он пытался объяснить это урожденной Афшен, но та отвечала ему стопами. Он старался ее утешить, развеселить, но как развлечь такую чудовищно апатичную натуру? К тому же мог ли он изменить парижское небо, вернуть бедной левантинке ее высланный

мрамором «патио»,^[25] где она проводила в полудреме целые часы, наслаждаясь чудесной прохладой, слушая, как струится вода в большом фонтане, состоявшем из трех расположенных один над другим алебастровых бассейнов, ее золоченую лодку с кормой под пурпурным навесом, которую восемь триполитанских лодочников, гибких и сильных, после захода солнца вели на веслах по прекрасному озеру Эль-Бахейра? Как ни роскошны были апартаменты на Вандомской площади, они не могли возместить левантинке потерю таких чудес. И она все сильнее предавалась скорби. Тем не менее один из завсегдатаев дома сумел облегчить ее положение. Удалось это Кабассю, величавшему себя на визитных карточках «профессором массажа», плотному, коренастому человеку, черноволосому и смуглому, от которого несло чесноком и помадой, широкоплечему, обросшему волосами до самых глаз, знавшему все сплетни, все альковные тайны Парижа, вполне доступные умственному уровню г-жи Жансуле. Он как-то пришел ее массировать, потом она послала за ним и пожелала оставить его у себя. Ему пришлось бросить остальных клиентов и за сенаторский оклад стать массажистом этой тучной особы, ее пажом, чтецом, телохранителем. Жансуле, восхищенный тем, что жена его довольна, не понимал, в какое смешное и глупое положение его ставит близость его супруги с массажистом.

Кабассю можно было видеть в Булонском лесу в огромной роскошной коляске, рядом с любимой газелью госпожи, и в глубине театральных лож, которые брала левантинка, так как теперь она выезжала, выйдя из оцепенения благодаря уходу массажиста и решив развлекаться. Театр ей нравился, особенно фарсы и мелодрамы. Эта апатичная, тучная особа оживлялась при искусственном свете рампы. Но всего охотнее посещала она театр Кардальяка. Там Набоб был как у себя дома. От старшего контролера до последнего капельдинера — весь персонал зависел от него. У него был ключ от двери, ведущей из фойе за кулисы. Аванложа, отделанная в восточном вкусе, с потолком, выдолбленным в виде пчелиных сот, с диванами, набитыми верблюжьей шерстью, и с маленьким мавританским фонарем, в котором горел газ, служила местом отдохновения во время затянувшихся антрактов. Таково было проявление особой любезности директора по отношению к супруге крупнейшего пайщика его предприятия. Но старый хитрец Кардальяк втім не ограничился. Заметив склонность урожденной Афшен к театру, он в конце концов убедил ее, что она ценитель и знаток драматического искусства, и попросил ее в минуты досуга просматривать присылаемые ему пьесы и высказывать о них свое суждение. Это был отличный способ закрепить за театром вносимый

Набобом пай.

Бедные рукописи в голубых и желтых обложках, которые надежда перевязала тонкими лентами! Вы покидаете своего творца, преисполненные честолюбивых мечтаний, и кто знает, какие руки раскроют и перелистают вас, какие нескромные пальцы лишат вас прелести новизны, этой сверкающей пыльцы, сохраняющей свежесть мысли? Кто судит о вас и кто выносит вам приговор? Иногда, прежде чем отправиться на званый обед, Жансуле заходил к жене и заставлял ее на кушетке: она курила, запрокинув голову, подле нее лежали связки рукописей, а Кабассю, вооруженный синим карандашом, читал своим грубым голосом с акцентом уроженца Бур-Сент-Андеоль^[26] какую-нибудь драму — плод кропотливого труда, черкал ее, беспощадно кромсал по одному неодобрительному замечанию просвещенной дамы.

«Продолжайте, продолжайте!»- жестом просил милейший Набоб, входя на цыпочках. Он слушал, покачивая головой, и, с восхищением глядя на жену, думал: «Поразительная женщина!» Сам он ничего не смыслил в литературе; по крайней мере в этой области урожденная Афшен вновь получала превосходство в его глазах.

— Она чувствует театр, — говорил Кардальяк.

А вот материнского чувства у нее не было вовсе. Она никогда не занималась детьми, предоставив их попечению посторонних, и, когда раз в месяц их приводили к ней, ограничивалась тем, что между двумя затяжками подставляла им свою безжизненную, дряблую щеку. Она не расспрашивала об уходе за ними, об их здоровье, не интересовалась теми мелочами, которые навеки скрепляют физические узы между матерью и ребенком, заставляя обливаться кровью материнское сердце при малейшем недомогании детей.

Их было трое — три вялых и неуклюжих мальчика, одиннадцати, девяти и семи лет, унаследовавших от левантинки бледный цвет лица и преждевременную склонность к тучности, а от отца — добрые бархатисто-черные глаза. Они были невежественны, как юные средневековые сеньоры. В Тунисе смотр за ними был поручен Бомпену, но в Париже желая, чтобы они воспользовались благами парижского воспитания, отдал их в самое «шикарное», самое дорогое учебное заведение — в коллеж Бурдалу, руководимый добродетельными патерами. Наставники не столько заботились о знаниях своих питомцев, сколько о том, чтобы сделать из них светских, с прекрасными манерами, благомыслящих людей, и в конце концов превращали их в маленькие чудовища, надутые и смешные, совершенно невежественные, с презрением относившиеся к играм,

лишенные всякой непосредственности и детской прелести, донельзя рано возмужавшие. Маленьким Жансуле не очень весело жилось в этой теплице скороспелых растений, несмотря на все преимущества, которые им давало огромное богатство. Они были заброшены. Даже креолы, воспитывавшиеся в этом учебном заведении, вели переписку с домашними и их навещали, тогда как маленьких Жансуле никогда не вызывали в приемную, никто не знал их родных, и только время от времени они получали корзины сладостей и горы сдобных булочек. Набоб, разъезжая по Парижу, опустошал для них целые витрины кондитерских, побуждаемый *столько* же сердечным порывом, сколько чванством дикаря, которым отличались все его поступки. То же было и с игрушками, всегда чересчур красивыми, нарядными и бесполезными — игрушками, которые выставляются напоказ и не покупаются парижанами. Особое уважение — как преподавателей, так и воспитанников — маленькие Жансуле снискали своими туго набитыми кошельками, всегда готовыми раскрыться для любого пожертвования, для подарков учителям в день рождения, а также при посещениях бедняков, тех пресловутых посещениях, которыми коллеж Бурдалу стяжал себе славу и которые являлись одной из приманок программы коллежа, приводя в восторг чувствительные души.

Два раза в месяц воспитанники, принадлежавшие к юному братству Венсен-де-Поль, созданному в коллеже по образцу самого этого братства, поочередно отправлялись небольшими группами, одни, совсем как взрослые, в самую гущу перенаселенных предместий, неся туда помощь и утешение. Этим способом их хотели направить на путь благотворительности, познакомить с нуждами и страданиями народа, научить врачевать его раны, на которые всегда неприятно смотреть, бальзамом ласковых слов и душеспасительных изречений. Утешать массы, проповедовать им слово божие устами младенцев, обращать на путь истины неверующих с помощью молоденьких и наивных посланцев — такова была цель юного братства, цель, которая ни в какой мере не достигалась. Здоровые, сытые, прекрасно одетые дети шли по указанным адресам, заставляли благообразных бедняков, иногда и в самом деле слегка прихворнувших, но вполне опрятных, уже внесенных в списки богатой церковной организации и получавших от нее пособия. Малолетние благотворители не попадали в зловонные трущобы, где голод, скорбь и порок — все недуги физические и нравственные — своими миазмами пропитывают стены, запечатлеваются неизгладимыми морщинами на человеческих лицах. Посещение этих юнцов тщательно подготавливалось. как посещение казармы монархом, пожелавшим попробовать солдатскую

похлебку: начальство предупреждено заранее, и похлебка, сдобренная приправами, вполне достойна неба августейшей особы...

Вы когда-нибудь видали в назидательных книжках картинку, на которых ребенок, готовящийся к причастию, с бантиком на плече, с завитыми волосами, приходит с зажженной свечой в руке напутствовать несчастного старика с устремленным к небу угасающим взором, умирающего на нищенском ложе? При этих посещениях с благотворительной целью все было предусмотрено заранее — как обстановка, так и произносимые слова. Маленьким проповедникам, сопровождавшим свои речи елейными жестами, столь мало гармонизировавшими с их короткими руками, отвечали заученными фразами, такими фальшивыми, что совестно было слушать. На комические слова утешения, на расточаемые увещевания, почерпнутые из книг, полученных в награду, и произносимые голосами охрипших петушков, слышались в ответ растроганные, прочувствованные благословения, сопровождаемые жалобными, слезными вздохами, которые обычно раздаются на паперти по окончании вечерни. Каким взрывом хохота, какими криками оглашалось чердачное помещение, как только двери закрывались за юными посетителями! Начинаясь пляска вокруг принесенных подарков, кресло, на котором изображали больного, опрокидывалось, лекарство выливалось в камин, где еле теплился огонек, искусно приглушенный для данного случая.

Когда маленьких Жансуле отпускали домой, их там поручали человеку в красной феске, все тому же Бомпену. Бомпен катал по Елисейским полям этих мальчиков в английских пиджаках и котелках по последней моде — и это в семь лет! — с тросточками в руках, обтянутых лайковыми перчатками. Тот же Бомпен набивал сладостями коляску, куда он садился вместе с детьми. В котелках, обвитых зелеными вуалями, за которые были заткнуты визитные карточки, мальчики были очень похожи на персонажи разыгрываемой лилипутами пантомимы, где весь комизм заключается в несоответствии между большими головами карликов и их маленькими ногами и их телодвижениями. Дети курили, пили — на них жалко было смотреть. Случалось, что человек в феске, сам едва держась на ногах, привозил их домой совсем больными... А Набоб все же любил своих «детишек», особенно младшего, который своими длинными локонами и свежим личиком напоминал ему маленькую Афшен, когда она приезжала в коляске. Но мальчики были еще в том возрасте, когда дети нуждаются в материнской опеке, когда ни первоклассный портной, ни безупречные учителя, ни шикарный коллеж, ни кровные пони, купленные для этих

маленьких мужчин, — ничто не может заменить заботливой и нежной руки, тепла и веселья родного гнезда. Отец не мог им этого дать; к тому же он был так занят!

У него была пропасть дел: Земельный банк, устройство картинной галереи, поездки с Буа-Ландри в *Taffershall* для покупки лошадей, осмотр какой-нибудь редкостной безделушки, принадлежавшей любителю — коллекционеру, адрес которого указал Швальбах, целые часы, проводимые с конюхами, жокеями, у антикваров, — словом, до краев заполненная, сложная жизнь мещанина во дворянстве в современном Париже. При соприкосновении с этим многообразным миром он с каждым днем все лучше усваивал парижские навыки, был принят в клуб Монпавона, стал завсегдатаем артистического фойе балета и театральных кулис, был душой своих знаменитых холостяцких завтраков — единственных приемов, возможных в его быту. Жизнь его действительно была заполнена, хотя де Жери избавил его от самой тягостной обузы, от сложнейшего «департамента просьб и пособий».

Теперь молодому человеку приходилось вместо него выслушивать дерзкие, смехотворные бредни, героикокомические комбинации нищенствующей братии большого города, организованной, подобно министерству, многочисленной, как войско, следившей за газетами, знавшей наизусть адресную книгу Парижа. Он должен был принимать то развязную блондинку, молодую, но уже увядшую, которая просила всего сто луидоров, угрожая в случае отказа сразу по выходе из приемной броситься в реку; то толстую матрону с приветливым лицом, которая, входя, бесцеремонно говорила: «Вы меня, сударь, не знаете... Я тоже не имею чести вас знать, но мы быстро познакомимся... Сядем же, прошу вас, и поговорим...»; то коммерсанта, доведенного до крайности, находящегося накануне банкротства, — иногда так оно и было на самом деле, — который умолял спасти его честь, хватаясь за выпирающий из кармана его пальто пистолет, уже заряженный для самоубийства (иногда это был просто футляр от трубки). Но нередко ему приходилось сталкиваться и с настоящей нуждой, выслушивать томительные и многословные признания людей, не умеющих толком рассказать о том, что они не могут заработать себе на кусок хлеба. Наряду с этим явным нищенством было и попрошайничество под личиной благотворительности, филантропии и добрых дел: вспомоществование художникам, сборы по домам пожертвований на ясли, на нужды церквей, на приюты для падших женщин, на богоугодные заведения, на бесплатные библиотеки. Наконец, было вымогательство и под светской маской: билеты на концерты, на

бенефисы, билеты всех сортов — в первые ряды партера, в ложи, на литературные места. Набоб требовал, чтобы никому из просителей не отказывали. И то уже было некоторым прогрессом, что он сам больше этим не занимался. Довольно долгое время он, ни во что не вникая, великодушно осыпал золотом всех этих лицемерных попрошайек, платя по пятьсот франков за билет на концерт какого-нибудь вюртембергского гуслеяра или лангедокского флейтиста, от которых в Тюильри или у герцога де Мора отделялись десятком франками. Иногда по окончании такого приема молодой человек испытывал глубочайшее, доходившее до тошноты омерзение. Чистота его юной души была глубоко уязвлена. Он попытался склонить Набоба к некоторым реформам. Но тот при первом же слове принимал скучающий вид, свойственный слабохарактерным людям, когда их принуждают сразу принять решение, или же отвечал, пожимая своими могучими плечами: «Но ведь это Париж, голубчик... Не бойтесь, предоставьте действовать мне. Я знаю, куда я иду и чего хочу».

А хотел он в то время стать депутатом и получить орден. Для него это было две первые ступени той высокой лестницы, к которой его толкало честолюбие. Депутатом он, бесспорно, станет с помощью Земельного банка, который он возглавил. Паганетти из Порто-Веккьо часто говорил ему:

— Когда наступит решительная минута, весь остров поднимется и проголосует за вас, как один человек.

Однако недостаточно заручиться сочувствием избирателей: нужно еще, чтобы было вакантное место в палате, а между тем представители Корсики были там в полном составе. Правда, один из них, старик Пополаска, которому дряхлость и немощи препятствовали исполнять свои обязанности, быть может, за известную компенсацию и согласился бы подать в отставку. Это было делом щекотливым, но отнюдь не безнадежным. У престарелого депутата была огромная семья, земли, не приносявшие дохода, полуразрушенный палаццо в Бастии, в котором его дети питались одной кукурузой, меж тем как сам он в Париже ютился в меблированных комнатах последнего разряда. Если не пожалеть ста или даже двухсот тысяч франков, можно уломать почтенного голодающего старца, который посланному на разведку Паганетти не говорил ни да, ни нет: его соблазняла огромная сумма, но тщеславие мешало расстаться с почетным званием. Вопрос мог решиться со дня на день.

Что же касается ордена, то тут дело обстояло еще лучше. Вифлеемские ясли произвели в Тюильри большое впечатление. Ожидали только посещения этих яслей г-ном де Лаперьером и его донесения, которое могло

быть только благоприятным, чтобы внести в список 16 марта-день рождения наследного принца-прославленное имя Жансуле. 16 марта — значит меньше чем через месяц... Что скажет толстяк Эмерленг об этой высокой милости, Эмерленг, которому уже столько времени приходилось довольствоваться каким-то тунисским орденом Нишама? А сам бей, которого уверили, будто бы Жансуле отвергнут парижским обществом? И, наконец, старушка мать, там, в Сен-Романе, всегда так радовавшаяся успехам сына!.. Неужели ради этого не стоит потратить несколько миллионов, бросить их мелкой сошке, побирающейся на дороге к славе, по которой Набоб шел беззаботно, как ребенок, не опасаясь, что в конце пути его растерзают? И не являлись ли эти показные успехи, эти почести, это дорогостоящее уважение наградой за все горести вновь приобщенного к европейской жизни жителя Востока, который стремился к семейному очагу, а владел караван-сараям, искал женщину, а находил левантинку?

VIII. ВИФЛЕЕМСКИЕ ЯСЛИ

Вифлеем! Почему это нежащее слух легендарное название, теплое, как солома священных яслей, обдает вас таким холодом, когда видишь его начертанным золотыми буквами высоко над воротами? Быть может, на вас влияет однообразный пейзаж — огромная унылая равнина, раскинувшаяся от Нантерра до Сен-Клу, местами пересеченная купой деревьев или дымящимися фабричными трубами? А может быть, вас коробит несоответствие между скромным городком, который возникает в вашем воображении, и грандиозным строением — виллой из дикого камня в стиле Людовика XIII, розовеющей между оголенными деревьями примыкающего к ней парка с большими прудами, покрытыми зеленой ряской? Бесспорно лишь одно-сердце сжимается, когда проходишь мимо этого учреждения. А стоит переступить порог, как раскрывается еще более удручающая картина. Гнетущая, необъяснимая тишина тяготеет над всем домом, зловещими кажутся лица, появляющиеся за окнами из квадратиков зеленоватого стекла, в свинцовых переплетах, как это было принято в старину. Кормилицы-козы, выпущенные в аллеи парка, лениво щиплют первые побеги травы и, бляя, посматривают на пасущую их женщину, которая со скучающим видом, мрачно смотрит на посетителей. Все здесь полно скорби, всюду чувствуется запустение и боязнь заразы. А между тем еще не так давно в этом поместье царило веселье и вино лилось рекой. Все было приспособлено к вкусам знаменитой певицы, продавшей свою виллу Дженкинсу. Все говорило о воображении, воспитанном в атмосфере оперного театра: мостик, переброшенный через пруд, ветхая лодочка на воде, полная прелых листьев, беседка, облицованная камешками и раковинами и обвитая плющом. Немало забав и пирушек довелось видеть этой беседке при прежней хозяйке, но теперь в ней помещается лазарет, и она стала свидетельницей горя и печали.

Все учреждение представляло собой большой лазарет. Дети, едва прибыв сюда, заболели, чахли и в конце концов умирали, если родители не спешили увезти их домой. Нантерский кюре в своей черной сутане с серебряным крестом был частым гостем в Вифлееме, а плотник получал здесь столько заказов, что слух об этих печальных событиях разнесся по всей округе, и негодующие матери грозили кулаком этим образцовым яслям, боясь, однако, приблизиться к зловещему месту — источнику заразы, если держали на руках беленького, пухлого младенца. Вот почему

это печальное жилище производило такое тягостное впечатление. Нерадостно в доме, где умирают дети! Там не увидишь деревьев в цвету, там не гнездятся птицы, не течет, весело пенясь, ручей.

Положение, по-видимому, определилось. Идея Дженкинса, сама по себе превосходная, когда захотели провести ее в жизнь, натолкнулась на огромные, почти непреодолимые трудности. Одному богу известно, сколько стараний было вложено в каждую мелочь, сколько было затрачено денег, сколько потребовалось людей. Во главе учреждения был поставлен искусный медик, г-н Пондевез, изучавший свое дело в парижских больницах, а в помощь ему для более интимного ухода была приглашена солидная особа, г-жа Польж. Были наняты сиделки, няньки, кастелянши. И какие здесь были приспособления, дорогостоящие усовершенствования, начиная от пятидесяти кранов для регулярной подачи воды и кончая омнибусом, который ходил ко всем дневным поездкам на Рюэльский вокзал, позванивая колокольчиком, с кучером в ливрее Вифлеемских яслей! Наконец, замечательные козы, настоящие тибетские козы с шелковистой шерстью, с набухшим от молока выменем. Все было превосходно организовано, только вот какое возникло препятствие: искусственное кормление, так блестяще разрекламированное, не пришлось детям по вкусу. С каким-то странным упорством, одним взглядом, без слов, ибо эти бедные крошки еще не говорили, и большинству из них вообще не суждено было заговорить, они

124 пришли к единодушному решению: «Как вам угодно, а мы не будем сосать коз». И они их не сосали, они предпочитали умирать один за другим, чем сосать козье вымя. Разве Иисуса в Вифлееме, в яслях, где он лежал, вскормила коза? Разве он не сжимал ручонками нежную, полную молока женскую грудь, у которой он засыпал, насытившись? Разве кто-нибудь видел козу между легендарными быком и ослом в ту ночь, когда звери обрели дар речи? Тогда к чему эта ложь, к чему называться Вифлеемом?..

Директора сначала расстроило такое количество жертв. Пондевез, детище Латинского квартала, вечный студент, известный во всех кабачках бульвара Сен-Мишель под именем Помпончика, был не злой человек. Когда он убедился в безуспешности искусственного кормления, он просто-напросто нанял здоровенных кормилиц из окрестных деревень, и этого оказалось достаточно, чтобы вернуть детям аппетит. Но гуманный поступок Пондевеза едва не стоил ему места.

— Кормилицы в Вифлеемских яслях' — воскликнул взбешенный Дженкинс при очередном посещении яслей, где он появлялся раз в

неделю. — Да вы с ума сошли! К чему же тогда козы, и лужайки для них, и моя идея, и брошюры, посвященные моей идее!.. Что тогда с этим прикажете делать? Вы, значит, против моей системы, вы крадете деньги учредителя...

— Однако, дорогой мэтр, — попробовал возразить медик, ероша обеими руками свою длинную рыжую бороду, — однако... Если они отказываются от такой пищи...

— Ну так пусть они постятся! Но принцип искусственного кормления не должен быть нарушен... В этом все дело... Запомните это раз и навсегда... Выгоните этих отвратительных кормилиц... Чтобы вырастить наших питомцев, у нас имеется козье молоко, в крайнем случае коровье, но больше никаких поблажек я допустить не могу.

Снова приняв вид апостола, он добавил:

— Мы находимся здесь, чтобы осуществить важнейшую филантропическую идею. Необходимо, чтобы она восторжествовала, хотя бы ценою нескольких жертв. Позаботьтесь об этом.

Пондевез не настаивал. В конце концов должность была неплохая, место службы находилось достаточно близко от Парижа, г-н директор мог по воскресеньям приглашать своих друзей из Латинского квартала в Нантерр или сам посещать свои излюбленные кабачки.

Г-жа Польж, которую Дженкинс постоянно величал «нашей благоразумнейшей надзирательницей» и которую он действительно сюда назначил, чтобы за всем надзирать, особенно за директором, оказалась, несмотря на врученную ей власть, не столь строгой, как можно было ожидать, и благожелательно относилась к двум — трем рюмочкам коньяку или к партии в безик по маленькой. Директор уволил кормилиц и решил сквозь пальцы смотреть на все, что могло за этим воспоследовать. Что же воспоследовало? Настоящее «избиение младенцев». Мало-мальски обеспеченные родители, рабочие, мелкие торговцы предместий, которые расстались со своими детьми, соблазненные широковещательными рекламами, поспешили забрать их домой, и в учреждении Дженкинса остались только несчастные малютки, подобранные на церковных папертях или на пустырях, препровожденные сюда каким-нибудь сиротским приютом, дети, с самого своего рождения обреченные на все виды болезней. Смертность все увеличивалась, бедные сиротки перестали прибывать, так что омнибус, отправляясь в обычный рейс на железнодорожную станцию, возвращался, легко подпрыгивая, как пустые похоронные дроги. Сколько это может продлиться? Сколько времени потребуется оставшимся двадцати пяти или тридцати малюткам, чтобы

умереть? Такие вопросы задал себе однажды утром после завтрака г-н директор, или, как он сам себя прозвал, заведующий похоронным бюро, сидя напротив почтенных буклей г-жи Польж и играя с нею в безик — любимое развлечение этой особы.

— Н-да, милейшая госпожа Польж, что с нами будет?.. Долго так тянуться не может... Дженкинс не хочет идти на уступки, а ребяташки упрямы, как мулы... Наверняка все они уберутся на тот свет... Вот, к примеру, маленький валах — иду с короля, госпожа Польж, — он не сегодня-завтра умрет. Подумайте только: этот малыш уже трое суток ничего не брал в рот... Что бы ни говорил Дженкинс, а дети не улитки, одним постом их не вырастишь... Все же очень жаль, что мы не можем ии одного спасти... Лазарет битком набит... Сказать по чести, дело принимает дурной оборот. Объявляю сорок, беянк...

Двукратный звонок, раздавшийся у ворот, прервал его монолог. Омнибус возвращался со станции, причем его колеса скрипели по песку сильнее обычного.

— Удивительное дело, — заметил Пондевез, — омнибус кого-то привез.

Действительно, омнибус гордо подкатил к крыльцу, вышедший из него человек взбежал по лестнице. Это был гонец от Дженкинса с весьма важным сообщением: доктор прибудет через два часа, чтобы осмотреть ясли вместе с Набобом и господином из Тюильри. Доктор просил, чтобы все было готово к их приезду. Он не имел времени написать, так как все решилось внезапно, но он твердо рассчитывает, что г-н Пондевез примет необходимые меры.

— Ему-то хорошо говорить: «принять необходимые меры», — пробормотал насмерть перепуганный Пондевез.

Положение поистине было критическим. Именитые посетители попадали в самый неудачный момент, когда система Дженкинса терпела полный крах. Бедный Помпончик, совершенно растерявшись, теребил свою бороду и жевал ее кончик.

— Будь что будет, — заявил он вдруг г-же Польж, длинное лицо которой еще больше вытянулось между взбитыми буклями. — Мы можем принять только одно решение. Необходимо очистить лазарет, перенести всех больных в дортуар. Им нисколько не повредит, если они там побудут полдня. Что же касается покрытых сыпью, то мы их куда-нибудь спрячем. Они слишком безобразны, их нельзя показывать. Итак, аврал! Все наверх!

Звонит обеденный колокол, и сразу же начинается суета. Кастелянши, сиделки, служанки, няньки появляются из всех углов, бегут, сталкиваются

друг с другом на лестницах и во дворе. Приказания то и дело отдаются и отменяются, раздаются крики, возгласы, но все покрывает шум грандиозной уборки, всюду струится вода, словно в Вифлеемских яслях вспыхнул пожар. Стоны больных детей, вырванных из теплых постелек, все эти плачущие свертки, переносимые по сырому парку в одеялах, мелькающих между ветвями, дополняют картину пожара. Через два часа благодаря проявленной энергии весь дом сверху донизу готов к приему возвещенных гостей, все на своих постах, печи затоплены, козы живописно рассеяны по парку. Г-жа Польж облеклась в зеленое шелковое платье, директор, обычно мало обращавший внимания на свой внешний вид, приоделся, но простота его костюма исключала всякую мысль, что он это сделал преднамеренно. Господин из Тюильри мог теперь пожаловать.

И он прибыл.

Он вышел в сопровождении Дженкинса и Жансуле из великолепной кареты с кучером и выездным лакеем в красных, шитых золотом ливреях Набоба. Делая вид, что он до крайности изумлен, Пондевез бросился навстречу гостям.

— Ах, господин Дженкинс! Какая честь!.. Какая неожиданность!

На крыльце обмениваются приветствиями, поклонами, рукопожатиями, знакомятся друг с другом. Дженкинс в крылатке, распахнувшейся на его честной груди, изображает широкую сердечную улыбку, но лоб его многозначительно морщится. Он опасается неожиданностей, которые готовит им его детище; ему ведь известно лучше, чем кому-либо другому, бедственное положение яслей. Только бы Пондевез принял все необходимые меры... Начало, впрочем, было удачным. Несколько театральные вид входа, беленькие козочки, прыгающие между деревцами, привели в восхищение г-на де Лаперьера, которому наивные глазки, белая бородка и трясущаяся голова придавали сходство с козой, сорвавшейся с колышка.

— Прежде всего, господа, разрешите провести вас в основное помещение — в зал для кормления наших воспитанников, — произнес директор, отворяя массивную дверь в глубине прихожей.

Посетители следуют за ним, спускаются по ступенькам и попадают в обширное полуподвальное помещение, вымощенное плитами, бывшую кухню виллы. При входе прежде всего бросается в глаза огромный кирпичный очаг старинного образца с двумя каменными скамьями, расположенными одна против другой под навесом с гербом певицы — большой лирой со свитком нот, — изваянным на монументальном фронте. Впечатление получается захватывающее. Но из камина дует, от

каменных плит веет холодом, сквозь крошечные окошечки, прорезанные у самой земли, пробивается тусклый свет — все это внушает беспокойство за здоровье детишек. Ничего не поделаешь! Пришлось устроить зал для кормления в этом нездоровом месте из-за капризных «кормилиц», привыкших к простору полей и к бесцеремонному поведению в хлеву. Стоило только взглянуть на лужи молока и пятна красноватой жидкости, подсыхающие на плитах, вдохнуть терпкий запах, бьющий в нос, как только вы вошли, запах сыворотки, мокрой шерсти и прочего, чтобы убедиться в безусловной необходимости именно здесь организовать кормление детишек.

Потолки были так высоки и по углам было так темно, что посетителям сначала показалось, что здесь никого нет. Однако в глубине можно было различить блеющую, хнычущую, двигающуюся группу. Две деревенские женщины с жесткими, тупыми, землистыми лицами, две «сухие кормилицы», вполне заслуживавшие это прозвище, сидели на циновках, держа на руках своих питомцев. Перед каждой из них стояла, расставив ноги, большая коза и подставляла вымя.

Директор разыгрывает радостное изумление.

— Как мы удачно попали, господа!.. Двое наших малышей собираются завтракать... Сейчас мы увидим, как кормилицы и их питомцы ладят между собой.

«Что с ним? Он сошел с ума!»-в ужасе подумал Дженкинс. Но директор, напротив, действовал весьма разумно: он ловко подготовил эту сцену, выбрав двух кротких и терпеливых животных и двух малышей, два исключительных экземпляра, которые хотели выжить во что бы то ни стало и раскрывали свои рты для принятия какой угодно пищи, подобно птенцам, еще не вылетающим из гнезда.

— Подойдите, господа, и убедитесь сами.

Как ни странно, эти херувимы действительно сосут вымя козы! Один из них, забившись под ее живот и съездившись в комочек, сосет так усердно, что слышно, как булькает теплое молоко; кажется, что оно проникает до самых его ножек, которыми он дрыгает от удовольствия. Другой более флегматичен: он лениво растянулся и нуждается в поощрении своей овернской нянюшки:

— Соси, соси, шалунишка!..

В конце концов, словно внезапно решившись, он начинает сосать так старательно, что женщина, пораженная его необыкновенным аппетитом, наклоняется к нему и, смеясь, восклицает:

— Ах разбойник!.. Ну и хитрец!.. Он сосет свой большой палец вместо

козы.

Этот ангелочек нашел выход, чтобы его оставили в покое... Происшествие, однако, не производит дурного впечатления. Напротив, г-на де Лаперьера забавляет мысль кормилицы, что ребенок захотел над ними подшутить. Он выходит из зала для кормления в полном восторге.

— Я положительно вос-хи-щен, — поднимаясь по ведущей в дортуар и украшенной оленьими рогами лестнице с гулкими сводами, повторяет он и трясет головой.

Светлый, с хорошей вентиляцией зал занимает весь фасад. В нем много окон. Колыбельки за легкими и белыми, как снежные хлопья, занавесками стоят на большом расстоянии одна от другой. Женщины ходят взад и вперед по широкому проходу, неся стопки белья и позвякивая ключами: это надзирательница и нянюшки. Тут решительно перестарались, и от этого первое впечатление посетителей неблагоприятно. На фоне белоснежной кисеи, лощеного паркета, по которому, не рассеиваясь, скользит свет, прозрачных стекол, отражающих небо, опечаленное открывшейся перед ним картиной, еще отчетливее выделяется худоба, нездоровая, восковая бледность несчастных, умирающих детей... Старшим едва минуло полгода, младшим еще нет двух недель, а уж сколько грусти на этих лицах, вернее, на зачатках лиц, какие они насупленные и старческие, сколько преждевременных страданий запечатлено в морщинах на лбу, как жалки эти лыбые головки, упрятанные в чепчики, обшитые жидкими уютскими кружевцами! Чем они больны? Что с ними? Они больны всеми болезнями — детскими и зрелого возраста. Порожденные развратом и нищетой, они явились на свет с симптомами ужасной наследственности. У одного была волчья пасть, у другого большие медно — красные пятна на лбу, все страдают молочницей. К тому же они умирают с голоду. Несмотря на ложечки молока и сахарной воды, которые им насильно вливают в рот, несмотря на рожок, к которому иногда прибегают вопреки запрету, они умирают от истощения. Несчастные малютки, изнуренные еще до рождения, нуждаются в свежей, сытной пище. Козы могли бы дать им такое питание, но они поклялись не сосать коз. Вот почему в дортуаре так мрачно и тихо. Малыши здесь не сердятся, сжимая кулачки, не кричат, обнажая крепкие розовые десны, когда они как бы проверяют силу своих легких; здесь слышится жалобный писк, стон души, которая мечется в больном тельце, не находя себе места.

Дженкинс и директор, заметив дурное впечатление, произведенное на гостей дортуаром, стараются внести оживление, говорят громко, с благодушным и удовлетворенным видом, шутят. Дженкинс крепким

рукопожатием приветствует старшую надзирательницу.

— Ну, госпожа Польж, с нашими питомцами, кажется, все обстоит благополучно?

— Как видите, господин доктор, — отвечает она, указывая на колыбели.

У долговязой г-жи Польж, одетой в зеленое шелковое платье, у этого идеала «сухих кормилиц», зловещий вид; она дополняет общую картину.

Но куда же направился секретарь императора? Он остановился перед одной колыбелью и, трясая головой, с грустью смотрит на лежащего в ней младенца.

— Черт побери! — шепнул Помпончик г-же Польж. — Это валах.

Маленький голубой ярлычок, подвешенный, как в приютах, на самом верху колыбели, удостоверяет национальность ребенка: «молдаво-валах». Надо же было случиться, чтобы внимание г-на де Лаперьера остановилось именно на этом ребенке!.. О, эта несчастная головка, покоящаяся на подушке в сбившемся набок чепце, с острым носиком, с полуоткрытым ртом, откуда вырывается короткое, прерывистое дыхание, какое бывает у новорожденных или умирающих!

— Он болен? — тихо спрашивает г-н секретарь приблизившегося к нему директора.

— Нисколько, — отвечает наглый Помпончик и, подойдя к колыбели, заигрывает с ребенком.

Стараясь придать нежность своему грубому голосу, он бурчит:

— Ну, как дела, старина?

Вырванный из забытья, вынырнув из готового поглотить его мрака, малыш открывает глаза и с грустным равнодушием смотрит на склонившиеся к нему лица, потом снова возвращается к своим сновидениям, которые больше привлекают его, чем действительность, судорожно сжимает сморщенные ручонки и выпускает едва слышный вздох. Вечная, неразгаданная тайна! Кто скажет, зачем он явился на этот свет? Чтобы страдать два месяца и навсегда уйти из него, ничего не увидев, ничего не поняв. Никто так и не услышал звука его голоса.

— Как он бледен! — прошептал г-н де Лаперьер, сам побелев, как мел.

Набоб тоже стал мертвенно-бледен. В огромном зале повеяло холодом. Директор развязно пояснил:

— Это от освещения... Мы все здесь зеленые.

— Конечно, конечно, — обрадовался Дженкинс, — это отсветы пруда!.. Потрудитесь взглянуть, господин секретарь.

Он подводит г-на де Лаперьера к окну и показывает пруд, в который

ивы окунают свои ветви. Г-жа Польж тем временем поспешно задергивает занавеску, чтобы укрыть за ней почившего вечным сном маленького валаха.

Надо как можно скорее продолжить осмотр, чтобы изгладить неприятное впечатление.

Г-ну де Лаперьеру сначала показывают великолепную прачечную с лоханями, сушильнями, термометрами, огромными, полированного ореха, шкафами, полными чепчиков и распашонок, занумерованных и перевязанных дюжинами. Как только белье нагрето, кастелянша передает его через окошко кормилице, которая оставляет взамен номерок. Каждая мелочь говорит о том, что здесь царит образцовый порядок; все, даже свежий запах стирки, создает впечатление, что вы находитесь в здоровой обстановке, в деревне. Белья здесь хватит на пятьсот детей. Вот сколько питомцев могут вместить Вифлеемские ясли, и все здесь устроено соответственно: огромная аптека, сверкающая стеклянными банками и латинскими надписями, с мраморными ступками по углам, гидротерапия с большими каменными бассейнами и новенькими ваннами, гигантская аппаратура с поперечными трубами всевозможных размеров для нисходящего и восходящего душа, бьющего дождем, струей или каскадом, кухни, снабженные великолепными медными котлами со шкалами и экономическими плитами, которые отапливаются углем и газом. Дженкинс захотел создать образцовое учреждение, и сделать это было нетрудно, так как все можно поставить на широкую ногу, когда в деньгах нет недостатка. Чувствовались также опыт и железная рука «нашей благоразумнейшей надзирательницы», заслуги которой директор счел своим долгом публично отметить.

И тут начинаются взаимные поздравления. Г-н де Лаперьер, восхищенный устройством яслей, поздравляет доктора Дженкинса с его бесподобным творением, Дженкинс восторгается деятельностью своего друга Пондевеза, который, в свою очередь, благодарит г-на де Лаперьера за то, что он удостоил своим посещением Вифлеемские ясли. Добрый Набоб присоединяет свой голос к хору расточаемых похвал и для каждого находит ласковое слово. Тем не менее он несколько удивлен, что в такой момент никто не выразил и ему благодарности. Правда, лучшая благодарность ждет его 16 марта на первой странице «Журналь офисьель»^[27] в декрете, который уже сверкает перед его глазами и заставляет коситься на петлицу сюртука.

Шествуя по длинному коридору, посетители и директор обмениваются любезностями, и голоса их звучат пошло и елейно. Вдруг невероятный шум прерывает беседу, заставив гостей остановиться. Слышится неистовое

кошачье мяуканье, мычание, вой дикарей, пляшущих вокруг столба пыток, отчаянный рев, повторяемый эхом и становящийся все сильнее и протяжнее под высокими сводами коридора. Шум этот то возрастает, то утихает, неожиданно прекращается и снова поднимается с необыкновенным единодушием. Г-н секретарь встревожен, вопросительно озирается. Дженкинс дико вращает глазами.

— Продолжим наш осмотр, — предлагает на этот раз слегка смущенный Пондевез, — я знаю, в чем дело.

Он — то знает, в чем дело, но и р-н де Лаперьер тоже хочет знать, прежде чем Пондевез успел подойти, секретарь толкает массивную дверь, за которой звучит этот страшный концерт.

В грязной конуре, которой не коснулась уборка, так как показывать ее не собирались, на матрацах, брошенных на голый пол, лежали не то десять, не то двенадцать уродцев под охраной пустого стула с начатым вязаньем и кувшина с отбитым носиком, полным до краев глинтвейном, кипевшим на дымившейся печурке. Этих шелудивых, покрытых струпьями детишек, изгоев Вифлеемских яслей, запрятали в глубину отдаленной каморки, приказав «сухой кормилице» укачивать их, успокаивать, в случае необходимости даже сесть на них, лишь бы не дать им кричать, но деревенская женщина, глупая и любопытная, бросила своих питомцев, чтобы поглазеть на роскошную карету, стоявшую во дворе. Стоило ей отойти, как спеленытым младенцам надоело горизонтальное положение. Красные, покрытые сыпью детишки устроили этот оглушительный концерт: они не утратили сил — их спасала и питала сама болезнь. Беспомощные, барахтаясь, как опрокинутые на спину жуки, работая бедрами и локтями, одни из них валились набок и никак после этого не могли распрямиться, другие задирали свои окоченевшие спеленутые ножки. Все они замерли и смолкли, увидев, что раскрывается дверь, но трясущаяся борода г-на де Лаперьера сразу успокоила, ободрила их, и они залились пуще прежнего. Среди все возраставшего шума с трудом можно было расслышать объяснения директора:

— Этих детей изолировали... Зараза... Накожные болезни...

Г-ну секретарю больше ничего не требуется. Проявив несравненно меньше мужества, чем Бонапарт при посещении чумного лазарета в Яффе, он бросается к дверям и, растерявшись от страха, хочет что-то сказать, но, не найдя подходящих слов, бормочет с натянутой улыбкой:

— Они о-чень ми-лы...

На этом осмотр закончился. Все собрались в гостиной нижнего этажа. Г-жа Польж распорядилась, чтобы туда подали закусь. В Вифлеемских

яслях погреб набит бутылками с вином. Свежий воздух и ходьба по всем этажам возбудили у старичка из Тюильри такой аппетит, какого он давно уже не испытывал. Он болтает, смеется с чисто деревенской непринужденностью, а перед самым отъездом, когда все встают, поднимает, трясая головой, свой бокал за процветание «Ви-фле-ема!». Все растроганы, чокаются друг с другом. Потом гости садятся в карету, и она катит по длинной липовой аллее, за которой садится, не отбрасывая лучей, красное холодное солнце. После их отъезда в парке снова воцаряется зловещая тишина. Густые бесформенные тени скопляются в лесной поросли, забираются в дом, мало-помалу заполняют аллеи и площадку в парке. Вскоре все погружается во мрак. Блестят только буквы, полные иронии, над воротами, да там, в окне второго этажа, светится красная мерцающая восковая свеча, зажженная у изголовья маленького покойника.

«Декретом от 12 марта 1865 года доктор Дженкинс, основатель и председатель Вифлеемских яслей, по представлению министра внутренних дел награждается за свою самоотверженную деятельность по оказанию помощи ближним императорским орденом Почетного Легиона».

Прочтя эти строки на первой странице «Журнал офисьель» утром 16-го числа, бедный Набоб почувствовал головокружение.

Как же так?

Орден получил не он, а Дженкинс!

Он два раза перечел сообщение, не веря своим глазам. В ушах у него звенело. Буквы плясали, двоились, плавали в красных кругах, словно на ярком солнце. Он был так убежден, что увидит свое имя в газете; еще накануне Дженкинс с такой уверенностью сказал ему: «Все в порядке», — что ему все еще казалось, что его обманывает зрение. Но нет, в декрете стояло имя Дженкинса... Удар был сокрушительный, он поражал в самое сердце, он казался пророческим, как первое предостережение судьбы. Жансуле особенно болезненно воспринял его, потому что он уже много лет не испытывал неудач и считал, что он стоит выше обыкновенных смертных. Набоб был жестоко оскорблен в своих лучших чувствах.

— Что вы на это скажете?.. — обратился он к де Жери, когда тот, как обычно, вошел утром в его спальню и застал его сильно расстроенным, с газетой в руках. — Читали «Офисьель»? Меня там нет.

Он пытался улыбнуться, но черты его лица исказились, как у ребенка, с трудом удерживающего слезы. Затем с той откровенностью, которая многих к нему располагала, он сказал:

— Меня это очень огорчило!.. Я так на это рассчитывал!

Не успел он произнести эти слова, как дверь распахнулась и влетел

запыхавшийся, взволнованный Дженкинс.

— Это — безобразие! — бормотал он. — Невероятное безобразие! Этого не должно быть, этого не будет!

Язык у него заплетался, он торопился все высказать сразу, потом, отказавшись от попытки найти подходящие слова, бросил на стол коробочку из шагреновой кожи и большой конверт, на которых стояла печать императорской канцелярии.

— Вот мой орден и диплом... Они принадлежат вам, мой друг... Я не имею права на них.

В сущности, этот жест ровно ничего не значил. Если бы Жансуле вздумал украсить свою петлицу, орденой лентой, его привлекли бы к судебной ответственности за незаконное ношение знаков отличия. Но не всегда можно требовать логики от эффектной театральной сцены, которая в данном случае привела к сердечным излияниям, объятиям, к борьбе великодушия, после чего Дженкинс положил орден и диплом к себе в карман, говоря, что будет протестовать в газетах... Набобу снова пришлось его удерживать:

— Ни в коем случае, безрассудный вы человек!.. Это может мне повредить в дальнейшем... Кто знает, а вдруг пятнадцатого августа...

— О, что касается этого!.. — воскликнул Дженкинс, ухватившись за эту мысль, и, воздев руки к небу, как на картине Давида «Клятва»,^[28] торжественно заявил: — Я даю священную клятву...

На этом дело и кончилось. За завтраком Жансуле ни словом не обмолвился о декрете и был весел, как всегда. Хорошее расположение духа не изменяло ему в течение целого дня. А де Жери, которому происшедшая сцена раскрыла самую сущность Дженкинса, а также причину насмешек Фелиции Рюис, ее еле сдерживаемый гнев, когда она заговаривала о докторе, тщетно спрашивал себя, каким образом он мог бы разъяснить своему патрону всю глубину лицемерия ирландца. А между тем ему следовало бы знать, что южане, люди восторженные, с душой нараспашку, даже в пылу увлечения не бывают полностью ослеплены, что они никогда не теряют здравого смысла. Вечером Набоб раскрыл свою потрепанную записную книжку с надорванными уголками, где он в продолжение десяти лет отмечал свои миллионные операции, записывая лишь ему одному понятными иероглифами барыши и расходы. Он на несколько минут углубился в подсчеты, потом, повернувшись к де Жери, спросил:

— Знаете, дорогой Поль, чем я сейчас занимался?

— Нет, не знаю, господин Жансуле.

— Я только что подсчитал, — взгляд, искрившийся лукавством,

типичный для южанина, словно подсмеивался над его же собственной добродушной улыбкой, — я подсчитал, что награждение Дженкинса орденом обошлось мне в четыреста тридцать тысяч франков.

Четыреста тридцать тысяч франков! И это еще не конец...

IX. БАБУСЯ

Три раза в неделю, как только наступал вечер, Поль де Жери отправлялся на урок счетоводства к г-ну Жуайезу. Занятия происходили в столовой, смежной с маленькой гостиной, где он увидел всю семью, когда впервые пришел сюда. Вот почему, знакомясь с тайнами дебета и кредита и не отрывая глаз от своего учителя в белом галстуке, он все же помимо своей воли прислушивался к доносившемуся из-за двери легкому жужжанию трудолюбивого улья, сожалея о том, что не видит прелестных головок, склонившихся под лампой. Г-н Жуайез никогда ни единым словом не упоминал о дочерях. Так же ревниво оберегая своих милых «барышень», как дракон охраняет заключенных в башню прекрасных принцесс, под влиянием чрезмерной отцовской любви рисуя себе самые фантастические картины, г-н Жуайез настолько сухо отвечал на расспросы своего ученика, осведомлявшегося о молодых особах, что Поль де Жери перестал заговаривать о них. Он только удивлялся, что ни разу не встретил Бабуси, о которой г-н Жуайез упоминал при всяком удобном случае, по поводу малейшего события в их семье, Бабуси, которая витала над всем домом как олицетворение царившего в нем порядка и покоя.

Такая необщительность со стороны почтенной дамы, которая, конечно, давно вышла из того возраста, когда можно опасаться излишней предприимчивости молодых людей, казалась ему чрезмерной. Что же касается уроков, то ими он был вполне удовлетворен: объяснения отличались ясностью, наглядный метод, применяемый преподавателем, ему нравился. Правда, у г-на Жуайеза был один недостаток: порой он погружался в раздумье, прерываемое неожиданными восклицаниями и междометиями, вылетающими, как ракеты. В остальном это был отличный педагог, умный, терпеливый и добросовестный. Поль привыкал разбираться в сложном лабиринте бухгалтерских записей и решил, что должен в этом удовольствоваться, не стремясь к большему.

Однажды около девяти часов вечера, когда молодой человек поднялся с места, собираясь откланяться, г-н Жуайез попросил оказать ему честь и выпить чашку чаю в кругу его семьи, как это было принято у них еще со времен бедной г-жи Жуайез, урожденной Сент-Аман, принимавшей некогда своих друзей по четвергам. С тех пор как она умерла и их материальное положение изменилось, они растеряли друзей, но все же сохранили свои скромные еженедельные приемы. Поль принял

приглашение, и старик, приоткрыв дверь, крикнул:

— Бабуся!..

В коридоре послышались легкие шаги, и вслед за тем показалось личико двадцатилетней девушки, обрамленное густыми, пышными темными волосами. Де Жери в изумлении взглянул на г-на Жуайеза.

— Это и есть Бабуся?

— Да, мы так ее прозвали, когда она была еще маленькая. В чепце, обшитом рюшами, с авторитетным видом старшей она очень забавляла нас своей рассудительностью... Мы находили, что она очень похожа на свою бабушку. Так и утвердилось за ней это прозвище.

Тон славного старика давал понять, что в присвоении старушечьего имени очаровательному молодому существу он не находил ничего противоестественного. Все в доме придерживались того же мнения. Девушки Жуайез, подбежавшие к отцу и сгруппировавшиеся вокруг него, почти как на витрине у входных дверей, и старая служанка, поставившая на стол в гостиной, куда все перешли, великолепный чайный сервиз — последние остатки былой роскоши, — все называли девушку Бабусей, а та ни разу не выразила неудовольствия, словно из-за этого благословенного имени любовь всех ее близких приобретала известную почтительность, которая льстила ей и придавала ее высокому авторитету особый оттенок покровительственной нежности.

Потому ли, что со словом «бабуся» у него был связан дорогой образ, к которому он с малых лет относился с благоговением и любовью, но только де Жери почувствовал к этой девушке невыразимое влечение. Это чувство не походило на внезапный удар в самое сердце, нанесенный ему той, другой, на душевное смятение, при котором желание убежать, спастись от чар сливается с неизменной грустью, испытываемой наутро после бала, когда люстры погашены, звуки музыки смолкли и аромат цветов испарился в ночи. Глядя на эту девушку, которая с заботливостью доброй хозяйки, стоя, наблюдала за семейным столом, окидывая своих «детей», своих «внучат» взглядом, преисполненным деятельной любви, у него явился соблазн узнать ее поближе, стать ее другом, ее старым другом, поверить ей то, в чем он признавался только самому себе. И когда она протянула ему чашку чаю без светского жеманства и салонных любезностей, ему захотелось сказать ей, как говорили остальные: «Благодарю вас. Бабуся» — и вложить в эти слова всю свою душу.

Вдруг раздался непринужденный, громкий стук, заставивший всех встрепенуться.

— А вот и господин Андре... Элиза! Налей ему чашку чаю. Яйя,

печенье!..

Между тем мадемуазель Анриетта, третья девица Жуайез, унаследовавшая от матери, урожденной де Сент-Аман, влечение к светскости, по случаю прихода гостей бросилась зажигать две свечи у фортепьяно.

— Пятое действие закончено!.. — крикнул с порога новый гость, но тут же смолк. — Ах, извините!..

Он явно смутился при виде незнакомца. Г-н Жуайез представил молодых людей друг другу.

— Господин Поль де Жери, господин Андре Маранн, — произнес он не без некоторой торжественности.

Он вспомнил былые приемы, которые устраивала его жена. Вазы на камине, две большие лампы, шкафчик с безделушками, кресла, поставленные кружком, казалось, разделяли его иллюзию: они словно помолодели и заблестали при таком необычном наплыве гостей.

— Итак, ваша пьеса окончена?

— Окончена, господин Жуайез, мне бы хотелось прочитать ее вам в один из ближайших вечеров.

— Непременно, господин Андре, непременно! — хором ответили девушки.

Сосед работал над пьесой, и его добрые друзья не сомневались в его успехе. А вот фотография не сулила больших доходов. Клиенты появлялись крайне редко, прохожих фотография совсем не привлекала. Для практики и чтобы новенький аппарат не стоял слишком долго без дела, Андре Маранн каждое воскресенье снимал своих друзей, которые с безграничным терпением отдавали себя в его распоряжение. Благополучие новой пригородной фотографии было вопросом самолюбия для всех, пробуждавшим даже в девушках трогательное чувство братства, которое сближает бедняков, заставляет их жаться друг к другу, как жмутся воробьи на кровле. Впрочем, Андре, высокий лоб которого скрывал неисчерпаемый запас иллюзий, без всякой горечи объяснял равнодушные публики: то время года неблагоприятное, то все жалуется на застой в делах — и всякий раз заканчивал одним и тем же утешительным припевом:

— Вот когда я поставлю мой «Мятеж»!..

Так называлась его пьеса.

— Все-таки удивительно, — заметила самая младшая из девиц Жуайез, двенадцатилетняя девчурка, причесанная, как китаяночка, — все-таки удивительно, что дела идут так плохо при таком чудесном балконе!..

— И квартал очень бойкий, — убежденно добавила Элиза...

Бабуся с улыбкой заметила, что Итальянский бульвар — еще более бойкое место.

— Ах, если бы она помещалась на Итальянском бульваре!.. — бормочет в глубоком раздумье г-н Жуайез.

И вот он уже во власти своих грез, которые вскоре завершаются резким взмахом руки и жалобно произнесенными словами: «Закрывается банкротства». В мгновение ока неукротимый фантазер водворяет своего друга в роскошное помещение на бульваре, где он зарабатывает кучу денег, но при этом его расходы возрастают настолько непропорционально доходам, что через несколько месяцев страшный крах поглощает и фотографию и ее владельца. Все громко смеются, когда он это рассказывает, и приходят к заключению, что улица св. Фердинанда хотя и менее фешенебельна, чем Итальянский бульвар, зато гораздо более надежна. К тому же она расположена почти рядом с Булонским лесом, и если только высший свет начнет по ней ездить... Этот высший свет, к которому так стремилась ее мать, не давал покоя и мадемуазель Анриетте; ее удивило, что самая мысль о том, чтобы принимать сливки общества в тесной квартирке величиною с ладонь, на шестом этаже, заставила соседа рассмеяться. А ведь на прошлой неделе к нему кто-то приезжал в карете с кучером в ливрее. Вот и недавно у него была элегантная посетительница!

— Настоящая светская дама, — прервала ее Бабуся. — Мы стояли у окна и поджидали отца. Мы видели, как она вышла из экипажа и рассматривала витрину. Мы решили, что она направляется к вам.

— Да, ко мне, — сказал Андре, немного смутясь.

— Мы сначала подумали, что ее устроит шестой этаж и она повернет обратно. Тогда мы все вчетвером стали пристально на нее смотреть, притягивать, как магнитом, незаметно для нее, четырьмя парами широко раскрытых глаз. Мы тянули ее потихоньку за перья ее шляпы, за кружева, украшавшие ее шубку: «Сударыня, войдите же, войдите!..» И в конце концов она вошла. Ведь в глазах столько магнетической силы, если по-настоящему чего-нибудь хочешь...

Это милое создание действительно излучало магнетическую силу, и не только ее глаза неопределенного цвета, то затуманенные, то смеющиеся, как небо ее родного Парижа, — она таилась в звуках ее голоса, в складках ее платья, даже в длинном локоне, затенявшем ее тонкую и прямую, как у статуэтки, шейку. Этот локон притягивал взор каждого своим более светлым завитком, особенно когда Бабуся мило накручивала его на свой тонкий пальчик.

Чаепитие уже подходило к концу. Мужчины еще продолжали беседу и

допивали чай — папаша Жуайез во всем был очень медлителен, так как поминутно уносился в мир своих фантазий, — а девушки принялись за работу: стол покрылся плетеными корзинками, вышиванием, красивой шерстью, которая своими яркими оттенками оживляла поблекшие цветы старой ковровой скатерти. Снова, как и в первый вечер, девушки, к большому удовольствию Поля де Жери, уселись в кружок под яркой лампой с огромным абажуром. Впервые проводил он так вечер в Париже. Этот вечер напомнил ему другие вечера, канувшие в далекое прошлое, когда раздавался такой же мелодичный смех, с таким же легким звяканьем клались на стол ножницы, игла делала такие же стежки по полотну, с тем же шелестом переворачивались страницы. Он вспомнил лица близких ему, навсегда ушедших людей, которые, так же склонившись, сидели под семейной лампой, увы, столь внезапно погасшей...

Приобщившись к этому милому тесному кружку, он с тех пор уже не покидал его. Он брал уроки в присутствии молодых девушек и разрешал себе вступать с ними в разговор, когда старик закрывал свой грессбух. Здесь он отдыхал от светского вихря, в который вовлекал его роскошный образ жизни Набоба. Атмосфера простоты и порядочности благотворно действовала на него; здесь он пытался излечиться от ран, которые беспощадно наносила его сердцу рука, скорее равнодушная, чем жестокая.

«Одни женщины меня ненавидели,^[29] другие любили. Та же, которая причинила мне больше всего страданий, не чувствовала ко мне ни ненависти, ни любви». Такую женщину, о которой говорит Гейне, встретил Поль. Фелиция была полна радушия и сердечности к нему; никого она не встречала так приветливо. Она дарила его особой улыбкой, в которой удовольствие, испытываемое художником при виде излюбленного типа красоты, сочеталось с удовлетворением пресыщенного ума, радовавшегося всякой новизне, какой бы скромной она ни была. Ей нравились в нем сдержанность, нехарактерная для южанина, прямота его суждений, чуждых шаблону артистической и светской среды, которым легкий местный акцент придавал особую живость. До чего все это было непохоже на вульгарные жесты ее товарищей, которые выражали одобрение, оттопыривая, как мальчишки, большой палец, на их шумные восторги, когда она ставила на место какого-нибудь зарвавшегося наглеца, на сюсюканье молодых фатов, расточавших ей комплименты: «Пьелестно», «Очень миио»- и посасывавших при этом набалдашник своей трости. Поль де Жери вел себя совершенно иначе. Она прозвала его Минервой за наружное спокойствие и точеный профиль. Увидев его еще издали, она кричала:

— А, вот и Минерва! Здравствуйте, прекрасная Минерва! Положите

ваш шлем и давайте поболтаем.

Но этот непринужденный тон, тон сестры, которая обращается к брату, убеждал молодого человека в безнадежности его любви. Он прекрасно сознавал, что дружеское расположение женщины, лишенное нежности, ничего ему не сулит и что с каждым днем он теряет прелесть новизны в глазах этой девушки, которая была разочарована с самого рождения, которая, казалось, отжила свой век и все, что видела и слышала, воспринимала лишь как повторение пройденного. Фелиция скучала. Одно только искусство способно было ее развлечь, вырвать из окружающей обстановки, перенести в ослепительное волшебное царство, откуда она возвращалась разбитой, удивляясь своему пробуждению, похожему на падение с большой высоты. Она сравнивала себя с медузой, которая переливается всеми цветами радуги в прохладе катящихся волн и умирает на берегу, распадаясь на множество студенистых хлопьев. Во время творческого затишья, когда бездеятельная мысль задерживает в отяжелевшей руке стеку, Фелиция, лишенная единственного морального стимула, ожесточалась, делалась неприступной, безбожно всех дразнила, становясь жертвой низменных чувств, торжествующих над утомленными от жизни глубокими умами. После того как ей удавалось довести до слез всех, кого она любила, воскресить в себе самые горестные воспоминания, расшевелить свои самые тяжелые мысли, исчерпать до дна свою мертвящую скуку, она давала выход тому, что еще оставалось от ее тоски, — такие чудачества были ей свойственны даже в самые горькие минуты — в реве истомленного дикого зверя, в бурном зевке (она его называла «воем шакала в пустыне»), заставлявшем бледнеть милую Кренмиц, застигнутую врасплох в ее безмятежном покое.

Бедная Фелиция! Ее жизнь, когда искусство не радовало ее своими миражами, действительно походила на страшную пустыню, пустыню мрачную и бесцветную, где все теряется, все сглаживается в бесконечном однообразии: и наивная любовь двадцатилетнего юноши и каприз пылкого герцога, — где все покрывают слоем сухого песка жгучие вихри рока. Поль чувствовал всю безотрадность своего положения, хотел спастись от него, но что-то его удерживало, словно сковывало тяжелой цепью. Несмотря на распространявшуюся о ней клевету, несмотря на странности этого своеобразного создания, ему доставляло наслаждение быть подле нее, хотя он рисковал, что это длительное любовное созерцание приведет его к отчаянию, подобному отчаянию верующего, который уже исчерпал свою веру и поклоняется лишь изображению божества.

Покой и уют были там, в отдаленном квартале, где, невзирая на

сильный ветер, лампа горела ровным ясным пламенем, в семейном кружке, возглавляемом Бабусей. О, эта девушка никогда не скучала, от нее никто не слышал «воя шакала в пустыне»! Жизнь ее была заполнена до краев: она должна была ободрять и поддерживать отца, учить детей, все заботы о семье, лишенной матери, лежали на ней, все они будили ее рано поутру, и с мыслями о них она засыпала, порой они тревожили ее даже во сне. Такая безграничная самоотверженность, проявляющаяся без всякого видимого усилия, весьма удобна для жалкого человеческого эгоизма; она не требует благодарности, ее почти не замечают — так мало она дает себя чувствовать. Алина не принадлежала к тем стойким девушкам, которые, чтобы прокормить семью, бегают с утра до вечера по урокам, забывая о домашних трудностях. Нет, она по-иному понимала свой долг: как пчела-домоседка, она ограничивала свои заботы ульем, не жужжала, летая в чистом поле, не кружилась среди цветов. У нее было множество обязанностей: она шила, штопала, делала шляпы, строго учитывала расходы, ибо г-н Жуайез, неспособный к расчетливости, предоставлял ей полную свободу распоряжаться деньгами, наконец, она занималась с сестрами музыкой и другими предметами.

Как часто бывает в семьях, вначале располагавших известным достатком, старшая дочь, Алина, воспитывалась в одном из лучших пансионов Парижа. Элиза пробыла там вместе с ней два года, а другие две сестры, появившиеся на свет значительно позже, посещали школу в их квартале и должны были дома пополнять свои знания. А это было делом нелегким: самая младшая при всяком удобном случае заливалась звонким смехом юного здорового создания, щебетала, как птичка, опьяненная зеленеющими на полях всходами, и улетала в необозримые просторы, далеко-далеко от школьных тетрадей и книг, меж тем как мадемуазель Анриетта, одолеваемая мечтами о высоком положении и «шикарной жизни», тоже не очень охотно углублялась в занятия. Эта юная пятнадцатилетняя особа, унаследовавшая от отца частицу его богатого воображения, уже заранее устраивала свою жизнь и категорически заявляла, что выйдет замуж за аристократа и что у нее будет трое детей: «мальчик — для продолжения рода — и две девочки... Я их буду одевать одинаково...»

— Хорошо, хорошо, — говорила ей Бабуся, — ты будешь одевать их одинаково, а пока займемся глаголами.

Но больше всего внимания требовала к себе Элиза, которой все не удавалось сдать экзамены; она три раза подряд провалилась по истории и теперь снова готовилась по этому предмету. От страха и от неверия в свои

силы она всюду таскала с собой злосчастный учебник по истории Франции и поминутно раскрывала его — в омнибусе, на улице, даже за завтраком. Но, будучи уже взрослой девушкой, да еще прехорошенькой, она утратила ту свойственную детям механическую память, при которой даты и события вапечатляются на всю жизнь. Они мгновенно терялись среди отвлекавших ученицу мыслей, несмотря на ее видимое прилежание. Длинные ресницы прикрывали ей глаза, локоны рассыпались по страницам книги, а розовые губы, чуть заметно дрожа от напряженного внимания, шептали:

— «Людовик, прозванный Сварливым, царствовал с тысяча триста четырнадцатого по тысяча триста шестнадцатый год. Филипп Пятый, прозванный Длинным, царствовал с тысяча триста шестнадцатого по тысяча триста двадцать второй... тысяча триста двадцать второй...» Ах, Бабуся, я погибла! Ни за что мне этого не выучить...

Бабуся помогала сестре собраться с мыслями, закрепить в памяти даты из истории средних веков, такие же варварские и колючие, как заостренные шлемы воинов того времени. В промежутках между своими многочисленными обязанностями, среди постоянных забот о семье Алина находила время сделать какую-нибудь хорошенькую вещицу: вынимала на рабочей корзинки тонкое кружево, начатое крючком, или вышивание, с которым она никогда не расставалась, как Элиза — с историей Франции. Даже во время беседы ее пальцы ни на минуту не оставались без дела.

— Неужели вы никогда не отдыхаете? — спрашивал ее де Жери, в то время как она вполголоса считала стежки: «Три, четыре, пять», — чтобы не ошибиться в узоре.

— Но ведь это отдых, — отвечала она. — Вы, мужчины, не можете себе представить, до чего работа иглой полезна для женского ума. Она приводит в порядок мысля, отмечает каждым стежком прошедшую минуту и все, что она уносит с собой... Если бы вы только знали, как утихают горести, как забываются тревоги, когда внимание сосредоточено на этой простой, бездумной работе, когда мерно повторяешь одни и те же движения, благодаря которым быстро, помимо воли, вновь обретаешь душевное равновесие... Такая работа не мешает мне принимать участие в общем разговоре, напротив, мне удобнее вас

146 слушать, чем если бы я сидела, ничего не делая... Три, четыре, пять...

О да, она слушала его! Это было заметно по ее оживленному лицу, по тому, как она неожиданно выпрямлялась, отводя иголку от вышивки и натягивая нитку на приподнятый мизинец. Потом снова принималась за работу, бросив иногда глубокое и меткое замечание, которое по большей

части совпадало с мнением Поля. Сходство характеров, то же чувство ответственности за судьбу близких, одинаковые обязанности сближали молодых людей, заставляя одного интересоваться заботами другого. Алина знала по именам обоих его братьев — Пьера и Луи, знала их планы на будущее по окончании коллежа. Пьер хотел стать моряком...

— О нет, только не моряком, — говорила Бабуся, — пусть лучше приезжает к вам в Париж.

Поль признавался ей, что в Париже он не был бы спокоен за братьев. Она трунила над его страхами; полная любви к большому городу, где она родилась и выросла в душевной чистоте, к городу, который наделил ее живостью, утонченностью и насмешливой жизнерадостностью, она называла Поля провинциалом. Слушая ее, можно было подумать, что Париж с его дождями, туманами, с его небом, даже как-то непохожим на небо, — подлинная родина женщин, которая оберегает их чувства и развивает в них ум и терпение.

С каждым днем Поль де Жери все больше ценил мадемуазель Алину — он один в доме так ее называл, — и, странное дело, именно Фелиция окончательно сблизила их. Какая связь могла быть между дочерью большого художника, вращавшейся в высоких сферах, и скромной девушкой из буржуазной семьи, затерянной в одном из отдаленных предместий? Их связывали знакомство с ранних лет, детская дружба, общие воспоминания, большой двор пансиона г-жи Белен, где они в течение трех лет вместе играли. В Париже нередко такие встречи. Случайно упомянутое имя вызвало вопрос, полный изумления:

— Так вы ее знаете?

— Фелицию?.. Да мы сидели с ней в первом классе за одной партой... Вместе играли в садике. Славная девушка, красивая, умная!..

Видя, с каким удовольствием Поль ее слушает, Алина припоминала время, которое представлялось таким близким, но для нее, такой юной, уже оказывалось прошлым, пленительным и немного грустным, как всякое прошлое. Маленькая Фелиция была так одинока! По четвергам, когда воспитанниц вызывали в приемную, никто не приходил ее навестить, лишь изредка приезжала к ней смешная пожилая дама, по слухам, бывшая балерина, которую Фелиция называла Феей. Она давала прозвища всем, кого любила, и преображала их своей богатой фантазией. На каникулах девочки тоже встречались. Г-жа Жуайез не отпускала Алину в мастерскую г-на Рюиса, но приглашала к себе Фелицию на целый день. Эти дни проходили быстро — в рукоделии, в музицировании, в мечтах, в задушевных беседах на свободе.

— Когда она говорила со мной о своем искусстве, и так пылко по своему обыкновению, с какой радостью я ее слушала! Как много благодаря ей я узнала такого, о чем иначе не имела бы ни малейшего понятия! Еще и теперь, когда мы с папой бываем в Лувре или на выставке первого мая, когда прекрасное изваяние или хорошая картина производят на меня особенно сильное впечатление, мне сейчас же вспоминается Фелиция. В юности она являлась для меня олицетворением искусства, и это так гармонировало с ее красотой, с самой ее натурой, неуравновешенной, но такой доброй!.. Я чувствовала ее превосходство надо мной, она возносила меня на такие высоты, нисколько в то же время не смущая меня... И вдруг она перестала со мной встречаться... Я написала ей, но не получила ответа... Потом к ней пришла слава, а на мою долю выпали горести, серьезные обязанности, всецело меня поглотившие... И от всей нашей дружбы, когда-то такой близкой, что я и теперь не могу говорить о ней без... три, четыре, пять... Ничего не осталось, кроме воспоминаний, которые ворошишь, как еще не остывшую золу.

Склонившись над своей работой, стойкая девушка торопливо считала стежки, чтобы скрыть свое горе в капризных рисунках вышивки, меж тем как де Жери, с увлечением слушая отзыв о Фелиции, произносимый невинными устами и столь отличный от клеветы отвергнутых поклонников или завистливых товарищей, почувствовал, что снова может поднять голову, снова может гордиться своей любовью. Это ощущение показалось ему столь сладостным, что он участил свои посещения и приходил к Жуайезам не только в те вечера, когда брал уроки. Вместе с тем он стал гораздо реже бывать у Фелиции, предпочитая слушать то, что говорила о ней Алина.

Однажды вечером, выходя от Жуайезов, он встретил на площадке поджидавшего его соседа, Андре Маранна, — тот в сильном волнении схватил его за руку.

— Господин де Жери! — сказал он дрожащим голосом; глаза его сверкали из-под очков, только их и можно было различить в темноте. — Мне нужно объяснить с вами. Не откажите подняться на минуту ко мне.

Между Полем и этим молодым человеком создались поверхностные отношения двух завсегдатаев дома, которых ничто, кроме этого, не связывает. Они чувствовали даже некоторую антипатию друг к другу из-за различия характеров и образа мыслей. Какие же объяснения могли быть между ними? Крайне заинтригованный, де Жери последовал за юношей.

Взору Поля предстало крошечное ателье, заледеневшее под стеклянной крышей, комнатка, где камин не топился и ветер гулял, как на

дворе, колебля пламя свечи — единственный огонек, освещавший ночные бдения одинокого бедняка, о которых свидетельствовали разбросанные сплошь исписанные листки. Вся атмосфера этого жилища, в котором чувствовалась душа его хозяина, сделала Полю понятными лихорадочный взгляд обратившегося к нему Маранна, у которого развевались длинные, откиннутые назад волосы, его несколько эксцентрический внешний вид, вполне простительный, когда за него платишь жизнью, полной страданий и лишений. Он сразу же проникся симпатией к этому мужественному юноше, с первого взгляда угадав в нем гордость и упорство. Но тот был слишком взволнован, чтобы заметить такую перемену. Как только за ними закрылась дверь, Маранн заговорил с пафосом театрального героя, обращаясь к коварному соблазнителю:

— Господин де Жери! Я, конечно, еще не Кассандр...^[30]

Заметив изумление своего собеседника, он продолжал:

— Да, да, мы отлично понимаем друг друга... Для меня не секрет, что вас привлекает в доме господина Жуайеза, и радушный прием, вам оказываемый, тоже не ускользнул от моего внимания... Вы богаты и знатны. Нельзя сомневаться в том, кому из нас отдадут предпочтение — вам или такому бедному поэту, как я, занимающемуся жалким ремеслом в ожидании успеха, а успех, может быть, никогда не придет... Но я не позволю похитить у меня мое счастье... Мы будем драться, милостивый государь, мы будем драться, — повторял он, раздраженный миролюбивым спокойствием своего соперника. — Я давно люблю мадемуазель Жуайез... В этой любви — весь смысл, вся радость моей жизни. Она придает мне силы терпеть это существование, столь мучительное во многих отношениях. Это единственное благо, каким я обладаю, и я готов умереть, но ни за что не откажусь от моей любви.

Как странно устроено человеческое сердце! Поль не любил прелестную Алину. Его сердце принадлежало другой. Он думал о ней только как о друге, об очаровательном друге. И что ж! При мысли, что Маранн увлечен ею, что она, по всей вероятности, отвечает на его чувство взаимностью, он вздрогнул от вспыхнувшей в нем ревнивой досады и довольно резко спросил, известно ли мадемуазель Жуайез, какие чувства питает к ней Андре, и разрешила ли она ему открыто заявлять о своих правах.

— Да, милостивый государь, мадемуазель Элиза знает, что я ее люблю, и до ваших частых посещений...

— Элиза?... Так вы говорите об Элизе?

— О ком же еще я могу говорить?... Другие слишком молоды...

Этот юноша вполне проникся традициями семейства Жуайез. Для него за прозвищем, исполненным глубокого уважения, за заботливостью ангела-хранителя была скрыта лучезарная прелесть двадцатилетней Алины.

Это краткое объяснение совершенно успокоило Андре Маранна. Он принес свои извинения Полю, усадил его в деревянное резное кресло, в котором ему позировали клиенты, и беседа их именно благодаря столь резко высказанному признанию Маранна скоро приняла дружеский, душевный характер. Поль признался, что тоже влюблен, что он так часто приходит к г-ну Жуайезу, чтобы поговорить о той, которую любит, с Бабусей, знавшей его возлюбленную с детских лет.

— Точь-в-точь как я, — заметил Андре. — У меня тоже нет секретов от Бабуси, но отцу мы еще не решились сказать. Слишком скромное у меня положение... Вот когда мне удастся поставить «Мятеж»...

И они заговорили о замечательной драме «Мятеж», над которой Андре работал полгода днем и ночью, которая согревала его во время суровой зимы. Его вдохновение своим огнем побеждало жестокий холод в маленьком ателье и все вокруг преображало. Здесь, в этой тесной каморке, герои его пьесы являлись поэту как милые домашние духи, спускаясь с крыши или гарцуя на лунных лучах. Он видел красивые гобелены, ярко горящие люстры, укромные уголки парка с искрящимися каскадами — всю роскошь декораций. В дожде, барабанившем по стеклам, он слышал восторженный шум первого представления. Хлопанье вывесок над входной дверью воспринималось им как аплодисменты, а в гудении ветра, гулявшего по унылому пустырю среди разбросанных обломков снесенных зданий, в его вое, то набегавшем, подобно волне, то замиравшем, ему чудился гул, доносившийся из отворенных лож, где среди светской болтовни радостно возбужденной толпы слышались похвалы, отзвуки его успеха. Не только славу и деньги сулила ему эта благословенная пьеса, но и нечто неизмеримо более ценное. Вот почему он так любовно перелистывал свою рукопись, составлявшую пять толстых тетрадей в голубых обложках, таких же, как те, что валялись на кушетке левантинки, когда она возлежала и делала в рукописях пометки своим всемогущим карандашом.

Поль, подойдя к письменному столу, чтобы ознакомиться с этим шедевром, заметил женский портрет в богатой рамке, стоявший так близко от рукописи поэта, что, казалось, этот образ вдохновлял его. Наверно, портрет Элизы?.. О нет. Андре еще не считал себя вправе извлечь фотографию своей юной подруги из словно охранявшего ее семейного окружения. На портрете была изображена элегантная блондинка лет сорока, с кротким выражением лица. Узнав ее, де Жери не мог удержаться

от восклицания.

— Вы с ней знакомы? — спросил Андре Маранн.

— Знаком. Это госпожа Дженкинс, супруга доктора-ирландца. Я был у них на вечере зимой.

— Это моя мать... — Понизив голос, молодой человек продолжал: — Госпожа Маранн вышла вторым браком замуж за доктора Дженкинса. Вас, наверное, удивляет, что я так бедствую, когда мои родители живут в роскоши? Но, знаете, случай иногда соединяет семейными узами очень разных людей. Мы с отчимом никак не могли поладить... Он хотел, чтобы я стал врачом, а я всегда мечтал о литературе. И вот, чтобы положить конец нашим пререканиям, от которых страдала моя мать, я решил оставить их дом и сам пробить себе дорогу, без чьей — либо помощи. Нелегкое дело! Денег у меня не было. Ведь все состояние принадлежит... господину Дженкинсу. Нужно было зарабатывать на жизнь, а вам должно быть известно, до чего это трудно таким людям, как мы с вами, получившим, как говорится, «хорошее воспитание»... Подумать только, что, пройдя так называемый полный курс наук, я вынужден был обратиться к этой детской забаве, чтобы добывать себе кусок хлеба! Кое-какие сбережения — карманные деньги, которые я откладывал, позволили мне приобрести необходимое оборудование, и я устроился в самой отдаленной части Парижа, чтобы не нарушать покоя моих родных. Между нами говоря, я не думаю, что моя фотография когда-нибудь сможет меня обеспечить. Особенно нелегки были первые шаги. Никто не заходил ко мне, а если случайно и являлся какой-нибудь чужак, то снимок не удавался — получалось тусклое, туманное пятно, похожее на привидение. Однажды, в самом начале, ко мне пожаловала целая свадьба: новобрачная вся в белом, молодой в жилете вот с таким вырезом, гости в белых перчатках, которые они непременно хотели запечатлеть на фотографии, потому что им не часто приходилось их надевать... Право, я думал, что сойду с ума... Эти черные силуэты, подвенечное платье, перчатки, флердоранж, выступавшие большими белыми пятнами, несчастная новобрачная, походившая на царицу из племени ньям-ньям, в венке, сливавшемся с ее волосами... И все они были так благодушны, так подбадривали меня... Я принимался за них двадцать раз, продержал их до пяти часов вечера. Они ушли от меня, когда уже стемнело, прямо к обеду. Вы себе представляете, как приятно им было провести день свадьбы в фотографии?..

Андре в шутливом тоне рассказывал ему о своих невзгодах, а Поль в это время вспоминал пылкий монолог Фелиции по поводу богемы и все, что она говорила Дженкинсу о восторженных, мужественных людях,

стремительнодвигающихся навстречу лишениям и испытаниям. Он думал также о горячей любви Алины к Парижу, где он до сих пор сталкивался только с нездоровыми излишествами. Оказывается, большой город таит в себе столько никому не ведомого героизма и благородных иллюзий. Такое впечатление сложилось у Поля, еще когда он сидел при уютном свете большой лампы Жуайезов, но теперь оно еще усилилось в этой менее покойной, менее уютной обстановке, куда искусство приносило свою тревогу — то неуверенность, то радужные надежды. Растроганный Поль внимательно слушал Андре Маранна, рассказывавшего об Элизе, о том, сколько сил и времени берет у нее подготовка к экзамену, какие трудности представляет фотография, как неустойчиво его положение... но все это изменится, как только он поставит пьесу. Очаровательная ироническая улыбка появилась на устах поэта, когда он высказал эту надежду, а высказывал он ее так часто, что сам же спешил подтрунить над ней, чтобы не дать возможности посмеяться другому.

Х. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. ПРИСЛУГА

В Париже фортуна вращает свое колесо с головокружительной быстротой.

Видеть Земельный банк таким, каким я его видел, — нетопленные, никогда не подметавшиеся комнаты, пыльные и пустынные, кучи опротестованных векселей на столах, объявления о торгах, еженедельно вывешиваемые у входа, наконец, моя стряпня, распространявшая запах нищенской кухни, — и вдруг оказаться свидетелем полного перерождения нашей Компании, ходить по заново меблированным залам с ярко пылающими, как в министерствах, каминами, которые мне поручено разжигать, среди снующей взад и вперед толпы, среди свистков, резких электрических звонков, звона рассыпающихся грудями золотых монет — разве это не похоже на чудо? Чтобы этому поверить, я должен внимательно посмотреть на себя в зеркало, увидеть свой темно-серый сюртук с серебряными галунами, белый галстук и толстую цепь, какую я надевал на факультете в дни заседаний... Трудно даже представить себе, что один человек, — правда, обладатель несметных богатств, которого стоустая молва окрестила Набобом, — мог произвести этот переворот, вновь вдохнуть в наши сердца радость — источник согласия, удесятить ценность наших бумаг и вернуть нашему дорогому патрону уважение и доверие, которых он так несправедливо был лишен.

О, когда господин Жансуле впервые посетил наш банк, его внушительная осанка, его лицо, хотя и слегка помятое, но благородное, его манеры завсегда королевских дворцов, привыкшего быть на «ты» со всеми восточными владыками, наконец, его уверенность в себе и величие, придаваемое огромным состоянием, произвели на меня такое сильное впечатление, что сердце мое растаяло в груди под двубортным жилетом. Как бы ни превозносились в высокопарных речах равенство и братство, существуют люди, столь высоко стоящие над другими, что хочется пасть перед ними ниц, особыми словами выразить им свое преклонение, чтобы побудить их остановить на вас взор. Спешу присовокупить, что мне не пришлось к этому прибегнуть, чтобы обратить на себя внимание Набоба. Когда я при его появлении вытянулся во весь рост, взволнованный, но с видом, полным достоинства, — можете положиться на Пассажона! — он с

улыбкой посмотрел на меня и вполголоса сказал сопровождавшему его молодому человеку: «Какая славная морда...»-а потом произнес слово, которое я не расслышал, оканчивающееся на «арда», как будто «леопарда». Впрочем, нет, этого не могло быть: я ведь на леопарда никак не похож. А может быть, «Жана Барта», хотя и тут я не вижу никакого смысла... Во всяком случае, он сказал: «Какая славная морда!..» И эта благосклонность преисполнила меня гордостью. Вообще вся наша верхушка обращается со мной так вежливо, так любезно! Оказывается, на заседании совета обсуждался вопрос обо мне — оставить меня или уволить, как нашего кассира, старого ворчуна, все время грозившего упечь всех на каторгу: ему предложили заняться в другом месте изготовлением дешевых манишек. И прекрасно сделали! Это его отучит от грубого обращения с людьми.

Патрон был так добр, что простил мне мои довольно резкие слова, памятуя о моих заслугах в банке и других учреждениях. По окончании заседания он сказал мне со свойственным ему приятным для слуха выговором: «Пассажон! Вы остаетесь у нас». Можете себе представить, как я был счастлив, как рассыпался в благодарностях! Подумать только! Я бы ушел отсюда с моими грошами без всякой надежды что-нибудь к ним добавить и принужден был бы возделывать виноградник в провинциальном захолустье, слишком тесном для человека, привыкшего жить среди парижских финансовых тузов, в атмосфере банковских спекуляций, приносящих баснословные барыши. Вместо этого я снова занимаю великолепную должность, мой гардероб обновлен, а мои сбережения, которые я целый день ощупывал в кармане, я передал на хранение патрону, который взялся их приумножить. Он-то знает в этом толк! Мне беспокоиться нечего. Опасения мгновенно исчезают при словах, которые слышатся теперь во всех административных советах, на всех заседаниях акционеров, на бирже, на бульварах, буквально всюду: «Набоб принимает участие в деле». А это означает, что золото льется широким потоком и самые неудачные комбинации становятся превосходными.

Как богат этот человек!

Он так богат, что даже поверить трудно. Недавно он одолжил тунисскому бею без всяких гарантий пятнадцать миллионов. Да, да, пятнадцать миллионов! Сделал он это назло Эмерленгам, которые захотели поссорить его с этим государем, вытеснить из чудесной страны на Востоке, такой богатой, плодородной, золотоносной... Я знаком с одним старым турком, полковником Ибрагимом, одним из членов нашего совета, который устроил это дело. У бея, по-видимому, иссякли карманные деньги, и он, разумеется, был очень тронут готовностью Набоба ему услужить. Бей

направил ему через Ибрагима благодарственное письмо; в нем он уведомляет, что во время своей предстоящей поездки в Виши проведет у него два дня, в его чудесном замке Сен-Роман, который покойный бей, брат нынешнего, уже удостоил некогда своим посещением. Сами понимаете, какая это честь! Принимать у себя царствующую особу! Эмерленги в ярости. Чего только они не пускали в ход — сын в Тунисе, отец в Париже, — чтобы навлечь немилость на Набоба! Правда, пятнадцать миллионов — сумма немалая. Не вздумайте только сказать: «Ну и врет Пассажон!» Человек, сообщивший мне об этом факте со всеми подробностями, держал в руках бумагу, посланную беём, в зеленом шелковом конверте с королевской печатью. Если он не прочел этого письма, то только потому, что оно было написано арабскими письменами, иначе бы он ознакомился с его содержанием, как знакомится со всей корреспонденцией Набоба. Человек, о котором я говорю, — это личный камердинер Набоба, Ноэль, — я имел честь быть ему представленным в прошлую пятницу на вечеринке, устроенной им для сотоварищей. Этому празднеству я уделяю несколько страниц в моих мемуарах как одному из наиболее любопытных событий, какие мне довелось наблюдать за мое четырехлетнее пребывание в Париже.

Сначала, когда г-н Франсис, камердинер Монпавона, говорил мне об этом вечере, я думал, что речь идет об одной из тех пирушек, устраиваемых иногда тайком в чердачных помещениях на нашем бульваре, где угощаются остатками с барского стола, принесенными мадемуазель Серафиной или другой кухаркой из нашего дома, пьют краденое вино и наедаются до отвала, сидя на чемоданах, дрожа от страха, при свете двух свечей, которые немедленно гасят при малейшем шорохе в коридоре. Такая таинственность мне глубоко отвратительна... Совсем другое дело, когда я получил — как на бал в семейном доме — приглашение на розовой бумаге, написанное прекрасным почерком:

Г-н Ноэль просит господина... пожаловать к нему на вечер 25-го текущего месяца.

Будет ужен.

Я сразу понял, несмотря на хромающую орфографию, что речь идет о чем-то серьезном и дозволенном. Итак, я облекся в свой новенький сюртук, надел тонкое белье и отправился на Вандомскую площадь по указанному в приглашении адресу.

Г-н Ноэль, чтобы дать вечер, воспользовался премьерой в Опере, куда устремляется высшее общество, — это освобождало до полуночи персонал и отдавало в наше распоряжение весь дом сверху донизу. Тем не менее

хозяин предпочел нас принять наверху, у себя в комнате, и я это вполне одобрил, разделяя мнение того славного человека, который сказал:

Если надобно бояться.^[31] Мне и пир не по душе!..

Но каково было чердачное помещение на Вандомской площади! Мягкий ковер на плиточном полу, кровать, скрытая в алькове, занавески из алжирской ткани в красную полосу, фигурные часы зеленого мрамора — и все это освещалось лампами с регулятором. У нашего декана г-на Шальмета квартира в Дижоне была не лучше! Я прибыл около девяти часов со старым Франсисом, слугой Монпавона, и должен признаться, что мой приход произвел огромное впечатление, поскольку здесь уже были известны мое многолетнее служение науке, моя учтивость и большие познания. Мой представительный вид довершал дело, ибо нельзя отрицать, что я умею вести себя в обществе... Г-н Ноэль, в черном фраке, загорелый, с мастерски подстриженными бакенбардами, поспешил нам навстречу.

— Добро пожаловать, господин Пассажон! — приветствовал он меня и, взяв мою фуражку с серебряным галуном, которую я, как это принято, держал в правой руке, передал ее огромному негру в красной с золотом ливрее.

— Ну, Лакдар, получай... И еще это в придачу, — добавил он в виде шутки, дав ему пинка пониже спины.

Эта шутка хозяина вызвала общий смех, и мы начали дружески беседовать. Этот г-н Ноэль с его южным акцентом, решительным видом, непосредственностью и простотой обращения производит впечатление славного малого. Он напомнил мне Набоба, разумеется, без свойственной тому благовоспитанности. Вообще я в этот вечер заметил, что подобного рода сходство часто встречается: камердинер, постоянно общаясь со своим господином, восторгается им и в конце концов перенимает его повадки и наклонности. Возьмите хотя бы г-на Франсиса: когда он выпрямляется, выставляя напоказ белую манишку, поднимает руки, подтягивая манжеты, — это вылитый Монпавон. Вот кто не похож на своего хозяина, так это Джо, кучер доктора Дженкинса. Я называю его Джо, но на вечере все его величали Дженкинсом, потому что в этом кругу кучера и конюхи носят фамилии своих хозяев и называют друг друга: Буа-Ландри, Моипавон, Дженкинс. Делается это для того, чтобы унижить господ или чтобы возвысить слуг? Каждая страна имеет свои обычаи, и только глупец может этому удивляться. Возвращаюсь, однако, к Джо-Дженкинсу. Нельзя не задать себе вопрос: как доктор, такой любезный, такой достойный во всех отношениях человек, может держать у себя этого грубияна, пропитанного портером и джином, который целыми часами молчит и вдруг,

когда вино ударит ему в голову, начинает орать, лезет со всеми в драку, доказательством чему может служить скандальная сцена, разыгравшаяся, когда мы входили?

Маленький грум маркиза, Том Буа-Ландри, как его здесь именуют, захотел подшутить над этим ирландским олухом, а тот в ответ на остроту парижского гамена чисто бельфастским ударом треснул его кулаком по лицу.

— «Кольбаса на ляпах»? Это я «кольбаса на ляпах»?.. — твердил кучер, задыхаясь от гнева, в то время как невинную жертву уносили в соседнюю комнату, где дамы и барышни принялись прикладывать ему примочки к носу.

Волнение скоро улеглось благодаря нашему приходу, а также мудрым словам г-на Барро, человека пожилого, солидного и величавого, под стать мне. Это повар Набоба, бывший главный повар Английского кафе, которого директор театра Нувоте Кардальяк раздобыл для своего друга.

Во фраке, в белом галстуке, с полным, красивым, гладко выбритым лицом, он вполне мог сойти за сановника времен империи. Правда, повар в таком доме, где каждое утро стол накрывается на тридцать персон, да еще готовятся особые блюда для хозяйки, причем всем подаются самые изысканные и тонкие кушанья, не простая стряпуха. Он получает жалованье полковника при даровом питании и помещении, не считая особых доходов. Трудно представить себе, сколько можно наскрести в таком доме. Все поэтому обращались к нему почтительно, с уважением, как подобает обращаться к столь влиятельной особе. Только и слышалось: «Господин Барро!», «Дорогой господин Барро!»- ибо не следует думать, что слуги друг с другом запанибрата. Нигде так не соблюдается иерархия, как среди них. На вечере у г-на Ноэля я убедился в том, что кучера не водятся с конюхами, камердинеры — с выездными лакеями и егерями, так же как метрдотель или дворецкий не станет знаться с судомойками и поваренком. Когда г-н Барро отпускал какую-нибудь шутку, приятно было видеть, как все его подчиненные старательно смеялись. Я совсем не против этого. Как говорил наш декан, «общество без иерархии — все равно что дом без лестницы». Мне прос го показалось не лишним отметить этот факт в моих мемуарах.

Само собой понятно, что вечеринка достигла полного блеска, только когда вернулось ее лучшее украшение — дамы и барышни, которые выходили из комнаты, чтобы помочь маленькому Тому: горничные с блестящими, напомаженными волосами, экономки в больших чепцах, украшенных лентами, негрятянки и няни. Мне сразу удалось добиться

благосклонного отношения к себе со стороны этого изысканного общества благодаря моей внушительной осанке и прозвищу «Дядюшка», присвоенному мне самыми молодыми из этих любезных дам. По моему мнению, здесь было немало поношенного шелка, кружев, довольно потертого бархата, длинных перчаток на восемь пуговиц, много разчищенных, и всякой парфюмерии, стянутой с туалетного столика хозяек, но у всех были довольные лица, все были веселы, и я, не выходя, разумеется, из рамок приличия, как подобает человеку в моем положении, сумел составить себе кружок очень оживленный. Да и все держали себя вполне благопристойно. Я не слышал здесь — разве только под самый конец ужина — ни одного вольного словца, ни одного сального анекдота, до которых такие охотники члены нашего совета, и считаю своим приятным долгом отметить — ограничусь одним примером, — что Буа-Ландри-кучер гораздо более благовоспитан, чем Буа — Ландри-маркиз.

Один только г-н Ноэль выделялся своим фамильярным тоном и остротой своих замечаний. Этот человек не стесняется называть вещи своими именами. Так, например, он громогласно с одного конца комнаты на другой обратился к господину Франсису:

— Послушай, Франсис! Твой старый мошенник на этой неделе опять с нас содрал изрядный куш.

Франсис нахохлился, а г-н Ноэль, рассмеявшись, добавил:

— Не обижайся, старина! Касса у нас солидная — вам не добраться до дна.

Тут-то он и рассказал нам о ссуде в пятнадцать миллионов, о которой я уже упоминал выше.

Меня удивляло, что не видно приготовлений к ужину, о котором сообщалось в пригласительном билете, и я шепотом выразил свое беспокойство одной из моих очаровательных племянниц.

— Ждут господина Луи, — ответила она мне.

— Господина Луи?..

— Как! Вы не знаете господина Луи, камердинера герцога де Мора?

И тут мне объяснили, что г-н Луи — весьма влиятельная персона: перед ним заискивают префекты, сенаторы, даже министры, а он, без сомнения, заставляет их раскошелиться, так как, получая у герцога тысячу двести франков жалованья, сумел скопить себе кругленькую сумму, дающую ему двадцать пять тысяч ежегодного дохода, воспитывает своих дочерей в монастыре сердца Христова, а сына — в коллеже Бурдалу и приобрел домик в Швейцарии, где его семейство проводит каникулы.

Вскоре прибыл упомянутый гость. Однако ничего в его наружности не

обличало занимаемого им исключительного положения. Никакого величия в осанке, доверху застегнутый жилет, невзрачное наглое лицо и особая манера разговаривать, еле шевеля губами, весьма оскорбительная для его собеседников.

Он поклонился собравшимся небрежным кивком головы и подал один палец г-ну Ноэлю. Мы в недоумении смотрели друг на друга, озадаченные его высокомерием. Но тут дверь распахнулась, и перед нами предстал накрытый к ужину и освещенный двумя канделябрами стол, на котором красовался богатейший ассортимент холодных мясных блюд, горы фруктов и бутылки самой разной формы.

— Прошу, господа, предложите руку дамам.

В одну минуту все разместились. Дамы уселись вместе с самыми пожилыми и почтенными из нас, а остальные мужчины нам прислуживали, болтали, пили из чужих рюмок и лакомились кусочками со всех тарелок. Моим соседом был г-н Франсис, и мне пришлось выслушать все, что у него накипело против г-на Луи. Он очень завидовал г-ну Луи, занимавшему столь выгодную должность, тогда как сам он вынужден был служить у аристократа, спустившего все состояние в карты.

— Это выскочка, — говорил он мне шепотом. — Он обязан своей карьерой жене, госпоже Поль.

Дело в том, что г-жа Поль, которая уже двадцать лет служит у герцога экономкой, изготавливает бесподобную целебную мазь против его недугов. Мора не может без нее обойтись. Убедившись в этом, г-н Луи стал ухаживать за вышеназванной пожилой особой и женился на ней, несмотря на большую разницу в годах. Чтобы удержать при себе сиделку, изготавливающую замечательную мазь, его светлости пришлось сделать мужа своим камердинером. По правде сказать, хоть я и поддакивал Франсису, мне казалось, что все совершилось как нельзя лучше и по всем правилам приличия, раз в деле участвовали мэр и священник. К тому же прекрасный ужин из дорогих и изысканных блюд, неизвестных мне даже по названию, настроил меня на снисходительный и благодушный лад. Но не все были так настроены. С другого конца стола до меня доносился густой бас г-на Барро.

— Чего он вмешивается? — ворчал он. — Разве я сую нос в его дела? Во-первых, это касается не его, а Бомпена. Да и что тут особенного? В чем я провинился? Мясник присылает мне каждое утро пять корзин мяса. Я расходую только две и перепродаю ему три оставшиеся. Какой главный повар этого не делает? Не лучше ли было бы ему, вместо того чтобы шпионить у меня в подвале, последить за безумными тратами наверху? Как

думаешь о том, что этот сброд в бельэтаже выкурил за три месяца сигар на двадцать восемь тысяч! Двадцать восемь тысяч!.. Ноэль может это подтвердить. А в третьем этаже, у хозяйки, — посмотрели бы вы, что там творится: белье выбрасывают грудями, платья надеваются только один раз, драгоценности валяются где попало, жемчуг топчут ногами. Подожди, голубчик, это тебе даром не пройдет!

Я понял, что речь шла о г-не де Жери, молодом секретаре Набоба, который часто заходит в наш банк и всегда роется в книгах. Он, бесспорно, весьма вежлив, но очень горд и не умеет расположить к себе людей. За столом принялись дружно его ругать. Сам г-н Луи с важным видом взял слово:

— У нас, любезный господин Барро, с поваром тоже недавно случилась неприятность вроде вашей: правитель канцелярии его светлости позволил себе сделать ему замечание по поводу расходов. Повар тут же поднялся к герцогу в своем служебном одеянии и, засунув руку за шнурок фартука, заявил: «Пусть ваша светлость выбирает между этим господином и мною...» Герцог ни минуты не колебался. Правителей канцелярии сколько угодно, а хорошие повара наперечет. В Париже всего четыре. В том числе вы, дорогой Барро... Мы уволили нашего правителя канцелярии, предоставив ему в утешение первоклассную префектуру, но сохранили главного повара.

— Вот видите, — воскликнул г-н Барро, пришедший в восторг от этого рассказа, — видите, что значит служить у настоящего вельможи?.. А выскочка, что ни говори, всегда останется выскочкой.

— Жансуле — всего-навсего выскочка, — вставил г-н Франсис, подтягивая манжеты. — Человек, который был грузчиком в марсельском порту...

Но тут г-н Ноэль взбеленился:

— Эй вы, старый хрен, здорово вам все-таки повезло, что грузчик из Каннебьер платит за вас, когда вы продуетесь в картишки!.. Поищите еще таких выскочек, как мы, которые одалживают миллионы царствующим особам и которых такой вельможа, как Мора, не стыдится приглашать к своему столу!..

— О, только в деревне! — усмехнулся Франсис, показывая свой гнилой зуб.

Г-н Новль, покраснев как рак, вскочил; он готов был разозлиться не на шутку, но тут г-н Луи сделал знак, что хочет что-то сказать, и г-н Новль тотчас же сел и, так же как все, наострил уши из боязни упустить хоть одно слово, исходившее из уст знатного гостя.

— В самом деле, — заговорил этот влиятельный человек, цедя слова и потягивая маленькими глотками вино, — в самом деле, мы принимали в Гранбуа на прошлой неделе Набоба. И тут случилось очень забавное происшествие. У нас много грибов в старом парке, и его превосходительство иногда ради забавы их собирает. К обеду подали большое блюдо грибов. За столом были министр внутренних дел... как его?.. Как, бишь, его?.. Мариньи, Монпавон и ваш хозяин, дорогой Ноэль. Блюдо с грибами обнесли вокруг стола; с виду они были очень аппетитны. Все наложили себе большие порции, кроме герцога, — его желудок не принимает грибов, — и он ив любезности счел своим долгом сказать гостям: «Я уверен, что они вполне доброкачественны... Я их сам собирал». «Черт возьми! — смеясь, воскликнул Монпавон. — В таком случае, дорогой Огюст, позвольте мне от них отказаться». Мариньи, который не в столь коротких отношениях с герцогом, покосившись на свою тарелку, сказал: «Да что вы, Монпавон! Могу вас уверить: это отличные грибы. Я очень жалею, что уже сыт». Герцог нахмурился. «А вы, господин Жансуле? Надеюсь, вы не захотите меня обидеть? Эти грибы я сам собирал». «Помилуйте, ваша светлость, помилуйте! Да с вакрытымн главами!..» Ну и досталось же бедному Набобу, который в первый раз у нас обедал! Дюперрон, прислуживавший за столом и стоявший против него, нам все рассказал в буфетной. Нельзя было без смеха смотреть на Жансуле, как он давился грибами, испуганно тараща глаза, — остальные с любопытством наблюдали за ним, но не прикасались к своим тарелкам. Несчастный обливался потом! И он еще попросил вторую порцию: да, да, у него хватило на это мужества. Запивая грибы, он только все время хлестал вино стаканами, точно каменщик. Знаете, что я вам скажу? Он очень хитро поступил, меня несколько не удивляет, что этот мужлан сделался любимцем коронованных особ. Он умеет потакать их маленьким слабостям, в которых неудобно признаться... Словом, с того дня герцог души в нем не чает.

Этот рассказ вызвал общий смех и рассеял тучи, сгустившиеся из-за нескольких неосторожных слов. После того как вино развязало языки и гости почувствовали себя непринужденно, все положили локти на стол и принялись судачить о своих господах, вспоминать о местах, где раньше служили, и о всяких забавных вещах, которые им довелось наблюдать. Ну и наслушался же я всяких историй! Я увидел перед собой домашний быт всех этих господ. Разумеется, и я в долгу не остался — рассказал о своей кладовой в Земельном банке, о том, как я в тяжелые времена прятал свою провизию в пустой несгораемый шкаф, что не мешало нашему старому

кассиру, большому формалисту, каждые два дня менять шифр секретного замка, как если бы в шкафу хранилось все богатство Французского банка. Г-ну Луи, видимо, понравился мой анекдотец. Но самое любопытное было то, что маленький Буа-Ландри сообщил нам с видом настоящего парижского пройдохи о своих господах...

Маркиз де Буа-Ландри и его супруга занимают третий этаж на бульваре Гаусмана. Обстановка — как в Тюильрийском дворце: стены обиты голубым штофом, китайские безделушки, картины, антикварные редкости, — настоящий музей, который, не уместаясь в квартире, вылезает на площадку лестницы. Большой штат прислуги — шесть лакеев, зимой в коричневых, летом в светло-желтых ливреях. Эта чета бывает повсюду — на закрытых генеральных репетициях, на бегах, на премьерах, на балах в посольствах. Газеты постоянно упоминают о ней, отмечая роскошные туалеты маркизы и умопомрачительный шик маркиза... И что же? Все это один шум и треск, сплошная реклама, чистейший обман, и если у маркиза не окажется ста су, никто их ему не даст под залог всего его имущества. Обстановка взята напрокат с платежом каждые две недели в мебельном магазине Фитили, обслуживающем кокоток. Антикварные вещи и картины принадлежат старому Швальбаху, который направляет к Буа-Ландри своих клиентов и заставляет их платить втридорога, — ведь не станешь торговаться, покупая у маркиза, к тому же коллекционера. Что касается туалетов маркизы, то модистка и портниха доставляют их даром каждый сезон, заставляя ее появляться в платьях и шляпках самоновейших фасонов, иногда слишком кричащих, но которые принимаются светским обществом, потому что маркиза еще очень хороша собой и славится своей элегантностью: она служит «рекламой» для мод. И, наконец, слуги: временные, как и все остальное, они еженедельно меняются; контора по найму прислуги их сюда посылает для стажу, чтобы потом устроить на постоянное место. Если человек не может представить ни поручительства, ни письменных рекомендаций, если он вышел из тюрьмы или из какого-нибудь вертепа, Гланан с улицы Мира — крупнейший посредник в такого рода делах — посылает его на бульвар Гаусмана. Слуги остаются там недели на две, покупают себе хороший аттестат у маркиза, который, само собой, не платит им жалованья и почти их не кормит, потому, что в этом доме очень редко топят плиту, — господа чуть не ежедневно обедают в гостях или посещают балы, где можно поужинать. Твердо установлено, что в Париже есть люди, для которых угощение на вечерах — дело серьезное, зачастую они первый раз за целый день едят после полуночи. Вот почему маркиз де Буа-Ландри с супругою отлично осведомлены о домах, где

хорошо кормят. Они могут сказать вам, что в австрийском посольстве подается превосходный ужин, что в испанском мало заботятся о винах, что в министерстве иностранных дел — лучшие блюда из дичи. Вот какова жизнь этой странной четы. Все, что у них есть, держится на волоске, все сметано на живую нитку, склото булавками. Стоит подуть ветру — и все разлетится. Зато они могут быть спокойны: ведь терять-то им нечего! И потому маркиз насмешливо, с бесшабашным видом смотрит на все, засунув руки в карманы, словно говоря: «Дальше! Что вы можете со мной сделать?»

Маленький грим с физиономией старообразного порочного ребенка, приняв позу, так ловко изображал своего барина, что мне казалось, будто я вижу его на заседании нашего правления, когда он стоит перед патроном и отпускает непристойные шуточки. Следует все же признать, что Париж — действительно огромный город, если в нем можно жить пятнадцать-двадцать лет обманом, мошенничеством, пусканием пыли в глаза и чтобы тебя не раскусили, да еще торжественно входить в гостиную вслед за лакеем, громогласно докладывающим: «Господин маркиз де Буа-Ландри!»

Да, немало поучительного можно услышать на вечеринке слуг. Только побывав там, начинаешь понимать, как много любопытного в парижском обществе, если посмотреть на него снизу, из подвального этажа. Вот, например, сидя между г-ном Франсисом и г-ном Луи, я уловил обрывок следующей откровенной беседы насчет бедняги Монпавона.

— Вы делаете большую ошибку, Франсис, — говорил г-н Луи, — вы теперь при деньгах, вы должны были бы этим воспользоваться и вернуть долг казначейству.

— Что прикажете делать? — с несчастным видом отвечал Франсис. — Карты нас разоряют.

— Знаю, знаю... Но берегитесь. Мы не всегда будем в состоянии вам помочь. Мы можем умереть, лишиться власти. Вас притянут к ответу — и уж тогда пощады не ждите.

До меня не раз доходил передаваемый шепотом слух о том, что маркиз позаимствовал двести тысяч франков в казначействе, когда занимал должность главного податного инспектора. Но это признание камердинера было для маркиза убийственным. Если бы только господа подозревали, что о них знают слуги, о чем говорят на кухне, если бы они могли себе представить, как их имя смешивается с кухонными отбросами и мусором, выметаемым из квартиры, у них никогда бы не хватило духу приказать: «Закройте дверь» или «Подайте карету».

Возьмем, к примеру, доктора Дженкинса. У него самая богатая клиентура в Париже. Десять лет совместной жизни связывают его с

очаровательной женщиной, которую с распростертыми объятиями принимают в обществе. И, несмотря на все его старания скрыть истинное положение вещей, — он дал публикацию о своем браке в газетах, как принято в Англии, нанимает только слуг — иностранцев, знающих два-три слова по-французски, — кучер Джо, который его терпеть не может, в нескольких словах, уснащенных отборной бранью, рассказал нам за столом, стуча кулаками, всю его подногодную: «Скоро подохнет его ирландка, законная... Ну, а женится ли он на этой, другой, еще неизвестно. Миссис Маранн сорок пять лет, и ни шиллинга за душой. Надо видеть, как она боится, что он ее бросит. Женится — не женится... ха, ха, ха, умора!» И чем больше его подпаивали, тем больше он распалялся, честил свою несчастную госпожу. Должен признаться, что эта поддельная г-жа Дженкинс, которая плачет по углам из-за своего любовника, неумолимого, как палач, и находится в вечном страхе, что он ее оставит, меж тем как в обществе ее считают законной супругой, достойной почета и уважения, вызвала во мне сочувствие. Остальные смеялись над ней, особенно женщины. Черт возьми! Право, очень забавно, что и у дам высшего света жизнь нелегкая, что и у них бывают горести, не дающие им сомкнуть глаза по ночам.

Наша компания за столом представляла в эту минуту яркую картину: все гости с веселыми лицами не отрывали глаз от ирландца, которому принадлежала по праву пальма первенства за его интересный рассказ. Это вызвало зависть; все искали, старались раскопать в памяти какой-нибудь давнишний скандал, случай с обманутым мужем, одно из тех интимных происшествий, которые вываливаются на кухонный стол вместе с обедами и опивками. Шампанское, надо сказать, начало оказывать свое действие. Джо захотелось сплясать на столе джигу. Дамы при малейшем веселом словце откидывались на спинку стула и хохотали так, как будто их щекочут, нимало не заботясь о том, что подолаы их вышитых нижних юбок волочатся под столом среди обедков и пролитого жира. Г-н Луи, ни с кем не попрощавшись, удалился. Бокалы наполнялись вином и оставались нетронутыми. Какая-то экономка мочила в стакане воды свой носовой платок и прикладывала его ко лбу, жалуясь на головную боль. Пора было расходиться. И действительно, электрический звонок, раздавшийся в коридоре, возвестил, что ливрейный лакей, сопровождавший господ в театр, вызывает карету. Тогда Монпавон провозгласил тост за хозяина, поблагодарив его за сегодняшний вечер. Г-н Ноэль заявил, что собирается повторить прием во время празднеств в честь бея в Сен-Романе, куда большинство из присутствующих будет, по всей вероятности, приглашено.

Я, зная, что, согласно светским приличиям, на таких банкетах старейший гость должен поднять бокал за здоровье дам, хотел было встать, как вдруг дверь распахнулась, и огромного роста ливрейный лакей, весь в грязи, с мокрым зонтиком, потный, запыхавшийся, крикнул без всякого уважения к собравшимся:

— Да расходитесь же наконец, болваны!.. Чего вы тут канителитесь? Сказано вам: спектакль кончился!..

XI. ПРАЗДНЕСТВА В ЧЕСТЬ БЕЯ

В южных областях Франции с их древней культурой исторические замки, избежавшие разрушения, попадаются очень редко. Только кое-где еще высится на склоне холма старое аббатство с ветхим, готовым развалиться фасадом, с дырами вместо окон, с зияющим отверстием наверху, в которое видно небо. Такой памятник времен крестовых походов и судов любви,^[32] готовый превратиться в труху под палящими лучами солнца, совершенно безлюден, между его камнями давно не ступала нога человека, там не вьется плющ, не растет акант, там пахнет сухой лавандой и другими душистыми травами. Среди всех этих развалин замок Сен-Роман составляет исключение. Если вы путешествовали по Югу, вы его, конечно, видели и сейчас снова его увидите. Расположен замок между Балансом и Монтелимаром, там, где железная дорога вьется вдоль крутых берегов Роны, у подошвы плодоносных холмов Бома, Рокуля и Меркюроля по раскаленным землям Эрмитажа, покрытым на протяжении пяти миль тесно прижавшимися друг к другу виноградными лозами. Плантации кудрявых виноградников спускаются чуть ли не в самую реку с ее зелеными берегами и множеством островков, похожую в этом месте на Рейн около Базеля, но озаренную ярким солнцем, которого лишен Рейн. Сен-Роман стоит на другом берегу реки. И, несмотря на то, что он то появляется, то исчезает, словно видение, несмотря на то, что поезд мчится на всех парах, словно стремясь на каждом повороте низринуться

168 в Рону, замок так огромен, так превосходно вырисовывается на противоположном берегу, что он будто следует за бешеным бегом поезда; и в вашей памяти навсегда запечатлевается это здание итальянской архитектуры в три невысоких этажа с возвышающейся над ними террасой, окруженной небольшими колоннами, лестницы, балюстрады и два павильона по бокам под черепичной кровлей. Под этим зданием пенятся водопады, тянется сеть посыпанных песком и поднимающихся вверх дорожек, виднеются длинные буковые аллеи, в конце которых белая статуя выделяется на фоне голубого неба, как в ярко освещенном окне. В верхней части парка, среди обширных лужаек, насмешливо поблескивающих на жгучем солнце своей изумрудной травой, гигантский кедр раскинул свои ветви с зеленой хвоей, бросая черную волнистую тень. Его экзотический силуэт у входа в это старинное жилище какого-нибудь откупщика времен Людовика XIV напоминает исполинского негра с зонтиком, охраняющего

от солнца вельможу.

От Баланса до Марсея, по всей Ронской долине, идет слава о Сен-Роман-де-Беллег как о волшебном замке. И действительно, этот зеленый оазис с чудесными струящимися водами — настоящая феерия среди выжженной мистралем местности.

— Когда я разбогатею, мама, — говорил еще ребенком Жансуле своей матери, которую он боготворил, — я подарю тебе Сен-Роман-де-Беллег.

А так как жизнь этого человека казалась претворением в жизнь сказки из «Тысячи и одной ночи», так как все его желания, даже самые безумные, осуществлялись, все, даже самые чудовищные химеры ползали перед ним и лизали ему руки, подобно покорным домашним псам, то в конце концов он купил замок Сен-Роман и подарил его матери, заново обставил его и реставрировал, не пожалев средств. Хотя с тех пор прошло уже десять лет, старуха все никак не могла привыкнуть к этому роскошному замку. «Ты подарил мне дворец королевы Иоанны, дорогой мой Бернар, — писала она сыну, — у меня не хватит духу в нем жить». И действительно, она жила не там, а поселилась в домике, предназначенном для управляющего, в новом строении, расположенном на окраине великолепного поместья, чтобы быть поблизости от служебных помещений — фермы, овчарни и маслобойни, за которыми расстилался необозримый деревенский простор: скирды хлебов, оливковые деревья, виноградники. В большом замке она чувствовала бы себя пленницей, заключенной в одном из тех заколдованных дворцов, где среди безоблачного счастья вами внезапно овладевает сон, который длится целое столетие. В домике управляющего эта крестьянка, которая никак не могла свыкнуться с огромным богатством, пришедшим так неожиданно, слишком поздно и из неведомого далека, чувствовала себя связанной с живой действительностью. Суетня работников, выгон в поле и возвращение скота, хождение его на водопой возвращали ее к сельской жизни. По утрам ее будили привычное пение петухов и резкий крик павлинов, и она еще до рассвета спускалась по винтовой лестнице домика. Она считала себя только верным стражем этого роскошного поместья, которое она берегла для своего Бернара, желая в хорошем состоянии вернуть его сыну, когда тот, сочтя себя уже достаточно богатым и пресытившись жизнью у «турков», возвратится, как он обещал, и будет жить с ней под сенью деревьев Сен-Романа.

С какой неустанной заботливостью и вниманием осуществляла она свой надзор!

В предрассветном тумане работники фермы слышали ее хриплый, глухой голос:

— Оливье!.. Пейроль!.. Одибер!.. Вставайте!.. Уже четыре часа!

Затем старуха бежала на кухню, в это огромное помещение, где заспанные служанки разогревали похлебку на ярко горевшем и весело потрескивавшем сушняке. Ей подавали маленькое блюдо из красного марсельского фаянса, до краев наполненное вареными каштанами, — этот незатейливый завтрак прошлых лет она ни за что не променяла бы ни на какой другой. И вот уже снова большими шагами продолжала она свой обход, с огромной связкой ключей у пояса, с тарелкой в руке и с неизменной прялкой под мышкой: она пряла целый день, даже когда ела каштаны. Мимоходом старуха заглядывала в еще темную конюшню, где лошади грузно топтались на месте, в душный хлев, из которого к ней нетерпеливо тянулись морды телят. Первые лучи солнца, скользившие по фундаменту каменной кладки, подведенному под насыпь парка, ласкали старую женщину, которая, несмотря на свои семьдесят лет, бежала по росе с легкостью молодой девушки, тщательно проверяя каждое утро все богатства поместья, желая убедиться, целы ли все статуи и вазы, не повалены ли посаженные в строгом порядке столетние деревья, не иссякла ли вода в родниках, с шумом стекавших в свои водоемы. В полдень, под жарким, словно гудящим и трепещущим солнцем, на посыпанной песком аллее у белой стены террасы вырисовывался длинный, сухой и тонкий, как ее веретено, силуэт старухи, подбиравшей упавшие ветки, обламывавшей неаккуратно подстриженный кустарник, невзирая на жгучие лучи, скользившие по ее жесткой коже, как по камню старой скамьи. К этому времени в парке появилось еще одно человеческое существо, но менее деятельное, менее шумное. Человек этот — несчастный, сгорбленный, неопределенного возраста, спотыкающийся, с несгибающимися ногами, с бессмысленным выражением лица, никогда не произносящий ни одного слова, — двигался, еле волоча ноги, держась за стены, за балюстрады. Когда он уставал, то выпускал жалобный крик, обращенный к постоянно сопровождавшему его служителю, который помогал ему примоститься, присесть на ступеньку, где он и оставался целыми часами, неподвижный, немой, с разинутым ртом и моргающими глазами, убаюкиваемый монотонным стрекотанием цикад, — жалкое человеческое отребье на фоне сияющей природы.

Это был «Старший», брат Бернара Жансуле, любимое детище отца и матери, умница, краса, надежда и гордость семьи торговца гвоздями, для которой, как для многих семей на Юге, право старшинства было правом священным. Пойдя на все жертвы, родители послали в Париж этого красивого честолюбивого парня, покоровшего сердца всех местных

девушек, видевшего в своем воображении чуть ли не генеральские эполеты. После того, как Париж в течение десяти лет трепал, калечил, выжимал в своем гигантском чане этот яркий лоскут Юга, после того, как он обжег его всеми своими кислотами и вывалял во всей своей грязи, он превратил его в отребье, в никому не нужный хлам, в оступевшее, Кардаляк взял на себя все уладить. У нас будут пышные празднества... А пока велите подавать обед и приготовьте комнаты: наши парижские гости очень устали.

— Все готово, сынок, — ответила старуха, строгая и прямая, в чепце из тонкого полотна с пожелтевшими *оборками*, с которым она не расставалась даже в дни больших праздников.

Богатство несколько ее не изменило. Она оставалась все тон же крестьянкой ронской долины, независимой и гордой, не похожей на притворно смиренных поселянок, которых изображал Бальзак, и слишком прямодушной, чтобы кичиться своим состоянием. Единственным предметом ее гордости была возможность показать сыну, с какой бесконечной заботливостью она выполняла обязанности управляющего. Нигде ни пылинки, ни малейшего признака плесени на стенах. Великолепно обставленный нижний этаж, гостиные с обитой переливчатым шелком мебелью, освобожденной в последнюю минуту от чехлов; длинные летние галереи, выложенные мозаичными плитами, прохладные и гулкие, которым диваны в стиле Людовика XV, изогнутые, обитые цветистым штофом, придавали, с некоторым игривым кокетством, старомодный вид, огромная столовая, украшенная растениями и цветами, и, наконец, биллиардная с рядами блестящих шаров слоновой кости, с люстрами и щитами, увешанными оружием, — вся анфилада этих апартаментов с настезь раскрытыми стеклянными дверями, выходящими на величественное крыльцо, предстала во всем своем блеске перед гостями на фоне чудесного ландшафта под лучами заходящего солнца. Безмятежная, полная невыразимой прелести природа отражалась в стенных зеркалах и в полированной или покрытой лаком деревянной обшивке с той же отчетливостью, с какой снаружи, в зеркале водоемов, повторялись тополя, склонившиеся друг к другу, и лебеди, плывущие в тихую заводь. Обрамление было столь прекрасно, общий вид столь грандиозен, что кричащая безвкусица роскоши исчезала, становилась незаметной для самого прихотливого глаза.

— Неплохой материал, — заявил Кардаляк, с моноклем в глазу, опустив поля шляпы. Он уже обдумывал мизансцены.

Высокомерная мнна Монпавона, который вначале был очень шокирован чепцом встретившей их на крыльце старухи, сменилась

снисходительной улыбкой. Материал был, бесспорно, неплох, так что их друг Жансуле под руководством людей со вкусом сможет устроить берберийскому владыке довольно приличный прием. Весь вечер только об этом и толковали. Опершись локтями на стол в роскошной столовой, разгоряченные от выпитого вина и обильного обеда, они взвешивали и обсуждали каждую мелочь. Кардальяк, человек широкого размаха, уже составил план.

— Прежде всего полная свобода действий, не так ли, Набоб?

— Полная свобода, старина, и пусть толстый Эмерленг лопнет с досады.

Директор театра поделился своими планами. Для каждого дня празднеств — особые развлечения; совсем как в Во, когда Фуке принимал Людовика XIV.^[33] Первый день — комедия, второй — провансальские увеселения:

Фарандола, бой быков, национальная музыка, — третий... охваченный директорским азартом, он уже сочинял программы и афиши, между тем как Буа-Ландри, засунув руки в карманы, откинувшись на спинку стула, спал с сигарой в уголке ухмыляющегося рта, а маркиз де Монпавон, стараясь не выйти из рамок приличия, все время расправлял плечи, чтобы не заснуть.

Де Жери рано их покинул. Он предпочел общество старушки, знавшей с младенческих лет как его, так него братьев, и отправился в маленький домик, где мать Набоба приняла его в скромной комнате с белыми занавесками и светлыми обоями на стенах, увешанных фотографиями и картинками, — здесь она пыталась воскресить свое прошлое бедной труженицы с помощью реликвий, уцелевших от разорения.

Мирно текла беседа между Полем и красивой старухой с правильными и строгими чертами лица, с волосами белыми и пушистыми, как ее пряжа, с плоской грудью, повязанной зеленой косынкой. Она сидела против него, держась прямо, — ни разу за всю свою жизнь она не прислонилась к спинке стула, ни разу не села в кресло. Он называл ее Франсуазой, она его — господином Полем. Они были старые друзья. Угадайте, о чем они говорил и? Об ее внуках, конечно, о трех сыновьях Бернара, которых она не знала и с которыми так хотела бы познакомиться.

— Ах, господин Поль, я жду не дождусь их... Я была бы так счастлива, если бы он привез ко мне своих трех малышек вместо всех этих знатных господ!.. Подумайте: ведь я видела их только на фотографиях, которые здесь висят... Их матери я побаиваюсь, — это настоящая светская дама, урожденная Афшен... Но дети, я уверена, не такие гордые, они полюбят свою старую бабушку. Мне бы казалось, что я вижу Бернара снова

ребенком. И я постаралась бы дать им то, чего не дала их отцу, потому что... знаете ли, господин Поль, родители не всегда бывают справедливы. У них есть любимцы. Но бог справедлив. Во что только он превращает куколок, которых наряжали и лелеяли в ущерб другим!.. Баловство родителей часто приносит несчастье детям.

Она вздохнула, бросив взгляд в сторону большого алькова с ламбрекеном и спущенными занавесками, откуда по временам вырывалось тяжелое неровное дыхание, похожее на стон спящего ребенка, которого прибили и который сильно плакал...

Тяжелые шаги послышались на лестнице, и вслед за тем хрипловатый голос произнес совсем тихо:

— Не бойтесь, это я...

В комнату вошел Жансуле. Все уже улеглись в замке, и он, зная привычки матери, зная, что ее лампа гаснет в доме последней, пришел повидаться со своей дорогой старушкой, поговорить с ней и сказать те нежные слова, которыми они не могли обменяться при посторонних.

— Не уходите, милый Поль, вы нас нисколько не стесняете.

Превратившись в ребенка, снова увидевшего мать, он, такой большой и грузный, опустился перед ней на колени и стал осыпать ее ласками и говорить ласковые слова. Она тоже была счастлива тем, что он здесь, подле нее, однако чувствовала себя несколько смущенной, видя в нем необыкновенное, всесильное существо; она взирала на него, в простоте душевной, как на олимпийского бога, появляющегося среди грома и молнии и обладающего всемогуществом. Она говорила с ним, расспрашивала, доволен ли он своими друзьями, хороши ли по-прежнему его дела, не решаясь, однако, обратиться к нему с вопросом, который задала Полю: «Почему не привезли ко мне моих внуков?» Но он сам об этом заговорил:

— Они учатся в пансионе, мама... Как только наступят каникулы, я пришлю их к вам с Бомпенем, — вы, конечно, помните Бомпена, Жан-Батиста? — и они останутся у вас на два месяца. Они будут сидеть с вами, слушать ваши чудные сказки и будут засыпать, положив голову на ваш фартук, вот так...

Он положил свою курчавую голову, тяжелую, как слиток металла, на колени старухи, и ему припомнились, чудесные вечера, когда он, маленький мальчик, засыпал в таком положении, если ему это разрешали, если голова «Старшего» еще оставляла ему местечко. Впервые после своего возвращения во Францию он вкушал несколько минут блаженного покоя, столь непохожих на его шумную, суетливую жизнь, — прижавшись

к старому материнскому сердцу, которое стучало так же ровно, как маятник столетних часов, стоявших в углу комнаты. Казалось, глубокая тишина деревенской ночи парила над беспредельным пространством... Вдруг такой же тяжелый стон уснувшего в слезах ребенка донесся из глубины комнаты. Жансуле поднял голову, посмотрел на мать и тихо спросил:

— Это он?

— Да, — ответила она. — Я его сюда кладу. Я могу ему понадобиться ночью.

— Мне бы очень хотелось взглянуть на него, поцеловать....

— Идем.

Старуха поднялась; выражение лица у нее было суровое; она взяла лампу, подошла к алькову, отдернула занавеску и подала знак сыну бесшумно приблизиться.

Он спал... И, бесспорно, во сне что-то ожило в нем, то, что исчезало, когда он бодрствовал, ибо вместо оцепенения, в котором он пребывал целыми днями, сильная дрожь сотрясала его тело и на помертвевшем, лишенном всякого выражения лице появилась страдальческая, полная горечи складка; оно болезненно исказилось. Жансуле, взволнованный, смотрел на это похудевшее лицо, поблекшее и землистое, на котором борода, забрав все жизненные соки, росла с необычайной силой, потом склонился, коснулся губами влажного от пота лба и, чувствуя, что брат весь затрепетал, сказал тихо, серьезно, с уважением, как говорят главе семьи:

— Здравствуй, Старший.

Возможно, что плененная душа услышала его из глубины мрачного чистилища. Губы несчастного зашевелились, и протяжный стон раздался в ответ — крик отчаяния, жалоба, летевшая издалека. Бессильные слезы навернулись на глаза Франсуазы и младшего сына, и у обоих вырвался один и тот же возглас, в котором звучало общее горе: «*Picairé!*» Это местное слово выражало всю глубину их сострадания и любви.

На следующий день с самого утра началась суматоха: прибыли актрисы и актеры; обрушилась лавина шляпок, шиньонов, высоких сапог, коротких юбок, заученных восклицаний, вуалеток, прикрывающих свеженарумяненные лица. В большинстве это были женщины, так как Кардальяк считал, что для бея сам спектакль представляет мало интереса, главное в том, чтобы звуки, хотя бы и фальшивя, излетали из хорошеньких уст, чтобы можно было полюбоваться красивыми руками и стройными ножками полуобнаженных опереточных див. Все знаменитости пластического искусства, подвизавшиеся в его театре, приехали сюда во главе с Ами Фера, веселой особой, которая уже не раз запускала свою

лапку в кошельки коронованных особ. Сверх того, прибыли двое-трое прославленных на подмостках кривляк с мертвенно-бледными лицами, выделявшимися на зелени посаженных в строгом порядке деревьев такими же меловыми, призрачными пятнами, как и находившиеся там гипсовые статуи. Вся эта компания, приведенная в веселое настроение путешествием, непривычным для нее чистым воздухом и широким гостеприимством хозяина, а также надеждой что-нибудь извлечь из пребывания в замке всех этих беев, набобов и прочих богачей, хотела только развлекаться, хохотать и петь, причем забавлялась она с простонародной бойкостью сенских лодочников, сошедших со своих суденышек на твердую землю. Но Кардальяк был другого мнения. Как только они вышли из экипажей, умылись и позавтракали, им роздали роли, и репетиции начались. Нельзя было терять время. Работали они в маленькой гостиной, примыкавшей к летней галерее, где уже начали сооружать сцену. Грохот молотков, мелодии куплетов на обозрения, дребезжащие голоса, сопровождаемые визгливой скрипкой капельмейстера, сливаясь с пронзительным криком павлинов на насесте, растворялись в мистрале, который на своих могучих крыльях равнодушно уносил все эти звуки без разбора, вместе с яростным стрекотанием своих землячек — цикад.

Сидя на крыльце, как на авансцене театра, Кардальяк, следивший за репетициями, отдавал распоряжения толпе рабочих и садовников, приказывал срубить деревья, заслонявшие панораму, набрасывал эскиза триумфальной арки, отправлял депеши, посылал нарочных к мэрам и су префектам: в Арль, требуя оттуда депутацию местных девушек в национальных костюмах, в Барбантану — родину лучших фарандолистов, в Фараман, славившийся дикими быками и резвыми скакунами. А так как подпись Жансуле блистала на всех этих посланиях, так как в них упоминалось о тунисском бее, то отовсюду приходили ответы с выражением полнейшей готовности услужить. Телеграф работал без роздыха, нарочные загоняли насмерть лошадей, а маленький Сарданапал^[34] из театра Порт-Сен-Мартен по имени Кардальяк все твердил: «Материал, бесспорно, неплох». Он был счастлив тем, что может пригоршнями швырять золото, как бросают зерна в борозду, поставить спектакль на сцене окружностью в пятьдесят миль, показать весь Прованс, уроженцем которого был этот завзятый парижанин, знавший, какие красоты таит в себе местный край.

Отстраненная от своих обязанностей, старушка мать больше не показывалась — она занималась только фермой и своим немощным сыном.

Ее пугали эти толпы гостей, их нахальные слуги, которых трудно было отличить от господ, женщины с наглым и кокетливым видом, гладко выбритые старики, похожие на забывших свой сан священников, все эти сумасброды, гонявшиеся друг за другом ночью по коридорам, бросавшие друг в друга подушки, оторванные от портьер кисти и мокрые губки, превращенные в метательные снаряды. Вечерами она уже не видела сына — ему приходилось оставаться с гостями, число которых все возрастало по мере приближения празднеств. Она не могла даже себе в утешение побеседовать с «господином Полем» о своих внучатах, так как Жансуле, которого несколько стесняла серьезность его молодого друга, а кроме того, по доброте душевной отправил де Жери на несколько дней к братьям. Заботливая хозяйка, у которой поминутно требовали ключи, чтобы достать белье, приготовить комнату или пополнить запас столового серебра, беспокоилась о стопках чудесных узорчатых салфеток, о сохранности буфетов и кладовых, припоминая, в каком положении остался после визита покойного бея замок, словно опустошенный циклоном, и говорила на местном наречии, лихорадочно смачивая льняную нитку своей пряжи:

— Хоть бы огонь небесный испепелил всех беев, всех до единого!

Наконец наступил знаменательный день, о котором еще сейчас вспоминают в тех краях. К завтраку прибыли префекты и депутаты в парадной форме, со шпагами на боку, мэры, опоясанные шарфами, и свежевыбритые приходские священники. За столом на почетном месте сидела на этот раз старушка мать в чепце с новыми оборками, префекты и депутаты сидели рядом с парижскими знаменитостями. Около трех часов пополудни, после этого более роскошного, чем обычно, завтрака, Жансуле в черном фраке и белом галстуке вышел, окруженный гостями, на крыльцо. Его глазам предстала необычайная по красочности картина: среди знамен триумфальных арок и флагов колыхалось море голов; толпы людей в ярких костюмах разместились по склонам холмов и в аллеях; на лужайке, точно прелестный цветник, красовались самые хорошенькие девушки Арля — их маленькие смуглые головки грациозно выглядывали из — под кружевных косынок; ниже разместились готовые пуститься в пляс, взяв друг друга за руки, барбантанские фарандолисты, с развевающимися лентами, в шляпах, сдвинутых на ухо, с красными поясами вокруг бедер, — тамбурины они поставили сзади; под ними на спускающейся уступах насыпи расположились, построившись рядами, члены хоровых кружков, все в черном, но в ярких шапочках, — впереди знаменосец, с решительным видом, с плотно сжатыми губами, высоко держал резное древко; еще ниже, на обширной площадке, превращенной в цирковую арену, — стреноженные

черные быки и всадники из Камарги с трезубцами в руках, в коротких штанах, верхом на маленьких лошадаках с белой гривой. Дальше снова знамена, каски, штыки — до самой триумфальной арки у входа. А на том берегу реки, через которую две железнодорожные компании перебросили понтонный мост, чтобы можно было прямо со станции попасть в Сен-Роман, несметные толпы народа, целые селения, прибывшие со всех концов, с криками сгрудились в пыли на жифасской дороге, уселись на краю канав, вскарабкались на вязы, взгромоздились на тележки, окаймляя шествие мощной живой изгородью. Над всем этим высился огромный диск жгучего солнца, свет которого, рассеиваемый капризным ветром во всех направлениях, играл на меди тамбуринов, на остриях трезубцев, на бахроме знамен. А величественная Рона, буйная и вольная, уносила в море движущуюся картину этого поистине королевского праздника.

При виде такого великолепия, которое сверкало золотом его сундуков, Набоб почувствовал восторг и гордость.

— Как красиво!.. — сказал он, бледнея, а мать его, стоя за ним и тоже побледнев, но от какого-то неопишуемого страха, прошептала:

— Для человека это слишком красиво... Можно подумать, что сюда явится сам господь.

Чувство старой крестьянки-католички разделяла, не отдавая себе в этом отчета, и вся толпа, собравшаяся на дорогах словно для грандиозной праздничной процессии Тела господня. Приезд восточного владыки к местному уроженцу вызывал в памяти легенду о трех волхвах, о прибытии Гаспара, царя мавров, к сыну плотника с дарами — золотом, ладаном и миррой.

В разгар восторженных поздравлений, которыми осыпали со всех сторон Набоба, появился торжествующий, вспотевший Кардальяк, пропадавший с самого утра.

— Я же говорил вам, что материал отличный!.. Что, ловко сработано? Вот это постановочка!.. Я думаю, парижане дорого бы дали, чтобы присутствовать на такой премьеры. — Понизив голос из-за находившейся поблизости старухи, он спросил:

— Вы разглядели наших арлезианок? Нет? Посмотрите на них получше. На первую, на ту, которая должна поднести букет бею.

— Да это Ами Фера!

— Ну, конечно, черт побери! Вы понимаете, голубчик: если бей бросит платок в толпу этих красоток, нужно, чтобы хоть одна подняла его... А эти невинные овечки ничего и не поймут! О, я обо всем позаботился, вот увидите! Все устроено и налажено, как на сцене. Здесь задник, а здесь сад.

Чтобы показать, насколько безупречно все организовано, директор взмахнул тростью, и по этой многократно повторенной команде в парке запели хоры, загремели фанфары и тамбурины, слившиеся в торжественной мелодии южной народной песни «Жаркое солнце Прованса...». Человеческие голоса вместе со звуками медных труб поднялись к небу, знамена надулись, и фарандола, дрогнув, стала делать на месте первые движения. А на другом берегу в толпе пробежал ропот, подобный порыву ветра; он выражал опасение, что бей прибыл внезапно с другой стороны. Кардальяк снова поднял трость, и огромный оркестр замолк, на этот раз подчинившись ему медленнее, — отдельные ноты заблудились в листве, но большего нельзя было и требовать от постановки, в которой участвовало три тысячи человек.

В эту минуту приблизились экипажи, в том числе парадные кареты, уже участвовавшие в празднествах в честь покойного бея, — две большие кареты, розовые с позолотой по тунисской моде, — старуха Жансуле дрожала над ними, как над святыней; их выкатили из сарая с такими же свежескрашенными кузовами, с такой же новенькой обивкой и блестящей золотой бахромой, как в день, когда они вышли из мастерской каретника. И тут тоже сказалась изобретательность Кардальяка: вместо лошадей, слишком тяжеловесных для этих воздушных по росписи и общему виду экипажей, он приказал впрячь восемь мулов, разукрашенных бантами, помпонами и серебряными бубенчиками, покрытых в виде попон чудесными циновками, которыми славится Прованс, ваимствовавший искусство их плетения у арабов и усовершенствовавший его. Уж если и это не произведет впечатления на бея...

Набоб, Моннавон, префект и один из генералов сели в первую из этих карет, остальные разместились во второй и в других, следовавших за ними экипажах. Священники и мэры, вдохновленные всей этой пышностью, поспешили стать во главе хоровых кружков своих приходов — певчие должны были идти впереди. Все пришло в движение по дороге в Жиффас.

Стояла прекрасная погода, только очень жаркая, наступившая на три месяца раньше положенного ей срока, что нередко случается в этом знойном крае, где буйная природа всегда спешит, где все зреет раньше времени. Хотя не видно было ни одного облачка, но неподвижность воздуха, ветер, внезапно улегшийся, как спущенный парус, ослепительное, словно раскаленное добела небо, безмолвная торжественность пейзажа — все говорило о том, что где-то, в каком-то уголке горизонта собирается гроза. Оцепенение, в котором пребывала природа, мало-помалу передалось и живым существам. Слышались только звон бубенчиков на мулах,

двигавшихся медленной иноходью, и тяжелая, ритмичная поступь шагавших по хрустящей пыли певчих, которых Кардальяк расставил группами на некотором расстоянии одна от другой, и время от времени в гудевшей двойной изгороди, окаймлявшей уходившую в бесконечную даль дорогу, раздавались возгласы, детский гомон или крики продавцов свежей воды — постоянных спутников всех южных праздников под открытым небом.

— Да опустите же окно, генерал, ведь дышать невозможно! — проговорил, весь красный, Монпавон, опасавшийся за свои румяна.

Когда опустили окна, толпа улицезрела сановников, отиравших платками преисполненные величия, налитые кровью лица, встревоженных ожиданием бея, ожиданием грозы, ожиданием чего-то необыкновенного.

Еще одна триумфальная арка, а за ней Жиффас с его длинной, вымощенной крупным булыжником улицей, устланной пальмовыми ветками; грязные, ветхие домишки были украшены цветами и пестрыми тканями. В стороне от деревни белый прямоугольный вокзал, брошенный, как игральная кость, на краю дороги, типичный маленький деревенский вокзал, затерянный среди виноградных лоз, с единственным, всегда пустым залом для пассажиров, где изредка увидишь в углу старуху с узлами, пришедшую за три часа до отхода поезда.

В честь бея вокзал был убран знаменами, флагами, коврами, заставлен диванами, в нем был устроен роскошный буфет с закусками и шербетами, приготовленными для его высочества.

Набоб, выйдя из кареты, почувствовал, что безотчетная тревога, с некоторых пор овладевшая им, так же как и всеми остальными, понемногу рассеивается. Префекты, генералы и депутаты в черных фраках и расшитых золотом мундирах стояли группами на широкой платформе, величественные и торжественные, выпятив губы, покачиваясь на одном месте, многозначительно вскидывая голову, как это делают власть имущие, чувствующие, что на них устремлены все взгляды. Можете себе представить, как давили друг друга зеваки, прижав носы к окнам вокзала, чтобы поглазеть на расшитые мундиры сановников, на манишку Монпавона, вздымавшуюся, точно свежевзбитый яичный белок, на Кардальяка, который, запыхавшись, отдавал последние приказания, на добродушную физиономию Жансуле, *их* Жансуле! Его глаза, сверкавшие между загорелыми полными щеками, казались двумя большими золочеными гвоздями в складках кордовского сафьяна. Вдруг раздались звонки. Багроволицый начальник станции выбежал на полотно.

— Господа! — крикнул он. — Поезд вышел с соседней станции. Через

восемь минут он прибудет сюда.

Все вздрогнули. Потом инстинктивно все, как один человек, вынули часы из жилетных карманов. Оставалось только шесть минут.

— Посмотрите туда! — нарушил кто-то всеобщее молчание.

Направо, с той стороны, откуда должен был появиться поезд, два высоких холма, сплошь усаженные виноградными лозами, образовали воронку, в которую спускался железнодорожный путь, исчезая из виду, словно падая в нее. Дали, омраченные огромной низкой тучей, стали иссиня-черными. Туча темной полосой прорезала небесную синеву, вздымались валы клубившихся облаков, похожих на гребни базальтовых скал, на которых, как лунные блики, мелькали потускневшие солнечные лучи. Все выстроились рядами вдоль безлюдного железнодорожного полотна и замерли в торжественном безмолвии, готовясь к приезду бея. А грозный воздушный утес все надвигался, бросая перед собой тени с такой игрой света, которая придавала туче плавное и величественное движение, а ее тени — быстроту несущегося галопом коня. «Какая сейчас разразится гроза!» Эта мысль возникла у всех, но никто еще не успел ее выразить, как раздался пронзительный свисток и из глубины темной воронки показался поезд. Настоящий королевский поезд, быстрый и короткий, украшенный французскими и тунисскими флагами. На переднем щите дымящего и рычащего паровоза, как на груди подружки невесты на свадьбе Левиафана, красовался букет роз.

Несшийся на всех парах поезд, приблизившись к станции, замедлил ход. Чиновники приосанились; они проверяли, на месте ли у них шпаги, поправляли крахмальные воротнички, а Набоб с заискивающей улыбкой шел вдоль полотна навстречу поезду, уже согнув спину для приветствия «салем алек». Поезд шел медленно, и Жансуле, думая, что он сейчас остановится, положил руку на дверцу королевского вагона, сверкавшего золотом на фоне черного неба. Однако поезд, набравший, по-видимому, слишком большую скорость, продолжал двигаться. Набоб, идя рядом с ним, одной рукой старался открыть проклятую дверцу, которая не поддавалась, а другою делал знаки машинисту остановиться. Но тот не повиновался.

— Да остановите же наконец!

Поезд не останавливался. В нетерпении Набоб вскочил на обитую бархатом подножку и с той дерзкой горячностью, которая так нравилась покойному бею, прильнув к окну вагона своей большой курчавой головой, крикнул:

— Станция Сен-Роман, ваше высочество!

Кому не знаком тот расплывчатый свет, какой бывает в сновидении, та

пустая, бесцветная атмосфера, в которой все предметы кажутся призраками? Жансуле внезапно оказался охвачен ею, окутан, парализован. Он хотел что-то сказать, но не находил слов; его руки так ослабели, что он чуть не потерял точку опоры и не упал навзничь. Что же такое он увидел? Полулежа на диване в глубине салон-вагона, подперев рукой красивую, смуглую голову с черной шелковистой бородой, в восточном, наглухо застегнутом сюртуке, без всяких украшений, кроме ордена Почетного легиона на широкой ленте через плечо и бриллиантового султана на шапке, бей бесстрастно обмахивался маленьким плетеным опахалом, вышитым золотом. Подле него стояли два адъютанта и инженер железнодорожной компании. Напротив, на другом диване, сидели два филина — один жирный, другой тощий — в почтительной позе, но явно в привилегированном положении, ибо только они сидели в присутствии бея, — оба желтые, с длинными бакенбардами, спускавшимися на белые галстуки. Это были Эмерленги, отец и сын, вновь вавоевавшие благосклонность его высочества; они, торжествуя, везли его в Париж. Страшный сон!.. Все эти люди, прекрасно знавшие Жансуле, холодно смотрели на него, словно видели его впервые в жизни. Смертельно побледнев, с каплями холодного пота на лбу, Жансуле невнятно пробормотал:

— Ваше высочество! Вы разве не думаете сойти?..

Вспышка молнии, подобная взмаху сабли, сопровождаемая страшными раскатами грома, заставила его умолкнуть. Но молния, сверкнувшая в глазах бея, показалась ему еще страшнее. Поднявшись с дивана, вытянув руку, с гортанным выговором, свойственным арабам, но на чистейшем французском языке бей медленно произнес несколько заранее подготовленных, уничтожающих слов:

— Иди домой, торгаш! Нога идет туда, куда ведет ее сердце, — моя нога никогда не вступят в дом человека, ограбившего мою родину.

Жансуле хотел вымолвить слово, но бей сделал знак: «Едем!». Инженер нажал кнопку электрического звонка, звонку ответил свисток паровоза, и поезд, перед тем лишь замедливший движение, напряг свои стальные мускулы так, что они затрещали, и пошел полным ходом, с развевающимися под напором предгрозового ветра флагами, среди столбов черного дыма и зловещих вспышек молнии.

Набоб стоял на железной дороге, шатаясь, точно пьяный, в полной растерянности и смотрел, как убегает и исчезает из виду его счастье, не чувствуя, что крупные капли дождя начали падать на его обнаженную голову. Все бросились к нему, окружили, засыпали вопросами:

— Значит, бей не остановится?

Жансуле пробормотал несколько бессвязных слов:

— Дворцовые интриги... Гнусные козни...

И внезапно, с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, показав кулак исчезавшему вдали поезду, проревел, как дикий зверь:

— Канальи! Прохвосты!

— Соблюдайте приличия, Жансуле, соблюдайте приличия...

Вы, конечно, догадываетесь, кто произнес эти слова и кто, взяв Набоба под руку, старался заставить его выпрямиться и выпятить грудь по своему образцу, потом повел его к экипажам среди остолбеневших чиновников в шитых золотом мундирах и усадил в коляску, уничтоженного, подавленного, как бывает подавлен близкий родственник усопшего, когда его сажают в траурную карету после погребальной церемонии. Хлынул дождь, раскаты грома следовали один за другим непрерывно. Все торопливо уселись в экипажи и двинулись в обратный путь. И тут произошло нечто прискорбное и вместе с тем комическое; разыгрался один из тех жестоких фарсов коварной судьбы, которая наносит удары поверженной в прах жертве. В набегающих сумерках, в нарастающей темноте урагана толпе, теснившейся у входа в вокзал, почудилось, что среди этих шитых золотом мундиров присутствует и его высочество, и как только экипажи двинулись, раздались оглушительные крики, невероятный рев, уже более часа сдерживаемый в груди скопившихся здесь людей, — разразился, поднялся, полетел, понесся с холма на холм и эхом отдался в долине:

— Да здравствует бей!

Как по сигналу, загремели первые фанфары, хоровые кружки присоединились к ним, шум постепенно распространился от Жиффаса до Сен-Романа, дорога превратилась в непрерывно гудящую людскую волну.

Кардальяк, все важные господа и сам Жансуле, высунувшись из окон карет, тщетно пытались знаками прекратить этот вой:

— Довольно, довольно!..

Жесты их терялись в страшной сутолоке и наступившей темноте, а то, что толпе удавалось разглядеть, еще сильнее побуждало ее к оглушительным крикам. Но, клянусь вам, в таком поощрении вовсе не было надобности. Все эти южане, энтузиазм которых подогревался с самого утра, взвинченные к тому же грозой и усталостью от долгого ожидания, не жалея голосовых связок и легких, в бурном восторге распевали гимн Прованса, все время повторяя, как припев к нему, возглас:

— Да здравствует бей!

Большинство даже не знало, что такое «бей» и как он должен выглядеть, но все с необычайным старанием выкрикивали это незнакомое им слово — так отчетливо, как если бы в нем было три «б» и десять «й». Оно воодушевляло их, они поднимали руки, махали шапками, возбуждаясь от собственной жестикуляции. Женщины в умилении вытирали себе глаза. Вдруг с высокого вяза раздался пронзительный детский крик:

— *Mama, tata, lou vise!* (Мама, мама, я его вижу!)

Ребенок его увидел!.. Впрочем, его видели все, все поклялись бы, что видели его.

При таком возбуждении, при полной невозможности успокоить толпу, заставить ее умолкнуть людям, сидевшим в каретах, оставалось одно: предоставить все своему течению, поднять окна и понестись вскачь, чтобы сократить эту пытку. И тут наступило самое страшное. Видя, что лошади понеслись рысью, вся толпа, сгрудившаяся на дороге, припустилась за экипажами. Под глухой грохот тамбуринов барбантанские фарандолисты, взявшись за руки, живой гирляндой обвивали кареты. Члены хоровых кружков, запыхавшись от пения при таком беге, все же продолжали завывать, увлекая за собой знаменосца, несшего знамя на плече. Толстые краснолицые кюре, едва переводя дух и выпячивая свои туго набитые животы, еще находили в себе силы, чтобы, пригнувшись к уху мула, кричать полным восторга и особой нежности голосом:

— Да здравствует наш добрый бей!

А дождь шел не переставая, лил как из ведра, струился потоками, смывая краску с розовых карет, еще усиливая давку, придавая этому триумфальному возвращению вид бегства с поля битвы, но бегства комического, при котором смех и звонкие поцелуи звучат вперемешку со смачными ругательствами и проклятиями, напоминая возвращение церковной процессии в разгар грозы, когда бегут с подоткнутыми сутанами, накрыв голову стихарями, в спешке засунув «тело господне» куда-нибудь под навес.

Глухой и мягкий стук колес возвестил бедному Набобу, безмолвному и неподвижному, забившемуся в угол кареты, что они проезжают по мосту. Процессия приближалась к замку.

— Наконец-то! — сказал он, глядя сквозь помутневшие стекла на пенящиеся волны Роны.

Бушевавшая на ней буря показалась ему отдыхом после той, которую он только что пережил. Но вдруг в конце моста, когда первая карета достигла триумфальной арки, взлетели ракеты, барабаны забили встречу, приветствуя прибытие монарха во владения своего верного вассала. И в

довершение всего в сгустившемся сумраке внезапно вспыхнувшее над замком гигантское газовое пламя осветило верхнюю часть огненных букв, которые, несмотря на набежавшие на них от дождя и порывов ветра тени, складывались с достаточной ясностью в обрывки слов: «Да здр... ствует б...Й М...мед!»

— Это уже предел, — прошептал несчастный Набоб, будучи не в силах удержаться от смеха — жалобного и горького.

Но нет, он ошибался: ему предстояло еще одно испытание. Ами Фера с цветами вышла ему навстречу, отделившись от группы арлезианок, которые, поджидая первую карету, укрывались под навесом из боязни испортить переливчатые шелка своих юбок и узорчатый бархат чепцов. С букетом в руке, скромно потупив глазки, кокетливо выставя ножку, хорошенькая актриса бросилась к дверцам кареты и застыла в смиренной, почти что коленопреклоненной позе, которую она изучала уже целую неделю. Но вместо бея из кареты вышел Набоб, злой, взволнованный, и прошел, даже не бросив на нее взгляда. А она осталась на месте с букетом в руке, оторопев, словно после провалившейся феерии.

— Убери свои цветы, крошка, твое дело не выгорело, — шутливо заметил ей Кардальяк, который, как истый парижанин, быстро примирился с создавшимся положением. — Бей не приедет... Он позабыл свой носовой платок, а так как, сама понимаешь, без платка он не может говорить с дамами...

Наступила ночь. Все спит в Сен-Романе после страшной дневной суматохи. Ливень продолжается, в огромном парке смутно виднеются размокшие остовы триумфальных арок и древки знамен, слышно* как несутся целые потоки по каменным ступеням, образуя водопады. Вода льется ручьями, стекает струйками. Повсюду шум воды, ужасающий шум воды. Один в своей роскошной спальне с царским ложем, обтянутым узорчатым китайским шелком, с красным бордюром, Набоб еще бодрствует; он ходит большими шагами взад и вперед, поглощенный мрачными думами. Сейчас уже не перенесенное только что унижение тревожит его, не публичное оскорбление перед лицом тридцати тысяч человек, не кровная обида, нанесенная ему беем в присутствии его смертельных врагов. Нет, этот южанин с чисто материальным подходом к вещам, у которого чувства сменяются с такой же быстротой, с какой стреляет новое ружье, уже подавил в себе злобу к своим недругам. А кроме того, придворные фавориты научились быть всегда готовыми к внезапной опале. Его страшит, что таится за этим оскорблением. Его терзает мысль, что все его богатства — дома, конторы, корабли — оставлены на милость

бея, в восточной стране, где царят беззаконие и полный произвол владыки. И, прижав свой пылающий лоб к стеклу, по которому струится дождь, весь в поту, с похолодевшими руками, он вглядывается в темноту ночи, столь же мрачную и непроницаемую, как его собственная судьба.

Вдруг слышатся шаги, затем настойчивый стук в дверь.

— Кто там?

— Господин Жансуле! — говорит, входя, полуодетый Новль. — Вам срочная депеша, доставленная с телеграфа нарочным.

— Депеша? Что еще случилось!

Он берет голубой листочек и раскрывает его дрожащими руками. Божество, испытавшее укол уже два раза, начинает чувствовать себя уязвимым, теряет уверенность в себе; оно, как и прочие смертные, извело страх и пляску нервов. Скорей посмотреть на подпись... «Мора»! Не может быть! Герцог, сам герцог телеграфирует ему! Да, это так: «М-О-Р-А»...

В телеграмме было написано:

«Пополаска умер. В Корсике объявлены новые выборы. Вы официальный кандидат».

Депутат! В этом спасение. Значит, бояться нечего. С представителем великой французской нации не обращаются как с простым «торгашом». Попалась, господа Эмерленги!

«О герцог, благородный герцог!»

Он был так взволнован, что не мог расписаться.

— Где человек, который принес депешу? — спросил он.

— Я здесь, господин Жансуле, — с добродушным знакомым ему акцентом южанина ответил ему голос из коридора.

Ему повезло, этому сельскому письмоносни!

Отдавая ему расписку, Набоб вынул из карманов, всегда полных денег, столько золотых монет, сколько могли вместить обе его руки, и бросил их в фуражку бедного малого, что-то бормотавшего, ошеломленного, ослепленного богатством, которым его так неожиданно наградила судьба в этом волшебном дворце, погруженном в мрак.

XII. ВЫБОРЫ ПО-КОРСИКАНСКИ

Поццонегро, через Сартену.

«Наконец-то, дорогой господин Жуайез, у меня есть возможность написать Вам несколько слов. За те пять дней, что мы на Корсике, мы столько колесили по дорогам, столько ораторствовали, так часто меняли экипажи, столько ездили верхом, то на лошаках, то на ослах или даже на человеческих спинах, чтобы перебраться через горные потоки, столько написали писем, поддержали ходатайств, посетили школ, столько раз давали деньги на церковные облачения и на престольные покровы, на восстановление расшатанных колоколен, столько основали детских приютов, заложили столько зданий и памятников, провозгласили столько тостов, выслушали столько речей, выпили столько таланского вина и съели столько творожного сыра, что у меня не было времени послать сердечный привет маленькому семейному кружку за большим столом, где мое место пустует вот уже две недели. К счастью, мое отсутствие будет теперь уже недолгим, так как мы рассчитываем послезавтра отсюда уехать и прямым путем вернуться в Париж. Что касается выборов, мне кажется, что поездка наша оказалась удачной. Корсика — замечательная страна, где царят лень и бедность, где гордость уживается с нуждой, где дворянские и буржуазные семьи стараются поддержать видимость достатка ценою самых тяжких лишений. Здесь говорят серьезно о «богатстве» Пополаски, этого бедняка депутата, который, умерев, потерял сто тысяч франков, обещанных ему Набобом за отказ от депутатского кресла. Вдобавок все эти люди одержимы страстью к официальным должностям, своего рода административным восторгам, потребностью во что бы то ни стало надеть на себя мундир и плоскую фуражку с чиновничьей кокардой. Если вы предложите корсиканскому крестьянину на выбор богатейшую ферму в плодороднейшей французской области или самую скромную перевязь, присваиваемую сельским стражникам, он, ни минуты не колеблясь, отдаст предпочтение перевязи. При таком положении вещей, как Вы сами понимаете, кандидат, обладающий большими средствами и пользующийся поддержкой правительства, имеет все шансы на успех. Поэтому господин Жансуле добьется избрания, особенно если закончатся благополучно переговоры, которые он сейчас ведет и которые привлекли нас сюда, в единственную гостиницу местечка, именующегося Поццонегро (что значит

Черный колодец). Это действительно настоящий колодец, совершенно черный от густой зелени, с пятьюдесятью домишками из красочного камня, которые жмутся друг к другу вокруг высокой колокольни в итальянском стиле, в глубине ложбины, окруженной круты ми холмами и утесами из разноцветного песчаника, покрытыми густыми лиственничными лесами и зарослями можжевельника. Из открытого окна, сидя у которого я пишу, виден лоскут голубого неба, похожий на отверстие черного колодца. Внизу, на маленькой площади, затененной огромным орешником — как будто бы и без него тени здесь недостаточно, — два пастуха в козьих шкурах играют в карты, прислонившись к камню, из которого бежит источник. Игра — болезнь этой родины лени, где для сбора урожая нанимают батраков из Лукки. У бедняков, которых я сейчас лицезрю, нет ни гроша в кармане: один играет на ножик, другой на творожный сыр, обернутый виноградными листьями. Обе эти ставки лежат на скамье рядом с игроками. Невзрачный кюре курит сигару, глядит на картежников и, по-видимому, с интересом следит за игрой.

Больше ничего не видно вокруг. Тишину прерывает лишь вода родника, стекающая в каменный водоем, и восклицания то того, то другого из игроков, которые клянутся «святыми заступниками», да еще из кабачка, расположенного под моей комнатой, доносятся приветливый голос нашего друга и бормотанье великого Паганетти, служившего переводчиком г-ну Жансуле в его беседе с не менее великим Пьедигриджо.

Г-н Пьедигриджо (Серая нога) — местная знаменитость! Это высокий семидесятипятилетний старик, еще совершенно прямой, в коротком непромокаемом плане, на который ниспадает его длинная белая борода, го седую голову прикрывает каталонский колпак из коричневой шерсти; на поясе болтаются ножницы, которыми он крошит прямо на ладони большие зеленые листья табака. В общем, у него весьма почтенный вид, и когда он, переходя площадь, обменялся рукопожатием с кюре и с покровительственной улыбкой посмотрел на игроков, я бы никогда не поверил, что это знаменитый бандит Пьедигриджо, который с 1840 по 1860 год грабил в лесах Монте Ротондо и вконец замучил таможенный кордон и жандармов. Получив амнистию за давностью преступлений, он теперь спокойно разгуливает по всей округе, где он с помощью огнестрельного и холодного оружия убил несколько человек, и пользуется значительным влиянием. И вот почему: у Пьедигриджо есть два сына, которые идут по стопам достойного родителя — не выпускают из рук ружья и тоже разбойничают в лесах. Сыновей так же невозможно выследить и поймать, как в течение двадцати лет невозможно было справиться с их отцом.

Пастухи предупреждают их о малейшем передвижении жандармов, которым стоит только выйти из какой-нибудь деревушки, чтобы бандиты тотчас же там появились. Старший, Шипионе, в прошлое воскресенье присутствовал на обеде в Поццонегро. Сказать, что их любят, что пожатие кровавой руки этих мерзавцев доставляет кому-нибудь удовольствие, значило бы оклеветать мирных обитателей этой общины, но их боятся, их воля для всех — закон.

И вот, оказывается, семейству Пьедигриджо взбрело на ум оказать поддержку на выборах нашему конкуренту — это мощное покровительство может заставить два кантона голосовать против нас: ведь эти негодяи так же быстро бегают, как и метко стреляют. Жандармы, конечно, за нас, но у бандитов больше силы. Как сказал нам сегодня утром хозяин гостиницы, «жандармы уходят, а *banditi* всегда тут». Исходя из столь логичного рассуждения, мы решили, что остается одно: договориться с «Серыми ногами», подкупить их. Мэр шепнул пару слов старику, тот посоветовался с сыновьями, и сейчас внизу обсуждаются условия сделки. Из моей комнаты я слышу голос Паганетти: «Брось, дорогой приятель, ты же знаешь: я сам старый корсиканец...» А затем — спокойные, отрывистые ответы бандита, сопровождаемые раздражающим лязганьем ножниц, которыми он крошит свой табак. «Дорогой приятель», по-моему, не очень-то доверяет словам своего собеседника, и, пока золотые монеты не будут выложены на стол, дело, я думаю, не сдвинется с места.

Вся беда в том, что Паганетти хорошо знают на его родине. О том, чего стоят его слова, свидетельствуют площадь Кортте, все еще ожидающая памятника генералу Паоли, огромные поля, которые он собирался засадить морковью, несмотря на каменистую, как на острове Итака, почву,^[35] тощие, дырявые кошельки всех этих бедных деревенских кюре, мелких буржуа и захудалых аристократов, чьи скудные сбережения он сумел вытянуть, ослепляя владельцев фантастическими *combinazione*. Для того, чтобы дерзнуть здесь показаться, нужен был весь его изумительный апломб, а также средства, которыми он сейчас располагает: их оказалось достаточно, чтобы зажать всем рты.

Итак, что же мы имеем на деле из всех сказочных предприятий Земельного банка?

Ничего!

Рудники, которые не разрабатываются и никогда не будут разрабатываться, потому, что они существуют только на бумаге; каменоломни, которые еще не видели ни кирки, ни пороха; бесплодные песчаные пустыри, на которые Паганетти указывает широким жестом. «Мы

начнем отсюда... — говорит он. — А закончим вон там, далеко...» Что касается леса, то весь лесистый склон Мойте Ротондо как будто бы действительно принадлежит нам, но рубка леса там невозможна, если только воздухоплаватели не примут на себя обязанностей дровосеков. Не лучше дело обстоит и с курортами. Из них самый значительный — несчастная деревушка Поццонегро с железистым источником, целебные свойства которого неустанно восхваляет Паганетти. Пароходов нет и в помине, хотя над плотно запертым входом в старую полуразрушенную генуэзскую башню, расположенную на берегу залива Аяччо, и красуется надпись на металлической дощечке с облезшей позолотой: «Агентство Паганетти. Мореходная компания. Справочное бюро». Увы, жирные серые ящерицы да сова заведуют этим агентством! Что же касается железных дорог, то славные корсиканцы, когда я касался этого вопроса, лукаво улыбались, подмигивали и отвечали весьма таинственными намеками. Только сегодня утром я получил курьезное объяснение этих недомолвок.

Среди бумажек, которыми патрон время от времени машет, как веером, перед нашими глазами, чтобы придать убедительность своему краснобайству, я нашел купчую на мраморную каменоломню в местности, называемой Таверна, в двух часах ходьбы от Поццонегро. Пользуясь нашим пребыванием в этой деревне, я сегодня утром, не сказав никому ни слова, взобрался на мула и в сопровождении долговязого пройдохи с длинными, как у оленя, ногами, типичного корсиканского браконьера или контрабандиста, с большой красной трубкой в зубах и с ружьем на перевязи, отправился в Таверну. По трудной дороге, через скалы с глубокими расщелинами, одолевая страшные рытвины и бездонные пропасти, по самым краям которых, словно насмешливо очерчивая их своими копытами, осторожно ступал мой мул, мы добрались по почти отвесному спуску до цели нашего путешествия. Перед нами расстилались совершенно голые, пустынные утесы, побелевшие от помета чаек и других морских птиц. Море было внизу совсем близко, безмолвие нарушалось лишь прибоем и пронзительными криками птичьих стай, круживших в воздухе. Мой проводник, испытывающий священный трепет перед таможенниками и жандармами, остался на вершине утеса, потому что у самого берега моря находился маленький таможенный пост, а я направился к возвышавшемуся в этой уединенной знойной местности большому красному четырехэтажному зданию, с разбитыми стеклами, развалившейся черепичной крышей и огромной вывеской на источенной древоточцем двери: «Земельный банк... мрам... кам... 54». Северный ветер, солнце и дождь стерли остальное.

Несомненно, здесь были начаты разработки; об этом свидетельствовала большая четырехугольная яма, обнажавшая, словно пятна проказы, красные пласты в коричневых прожилках, а в самой глубине, между терновником, огромные глыбы мрамора, носящего в торговле название *griotte*. Однако мрамор оставался неиспользованным из-за отсутствия хорошей дороги, которая вела бы к каменоломне, или порта, удобного для причала к этому берегу грузовых судов, и прежде всего за неимением значительных денежных средств, необходимых для осуществления первого или второго из этих начинаний. Поэтому каменоломня остается заброшенной в нескольких сотнях метров от берега вследствие своего злосчастного местонахождения, обременительная и бесполезная, как лодка Робинзона. Подробности печального положения нашего единственного заключенного в земле богатства сообщил мне стучавший зубами от лихорадки несчастный надсмотрщик, которого я отыскал в полуподвальном помещении красного дома, где он пытался поджарить себе кусок козлятины на едком дыме чуть тлевшего мастикового кустарника.

Этот человек, являющийся единственным служащим Земельного банка на Корсике, — муж кормилицы Паганетти; в прошлом он был смотрителем маяка, и потому одиночество его не тяготит. Патрон держит его отчасти из милости, отчасти потому, что получаемые время от времени письма с пометкой «Тавернская каменоломня» производят на акционеров впечатление. Мне стоило большого труда добиться кое-каких сведений от этого почти совсем одичавшего субъекта, с недоверием смотревшего на меня из-под козьей шкуры своего реопе. Все же, сам того не желая, он разъяснил мне, что корсиканцы разумеют под словами «железная дорога» и почему, говоря о ней, они принимают такой таинственный вид. Когда я пытался узнать у него, что ему известно о постройке железной дороги в этой стране, старик без лукавой усмешки, появлявшейся в таких случаях на лицах его земляков, своим хриплым голосом, скрипучим, как ржавый замок, которым не часто пользуются, вполне откровенно ответил мне на довольно чистом французском языке:

— О, мусью, нам здесь не нужно железной дороги!

— Как так? Ведь это же превосходно, удобно, это так облегчает передвижение....

— Спору нет, штука хорошая, а только нам вполне хватит жандармов...

— Жандармов?

— Ну, конечно...

Недоразумение длилось по крайней мере пять минут, пока я в конце концов не понял, что тайная полиция здесь именуется «железной дорогой». Так как на материке много корсиканцев служит в тайной полиции, то их родные обозначают низкое ремесло, которым они занимаются, этим безобидным названием. Если вы спросите у них: «Где работает ваш брат Амброзини?» Или: «Чем занимается ваш дядя Барбикалья?» — они вам ответят, слегка при этом подмигивая: «Он служит на железной дороге...» И каждый поймет, что это значит. Люди простые, крестьяне, которые никогда не видели железной дороги и даже не представляют себе, что это такое, твердо убеждены, что секретная служба в императорской полиции не имеет другого наименования. Наш представитель в этой стране с трогательным простодушием разделяет общее мнение. Сказанного достаточно, чтобы дать вам понятие о том, как в действительности обстоит дело с железнодорожной линией «Аяччо — Бастиа через Бонифаччо и Порто — Веккьо», о которой говорят записи в бухгалтерских книгах с зеленым корешком торгового дома Паганетти. В сущности, все имущество Земельного банка заключается в нескольких вывесках и двух полуразрушенных домишках, едва ли достойных чести занять место среди пущенных на слом строений на улице св. Фердинанда, о которой каждый вечер, перед тем как заснуть, я вспоминаю, представляя себе, как там скрипят флюгера и хлопают от ветра старые двери.

Но куда же, в таком случае, ушли и продолжают уходить огромные суммы, внесенные г-ном Жансуле за пять месяцев, не считая тех денег, которые поступили от других лиц, привлеченных этим магическим именем? Я полагал, так же как и Вы, что все эти разработки, бурения скважин, покупка земель, отмечаемые каллиграфическим почерком в бухгалтерских книгах, непомерно раздуты. Но можно ли было заподозрить подобную наглость? Вот почему директор банка так неприязненно отнесся к моему участию в предвыборной поездке. Я не хочу разоблачать его немедленно: бедному Набобу и без того достаточно хлопот с выборами. Но как только мы возвратимся в Париж, я представлю ему подробный отчет о моем тщательном расследовании и волей или неволей вытащу его из этого вертепа...

Они покончили там, внизу. Старый Пьедигриджо переходит площадь, зажимая кольцо на своем туго набитом крестьянском кошельке. Сделка, очевидно, состоялась. Спешу закончить письмо, дорогой господин Жуайез. Прошу передать мое почтение Вашим дочерям, а также сохранить мне местечко за рабочим столом.

Поль де Жери».

Предвыборная горячка, охватившая их на Корсике, сопровождала их, подобно сирокко, и в море. Она ворвалась в Париж и вдохнула свое безумие в апартаменты на Вандомской площади, где с утра до вечера наряду с завсегдатаями толпились все время прибывавшие бородатые человечки с правильными чертами лица, коричневые от загара, как сладкие рожки, одни — шумливые, болтающие с азартом, как Паганетти, другие — молчаливые, сдержанные и педантичные; две разновидности одного и того же племени, порождаемые одинаковыми природными условиями. Все эти голодные островитяне, являвшиеся из захолустных уголков своей родины, встречались за столом Набоба, дом которого превратился в постоянный двор, в гостиницу, в базар. В столовой, где стол целыми днями оставался накрытым, всегда можно было застать только что приехавшего корсиканца, который закусывал с растерянным и жадным выражением деревенского родственника.

Агенты по выборам, эта хвастливая и шумная порода людей, всюду одинаковы, но островитяне отличались особой горячностью, исключительной пылкостью и безграничной чванливостью индейских петухов. Жалкий письмоводитель, контролер, секретарь мэрии или сельский учитель говорили таким тоном, будто за ними стоит целый кантон и карманы их поношенных сюртуков набиты избирательными бюллетенями. Дело в том, что во всех корсиканских общинах — Жансуле имел возможность в этом убедиться — семьи столь древнего происхождения, они вышли из такой нищеты и так разветвились, что какой-нибудь бедняк, дробящий камни на дорогах, может установить свое родство с самыми именитыми гражданами острова и пользуется поэтому значительным влиянием. Свойственные им национальные черты — надменность, скрытность, мстительность и склонность к интригам — усугубляют трудность положения и заставляют в сложной обстановке резко противоречивых интересов с большой осторожностью ставить ногу, чтобы не попасть в раскинутые повсюду тенета.

Но страшнее всего была зависть, ненависть этих людей друг к другу, ссоры за столом по поводу выборов, когда при малейшем несогласии они обменивались мрачными взглядами, сжимая черенки ножей, когда все говорили разом, громко, кто на генуэзском наречии, звучном и твердом, кто смешно коверкая французский язык, давясь от невысказанных оскорблений, сыпля названиями никому не известных захолустных селений, датами местных событий, внезапно воскрешавшими между двумя сотрапезниками двухвековую семейную вражду. Набоб, боясь, чтобы такие завтраки не привели к трагической развязке, старался своей доброй,

примиряющей улыбкой укротить страсти. Но Паганетти успокоил его. По его словам, хотя вендетта еще существует на Корсике, но к кинжалу и ружью корсиканцы прибегают лишь в очень редких случаях, и то только представители низших классов. Их заменяют анонимные письма. И действительно, на Вандомской площади ежедневно получались письма без подписи следующего содержания:

«Господин Жансуле! Вы так великодушны, что я не могу не довести до Вашего сведения, что Борналино (Анджело-Мария) — предатель, перешедший на сторону Ваших врагов. Совсем другой человек — его кузен Борналино (Луиджи-Томазо), глубоко преданный правому делу» и т. д.

Или же:

«Господин Жансуле! Боюсь, что на выборах Вас ожидает провал и все Ваши труды пропадут даром, если Вы и в дальнейшем будете пользоваться услугами некоего Кастирла (Джозуа) из Омесского кантона, тогда как его родственник Лучани именно тот человек, который Вам нужен...»

Хотя несчастный кандидат и перестал читать такого рода послания, все же, измученный сомнениями и страстями, попав в сети интриг, полный страхов, недоверия и тревоги, задержанный, изнервничавшийся, он чувствовал на себе всю справедливость корсиканской пословицы: «Если хочешь зла своему врагу, пожелай ему или кому-нибудь из его близких стать кандидатом на выборах».

Легко себе представить, что эта туча прожорливой саранчи, налетевшая на гостиные «мусью Жансуле», не пощадила его чековой книжки и трех ящичков комода красного дерева. Но до чего потешны были эти надменные островитяне, когда они с вызывающим видом, без всяких предразговоров, производили заем у Набоба!

И все же не они были самым страшным бичом, если забыть о ящичках с сигарами, которыми они так набивали свои карманы, словно каждый из них собирался, вернувшись на родину, открыть табачную лавочку. Подобно тому как в сильную жару краснеют и воспаляются раны, так во время предвыборной горячки пышным цветом расцвело вымогательство, и без того прочно обосновавшееся в этом доме. Огромные средства расходовались на прессу — на статьи Моассара, тюками в двадцать — тридцать тысяч экземпляров отправляемые на Корсику вместе с портретами, биографией кандидата и разными брошюрами, — на создание всей той шумихи в печати, какую только мыслимо поднять вокруг чье-либо имени. А затем — обычная работа выкачивающих насосов, выстроившихся перед огромным резервуаром миллионов. Тут были и вифлеемские ясли — мощная машина, действующая с промежутками, но

полновесными ударами. Земельный банк — превосходный, неутомимый механизм с тройным-четверным насосом в несколько тысяч лошадиных сил, насос Швальбаха, насос Буа-Ландри и столько еще других! Одни были огромные, с нагло громыхающим поршнем, другие действовали осторожно, бесшумно, с шестернями, смазанными маслом, с маленькими предохранительными клапанами, игрушечные насосы, тонкие, как хоботы насекомых, которые, желая утолить свою жажду, сильно жалят и заражают ядом то место, откуда они черпают жизнь. Но все эти насосы работали с полнейшим единодушием и роковым образом должны были если не полностью исчерпать живительную влагу, то привести к значительному понижению ее уровня.

Уже некоторые слухи, пока еще смутные, пробежали на бирже. Были ли тому причиной козни его врага Эмерленга, против которого Жансуле вел ожесточенную войну, стараясь противодействовать всем финансовым операциям толстого банкира и теряя на этом колоссальные суммы, потому ли, что против него была его собственная ярость, хладнокровие его противника и деловая беспомощность Паганетти, служившего ему подставным лицом. Как бы то ни было, золотая звезда потускнела. Поль де Жери знал это через старика Жуайеза, поступившего бухгалтером к биржевому маклеру и хорошо осведомленного обо всех биржевых операциях. Но больше всего пугало молодого человека крайне возбужденное состояние Набоба, его потребность чем-нибудь себя одурманить, пришедшая на смену спокойной уверенности в своих силах и ясности духа, утрата трезвости, свойственной южанину, манера, с какой его принципал опрокидывал перед каждой трапезой большие рюмки арака, громко при этом разговаривая и хохоча, как грубый матрос на корабле. Чувствовалось, что он перенапрягает силы, чтобы заглушить в себе тревогу. Все же иногда под влиянием неотвязной мысли она прорывалась: лицо Набоба вдруг искажалось, или же он начинал лихорадочно перелистывать свою истрепанную записную книжку. Но Жансуле упорно избегал решительного объяснения, того серьезного разговора, которого так добивался Поль. Он проводил ночи в клубе, утра — в постели, и как только он просыпался, спальня его наполнялась людьми, которые говорили с ним, пока он одевался, и которым он отвечал, уткнув нос в таз с водой. Если по счастливой случайности Полю удавалось поймать его на минуту, Набоб пытался бежать, прерывая молодого человека на полуслове:

— Только не сейчас, прошу вас....

В конце концов Полю пришлось прибегнуть к героическим мерам.

Однажды, вернувшись около пяти часов утра из клуба, Жансуле нашел

на ночном столике письмо, которое он сначала принял за один из анонимных доносов, получаемых ежедневно. И действительно, это был донос, но только написанный без обиняков, со всей прямоотой и серьезностью, свойственной его секретарю, и за его подписью. Де Жери с полной ясностью указывал на все мерзости, на все хищнические махинации, жертвою которых являлся Жансуле. Он называл мошенников по именам. Среди завсегдатаев дома не было ни одного, кто бы не внушал ему подозрения, кто бы не явился сюда, чтобы воровать и обманывать. Во всем доме сверху донизу — грабеж и расхищение. Лошади Буа-Ландри все были с изъяном, картинная галерея Швальбаха — одно надувательство, статьи Мовссара — бесстыдный шантаж. Де Жери составил длинный, подробнейший перечень этих наглых злоупотреблений, подкрепленный документами. Но особенно просил он Жансуле обратить внимание на деятельность Земельного банка, представлявшую собой серьезную опасность. В других случаях Набоб рисковал только деньгами, здесь же на карту была поставлена его честь. Привлеченные именем Набоба, его положением председателя совета, сотни акционеров, искатели золота, пустившиеся по следам счастливого рудокопа, попались в ловушку. Жансуле брал на себя страшную ответственность, в чем он мог убедиться, ознакомившись с отчетностью банка, с этой сплошной ложью и надувательством.

«Вы найдете упомянутый мною перечень, — писал де Жери, заканчивая письмо, — в верхнем ящике моего стола. К нему приложены расписки. Я не оставил его в Вашей спальне, потому что подозреваю Ноэля, как и всех в доме. Сегодня вечером, расставаясь с Вами, я передам Вам ключ от стола. Дело в том, что я покидаю Вас, мой дорогой покровитель и друг, покидаю Вас, преисполненный благодарности за все добро, которое Вы сделали мне, и глубоко опечаленный тем, что из-за Вашего слепого доверия к людям я лишен был возможности хотя бы отчасти Вас отблагодарить. Моя совесть честного человека упрекала бы меня, если бы я, не принося пользы, продолжал оставаться на своем посту. Я вынужден присутствовать при катастрофе, при разграблении волшебного дворца, чему я бессилён помешать, но сердце мое возмущается всем, что я вижу. Яжимаю руки, прикосновение которых меня бесчестит. Я Ваш друг, а меня могут принять за соучастника этих негодяев. И кто может поручиться, что, живя в такой атмосфере, я не уподоблюсь им?»

Это письмо, которое Набоб медленно, с глубоким вниманием прочел, вникая в каждую букву, даже в пробелы между строками и словами, произвело на него такое сильное впечатление, что, вместо того чтобы лечь в

постель, он направился к своему молодому секретарю. Поль занимал за рядом гостиных рабочий кабинет, где ему стелили на диване. Временно устроившись там, он решительно отказался перейти в другую комнату. Весь дом еще спал. Проходя через анфиладу гостиных, предназначенных только для дневных приемов, — в них никогда не задергивали гардин, и сейчас там брезжил свет раннего парижского утра, — Набоб остановился, пораженный печальным видом запустения, который являла его роскошь. В тяжелом воздухе, пропитанном табачным дымом и испарениями пролитого вина, новая мебель, расписные потолки и деревянные панели казались уже утратившими свою свежесть. Пятна на потрепанной шелковой обивке, пепел, бесцеремонно сброшенный на чудесные мраморные столики, следы сапог на коврах — все это напоминало огромный вагон первого класса, где на всем лежит печать праздности, нетерпения и скуки, порожденных продолжительным путешествием, где пассажиры, заплатившие за всю эту роскошь, смотрят на нее с презрительным безразличием. Среди этого убранства, в котором еще чувствовался привкус ежедневно разыгрываемой здесь отвратительной комедии, Набоб увидел в двадцати зеркалах, холодных и потускневших, свое изображение, мрачное и вместе с тем комическое, столь не соответствовавшее его щегольскому костюму, свое помятое и пылающее лицо с набухшими веками.

Какое отрезвляющее, полное разочарования пробуждение после безумной жизни, которую он вел!

Он на минуту погрузился в свои мрачные мысли, потом тряхнул плечами привычным для него движением, движением грузчика, словно желая сбросить с себя слишком тяжкие заботы, привести в равновесие свою ношу, которую тащит на себе каждый человек и которая в зависимости от его мужества и силы в большей или меньшей степени сгибает ему спину, и вошел к Полю де Жери. Тот уже поднялся с постели и, стоя перед раскрытым бюро, разбирал бумаги.

— Прежде всего, друг мой, — сказал Жансуле, притворяя за собой двери, чтобы никто не подслушал их беседу, — ответьте мне откровенно: действительно ли вы решили меня покинуть по причинам, указанным в вашем письме? Не придали ли вы веры тем гнусным слухам, которые, как я знаю, распространяются обо мне в Париже? Я убежден, что, как честный человек, вы от меня этого не утаите и дадите мне возможность... оправдаться перед вами.

Поль уверил его, что других причин для ухода у него нет, но что приведенных им вполне достаточно, так как это — дело его совести.

— В таком случае выслушайте меня, мой юный друг, и я не

сомневаюсь, что мне удастся вас удержать. Из вашего письма, убедительного своей прямоотой и искренностью, я не узнал ничего нового: все это было мне известно уже целых три месяца. Да, дорогой Поль, вы оказались правы. Париж сложнее, чем я полагал. По приезде сюда я не нашел честного и бескорыстного чичероне, который предостерег бы меня от излишней доверчивости к людям и делам. Вокруг меня оказались одни корыстолюбцы. Все, что было порочного в городе, все парижские мошенники оставили следы своих грязных сапог на моих коврах... Я сейчас смотрел на мои бедные гостиные. Из них надо вымести весь сор, и, клянусь вам, это будет сделано, черт возьми, и притом твердой рукой! Но для этого я должен стать депутатом. Я пользуюсь услугами этих подлецов, чтобы попасть в парламент, а депутатское кресло мне нужно, чтобы предотвратить малейшую возможность... Обрисую вам в двух словах мое положение. Бей не только не желает вернуть мне деньги, одолженные ему месяц тому назад, но на мое требование, поданное в суд, ответил встречным иском в восемьдесят миллионов — сумма, в которую он оценивает то, что я будто бы выманил у его брата. Но это грабеж среди бела дня, это наглая клевета! Состояние приобретено мною совершенно законно. Я нажил его своими комиссионными операциями. Я пользовался благоволением Ахмеда; он сам предоставил мне возможность разбогатеть... Не отрицаю, что иногда я слишком круто завинчивал гайку, это случалось. Но нельзя смотреть на это глазами европейца. На Востоке огромные барыши левантинцев не возбраняются и никого не поражают. Это дань дикарей за их приобщение к благам западной цивилизации. Негодяй Эмерленг, натравивший на меня бея, не то еще делал. Но что об этом толковать?.. Я попал сейчас волку в пасть. Еще до представления мною объяснений суду — а мне хорошо известно восточное правосудие — бей наложил арест на все мое имущество, на мои корабли, на мои дворцы и все, что в них находится. Дело проведено с соблюдением всех формальностей, на основании постановления Высшего совета. Во всем этом чувствуется рука Эмерленга-сына. Если я стану депутатом, все пойдет насмарку. Совет отменят свое постановление, мне вернут мое имущество и еще принесут извинения. В противном случае я потеряю все, шестьдесят, восемьдесят миллионов, даже самую возможность восстановить состояние, мне грозят разорение, бесчестие и гибель... Неужели же, милый мой мальчик, вы решитесь покинуть меня в такой критический момент? Подумайте: ведь, кроме вас, у меня нет никого на свете — Жена? Вы ее видели и знаете, какой поддержки, какого совета я могу ждать от нее! Дети? Но их у меня словно и нет. Я их никогда не вижу, и они с трудом

узнали бы меня, встретив на улице. Проклятая роскошь помешала мне приобрести друзей, я окружен бесстыдными корыстолюбцами. Любит меня только мать, но она далеко, да еще вы, которого она же ко мне послала. Нет, вы не оставите меня в одиночестве, когда вокруг меня кишит клевета! Как это страшно, если бы вы только знали! В клубе, в театре, всюду, где я бываю, я вижу змеиную головку баронессы Эмерленг, слышу отзвук шипения этой гадюки, чувствую ее ядовитое жало. Везде меня встречают насмешливые взгляды, притворные улыбки или благосклонность с примесью жалости; при моем появлении разговоры замолкают. А затем это отступничество, когда люди от меня шарахаются, словно следом за мной идет беда. Вот хотя бы Фелиция Рюис: она уже совсем закончила мой бюст, а потом, только чтобы не посылать его на выставку, придумала, будто он пострадал от какого-то несчастного случая. Я промолчал, сделал вид, что поверил, но понял, что и тут какая-то каверза... И это было для меня большим разочарованием. В тяжелых обстоятельствах, в каких я нахожусь, каждая мелочь имеет значение. Появление на выставке моего бюста, вылепленного знаменитым мастером, могло бы принести мне большую пользу в Париже. Но нет, все рушится вокруг меня, все уплывает из рук... Вы сами видите, что не можете меня покинуть.

XIII. ДЕНЬ ХАНДРЫ

Пять часов пополудни. Дождь льет с утра, небо серое и такое низкое, что можно его коснуться зонтиком, сырость пронизывает насквозь, слякоть, жидкая грязь, сплошная грязь, которая собирается в стоячие лужи, стекает глянцевиными струнками вдоль тротуаров. Эту грязь тщетно пытаются счистить метельщицы-машины и метельщицы в косынках, ее накладывают на огромные телеги с откидным кузовом, которые медленно вывозят ее по направлению к Монтреилю, торжественно двигаясь по улицам. Грязь эту все время ворошат, но она снова скопляется, вылезает из-под булыжников мостовой, забрызгивает дверцы карет, сбрую лошадей и одежду прохожих, пачкает окна, пороги домов и витрины магазинов. Можно подумать, что весь Париж погрузится в нее и исчезнет под унылой болотистой почвой, где все смешивается и растворяется. Тяжело видеть, как эта слякоть оставляет следы на белых фасадах новых домов, на парапетах набережных, на колоннадах каменных балконов. Но одно живое существо радуется этому зрелищу, одно несчастное создание, пресыщенное жизнью и больное, лежит, растянувшись на расшитом шелками диване, опершись головой на сжатые кулаки, и с удовольствием смотрит на улицу сквозь стекла, по которым струится вода, смотрит, наслаждаясь всем этим уродством.

— Понимаешь, моя добрая фея, такая погода мне сегодня как раз по душе. Погляди, как они шлепают по лужам... До чего они отвратительны, как они все перепачкались! Сколько грязи! Всюду грязь, и на улице и на набережной, даже в самой Сене, даже на небе. Ах, до чего приятна такая грязь, когда грустно на душе!.. Мне бы хотелось запустить в нее руки, вылепить из нее статую высотой в сто футов и назвать ее «Моя тоска».

— Отчего же ты тоскуешь, моя милая? — ласково спросила старая балерина, розовенькая и приветливая, сидевшая в кресле, не прислоняясь к спинке, чтобы не испортить прическу, сделанную аккуратней, чем обычно. — Разве ты не обладаешь всем, что нужно, чтобы быть счастливой?

Спокойным тоном она в сотый раз начала перечислять Фелиции все, чем та обладала: слава, талант, красота, поклонение самых обаятельных, самых могущественных мужчин, о да, самых могущественных, потому что еще сегодня... Но тут грозное мяуканье, душераздирающий вой шакала, истосковавшегося в унылой пустыне, огласил мастерскую. Стекла задребезжали, и насмерть перепуганная древняя куколка поспешила

спрятаться в свой кокон.

Уже целую неделю Фелиция, закончив свою группу и отослав ее на выставку, находилась в подавленном и раздраженном состоянии духа; она испытывала ко всему глубочайшее омерзение, она не находила себе места. Бедной фее потребовалось все ее неистощимое терпение, вся чудодейственная сила воспоминаний, в которые она поминутно погружалась, чтобы наладить себе сносную жизнь подле девушки, страдаемой тревогой, злобой и гневом, клокотавшими в ней, даже когда она молчала, и внезапно находившими исход в горьких словах, в восклицаниях, полных гадливости ко всему на свете. Группа ее отвратительна... Никто о ней даже не упоминает... Все критики — идиоты... А публика — стадо баранов с трехэтажным зобом... Между тем в прошлое воскресенье, когда герцог де Мора вместе с главным инспектором изящных искусств приезжали в мастерскую, чтобы посмотреть ее работы, как она была счастлива, как была горда, выслушивая их похвалы, с каким восторгом смотрела на свою группу, любуясь ею со стороны, как если бы она была вылеплена не ее руками, ибо стека уже не создавала между нею и ее творением той связи, которая препятствует беспристрастному суждению художника.

Так повторялось каждый год. Как только из мастерской бывало вывезено последнее произведение и прославленное имя Фелиции еще раз отдано на капризный суд толпы, как только исчезала цель, на которой были сосредоточены ее мысли, страшная пустота воцарялась в ее сердце, в жизни женщины, выбитой из привычной колеи, и это длилось до тех пор, пока ее не захватывала новая работа. Она запиралась, не желала никого видеть. Можно было подумать, что она не доверяет самой себе. Только добрейший Дженкинс способен был выносить ее во время таких кризисов, казалось даже, что он ищет их, словно чего-то от них ожидая. А ведь одному богу известно, как она нелюбезна с ним. Еще вчера он два часа просидел у этой скучающей красавицы, и она ни разу с ним не заговорила. Если такой же прием она готовит сегодня вечером высокому гостю, который оказал им честь, приняв приглашение на обед... Тут кроткая Кренмиц, мирно предававшаяся этим мыслям, глядя на узкие носки своих туфелек с бантиками, вдруг вспомнила о своем обещании испечь для званого обеда с указанной выше особой венское печенье и на цыпочках вышла из мастерской.

Все так же льет дождь, всюду та же грязь, все так же лежит, опершись на лапы, прекрасный сфинкс со взором, устремленным в мутную даль. О чем думает он? Что он видит там, на этих грязных, неверных дорогах в

надвигающихся сумерках, в которые он вглядывается, морща лоб и оттопырив губы от омерзения? Уж не судьбу ли свою он ждет? Печальная судьба, пустившаяся в путь по такой погоде, не убоявшись мрака и слякоти...

Кто-то вошел в мастерскую, но более тяжелыми шагами, чем скользящая бесшумно, как мышь, Констанция. Наверно, маленький слуга. Фелиция резко, не оборачиваясь, крикнула:

— Оставь меня в покое!.. Меня ни для кого нет дома!

— А мне все-таки хотелось бы поговорить с вами, — отзывается дружеский голос.

Она вздрагивает, выпрямляется и, смягчившись, почти весело говорит нежданному гостю:

— Ах, это вы, юная Минерва? Как же вы проникли ко мне?

— Очень просто. Все двери были открыты.

— Меня это не удивляет. Констанция с самого утра потеряла голову из-за обеда...

— У вас званый обед? Я так и думал. Передняя полна цветов.

— Никому не нужный, официальный обед!.. Сама не знаю, как я могла... Ну, садитесь же сюда, рядом со мной... Я вам очень рада.

Поль, слегка смущенный, сел. Никогда еще она не была так хороша. В полумраке мастерской, среди тускло поблескивавших произведений искусства, бронзы и тканых шпалер, мягко выступала матовая бледность ее лица, глаза искрились, как драгоценные камни, а длинная облегающая амазонка подчеркивала непринужденную грацию ее стана богини. И говорила она так приветливо! Казалось, она была рада, что он пришел... Почему он так долго не приходил? Вот уже месяц, как он не показывался. Разве они больше не друзья? Поль старался оправдаться: дела, поездка не давали ему возможности ее посетить. Впрочем, если он и не бывал у нее, то часто о ней говорил, да, очень часто, почти ежедневно.

— В самом деле? С кем же?

— С...

Он чуть было не сказал «С Алиной Жуайез», но какое — то необъяснимое чувство неловкости остановило его; он словно постыдился произнести это имя в мастерской, в которой обычно слышались совсем другие имена. Есть вещи несовместимые, трудно объяснить, почему. Поль предпочел солгать, и эта ложь позволила ему перейти к цели его посещения.

— С одним превосходным человеком, которого вы напрасно огорчили... Скажите, почему вы не закончили бюст бедного Набоба? Для

него было бы большим счастьем, предметом его настоящей гордости, если бы его бюст оказался на выставке. Он очень на это надеялся.

При упоминании имени Набоба она слегка смутилась.

— Вы правы, — сказала она, — я нарушила данное слово. Что делать? Я ведь капризна. Но я хочу на днях снова приняться за его бюст. Вот, посмотрите, холст на нем совсем влажный, чтобы не высохла глина...

— Ах да, несчастный случай... Знаете, мы этому не поверили.

— И напрасно. Я никогда не лгу. Он упал плашмя и разбился вдребезги. Но глина была свежая. Мне легко было исправить. Смотрите!

Она сдернула холст, и перед ними предстала добродушная физиономия Набоба: он словно сиял от счастья, что его увековечили в глине, и был так похож — совсем как живой, — что Поль даже вскрикнул от восхищения.

— Ну что, удачно? — наивно спросила она. — Только немного подправить тут и еще вот тут.

Она взяла стеку и, в нескольких местах подправив, передвинула подставку туда, где еще было светло.

— Работы здесь на несколько часов. Но все равно бюст не успеет попасть на выставку. Сейчас у нас двадцать второе, все экспонаты уже давно отосланы.

— Пустяки!.. При связях...

Она нахмурила брови, горькая складка вновь появилась у губ.

— Ну, конечно! Ведь мне покровительствует герцог де Мора!.. Бросьте, не стоит оправдываться: я знаю, что обо мне говорят, и мне это так же безразлично, как вот это... (Она швырнула комок глины, который прилип к обоям.) Возможно даже, что такие ни на чем не основанные слухи в конце концов приведут... Но оставим все эти гнусности, — добавила она, вскинув свою аристократическую головку. — Я хочу доставить вам удовольствие, Минерва. Ваш друг попадет в ближайший Салон.

Но в тот момент по мастерской, куда все больше набивалась тонкая пыль сумерек, обесцвечивая предметы, внезапно распространился запах жженого сахара и горячего теста. Появилась фея с блюдом печенья в руках, настоящая фея, нарядная, помолодевшая, в белой тунике, отделанной пожелтевшими кружевами, покрывавшими ее руки, прекрасные руки старой женщины, красота которых еще сохраняется, когда все остальное уже увяло.

— Посмотри на мое печенье, душечка: удалось оно мне сегодня?.. Ах, извини, я не знала, что у тебя гости... Да это господин Поль! Как поживаете, господин Поль? Отведайте моего печенья...

Милая старушка, которой ее наряд, казалось, придавал особую

живость, приблизилась, слегка припрыгивая и ловко поддерживая блюдо в равновесии на кончиках своих кукольных пальцев.

— Оставь господина де Жери в покое, — спокойно сказала Фелиция, — ты угостишь его за обедом.

— За обедом?

Балерина была так изумлена, что чуть не уронила блюдо с чудесным печеньем, таким же воздушным, нежным и прелестным, как она сама.

— Ну да, я его оставляю обедать с нами... О, прошу вас! — добавила она с необычайной настойчивостью, заметив отрицательный жест молодого человека. — Прошу вас, не отказывайтесь... Вы мне окажете большую услугу, если останетесь... Я ведь сразу согласилась исполнить вашу просьбу.

Фелиция взяла его за руку. Между ее просьбой и умоляющим, встревоженным тоном, каким она была высказана, чувствовалось какое-то странное несоответствие. Поль продолжал отговариваться: он не одет... Что же это будет? К обеду приглашены гости...

— Званный обед?.. Да я его сейчас отменю! Видите, какая я... Мы будем обедать втроем: вы, я и Констанция!

— Фелиция, дитя мое, это невозможно! Что ты выдумываешь? А... а твой гость, который должен сейчас явиться?

— Я напишу, чтобы он не приходил, вот и все.

— Да ты с ума сошла! Уже поздно...

— Совсем не поздно. Бьет шесть часов, обед назначен на половину восьмого... Вели отнести ему записку.

Она уже торопливо писала на краешке стола.

— Боже мой, боже мой, что за странная девушка! — шептала ошеломленная балерина, между тем как Фелиция, радостно возбужденная, вся словно преобразившись, запечатывала письмо.

— Вот я уже и нашла предлог! Врачи не напрасно выдумали мигрень, — заявила Фелиция, отдавая письмо. — Ах, как я рада! Какой чудесный вечер мы проведем! Поцелуй меня, Констанция.... Это не помешает нам оказать честь твоему печенью. И мы будем иметь удовольствие видеть тебя за столом в твоём прелестном наряде, в котором ты выглядишь моложе меня.

Большого и не требовалось, чтобы балерина простила своему дорогому «бесенку» новый каприз и «оскорбление принца крови», в котором она стала невольной соучастницей. Так бесцеремонно поступить с принцем крови — на это способна только Фелиция, только она одна. А Поль де Жери уж и не пытался сопротивляться, он опять почувствовал на

себе путы, от которых, как ему казалось, он освободился за время разлуки, но которые, стоило ему переступить порог мастерской, вновь опутали его волю. Связанный по рукам и ногам, он оказался во власти своего чувства, которое перед тем решил твердо побороть.

Обед, действительно изысканный, обдуманной австриячкой до малейших подробностей, был явно предназначен для знатной персоны. Начиная от высокого кабийского канделябра резного дерева, сверкавшего своими семью свечами на сплошь вышитой скатерти, до кувшинов прелестной, причудливой формы, с длинными горлышками, в которых были поданы вина, роскошная сервировка стола, тонкие, остро и своеобразно приправленные блюда — все свидетельствовало о том, что ожидавшийся сегодня гость был птицей высокого полета и что ему всячески старались угодить. Сразу было видно, что вы в доме художника. Мало серебра, но зато превосходный фаянс. Вещи, хотя и разнородные, гармонировали между собой. Старый руанский фарфор, розовый северский, голландский хрусталь в старинной чеканной оправе, соединенные на столе, как в витрине редкостей, собраны были знатоком, который руководствовался только своим вкусом. Хозяйству, зависевшему от случайных находок, безусловно, присущ был некоторый беспорядок. У чудесного судка не было пробок. Надтреснутая солонка еже* минутно опрокидывалась на скатерть. То и дело раздавались возгласы:

— Где вилка?

Или:

— Что случилось с вилоккой?

Поль испытывал некоторую неловкость за молодую хозяйку, но она не обращала на эти недочеты никакого внимания.

Особенно смущала молодого человека неотвязная мысль: какого привилегированного гостя заменяет он за столом, гостя, которого готовились принять так рос кош но и вместе с тем так бесцеремонно? Как бы то ни было но Жери все время ощущал присутствие этого непри ятного сегодня гостя и чувствовал себя уязвленным Сколько он ни старался позабыть о нем, все о нем на поминало, даже убор милой феи, сидевшей против Поля и хранившей важный вид, который она заранее на себя напустила ради столь торжественного случая. Эта мысль нарушала покой молодого человека и портила удовольствие, которое он испытывал, находясь в этом доме.

В дуэтах голоса очень редко звучат в унисон. Фелиция, в отличие от своего собеседника, была в этот вечер так приветлива, в таком прекрасном настроении, в каком Поль ее еще никогда не видел. Она была безудержно,

по-детски весела, преисполнена той радости, какую испытывает человек после того, как миновала опасность, когда после всего пережитого во время кораблекрушения он сидит у ярко пылающего огня. Она от души смеялась, трунила над произношением Поля, над тем, что она называла его «мещанскими идеями».

— Знаете, вы ужасный буржуа! Но это мне в вас и нравится. Должно быть, в силу контраста: я родилась под мостом, и принес меня ветер, поэтому я всегда любила людей положительных, благоразумных.

— Душечка! Что может о тебе подумать господин Поль? Он, пожалуй, вообразит, что ты действительно родилась под мостом, — возмутилась славная Кренмиц, которая никак не могла привыкнуть к образным преувеличениям и все понимала буквально.

— Пусть думает, что хочет, милая моя фея. Мы не прочим его себе в мужья. Я уверена, что его никогда не привлечет женщина, посвятившая себя искусству. Для него это было бы то же, что жениться на черте. И вы совершенно правы, Минерва. Искусство — деспот: ему нужно отдаться целиком. В свое произведение художник вкладывает все свои идеалы, всю энергию, честность, совесть, так что для жизни ничего не остается, и когда работа окончена, у него исчерпаны все силы, и он подобен ладье, которая носится по воле волн.

— Все же мне кажется, — робко возразил молодой человек, — что искусство, сколь бы требовательно оно ни было, не может всецело поглотить женщину. Что случилось бы тогда с ее нежностью, потребностью любить, жертвовать собой, которые в гораздо большей степени, чем у нас, мужчин, являются движущей силой всех ее поступков?

Фелиция призадумалась.

— Может быть, вы и правы, мудрая Минерва. Бывают дни, когда жизнь представляется мне до ужаса пустой. Я вижу кругом глубокие ямы и бездны. И как я ни стараюсь заполнить жизнь, в них все бесследно исчезает. Высокие, вдохновенные порывы художника поглощаются ими и умирают со стоном. Тогда я начинаю думать о браке. Муж, дети, куча детей, прыгающих по мастерской; забота о своем гнездышке, удовлетворение от физической работы, которой не хватает в жизни художников, беспрестанные хлопоты, песни, шум, наивное веселье, заставляющее принимать участие в детских играх, забывая о своих беспредметных мрачных мыслях, смеяться, когда наносят удары твоему самолюбию, быть только довольной матерью, когда публика развенчает тебя как художника...

Картина семейных радостей преобразила молодую девушку, ее

прекрасное лицо приняло выражение, какого еще никогда не видел Поль; оно покорило его, внушило безумное желание унести в объятиях эту прекрасную дикую птицу, мечтающую о голубятне, чтобы защитить ее, укрыть, окружив надежной любовью порядочного человека.

А она, не глядя на него, продолжала:

— Я вовсе не так легкомысленна, как это кажется... Спросите у моей милой крестной, которая отдала меня в пансион, — она вам скажет, что я там приноравливалась к другим. Но потом страшная путаница началась в моей жизни. Если бы вы только знали, какая у меня была юность, какой преждевременный опыт иссушил мой мозг, как все перемешалось в понятиях молоденькой девушки — добро и зло, разум и безумие! Одно только искусство, всеми прославляемое, предмет страстных споров, возвышалось среди этого хаоса, и в нем я нашла себе приют... Вот почему я навсегда останусь только художницей, женщиной, не похожей на других, бедной амазонкой с душой, закованной в латы, бросившейся на борьбу, как мужчина, и осужденной жить и умереть, как мужчина.

Почему же он тогда не сказал ей: «Прекрасная воительница! Оставьте ваше оружие, облекитесь в развевающиеся одежды, в женскую нежность. Я люблю вас, я умоляю вас стать моей женой — так вы сами обретете счастье и меня сделаете счастливым?» Нет, он этого не сказал. Он опасался, что тот, другой — понимаете? — тот, который приглашен был сегодня к обеду и незримо здесь присутствовал, услышит его слова и посмеется над ним или пожалеет его за этот душевный порыв.

— Во всяком случае, клянусь, — продолжала она, — если у меня когда-нибудь будет дочь, я постараюсь, чтобы она стала настоящей женщиной, а не таким несчастным, покинутым всеми созданием, как я... О милая фея, я не тебя имею в виду, когда говорю это. Ты всегда была добра к своему «бесенку», заботлива и нежна... Да посмотрите же на нее, как она прелестна и как молодо сегодня выглядит!

Возбужденная обедом, светом канделябров, облаченная в один из тех белых туалетов, которые своим мягким отблеском сглаживают морщины, знаменитая Кренмиц, откинувшись на спинку стула, держала на уровне полузакрытых глаз бокал шато-икема из погреба Мулен Руж, расположенного по соседству. Ее розовое личико и легкая косыночка, словно сошедшие с постели, отражались в золотистом вине, придававшем лицу милой феи хмельную искристость. Казалось, видишь снова перед собой былую царицу изысканных ужинов после спектаклей, прославленную балерину доброго старого времени, далекую от той беззастенчивости, какую отличаются звезды современной оперы,

беззаботную, окруженную роскошью, как жемчужина — перламутром раковины. Фелиция хотела в этот вечер всем доставить удовольствие, и она незаметно навела ее на воспоминания, заставила рассказать о своих триумфах в «Жизели»^[36] и в «Пери», об овациях публики, о посещении принцами ее уборной, о подарке и милостивых словах королевы Амалии.^[37] Воспоминания о днях былой славы опьянили бедную фею, ее глаза заблестели, ножки постукивали под столом, словно одержимые безумием танца... И когда по окончании обеда они снова перешли в мастерскую, Констанция начала прохаживаться взад и вперед, делая чуть заметные па и пируэты и продолжая разговаривать, а порой неожиданно замолкала, чтобы промурлыкать мелодию из балета, отмечая такт движениями головы; потом вдруг повернулась и одним прыжком очутилась на другом конце комнаты.

— Ну, теперь на нее снизошло вдохновение, — шепнула Полю Фелиция. — Смотрите на нее, это стоит того: вы увидите, как танцует знаменитая Кренмиц.

Это было восхитительно, это было волшебно. На фоне огромной комнаты, почти погруженной во мрак, куда свет падал только сквозь застекленную ротонду, за которой вставала луна в прояснившемся синем небе, настоящем небе оперных декораций, выделялся силуэт прославленной балерины, весь белый, как маленькая причудливая тень, — легкая, совсем невесомая, скорее порхающая, чем делающая прыжки. Вот, грациозно поднявшись на пуанты, держась в воздухе на вытянутых руках, подняв голову — на лице различалась теперь только улыбка. — она то быстро приближалась к свету, то удалялась от него маленькими прыжками, столь стремительными, что казалось, вы сейчас услышите легкий треск разбившегося стекла и увидите, как она, отступая мелкими шажками, унесется ввысь на широком лунном луче, проникшем в мастерскую. Своеобразную прелесть, необыкновенную поэтичность придавало этому фантастическому балету отсутствие музыки. Слышался только особенно выразительный в полумраке ритмический, легкий и быстрый стук ножек по паркету, столь же слабый, как от падения лепестков осыпающегося георгина. Это продолжалось несколько минут, потом по ее учащенному дыханию стало заметно, что она устала.

— Довольно, довольно, садись, — сказала ей Фелиция.

Маленькая белая тень, готовая вновь унести, улыбаясь, с трудом переводя дух, присела на краешек кресла, и так она сидела, пока сон не сомкнул глаза милой феи, не убаюкал ее; сон тихо укачивал ее не нарушая прелестной позы, как стрекозу, сидящую на ивовой ветке, окунувшейся в

воду и колеблемой потоком.

Фелиция и Поль смотрели на балерину, мерно покачивающуюся в кресле.

— Бедная маленькая фея, — сказала Фелиция. — Самое лучшее, самое положительное в моей жизни — дружба, забота и покровительство этой бабочки. Она моя крестная мать. Можно ли после этого удивляться зигзагам, непостоянству моей натуры? Хорошо еще, что я этим ограничиваюсь.

Внезапно охваченная радостным порывом, она воскликнула:

— Ах, Минерва, Минерва, как я довольна, что вы пришли сегодня ко мне! Но не оставляйте меня так надолго одну... Мне нужно иметь подле себя такого прямого человека, как вы, нужно видеть настоящее лицо среди окружающих меня масок. Правда, вы ужасный буржуа, — добавила она, смеясь, — да к тому же еще провинциал... Но все равно, мне так хорошо с вами!.. Мне кажется, главная причина моей симпатии к вам — то, что вы похожи на одну девушку, к которой я в юности питала глубокую привязанность, серьезное и рассудительное существо, отдающее себя будничной жизни, но вносящее в нее тот идеал, который мы, люди искусства, вкладываем исключительно в свое творчество! Когда вы говорите, мне кажется, что это говорит она. У вас такой же рот античной формы, как у нее. Не потому ли так сходны и ваши речи? Вы, бесспорно, похожи друг на друга. Вот вы сейчас увидите...

Сидя против него за столом, заваленным эскизами и альбомами, она рисовала, продолжая с ним беседовать, наклонив свою прелестную головку, обрамленную причудливо рассыпавшимися локонами. Это уже было не свернувшееся клубком на диване прекрасное чудовище с тоскливым и мрачным лицом, проклинающее свою судьбу, — нет, это была женщина, настоящая женщина, которая любит и хочет очаровать. Побезденный ее искренностью и обаянием, Поль отбросил свои сомнения; ему хотелось высказаться, убедить ее. Минута была решительная... Но тут дверь отворилась и появился маленький слуга. Его светлость прислал узнать, не прошла ли у нее...

— Нет, не прошла, — с досадой ответила Фелиция.

Слуга вышел. На минуту воцарилось молчание, повеяло ледяным холодом. Поль встал. Она продолжала рисовать, по-прежнему склонив голову.

Он сделал несколько шагов по мастерской, потом вернулся к столу, за которым она сидела, и тихо спросил, сам удивляясь своему спокойствию:

— У вас должен был обедать герцог де Мора?

— Да... Я скучала... Хандра... Это очень тяжелые для меня дни.

— А герцогиня тоже должна была приехать?

— Герцогиня? Нет, я с ней незнакома.

— На вашем месте я не принимал бы у себя женатого человека, с женой которого вы не встречаетесь... Вы жалуетесь на одиночество, но ведь вы сами его создаете. Когда человек безупречен, следует оберегать себя от малейшего подозрения... Вы на меня не сердитесь?

— Нет, нет, браните меня, Минерва. Я готова слушать ваши нравоучения. Они искренни и честны. Они не виляют, как мораль Дженкинса. Я же вам говорю: мне нужно, чтобы мною руководили...

Протянув ему только что оконченный рисунок, она сказала:

— Смотрите: вот подруга, о которой я вам говорила. Нас связывала глубокая и нежная дружба, которую я по глупости не сумела сохранить, — такая уж я расточительная... Ее я призывала в тяжелые минуты, когда нужно было принять решение или принести жертву. Я спрашивала себя: «Что сказала бы она?» — подобно тому как мы, художники, прерываем работу, обращаясь мысленно к нашим великим предшественникам, нашим учителям... Вы должны занять ее место. Хотите?

Поль не ответил. Он смотрел на портрет Алины. Это была она — ее правильные черты, ее насмешливая добрая улыбка и длинный локон, ласкающий тонкую шею. О, теперь могли явиться и герцог де Мора и все, кто угодно, — Фелиция больше для него не существовала!

Бедная Фелиция, одаренная высшим могуществом, походила на тех волшебниц, которые властны распоряжаться участью людей, но бессильны создать свое счастье.

— Подарите мне этот набросок! — попросил Поль чуть слышно, взволнованным голосом.

— С удовольствием... Мила, не правда ли? Если вы встретите эту девушку, полюбите ее, женитесь на ней. Она лучше всех. А если не встретите... если не встретите...

И тут прекрасный прирученный сфинкс, загадка которого уже перестала быть неразрешимой, поднял на него свои большие влажные и смеющиеся глаза.

XIV. ВЫСТАВКА

— Превосходно!..

— Огромный успех. Сам Бари^[38] не создал ничего прекраснее.

— А бюст Набоба? Изумительно! И до чего счастлива Констанция Кренмиц! Посмотрите: вон она семенит...

— Да что вы! Эта старушка в горностаевой пелеринке — знаменитая Кренмиц? Я думал, она умерла по крайней мере лет двадцать тому назад.

Напротив, она жива-живехонька! Сияющая, помолодевшая от триумфа своей крестницы, занявшей первое место на выставке, Констанция неумоимо снует в толпе художников и светских людей, которые образовали две сплошные массы черных спин и самых разнообразных туалетов в тех местах, где выставлены две работы Фелиции, и давят друг друга, чтобы лучше их рассмотреть. Констанция, обычно такая робкая, проскальзывает в первый ряд, прислушивается к спорам, ловит налету обрывки фраз, запоминает профессиональные термины, одобрительно кивает головой, улыбается или пожимает плечами, когда до нее доносится какая-нибудь пошлость; она готова уничтожить первого же глупца, который посмеет не прийти в восторг от работ ее крестницы.

Кто бы это ни был, славная Кренмиц или кто-нибудь другой, но на всех вернисажах Салона вы всегда встретите пробирающуюся фигуру, которая со встревоженным видом, с напряженным вниманием прислушивается к разговорам. Иногда это старичок отец, который, стоя позади вас, благодарит взглядом за каждое ваше любезное, мимоходом брошенное слово или становится печальным, уловив колкость, направленную против произведения близкого ему человека и наносящую рану его сердцу. Мимо этой характерной фигуры не сможет пройти живописец — поклонник современности, если он вздумает запечатлеть на полотне типическое явление парижской жизни — открытие выставки. Салон — настоящая оранжерея скульптуры, с аллеями, посыпанными песком, под огромным стеклянным куполом, где вдоль стен на некотором расстоянии от пола тянется галерея, завешанная тканями; трибуны полны людей, которые, слегка наклонив головы, смотрят на экспонаты.

Под холодным светом, который делает еще бледнее, который как бы разрезает зеленый фон, помогающий глазу посетителя составить более спокойное и верное представление, люди медленно движутся взад и вперед, иногда задерживаясь, присаживаясь на скамейки, собираясь небольшими

группами. Нигде вы не встретите такого смешанного общества, такого разнообразия женских нарядов, вызванного изменчивостью этого капризного времени года: черные кружева и величественный шлейф светской дамы, явившейся посмотреть, какое впечатление производит ее портрет, и рядом сибирские меха актрисы, вернувшейся из России и желающей, чтобы всем это стало известно.

Здесь нет лож бенуара или бельэтажа, нет литерных мест, что придает этой премьере среди бела дня ни с чем не сравнимую прелесть. Дамы высшего света могут рассмотреть вблизи нарумяненных красавиц, которым они рукоплещут при вечернем освещении; маленькая шляпка новейшего фасона маркизы де Буа-Ландри мелькает неподалеку от более чем скромного наряда жены или дочери представителя артистического мира, меж тем как натурщица, которая позировала для прекрасной Андромеды, [39] стоящей у входа, победоносно шествует в короткой юбке и убогой накидке, падающей складками, имитирующими модный покррой.

Посетители изучают друг друга, восхищаются, осуждают, обмениваются уничтожающими, пренебрежительными или любопытными взглядами, которые внезапно становятся внимательными и неподвижными при появлении знаменитости. Вот, например, прославленный критик: с гордо поднятой головой, обрамленной длинными волосами, спокойный и величественный, он обходит экспонаты в сопровождении десяти — двенадцати учеников, почтительно прислушивающихся к каждому слову их авторитетного и благожелательного учителя.

Шум голосов теряется в этом огромном помещении, гулком только под арками входа и выхода, зато лица приобретают необыкновенную выпуклость, резко обозначается каждое их выражение, малейшая смена чувств.

Это становится особенно заметно в помещении, отведенном для буфета, обширном и черном от переполняющей его жестикулирующей публики, где светлые шляпки женщин и белые фартуки официантов выделяются на фоне темных костюмов мужчин, а равно и в широком среднем проходе, где кишашая, как муравейник, толпа составляет разительный контраст с неподвижностью статуй, — неуловимый трепет словно исходит от этих белых каменных изваяний, застывших в патетических позах.

Мы видим здесь крылья, распростертые в титаническом полете, земной шар, поддерживаемый четырьмя аллегорическими фигурами, словно кружащимися в нечетком ритме вальса; эта композиция настолько гармонична, что создается иллюзия вращения земли; видим руки, воздетые

к небу, словно для призыва, героически вздымающиеся фигуры, говорящие о смерти и бессмертии, продолжающие жить в истории, в легенде, в идеальном мире музеев, возбуждая любознательность и восхищение человечества.

Хотя бронзовая группа Фелиции уступала по размерам этим композициям, все же благодаря своим исключительным художественным достоинствам она по праву заняла место на одной из круглых площадок в середине зала. Столпившаяся здесь публика держалась в данную минуту на почтительном расстоянии от этой площадки, с любопытством рассматривая поверх голов сторожей и полицейских туниССкого бея и его свиту в белых бурнуссах, ниспадавших живописными, точно изваянными складками, — эти живые статуи среди мертвой скульптуры. Бей, находившийся в Париже уже несколько дней и привлекавший к себе внимание на всех премьерах, пожелал побывать и на открытии выставки. Это был «просвещенный государь, любитель искусств»; в Бордо у него была галерея удивительных турецких картин и цветных литографий всех битв Первой империи.

Как только он вошел, литая фигура большой арабской борзой сразу же привлекла его внимание. Это был *слуги*, стройный и резвый, настоящий *слуги* его родины, постоянный его спутник на всех охотах. Бей, чуть заметно улыбаясь, погладил спину борзой, провел рукой по ее мускулистым бедрам, словно стараясь подзадорить ее. Раздув ноздри, оскалив зубы, грациозно вытянув неутомимые, крепкие лапы, хищное аристократическое животное, страстное в любви и в охоте, опьяненное двойным хмелем, уже наслаждалось предвкушением победы, устремив взгляд в одну точку, высунув кончик языка и свирепо оскалившись. Когда вы смотрели только на борзую, вам казалось: сейчас она схватит свою добычу. Но вид лисицы вас тотчас же успокаивал. С бархатистым блестящим туловищем, с кошачьей повадкой, почти припав к земле, мчась без всяких усилий, она казалась каким-то сказочным существом, и ее хитрая мордочка с острыми ушами, которую она поворачивала на бегу к борзой, насмешливо на нее поглядывая, выражала уверенность в своей безопасности, ясно указывавшую на дар, полученный ею от богов.

В то время как инспектор изящных искусств, человек с огромной плешью, запыхавшийся, в криво сидевшем на нем мундире, разъяснял Мухаммеду притчу о собаке и лисе, изложенную в каталоге под заглавием «И вот случилось, что они встретились» и с указанием «Принадлежит герцогу де Мора», толстый Эмерленг, сопровождавший его высочество, силился, пыхтя и потея, втолковать беоу, что эта замечательная скульптура — произведение прекрасной амазонки, встреченной ими в Булонском лесу.

Как могла женщина своими слабыми руками сделать такой гибкой твердую бронзу, придать ей вид живого тела? Из всех парижских чудес это чудо особенно поразило бея. Он осведомился у инспектора, выставлены ли другие работы этого мастера.

— Да, ваше высочество, есть еще одна работа, и тоже шедевр... Если вам будет угодно направиться в ту сторону, я вас к ней проведу.

Бей в сопровождении свиты двинулся за ним. Все это были красавцы — точеные профили, благородные черты. Смуглость их лиц подчеркивалась белизной бурнусов. В этих плащах, падавших роскошными складками, они составляли разительный контраст с бюстами, расставленными по обеим сторонам аллеи, по которой они шли. Эти бюсты на высоких постаментах, казавшиеся хрупкими в окружавшей их пустоте, вырванные из своей среды, из окружения, в котором они, наверно, напоминали бы о великих трудах, о нежной привязанности или о мужественной и деятельной жизни, казались здесь словно заблудившимися и опечаленными тем, что они сюда попали. За исключением двух-трех женских бюстов с дивными плечами, обрамленными окаменелым кружевом, с мраморными прическами, выполненными с той воздушностью, которая придавала им легкость пудренных волос, и нескольких детских головок, отличавшихся простотой линий, как бы сообщавшей отполированному мрамору влажную теплоту человеческого тела, все остальные человеческие изваяния представляли собой сплошные морщины, глубокие складки, судороги, гримасы, говорившие о непомерных трудах, о волнениях, тяжких раздумьях и душевных тревогах, столь противоречащих этому искусству, ясному, безмятежно спокойному.

В уродливых чертах Набоба чувствовались по крайней мере энергия, авантюризм с оттенком наглости и добродушия, превосходно переданные скульптором, который подкрасил гипс охрой, придав бюсту загар и смуглоту, свойственные оригиналу. Увидев этот бюст, арабы не могли удержаться от приглушенного восклицания:

— Бу-Саид!.. («Отец счастья»).

Таково было прозвище, данное Набобу в Тунисе и как бы отмечавшее его удачи. Решив, что над ним вздумали подшутить, подведя его к ненавистному «торгашу», бей подозрительно посмотрел на инспектора.

— Жансуле? — спросил он гортанным голосом.

— Да, это Бернар Жансуле, ваше высочество, депутат от Корсики...

Бей, нахмутив брови, повернулся к Эмерленгу.

— Депутат?

— С сегодняшнего утра, ваше высочество, но дело еще не кончено.

Понизив голос, банкир пробурчал:

— Французская Палата не потерпит в своих стенах этого авантюриста.

Пусть так! Но слепое доверие бея к своему финансовому советнику было поколеблено. Эмерленг так уверенно заявлял, что Жансуле никогда не будет избран, что с ним можно обращаться как угодно, действовать без опасений, и вдруг вместо запятнанного, поверженного в прах человека перед беем оказался представитель нации, депутат, изображением которого пришли полюбоваться парижане; бей, восточный человек, всякое изображение, выставленное напоказ, воспринимал как дань общественного уважения, этот бюст приобретал для него значение статуи, воздвигнутой на площади. Эмерленг сделался еще желтее, чем обычно. Он проклинал себя сейчас за свою оплошность и неосмотрительность. Но как мог он заподозрить что-нибудь подобное? Его уверили, что бюст не закончен. И в самом деле, он появился на выставке только сегодня утром и, по-видимому, чувствовал себя здесь отлично, словно трепеща от удовлетворенного самолюбия, посмеиваясь над своими врагами с добродушной улыбкой на оттопыренных губах. Безмолвная месть за сенроманскую катастрофу!

В течение нескольких минут бей, столь же холодный, столь же бесстрастный, как само изваяние, пристально, молча смотрел на него. На лбу у него появилась прямая складка, по которой только придворные могли угадать, что он разгневан. Потом он произнес несколько слов по — арабски — приказал подать экипажи и собрать свиту, которая разбрелась по залам, и, ничего больше не пожелав смотреть, величественно — направился к выходу... Кто скажет, что происходит в мозгу высочайшей особы, пресыщенной властью? Даже у наших западных монархов являются непонятные фантазии, но они несравнимые капризами восточных владык. Инспектор изящных искусств, рассчитывавший показать его высочеству всю выставку и этим заслужить красивую красную с зелеными полосками ленточку ордена Нишам-Ифтикара, так и не узнал причины этого бегства.

В ту самую минуту, когда белые бурнусы исчезали в подъезде, напоследок мелькнув развевающимися складками, Набоб торжественно входил в средние двери. Утром он получил сообщение: «Избран подавляющим большинством голосов!» После обильного завтрака, за которым было произнесено много тостов в честь нового депутата Корсики, он прибыл на выставку с несколькими сотрапезниками, чтобы себя показать, а также и посмотреть на себя, чтобы насладиться своей новой славой.

Первая, — кого он увидел, была Фелиция Рюис; она стояла, опершись на цоколь статуи, осыпаемая любезностями и комплиментами, к которым

он поспешил присоединить и свои. Фелиция была скромно одета — в черном платье, расшитом черным стеклярусом; строгость ее костюма несколько смягчалась прелестной маленькой шляпкой из переливчато блестящих перьев райской птицы, а ее волосы, тонкими завитками падавшие на лоб и расходившиеся на затылке двумя широкими прядями, казались продолжением ее головного убора и ослабляли яркость его тонов.

Художники и светские любители искусства толпились вокруг нее и рассыпались в комплиментах, отдавая дань огромному таланту, сочетающемуся со столь редкой красотой. Дженкинс с непокрытой головой, еле сдерживая обуревавшие его чувства, подбегал то к одному, то к другому, стараясь еще сильнее разжечь их восторги и в то же время удерживать на известном расстоянии от юной знаменитости, играя роль ее стража и вместе с тем запевалы хора ее почитателей. Его жена тем временем беседовала с Фелицией. Бедная г-жа Дженкинс! Ей было сказано тем жестким тоном, который известен был ей одной: «Подите поздравьте Фелицию». И она повиновалась, преодолевая волнение: ибо теперь она уже знала, что скрывается под личиной этой отеческой привязанности, но избегала всяких объяснений с доктором, словно опасаясь за их исход.

После г-жи Дженкинс к Фелиции устремился Набоб. Взяв в свои огромные лапы длинные, затянутые в тонкие перчатки руки художницы, он высказал ей свою благодарность с такой сердечностью, что у него самого выступили на глазах слезы.

— Вы оказали мне огромную честь, мадемуазель, связав мое имя с вашим, мою скромную особу с вашим триумфом и показав всей этой дряни, преследующей меня по пятам, что не верите распространяемой обо мне клевете. Я никогда этого не забуду. Если бы даже я покрыл золотом и алмазами этот великолепный бюст, я все же навеки остался бы вашим должником.

К счастью для милейшего Набоба, более чувствительного, чем красноречивого, ему пришлось уступить место тем, которых влечет к себе сверкающий талант, влечет чей-либо успех. Неистовые восторги, которые, не найдя выражения в слове, так же мгновенно исчезают, как и возникли; светские любезности, как будто чистосердечные, рассчитанные на то, чтобы доставить вам удовольствие, на самом деле обдают вас холодом; наконец крепкие рукопожатия соперников и товарищей, одни искренние, другое полные лицемерия... Вот подходит претенциозный глупец; он воображает, что приводит вас в восхищение своими дурацкими комплиментами, но, опасаясь, как бы вы не возгордились, сопровождает их некоторыми «оговорками». За ним — добрый приятель, который, расточая

похвалы, в то же время доказывает вам, что вы понятия не имеете об искусстве. Затем — славный малый, вечно куда-то спешащий, останавливается на минуту, чтобы шепнуть вам на ухо, «что такой-то знаменитый критик, по-видимому, недоволен вашей вещью». Фелиция все это выслушивала с величайшим равнодушием: успех ставил ее выше мелкой зависти. Но когда какой-нибудь прославленный ветеран, старый товарищ ее отца, бросал ей мимоходом: «Отлично, малютка!» — эти слова преисполняли ее радостью, переносили ее в прошлое, в уголок, предоставленный ей в отцовской мастерской, когда она только начала приобщаться к славе великого Рюиса. В общем же она довольно холодно принимала любезности и приветствия, потому что, к ее удивлению, среди них не прозвучал еще голос того, чье поздравление было для нее более желанным, чем все остальные... В самом деле, она думала об этом молодом человеке больше, чем о ком-либо еще из мужчин. Неужели это пришла, наконец, любовь, великая любовь, столь редко рождающаяся в душе художника, неспособного целиком отдаться чувству? Или это была только мечта о размеренной буржуазной жизни, надежно огражденной от скуки, той томительной скуки, предшественницы бурь, которой она имела все основания опасаться? Как бы ни было, она обманывала себя, жила уже несколько дней в какой-то чудесной тревоге, ибо любовь так сильна, так прекрасна, что даже ее подобие, ее мираж способны увлечь нас и взволновать не меньше, чем она сама.

Случалось ли вам на улице, когда ваши мысли заняты кем-нибудь отсутствующим, близким вашему сердцу, предугадать его появление при встрече с человеком, который имеет с ним отдаленное сходство и который, как бы предвосхищая ожидаемый образ, выделяется из толпы и внезапно останавливает ваше чрезмерно напряженное внимание? Над этими явлениями гипнотического и нервного порядка не надо смеяться, ибо они часто являются источником страдания. Уже несколько раз Фелиции казалось, что в непрекращающемся потоке посетителей она заметила кудрявую голову Поля де Жери. И вдруг она радостно вскрикнула. Однако это был еще не он, но кто-то очень на него похожий, чье спокойное, с правильными чертами лицо теперь всегда появлялось в ее мыслях рядом с ее другом Полем, вследствие сходства, скорее нравственного, чем физического, и того благотворного влияния, какое они оба на нее оказывали.

— Алина!

— Фелиция!

Дружба светских дам, делящих между собою владычество в салонах и

расточающих друг другу с ласковыми ужимками самые лестные эпитеты и знаки женской привязанности, весьма ненадежна, зато дружба детских лет навсегда сохраняет чистоту и искренность, которые отличают ее от других чувств женщины. Эти узы, сплетенные со всей душевной непосредственностью, можно сравнить со столь же прочным рукодельем маленьких девочек, не жалеющих ни ниток, ни узлов, или с саженцами в цвету, молоденькими, но с крепкими корнями, полными жизненных соков и пускающими новые ростки. Какая радость, взявшись за руки, — где вы, хороводы пансиона? — вернуться с веселым смехом на несколько шагов в прошлое, зная дорогу и все ее повороты! Отойдя немного в сторону, обе девушки, которым стоило только встретиться, чтобы позабыть пятилетнюю разлуку, не могут наговориться; они спешат поделиться своими воспоминаниями, в то время как румянецкий старичок Жуайез в новом галстуке с гордостью смотрит на дочь, с которой так дружески беседует знаменитость. И он имеет полное право гордиться ею, потому что эта двадцатилетняя парижаночка, даже рядом со своей ослепительной подругой, блистает прелестью юности, грации и лучезарной чистоты и, одушевленная радостью встречи, кажется свежим, только что распустившимся цветком.

— Как ты должна быть счастлива! Я еще ничего не видела, но со всех сторон только слышу восторженные отзывы о твоих работах...

— Я счастлива тем, что снова вижу тебя, милая моя Алина. Так давно...

— Еще бы! А кто в этом виноват, разбойница?

В самом печальном уголке своей памяти Фелиция находит дату разрыва с подругой, совпадающую с тем злосчастным днем, когда умерла ее юность, со сценой, которую она не может забыть.

— Что ты делала все это время, моя душенька?

— Я? Да все одно и то же... Разные пустяки, о которых не стоит и говорить...

— Знаем мы, знаем, что ты называешь пустяками, маленькая героиня! Жертвовать собой для других, не так ли?

Но Алина уже не слушала ее. Она ласково улыбалась, глядя прямо перед собой, и Фелиция, обернувшись, чтобы узнать, кому она улыбается, увидела Поля де Жери, который отвечал на сдержанное и нежное приветствие мадемуазель Жуайез.

— Вы знакомы?

— Знакома ли я с господином де Жери? Конечно, знакома! Мы часто говорим о тебе. Разве он тебе не рассказывал?

— Никогда. Он такой скрытный...

Фелиция смолкла; в ее мозгу, как молния, сверкнула догадка. Не слушая де Жери, который поздравлял ее с огромным успехом, она наклонилась к Алине и что-то сказала ей шепотом. Та покраснела, пыталась отрицать, смущенно улыбаясь, лепетала:

— Что это ты выдумала? В мои-то годы? Я ведь Бабуся...

Желая избежать насмешек подруги, она ваяла под руку отца.

Когда Фелиция посмотрела вслед молодым людям, удалявшимся ровным шагом, когда она поняла то, чего они сами еще не сознавали, — что они любят друг друга, она почувствовала, что все рушится вокруг нее. Ее мечта рухнула, разбилась на тысячу обломков, и она начала яростно топтать ее ногами... В конце концов он был совершенно прав, предпочтя ей Алину Жуайез. Разве порядочный человек решится взять в жены мадемуазель Рюис? Она-и очаг, семья? Какой вздор!.. Ты дочь распутницы, моя милая, и должна стать распутницей, если хочешь быть хоть чем-нибудь...

Было уже около четырех часов. Толпа, местами поредевшая, торопилась закончить осмотр. После толкотни перед лучшими произведениями нынешнего года, наглядевшись досыта, утомленные, наэлектризованные атмосферой, насыщенной искусством, посетители тянулись к выходу. Сноп лучей послеполуденного солнца падал на стеклянный купол, играл цветами радуги на посыпанных песком дорожках, освещал бронзу и мрамор статуй, оттеняя наготу прекрасного тела, уподобляя этот обширный музей саду, полному жизни и света. Фелиция, погруженная в свои печальные мысли, не заметила, что к ней приближался человек, величественный, элегантный, очаровательный среди почтительно расступавшейся публики, шепотом повторявшей его имя: «Перед ним Мара...».

— Что скажете, мадемуазель? Какой успех! Я только жалею об одном — о недобром значении, которое вы придумали вашему шедевру.

Увидев рядом с собой герцога, она затрепетала.

— Ах, да, его значение!.. — произнесла она и, взглянув на де Мора с безнадежной улыбкой, прислонившись к цоколю большой сладострастной статуи, возле которой они стояли, закрыв глаза, как закрывает их женщина, близкая к обмороку или готовая отдаться, прошептала тихо, совсем тихо: — Рабле солгал, как лгут все мужчины... На самом деле лисица уже едва дышит, она выбилась из сил, вот-вот готова упасть, и если борзая сделает еще одно усилие...

Де Мора вздрогнул и слегка побледнел, как будто вся кровь отхлынула

у него к сердцу. Два тусклых огонька загорелись в глазах собеседников, несколько слов были ими произнесены еле слышно, затем герцог низко поклонился и отошел легкой, воздушной походкой, словно несомый богами.

В это мгновение на выставке был еще один столь же счастливый человек — Набоб. Сопровождаемый своими друзьями, он занимал, заполнял собою весь главный проход; он громко разговаривал, жестикулировал, до того упоенный успехом, что казался почти красавцем, словно, долго и простодушно любуясь своим скульптурным портретом, он заимствовал у него частицу той идеализации черт, которою скульптор смягчил вульгарность оригинала. Высоко закинута голова, выступавшая из широкого полурасстегнутого воротника, вызывала противоречивые замечания относительно степени сходства между бюстом и его моделью. Имя Жансуле, уже повторенное счетчиками у избирательных урн, теперь повторялось самыми прелестными устами Парижа, голосами самых влиятельных людей. Всякий другой на месте Набоба смутился бы, если бы, проходя, услышал эти восклицания любопытных, не всегда доброжелательные. Но стоять на подмостках, красоваться на виду у всех было по душе этому человеку, становившемуся смелее под огнем направленных на него взглядов, подобно женщинам, которые бывают красивы и остроумны только в обществе и при каждом комплименте преобразуются и расцветают.

Когда в нем радостное возбуждение утихло, когда ему казалось, что иссякает пьянящая его гордость, ему стоило только сказать себе: «Депутат! Я депутат!»-и снова победная чаша закипала пеной. Это означало снятие секвестра с его имущества, это было пробуждение после двухмесячного кошмарного сна, порыв мистраля, который разгонял все муки, все тревоги, даже тяжелую обиду, нанесенную ему в Сен-Романе, — воспоминание о ней до сих пор еще мучило его.

«Депутат!»

Набоб смеялся в душе, представляя себе, как исказилось лицо барона, когда он узнал эту новость, представляя себе изумление бея при виде его бюста. И вдруг при мысли, что он уже не просто авантюрист, купающийся в золоте, возбуждающий дурацкие восторги толпы, словно огромный золотой слиток на витрине менялы, но что в нем видят теперь одного из избранников нации, его добродушное подвижное лицо принимало выражение напускной важности. Он строил планы на будущее, думал коренным образом изменить свою жизнь, у него явилось желание воспользоваться уроками судьбы, полученными за последнее время.

Вспоминая о своем обещании, данном Полю де Жери, он выказывал голодному стаду, униженно следовавшему за ним по пятам, презрительную холодность, говорил покровительственным, не терпящим возражений тоном. Обращаясь к Буа-Ландри, он называл его «старина», резко обрывал Паганетти, восторги которого становились непристойными, и давал себе слово избавиться как можно скорее от всей этой нищенствующей, компрометирующей его братии. И тут ему неожиданно представился превосходный случай начать действовать. Продираясь сквозь толпу, Моэссар, красавец Моэссар, в галстук небесно-голубого цвета, с мертвенно-бледным, вспухшим, как большой нарыв, лицом, в плотно облегающем щегольском сюртуке, видя, что Набоб, несколько раз обойдя залу скульптуры, направляется к выходу, бросился к нему и, взяв под руку, заявил:

— Я еду с вами.

В последнее время, особенно в период избирательной кампании, журналист приобрел огромную власть на Вандомской площади, почти такую же, как Монпавон, и проявлял он теперь совершенно невероятную наглость, ибо по части наглости возлюбленный королевы не имел себе равного среди шалопаев, фланирующих по бульвару от улицы Друо до церкви св. Магдалины. Но на этот раз его постигла неудача. Мускулистая рука, которую он сжимал, резко стряхнула его руку, и Набоб сухо ответил ему:

— Мне очень жаль, милый мой, но у меня нет свободного места в карете.

Нет места в карете величиною с дом, в карете, в которой они приехали впятером!

Моэссар в изумлении уставился на Жансуле.

— Мне надо сказать вам несколько слов... По поводу моей записочки. Вы ее, конечно, получили?

— Получил, господин де Жери должен был вам ответить сегодня утром. Удовлетворить вашу просьбу я не могу. Двадцать тысяч франков? Черт побери, это уже слишком!..

— Однако мне кажется, что мои заслуги... — пробормотал покоритель женских сердец.

— ...уже щедро оплачены. Мне тоже так кажется. Двести тысяч франков за пять месяцев! Этим, если позволите, мы и ограничимся. У вас слишком большой аппетит, молодой человек; надо его немного умерить.

Они разговаривали на ходу, в толпе, теснившейся к дверям. Моэссар остановился.

— Это ваше последнее слово?

Набоб колебался, охваченный недобрым предчувствием при виде влобного выражения бледных губ журналиста, потом, вспомнив обещание, которое он дал своему другу, ответил:

— Да, это мое последнее слово.

— Посмотрим!.. — сказал красавец Моэссар, взмахнув тросточкой, рассекающей воздух с шипением, похожим на шипение гадюки, и, повернувшись на каблуках, удалился большими шагами, как человек, которого ждет неотложное дело.

Набоб продолжал свое триумфальное шествие. В такой день нужно было нечто более серьезное, чтобы испортить его радужное настроение. Напротив, он испытывал некоторый душевный подъем оттого, что так быстро прибегнул к решительным действиям.

Огромный вестибюль был набит битком. Приближение момента закрытия выставки заставило публику устремиться наружу, но внезапно хлынувший ливень, без которого, по-видимому, не обходится ни один вернисаж Салона, задержал ее под навесом на посыпанной песком и хорошо утрамбованной площадке. Все это походило на выход в цирке, когда на арену важно выступают служители в жилетах с вырезом сердечком. Картина была любопытная, вполне парижская.

На улице длинные солнечные лучи пробивались сквозь дождь, который ловил в свою прозрачную сеть эти острые сверкающие клинки, подтверждавшие справедливость поговорки: «Дождь идет, словно сабли с неба падают». Молодой листве на Елисейских полях, пышным рододендронам, шуршащим и вымокшим от дождя, каретам, вытянувшимся в ряд на бульваре, клеенчатым плащам кучеров, богатой сбруе лошадей придавали особую яркость и блеск этот дождь, ласкающие солнечные лучи и всюду мелькающая синева — синева неба, которое между двумя порывами ливня внезапно озарялось улыбкой.

А под навесом раздавался смех, болтовня, приветствия, нетерпеливые возгласы, видны были приподнятые подола платьев, атлас, вздымавшийся над плиссированными нижними юбками, нежные полоски шелковых чулок, волны бахромы, помятых кружев и оборок, с трудом сдерживаемые рукой... И, словно чтобы соединить две части общей картины: узников, столпившихся в темноте под навесом у входа, и огромный, залитый светом фон, — ливрейные лакеи метались под зонтиками, выкрикивая имена кучеров и имена господ, и шагом подъезжали кареты, в которые садились нетерпеливые пары.

— Карету господина Жансуле!

Все обернулись, но, как мы уже заметили, это не смущало Набоба. В то время как среди элегантных женщин и всем известных мужчин, среди представителей самых разных кругов Парижа, носящих громкие имена, Набоб, слегка рисуясь, ожидал слуг, нервная рука в узкой перчатке протянулась к нему, и герцог де Мора, собираясь сесть в свой экипаж, бросил, проходя мимо него, несколько слов с той горячностью, которую счастье придает даже самым сдержанным людям:

— Поздравляю вас, дорогой депутат!

Это было сказано громко. Каждый мог явственно расслышать слова: «Дорогой депутат!»

В жизни каждого человека бывает золотой час, когда он достигает сияющей вершины, где все, на что он мог надеяться, — счастье, радости, триумфы, — ожидает его и даруется ему. Вершина эта более или менее высокая, подъем более или менее извилист и труден, но она существует равно для всех — и для великих мира сего и для смиренных. Но, подобно самому длинному дню в году, когда солнце отдает все свое ослепительное тепло, а следующий день — это уже как бы первый шаг к зиме, зенит человеческого существования длится лишь один миг, которым дано насладиться, после чего начинается спуск вниз. Запомни, бедняга, этот послеполуденный час первого мая, отмеченный дождем и солнцем, запечатлей навсегда его изменчивый блеск в своей памяти! Для тебя этот час был разгаром лета, с распустившимися цветами, с золотистыми ветвями, гнущимися под тяжестью плодов, готовой для жатвы нивой, колосья которой ты так безрассудно расточал. Звезда, тебе светившая, отныне начнет меркнуть, постепенно отдаляться, клонясь к закату, и вскоре уже не сможет прорезать своим лучом темную ночь, которой завершится твоя судьба.

XV. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. В ПЕРЕДНЕЙ

В прошлую субботу на Вандомской площади был грандиозный прием.

Г-н Бернар Жансуле, новый депутат от Корсики, давал в честь своего избрания великолепный вечер — муниципальные гвардейцы у входа, весь особняк иллюминирован, две тысячи приглашений разосланы высшему обществу Парижа.

Благодаря моим прекрасным манерам и звучному голосу, оцененным по достоинству председателем правления Земельного банка, я смог принять участие в этом пышном празднестве. В течение трех часов я стоял в передней среди цветов и драпировок, величественный, как и все полные люди, одетый в красную с золотом ливрею и впервые в моей жизни — в коротких штанах. Мой голос гремел, как пушечный выстрел, по всей анфиладе пяти гостиных каждый раз, когда я докладывал о новом госте, которого блистательный швейцар приветствовал, в свою очередь, звонким ударом булавы о каменные плиты.

Сколько любопытных наблюдений удалось мне сделать в этот вечер, сколько было острот и забавных шуток, которыми слуги обменивались по адресу проходивших гостей! Уж от виноделов Монбара я не услышал бы столько занятного. Надо сказать, что досточтимый г-н Барро приказал сначала подать нам всем в буфетной, набитой до потолка замороженными напитками и всякими яствами, основательную закуску, обильно орошенную вином, которая привела каждого из нас в хорошее расположение духа, поддерживавшееся в течение всего вечера бокалами пунша и шампанского, хватаемыми на лету с проносимых мимо подносов.

Хозяева, однако, были, по-видимому, не так хорошо настроены, как мы. Уже в девять часов, заняв свой пост, я был поражен встревоженным, нервным выражением лица Набоба, который прогуливался с г-ном де Жери по освещенным и еще пустым гостиным, оживленно беседуя и сильно жестикулируя.

— Я его убью, — говорил он. — Я его убью...

Де Жери пытался его успокоить, затем появилась хозяйка дома, и они заговорили о другом.

Великолепная женщина эта левантинка. Вдвое толще меня, она просто ослепительна в своей бриллиантовой диадеме, драгоценностях,

отягощающих ее широкие белые плечи; спина у нее такая же круглая, как и грудь, стан затянут в зеленовато-золотую кирасу, спускающуюся длинными остриями вдоль туго накрахмаленной юбки. Ничего более внушительного, более богатого мне еще не доводилось видеть. Она была вроде красивого белого слона с башней на спине, — я о них читал в книгах о путешествиях. Когда она шла, тяжело опираясь на мебель, все тело ее тряслось, украшения звякали, словно железные. Вдобавок тонкий, пронзительный голосок и прекрасное багровое лицо, которое маленький негритенок непрерывно оведал опахалом из белых перьев, широких, как павлиний хвост.

В первый раз эта ленивая и нелюдимая особа появлялась в парижском обществе, и г-н Жансуле, казалось, был счастлив и горд тем, что она согласилась быть хозяйкой на празднике. Это, впрочем, не слишком обременило его супругу: предоставив мужу принимать приглашенных в первой гостиной, она растянулась на диване в маленьком японском будуаре, утопая между двумя грудями подушек, и застыла в совершенно неподвижной позе... Издали она походила на идола под большим опахалом, которым негр помахивал мерно, будто заведенный. Как, однако, заносчивы эти иностранки!

Меня поразило раздражение Набоба. Завидя его камердинера, который спускался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, я остановил его и, наклонившись к самому уху, шепотом спросил:

— Что случилось с вашим хозяином, господин Ноэль?

— Статья в «Мессаже», — услышал я в ответ.

Больше мне ничего не удалось узнать, так как громкий звонок возвестил о прибытии первого экипажа, за которым вскоре последовало множество других.

Поглощенный своим делом, я старался правильно произносить сообщаемые мне имена, так, чтобы они перелетали из гостиной в гостиную, и не думал более ни о чем. Не такое уж это легкое занятие — докладывать надлежащим образом о людях, воображающих, что их имена должны быть известны всем; они бормочут их мимоходом, не разжимая губ, а потом удивляются, слыша, как вы, старательно выговаривая, коверкаете их, и сердятся на вас за неудавшееся эффектное появление, за улыбочки, вызванные неверно произнесенным именем. Увеличивало мои затруднения обилие иностранцев — турок, египтян, персов, тунисцев. О весьма многочисленных в этот день корсиканцах я уже и не говорю; за четыре года моего пребывания в Земельном банке я научился произносить эти трескучие, длиннющие имена, сопровождающиеся названием

местности: «Паганетти из Порто-Веккьо, Бастелика из Бонифаччо, Пайаначи из Барбикальи».

Мне нравилось произносить нараспев эти итальянские слоги, подчеркивать их звучность, и я видел по ошеломленным лицам славных островитян, как приятно они были поражены, что их вводят таким образом в высшее общество континента. Но с турками, со всеми этими пашами, беями, эфенди, мне пришлось туго, и я, очевидно, несколько раз назвал их неверно, потому что г-н Жансуле дважды присылал мне приказание относиться внимательнее к сообщаемым мне фамилиям, а главное, произносить их более естественно. Это замечание, высказанное громко, в присутствии слуг в довольно резкой форме, было мне очень неприятно; должен признаться, что из-за этого я не пожалел толстого выскочку» когда я узнал, какие жестокие шипы пробились в его ложе из роз.

С половины одиннадцатого до полуночи, не переставая, звенел звонок, к подъезду подкатывали экипажи, один за другим появлялись гости: депутаты, сенаторы, государственные советники, муниципальные советники, производившие такое впечатление, словно они шли на собрание акционеров, а не на вечер. Чем это объяснить? Я никак не мог понять, но слова швейцара Никлауса открыли мне глаза.

— Вы замечаете, господин Пассажон, — скавал мне этот достойный слуга, стоя напротив меня с булавой в руке, — вы замечаете, как у нас мало дам?

Да, черт возьми! И не мы одни это заметили. Я слышал, как при появлении каждого нового лица Набоб, стоявшим у дверей, с горестным изумлением восклицал хриплым голосом простуженного марсельца:

— Вы один?

Гость извинялся вполголоса:

— М-м... м-м... м-м... Жена не совсем здорова... К великому сожалению...

Затем приходил другой, и на тот же вопрос следовал тот же ответ.

Слушая без конца это восклицание: «Вы один?»- в передней начали уже потешаться. Рассыльные и выездные лакеи перебрасывались им, когда входил новый гость:

— Один!

И все смеялись, все веселились... Но г-н Никлаус, с его знанием света, находил, что отсутствие женского пола неестественно.

— Это все, видимо, из-за статьи в «Мессаже», — уверял он.

Все говорили об этой наглой статье. У окруженного цветами зеркала, в которое каждый гость смотрелся перед тем, как войти, я улавливал обрывки

приглушенных разговоров.

— Вы читали?

— Это ужасно.

— Вы считаете, что это возможно?

— Не знаю. Во всяком случае, я предпочел не брать с собой жену.

— Я тоже... Мужчина может бывать всюду, не компрометируя себя.

— Разумеется. Но женщина...

Затем гости входили в гостиную, с шапокляками под мышкой, с победоносным видом женатых мужчин, не сопровождаемых супругами.

О чем же говорила газета, что это была за страшная статья, угрожавшая влиятельному положению такого богатого человека? К несчастью, мои обязанности связывали меня; я не мог спуститься ни в людскую, ни в гардеробную, чтобы все разузнать, потолковать с кучерами, выездными лакеями, рассыльными, которые стояли внизу у лестницы, язвительно подшучивая над поднимавшимися наверх людьми... Что поделаешь! Господа чересчур важничают... Как не посмеяться при виде проходящего с заносчивой физиономией и пустым желудком маркиза де Буа-Ландри с супругой после всего того, что нам рассказали о его махинациях и ее туалетах! А чета Дженкинсов, такая нежная, такая дружная! Доктор заботливо набрасывает своей спутнице на плечи кружевную мантилью, боясь, как бы она не простудилась на лестнице. Она, улыбающаяся, нарядная, вся в бархате, с длиннейшим шлейфом, опирается на руку мужа, точно говоря: «Мне так хорошо!», — но я-то знаю, что после смерти ирландки, его законной супруги, доктор подумывает, как бы ему избавиться от старой надоеды и жениться на молоденькой, а старая надоеда проводит ночи в отчаянии, разрушая слезами остатки своей красоты.

Забавнее всего, что никто из этих особ не догадывался о лукавых прибаутках, насмешливых замечаниях, пущенных им вслед, о том, сколько грязи подбирали шлейфы их платьев на ковре передней. Они шествовали с такими презрительными минами, что можно было помереть со смеху.

Названные мною две дамы, затем супруга патрона, маленькая корсиканка, которой густые брови, белые зубы и лоснящиеся смуглые щеки придают вид чисто вымытой овернской крестьянки (славная, впрочем, бабенка, и все время смеется, но только не в те минуты, когда ее муж смотрит на других женщин); потом левантинки в золотых или жемчужных диадемах, не столь пышные, как наша, но в том же роде; жены обойщиков, ювелиров, постоянных поставщиков этого дома, с плечами, широкими, как витрины, в туалетах, на которые не пожалели материи; наконец, жены служащих Земельного банка, в жалких платьях и без гроша в кармане, —

вот и все представительницы прекрасного пола в этом обществе. Около тридцати дам, затерявшихся среди тысячи черных фраков, — это все равно, как если бы их совсем не было. Время от времени Кассань, Лапорт, Гранварле, бегавшие с подносами, сообщали нам о том, что делается в гостиных.

— Ах, голубчики мои, если б вы видели! У всех лица мрачные, точно на похоронах. Мужчины не отходят от буфетов. Дамы собрались в дальней комнате, уселись в кружок, обмахиваются веерами и не раскрывают рта.

Толстуха — та ни с кем не разговаривает. Похоже, что дрыхнет. А поглядели бы вы на хозяина — какое у него лицо! Ну-ка, дядюшка Пассажон, стаканчик шато-лароэ: он вас подбодрит.

Вся эта молодежь была очень мила со мной; ей доставляло коварное удовольствие знакомить меня с погребом так часто и такими большими порциями, что язык у меня отяжелел и стал заплетаться, — словом, как мне говорили эти молодые люди, изъясняясь несколько вольно: «Дядюшка, вы несете вздор». К счастью, последний из эфенди уже пришел, и не о ком было больше докладывать, а то, как я ни боролся с этим, всякий раз, делая шаг вперед между портьерами, чтобы выкрикнуть громогласно чье-нибудь имя, я видел, как люстры в гостиных начинали вертеться, мелькая тысячами огоньков, а паркет полз то вверх, то вниз, скользкими и прямыми откосами, как американские горы. Да, я, наверно, нес вздор, это ясно.

Свежий ночной воздух и обливания холодной водой у насоса во дворе быстро устранили это легкое недомогание, и, когда я вернулся в гардеробную, от него не осталось и следа. Я нашел там многочисленную веселую компанию вокруг крющона, в уничтожении которого все мои «племянницы», в полном параде, со взбитыми кудряшками и розовыми бантиками, принимали живейшее участие, — их легкие вскрикивания и очаровательные гримаски никого не вводили в заблуждение. Говорили, разумеется, о пресловутой статье, по-видимому, Моэссара, полной страшных разоблачений, касающихся всевозможных постыдных профессий, якобы испробованных Набобом лет пятнадцать или — двадцать тому назад, во время его первого пребывания в Париже.

Это была уже третья пилюля такого рода, которую «Мессаже» преподнес Набобу за последнюю неделю, и прохвост Моэссар каждый раз злорадно посылал номер газеты бандеролью на Вандомскую площадь.

Г-н Жансуле получал эти подношения по утрам вместе с чашкой шоколада, и в тот же час его друзья и враги — ведь такой человек, как Набоб, никому не может быть безразличен — читали, комментировали, намечали линию поведения по отношению к нему, боясь

скомпрометировать себя. Надо думать, что последняя статья была все же ловко состряпана, потому что Жансуле, кучер, рассказал нам, что сегодня в Булонском лесу его хозяин почти ни с кем не обменялся приветствием, хотя объехал десять раз вокруг озера, тогда как обычно шляпа остается у него на голове не дольше, чем у монарха во время прогулки. А потом, когда они вернулись, произошла еще одна история. Три его мальчугана пришли домой растерянные, в слезах; их привел из коллежа Бурдалу один из патеров в интересах самих же малышей, временно отпущенных для того, чтобы им не пришлось ненароком услышать в приемной или на школьном дворе каких-нибудь злых толков или оскорбительных намеков. Это привело Набоба в такую ярость, что он расколотил вдребезги фарфоровый сервиз, и, говорят, что, если бы не г-н де Жери, он тут же отправился бы к Моэссару и размозжил ему голову.

— И хорошо бы сделал, — сказал г-н Ноэль, вошедший при последних словах, тоже сильно возбужденный. — В статье этого жулика нет ни одной строчки правды. До прошлого года мой хозяин никогда не бывал в Париже. Из Туниса в Марсель, из Марселя в Тунис — вот и все его путешествия. Но этот паршивый газетчик мстит нам за то, что мы не дали ему двадцать тысяч франков.

— Вы сделали большую ошибку, — заметил г-н Франсис, монпавоновский Франсис, старый щеголь, у которого всего один зуб во рту, да и тот шатается при каждом его слове, что не мешает девицам относиться к обладателю единственного зуба весьма благосклонно из-за его прекрасных манер. — Да, большую ошибку. Надо уметь обходиться с людьми, покуда они способны либо служить нам, либо вредить. Ваш Набоб слишком быстро повернул спину друзьям после своего успеха. Между нами говоря, дорогой мой, он не настолько силен, чтобы позволять себе подобные выходки.

Я тоже счел уместным вставить словечко:

— Это верно, господин Ноэль: вашего хозяина после избрания точно подменили. Он усвоил себе такой тон, такие манеры!.. Позавчера в Земельном банке он нас так переполошил, что вы себе и представить не можете! Мы слышали, как он кричал на весь совет: «Вы меня обманули! Вы меня обокрали и сделали таким же вором, как вы сами!.. Покажите-ка мне ваши книги, пройдохи вы втакие!» Если он так же обращался с Мовссаром, то меня не удивляет, что Мовссар мстит ему в своей газете.

— О чем же в конце концов говорится в этой статье? — спросил г-н Барро. — Кто ее читал?

Никто ему не ответил. Многие хотели купить газету, но в Париже

скандальные новости раскупаются, как хлеб. В десять часов утра уже нельзя было достать ни одного номера «Мессаже». Тут одной из моих «племянниц», весьма дошлой девице, пришла в голову мысль порыться в карманах одного из многочисленных пальто, заполнявших гардеробную ровными рядами на вешалках.

— Вот! — торжествующе заявила милая девушка, вытаскивая из первого же кармана, куда она засунула руку, смятый номер «Мессаже»; видно было, что его только что читали.

— А вот еще! — воскликнул Том Буа-Ландри, который тоже принял участие в поисках.

Третий карман — третий вземпляр. Во всех пальто одно и то же: засунутая поглубже или, наоборот, вылезая наружу, газета; было ясно, что статья у всех в памяти. Представляете себе? Там, наверху, Набоб обменивается любезными фразами с гостями, которые могли бы пересказать ему наизусть все гадости, напечатанные про него. Эта картина нас всех очень насмешила. Нам самим не терпелось познакомиться с этой любопытной страничкой.

— А ну-ка, дядюшка Пассажон, прочитайте нам ее вслух.

Раз таково было общее желание, я подчинился ему.

Так же ли это получается у вас, не знаю, но только, когда я читаю вслух, я даю волю своему голосу, и в нем появляются такие оттенки, такие переливы, что я сам перестаю понимать, что произношу, на манер тех певцов, которым безразличен смысл слов, лишь бы была взята верная нота...

Статья была озаглавлена «Корабль цветов»... Какая — то запутанная история с китайскими именами, где шла речь о богатом мандарине, который недавно был возведен в первый ранг, а в прошлом содержал на краю города, у самой заставы, «корабль цветов», охотно посещавшийся военными. Дочитав статью до конца, мы были так же мало осведомлены, как и до начала чтения. Некоторые, как полагается, пытались подмигивать, хитро усмехаться, но, по правде говоря, повода для этого не было. Ребус без картинок. И мы все так бы и остались в дураках, если бы старина Франсис не объяснил нам, — чего только не знает этот бесстыдник! — что застава с военными означает военную школу, а «корабль цветов» на языке французского простонародья имеет другое, совсем не столь красивое название. И он произнес его вслух, несмотря на присутствие дам... Какой взрыв возмущения, какое тут пошло аханье, оханье! Одни заявляли:

— Так я и думал!

Другие:

— Не может этого быть!

— Позвольте, — снова вмешался Франсис, бывший трубач Девятого уланского полка, где когда-то служили Мора и Монпавон, — позвольте... Лет двадцать тому назад, когда я отбывал в армии последние полгода, мы стояли в казармах в военной школе, и я отлично помню, что возле заставы было грязное заведение под названием «Балы Жансуле», с маленькими мебелишками наверху и комнатами по пять су за час, куда заходили между двумя кадрилями...

— Вы бессовестный лгун, — вскричал вне себя г-н Ноэль, — жулик и лгун, как и ваш хозяин! Жансуле никогда раньше не жил в Париже.

Франсис сидел поодаль от того круга, который мы образовали вокруг крющона; он потягивал сладкое винцо, потому что шампанское действует ему на нервы, и к тому же это недостаточно шикарный напиток. Он встал с важным видом, держа в руке бокал, и, подойдя к г-ну Ноэлю, хладнокровно заметил:

— Вы не умеете себя держать, дорогой мой. Уже на прошлом вечере у вас взятый вами тон показался мне грубым и непристойным. В оскорблениях мало толку, тем более что я помощник фехтмейстера, и если бы дело зашло у нас далеко, я мог бы всадить два дюйма стали в любое место вашего тела на выбор. Но я человек не злой. Вместо удара шпагой я предпочитаю дать вам совет, которым ваш хозяин может воспользоваться. Вот что я сделал бы на вашем месте: разыскал бы Моэссара и купил бы его, не торгуясь. Эмерленг дал ему двадцать тысяч, чтобы он заговорил, — я бы предложил ему тридцать тысяч за то, чтобы он замолчал.

— Никогда!.. Ни за что!.. — завопил г-н Ноэль. — Лучше я оторву голову этому подлому бандиту!

— Ничего вы не оторвете. Есть в этой клевете доля истины или нет, вы видели сегодня результат. Это лишь образчик тех прелестей, которые вас ожидают. Чего вы хотите, дорогой мой? Вы слишком рано отбросили костыли и попробовали ходить самостоятельно. Хорошо, если вы стоите прямо и крепко на ногах, но раз вы ступаете не совсем уверенно и раз по пятам за вами, на вашу беду, следует Эмерленг, дело плохо... Кроме того, вашему хозяину начинает не хватать денег: он выдал векселя старому Швальбаху, а что это за Набоб, который выдает векселя? Я знаю, что у вас там осталась куча миллионов, но чтобы получить их, надо, чтобы были утверждены ваши депутатские полномочия, а еще несколько статеек вроде сегодняшней — и я ручаюсь, что вам этого уже не добиться... Вы думаете, что можете помериться силами с Парижем, милый мой, но вам это не по плечу, вы ничего в этих делах не смыслите. Здесь у нас не Восток, и если

людям, не угодившим нам, не сворачивают шею, не бросают их в воду в кожаном мешке, то существует много других способов стереть их с лица земли. Советую вашему хозяину быть осторожнее, Ноэль... В одно прекрасное утро Париж проглотит его, как я глотаю вот эту сливу, не выплевывая ни косточки, ни кожуры!

Старик был грозен, и, несмотря на его покрашенное лицо, я почувствовал, что начинаю проникаться к нему уважением. В то время как он говорил, сверху доносилась бальная музыка, пение, а снаружи лошади муниципальных гвардейцев потряхивали уздечками. С улицы наше празднество должно было казаться полным блеска, оно пылало тысячами огней за ярко освещенным порталом. И подумать только, что, может быть, за всем этим кроется разорение! Мы толпились в вестибюле, как крысы, которые совещаются в глубине трюма, когда корабль дал течь, а экипаж еще не подозревает об этом. Я уверен, что лакеи и горничные-вся эта компания не замедлит удрать при первой тревоге... Неужели возможна подобная катастрофа? Но что же тогда будет со мной, и с Земельным банком, и с моими деньгами, истраченными на него, и с не выплаченным мне жалованьем?..

Из-за Франсиса у меня даже мурашки забегали по спине!

XVI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Горячие лучи майского солнца нагревали, словно стекла теплиц, высокие окна особняка де Мора, за которыми снаружи, сквозь ветви деревьев, можно было рассмотреть шелковые шторы. Солнце заливало широкие балконы, где экзотические цветы, впервые в эту весну выставленные на воздух, окаймляли фасад, выходящий на набережную. Большие грабли, бороздившие сад, оставляли на песке аллеи следы легких шагов лета, а drobный шумок леек над зеленью газонов казался освежающей песней.

Вся эта роскошь княжеской резиденции расцветала в богатом теплом воздухе и становилась величественно прекрасной благодаря тишине и покою полуденного часа, единственного, когда не было слышно стука колес у ворот и хлопанья больших входных дверей, когда покрывший стены плющ не сотрясался непрерывной дрожью от звонков при входе и выходе — этим лихорадочным трепетом жизни аристократического особняка. Все знали, что до трех часов герцог принимает в министерстве, а что герцогиня — шведка, промерзшая в стокгольмских снегах и до сих пор не согревшаяся, — только сейчас рассталась с постелью, поэтому никто и не являлся — ни визитеры, ни просители; одни ливрейные лакеи, замершие, как фламинго, на ступенях пустынного подъезда, оживляли его длинными тенями своих тощих ног и томительной скукой своей праздности.

Однако в этот день, в виде исключения, коричневая двухместная карета Дженкинса стояла в углу двора. Герцог, занемогший с вечера, утром, встав из — за стола, почувствовал себя еще хуже и поспешно вызвал изобретателя пилюль, чтобы расспросить его о своем странном состоянии. Нигде ничего не болит, сон и аппетит — как всегда, только невероятная усталость и ощущение страшного холода, от которого никак нельзя было избавиться. Вот и сейчас, несмотря на то, что чудесное весеннее солнце заливало комнату, заставляя бледнеть огонь, пылавший в камине так же, как в середине зимы, герцога, расположившегося между маленькими ширмочками, знобило под его голубыми песцами. Подписывая бумаги, принесенные чиновником его канцелярии, на низком позолоченном лакированном столике, начинавшем облупливаться, — так близко к огню он стоял, — герцог ежеминутно протягивал застывшие пальцы к пламени, которое могло обжечь их кожу, не побеждая живительной циркуляцией крови их мертвен* но-бледного оцепенения.

Было ли это беспокойство, вызванное нездоровьем его прославленного пациента, — неизвестно, но только Дженкинс, видимо, нервничал, мерил ковры большими шагами, высматривая, принохиваясь, поворачиваясь то вправо, то влево, словно искал в воздухе нечто, как ему казалось, витавшее в нем, нечто летучее и неуловимое, как легкий аромат или невидимый след, оставляемый пролетающей птицей. В комнате слышалось лишь потрескивание дров в камине, шелест торопливо перелистываемых бумаг, вялый голос герцога, который давал всегда ясный и четкий, краткий ответ на письмо в четыре страницы, и почтительные односложные ответы чиновника: «Да, господин министр... Нет, господин министр...», — затем скрежет пера, непослушного и тяжелого. Снаружи ласточки весело щебетали над водой, на мосту наигрывал кларнет.

— Нет, не могу, — сказал вдруг государственный министр и приподнялся. — Унесите это, Лартиг. Приходите завтра. — Я не в состоянии писать. Я озяб... Дотроньтесь до моих рук, доктор, — как будто я их вынул из ведра с ледяной водой. Уже два дня я испытываю это ощущение во всем теле. Ну не смешно ли, в такую погоду!..

— Ничего удивительного... — буркнул ирландец недовольным тоном, необычным для этого слащавого человека.

Двери закрылись за молодым чиновником, который уносил свои бумажки, величественно выпрямившись, но, думается мне, очень довольный в душе, что освободился и может, прежде чем вернуться в министерство, побродить часок-другой в Тюильри, полном весенних туалетов и хорошеньких девушек. Девушки сидят вокруг пустых еще стульев для оркестрантов, под цветущими каштанами, по которым пробегает от верхушки до корней великий трепет того месяца, когда птицы вьют новые гнезда. Он-то не дрожит от холода, этот чиновник...

Дженкинс молча исследовал больного, выслушивал, выстукивал его, затем сказал тем же резким тоном, который, в сущности, можно было объяснить озабоченностью друга, раздражением врача, чьи предписания были нарушены:

— Однако, дорогой герцог, вы, как видно, совсем не щадили себя последнее время!

Он знал по сплетням, собранным в передних, — доктор не пренебрегал ими у своих постоянных пациентов, — что у герцога завелась «новая пассия», что совсем недавно возникший каприз завладел им, волновал его необычайно, и все это в сочетании с другими, оброненными где-то замечаниями внушило Дженкинсу подозрение, безумное желание узнать имя этой особы. Вот что он пытался прочесть на побледневшем челе

своего больного, стараясь не столько постичь суть его болезни, сколько проникнуть в его сокровенные мысли. Но перед ним было лицо человека, привыкшего к успехам у женщин, наглухо закрытое, как потайной ящичек, в котором лежат драгоценности и любовные письма, — сдержанность, скрепленная холодным, бесцветным взглядом, стальным взглядом, о который разбивается лукавая проницательность.

— Вы ошибаетесь, доктор... — спокойно возразил его светлость. — В моих привычках ничто не изменилось.

— Напрасно, ваша светлость! — грубо возразил ирландец, взбешенный тем, что ничего не узнал.

Сразу почувствовав, что зашел слишком далеко, он растворил свое дурное настроение и мрачность диагноза в сладкой водице банальностей, прописных истин... Надо было остерегаться... Медицина не колдовство — Могущество пилюль Дженкинса пасует перед человеческими слабостями, перед требованиями возраста, перед естественными ресурсами, которым, увы, приходит когда-то конец... Герцог нервно прервал его:

— Послушайте, Дженкинс, вы же знаете, что я не люблю громких фраз. Значит, у меня что-то не ладится? Что со мной? Отчего я так зябну?

— Малокровие, резкий упадок сил... Масло в лампе выгорает...

— Что надо делать?

— Ничего. Полный покой. Есть, спать — и только. Если бы вы могли поехать на несколько недель в Гранбуа...

Мора пожал плечами:

— А Палата, а совет, а... Оставьте! Это немислимо!

— Во всяком случае, ваша светлость, надо, как говорится, затормозить, совершенно отказаться...

Дженкинса прервал дежурный чиновник, который вошел тихонько, на цыпочках, как учитель танцев, и передал министру, все еще дрожавшему у огня, письмо и визитную карточку. Увидев серый атласный конверт необычной формы, ирландец невольно вздрогнул. Герцог, вскрыв и пробежав глазами письмо, встал, словно помолодев; на щеках у него заиграл нездоровый румянец, которого не мог вызвать у него пылающий огонь.

— Милый доктор! Надо во что бы то ни стало...

Чиновник стоял в ожидании.

— В чем дело? Ах да, визитная карточка!.. Просите в галерею. Я сейчас приду.

Галерея герцога де Мора, открытая для посетителей два раза в неделю, была для него как бы нейтральной территорией, общественным местом, где

он мог принимать кого угодно, не связывая, не компрометируя себя.

Как только чиновник вышел, министр обратился к доктору:

— Милейший Дженкинс! Вы уже делали для меня чудеса. Я прошу у вас еще об одном чуде. Удвойте дозу пилюль, выдумайте что хотите, но я должен быть бодрым в воскресенье... Понимаете? Вполне бодрым, — добавил он, и его согревшиеся пальцы с трепетом вожделения стиснули записку.

— Берегитесь, ваша светлость, — сказал Дженкинс, сильно побледнев и сжав губы, — я не хотел пугать вас по поводу вашей слабости, но мой долг...

Де Мора улыбнулся очаровательной в своей дерзости улыбкой:

— Ваш долг и мое удовольствие несовместимы, мой милый. Дайте мне возможность прожигать жизнь, если это меня забавляет. У меня никогда еще не было такого превосходного случая, как в этот раз.

Но тут он вздрогнул:

— Герцогиня!..

Скрытая за портьерой дверь приоткрылась; в нее просунулась маленькая бедовая головка, белокурая, встрепанная, в облаке кружев и затейливой отделки роскошного пеньюара.

— Что я слышу! Вы остались дома?.. Побраните его, доктор. Нельзя же быть таким мнительным, правда? Посмотрите на него. Он чудесно выглядит.

— Вот вам! Видите? — сказал герцог ирландцу, смеясь. — Войдите же, герцогиня!

— Нет, нет, я похищаю вас. Мой дядя д'Эстен прислал мне полную клетку птиц с тропических островов. Я хочу вам их показать. Такая прелесть! Разноцветные, с глазками, как черные бусинки... И зябкие, зябкие, почти как вы...

— Надо посмотреть, — сказал министр. — Подождите меня, Дженкинс. Я сейчас вернусь.

Заметив, что все еще держит письмо в руке, он небрежно бросил его в ящик письменного столика и вышел вслед за герцогиней с полнейшим хладнокровием супруга, привыкшего к подобным положениям.

Какой изумительный мастер, какой несравненный игрушечник мог одарить маску человеческого лица такими гибкими пружинами, такой чудесной эластичностью? Что может быть занятнее, чем лицо этого вельможи, застигнутого в предвкушении прелюбодеяния, со щеками, воспламененными призраком обещанных наслаждений, лицо, тотчас же принявшее умиротворенное выражение безмятежной супружеской

нежности? Что может быть умильнее, чем простодушная услужливость Дженкинса и его отеческая улыбка на манер Франклина^[40] в присутствии герцогини, внезапно сменившиеся, когда он остался один, свирепым выражением злобы и ненависти, преступной бледностью, бледностью Кастена^[41] или Лапоммере,^[42] замышляющих свои страшные предательства?

Бросив быстрый взгляд на обе двери, он моментально очутился перед набитым важными бумагами ящичком, золотой ключик от которого с дерзкой небрежностью торчал в замке, как бы говоря: «Не посмеют».

А вот Дженкинс посмел.

Письмо было там, в груди других, на самом верху. Шероховатость бумаги, короткий адрес, набросанный простым и смелым почерком, аромат, опьяняющий, пробуждающий воспоминания аромат, само дыхание ее божественных уст... Значит, это правда? Ревнивая любовь не обманула его? Только теперь ему стали понятны замешательство, которое она с некоторых пор обнаруживала в его присутствии, загадочное выражение помолодевшего лица Констанции, букеты, пышно распускаявшиеся в мастерской, словно в таинственной тени прегрешения... Значит, эта неукротимая гордость наконец уступила? Но почему же тогда не ему, Дженкинсу? Не ему, который любил ее так давно, любил всегда, который был на десять лет моложе другого и уж, конечно, так не зябнул? Эти мысли пронеслись у него в голове, как металлические стрелы, выпущенные из неумолимого лука. Сгорбившись, с затуманившимся от прилива крови взором, он стоял, в отчаянии глядя на шелковистый, короткий, холодный конвертик, который он не решался вскрыть, боясь уничтожить остатки сомнения. Но шуршанье портьеры, заставившее его бросить письмо на место и закрыть плотно пригнанный ящичек лакового столика, дало ему знать, что кто-то вошел в комнату.

— Ба! Это вы, Жансуле? Как вы сюда попали?

— Его светлость просил меня подождать его здесь, — ответил Набоб, гордясь тем, что его ввели в покои герцога, да еще в такой час, когда он никого не принимал.

Де Мора начинал проникаться подлинной симпатией к этому дикарю. И по многим причинам: прежде всего он любил отчаянных смельчаков, пренебрегающих опасностью, авантюристов, родившихся под счастливой звездой. Разве и сам он не был таким? Кроме того, Набоб забавлял герцога: его южный акцент, его прямолинейность, грубоватая и наглая лесть — все это давало де Мора возможность отдохнуть от вечных условностей

окружающей обстановки, от ненавистного ему чиновничьего и придворного жаргона, от закругленных фраз, к которым он питал отвращение, такое отвращение, что сам никогда не заканчивал начатого предложения... Набоб же, случилось, заканчивал свои фразы совершенно неожиданным образом. Притом он был великолепный игрок, проигрывавший, не моргнув глазом, в клубе на Королевской улице в экарте по пять тысяч франков фишка. И с ним так удобно иметь дело, когда надо избавиться от какой-нибудь картины: он всегда готов купить ее за любую цену. К этой снисходительной симпатии примешивалось за последнее время чувство жалости и возмущения, вызванного той яростью, с какой стали преследовать этого несчастного, той подлой и беспощадной войной, которую вели так искусно, что общественное мнение, всегда легковверное и готовое прислушаться к любой сплетне, начало испытывать на себе ее влияние. Надо отдать справедливость де Мора: он не следовал за толпой. Увидев в уголке галереи, как всегда, добродушную, но немного жалкую и обескураженную физиономию Набоба, герцог счел малодушным принять его там и велел проводить его в свою спальню.

Дженкинс и Жансуле, испытывая неловкость от этой встречи, обменялись банальными фразами. Их дружба остыла за последнее время, так как Жансуле наотрез отказался от всяких новых субсидий Вифлеемским яслям, которые остались, таким образом, целиком на руках ирландца, разозленного этим отступничеством и еще более разозленного сейчас тем, что он не смог прочесть письмо Фелиции до этого вторжения. Набоба же, в свою очередь, беспокоило, будет ли доктор присутствовать при разговоре, который он хотел вести с герцогом по поводу гнусных намеков преследовавшего его «Мессаже». Его тревожило также, не охладила ли эта клевета доброе расположение вельможи, которое было ему необходимо во время проверки его полномочий. Прием, оказанный ему в галерее, отчасти успокоил его. Он окончательно воспрянул духом, когда герцог вернулся и направился к нему с протянутой рукой:

— Бедный мой Жансуле! Я вижу, что Париж заставляет вас довольно дорого расплачиваться за свое гостеприимство. Сколько брани, ненависти и злобы!

— Ах, ваша светлость, если бы вы знали...

— Я знаю... я читал... — сказал министр, подходя к огню.

— Надеюсь, ваша светлость не верит этим мерзостям? У меня есть... Я принес доказательства.

Он рылся своими толстыми волосатыми лапами, дрожавшими от волнения, в бумагах, заполнявших огромный шагреновый портфель,

который он держал под мышкой.

— Не надо... не надо... Я в курсе дела... Я знаю, что вас — умышленно или неумышленно — путают с другим лицом, что семейные соображения...

Видя растерянность Набоба, пораженного его осведомленностью, герцог не мог сдержать улыбки.

— Министр должен все знать. А вы успокойтесь. Ваши полномочия будут признаны действительными. А как только они будут признаны действительными...

Жансуле облегченно вздохнул.;

— Ах, ваша светлость, как вы меня утешили! Я уже начинал терять веру в себя. Мои враги так могущественны!.. И при этом мне так не повезло! Представьте себе, что именно Лемеркье поручено сделать доклад о моем избрании.

— Лемеркье? Ах, черт!

— Да, Лемеркье, поверенному Эмерленга, грязному ханже, который обратил баронессу в новую веру потому, видимо, что его религия запрещает ему иметь любовницей мусульманку.

— Ну, ну, Жансуле!..

— Ничего не поделаешь, ваша светлость! Поневоле выйдешь из себя... Подумайте, в какое положение ставят меня эти негодяи! Еще на прошлой неделе меня должны были утвердить, но они нарочно оттягивают заседание, потому что им известно, в каких ужасных обстоятельствах я сейчас нахожусь: все мои капиталы заморожены, и бей ожидает решения Палаты, чтобы знать, может ли он обобрать меня... Там у меня восемьдесят миллионов, ваша светлость, а здесь я уже начинаю задыхаться без свободных денег. Если такое положение продлится...

Он отер крупные капли пота, стекавшие по щекам.

— Что ж! Я сам займусь утверждением ваших полномочий, — с некоторой живостью сказал министр. — Я напишу этому... как его... чтобы он поторопился с докладом. И даже если меня придется нести в Палату...

— Вы больны, ваша светлость? — спросил Жансуле с участием, в котором — могу вас заверить — не было ни тени притворства.

— Нет... только слабость... Нам не хватает крови, но Дженкинс прибавит нам ее. Не так ли, Дженкинс?

Ирландец, не слушавший его, сделал неопределенный жест.

— Проклятие! А у меня ее слишком много!.. — Набоб ослабил галстук на своей толстой шее, которая от волнения и жары в комнате налилась

кровью. — Если бы я мог уступить вам частицу, ваша светлость!

— Это было бы счастьем для нас обоих, — сказал министр с легкой иронией. — И главным образом для вас. — Ведь вы так вспыльчивы, а в такую минуту вам особенно необходимо спокойствие. Не забывайте об этом, Жансуле. Держите себя в руках, остерегайтесь порывов ярости, до которых вас хотят довести. Внушите себе, что вы теперь государственный деятель, у всех на виду, каждый ваш жест заметен издали. Газеты оскорбляют вас — не читайте их, если не можете скрыть чувства, которые они у вас вызывают... Не повторяйте того, что сделал я со слепым музыкантом на мосту Согласия, рядом с моим домом, — с этим несносным кларнетистом, который уже десять лет отравляет мне жизнь, ежедневно долбя: «Твоих сынов, о Норма...».^[43] Я испробовал все, чтобы заставить его убраться оттуда, — деньги, угрозы... Ничто не помогает. Прибегнуть к полиции? Благодарю покорно. При нынешних взглядах не так просто заставить слепца уйти со своего моста... Газеты оппозиции поднимут крик, и для парижан я сделаюсь притчей во языцех... «Финансист и нищий», «Герцог и кларнетист»... Пришлось покориться. Впрочем, я сам виноват.

Я не должен был показывать этому человеку, что он меня раздражает. Я уверен, что изводить меня стало главной целью его жизни. Каждое утро он вылезает из своей конуры с собакой, складным стульчиком, со своим ужасным инструментом и говорит себе: «Пойдем злить герцога де Мора». Он не пропускает ни одного дня, разбойник... Да вот хоть сейчас! Стоит приоткрыть окно, и вы услышите целый поток резких, высоких звуков, заглушающих и плеск воды и стук экипажей — Так вот, этот газетчик из «Мессаже» — ваш кларнетист; если он заметит, что его музыка вас тяготит, он никогда не перестанет... А теперь, мой дорогой депутат, напоминаю вам, что у вас в три часа заседание в отделении Палаты, и я советую вам немедленно отправиться туда.

Затем, обернувшись к Дженкинсу, герцог сказал:

— Вы помните, о чем я просил вас, доктор?.. Пилюли на послезавтра. И покрепче!

Дженкинс вздрогнул; он словно пробудился от глубокого сна:

— Как прикажете, ваша светлость. Мы вас пришпорим... Да еще как! Вы возьмете большой приз на скачках!

Он поклонился и вышел, смеясь, показывая свои широко расставленные белые зубы, — подлинно волчий оскал. Набоб откланялся, в свою очередь; его сердце было полно благодарности, но он не осмеливался высказать ее этому скептику, у которого всякое проявление чувства вызывало недоверие. А министра, когда он остался один и съезжился у ярко

пылавшего камина, в обволакивающем тепле роскошной обстановки, испытывая на себе возбуждающую ласку яркого майского солнца, опять начало знобить, знобить так сильно, что вновь развернутое кончиками его омертвевших пальцев письмо Фелиции, которое он перечитывал влюбленными глазами, все время дрожало, шурша, как шелковая ткань.

Положение депутата в период, следующий за его избранием, и, как говорится на парламентском жаргоне, предшествующий утверждению правильности выборов, очень своеобразно. Оно отчасти напоминает затруднительное положение молодожена в течение суток, протекающих между заключением брака в мэрии и освящением его в церкви. Права, которыми нельзя пользоваться, полусчастье, полувласть, неловкое ощущение, которое испытываешь, не зная, что можно себе позволить и чего нельзя, неопределенность положения... Человек женат, не будучи женатым; человек стал депутатом, не будучи твердо в этом уверен; только у депутата эта неуверенность длится дни и недели, и чем дольше она тянется, тем сомнительнее становится утверждение полномочий. Какая это пытка для злосчастного испытуемого представителя — являться в Палату, занимать место, которое, может быть, не сохранится за ним, слушать прения, не узнав, быть может, потом, чем они кончатся, не дав возможности своему зрению, своему слуху сохранить воспоминание о заседаниях парламента, с их волнующимся морем лысых лбов или апоплексических затылков, с их слитным гулом (шуршанье скомканных бумаг, возгласы дежурных приставов, стук деревянных разрезных ножей, барабаниющих по столам, частные разговоры), из которого выделяется соло оратора, громоподобное или робкое, на фоне непрерывного аккомпанемента!

Это положение, уже само по себе действующее на нервы, осложнялось для Набоба всякого рода клеветой, сначала нашептывавшейся на ухо, а теперь опубликованной, распространившейся в тысячах экземпляров, что привело к карантину, которому его молчаливо подвергли коллеги. Первые дни он бродил взад и вперед по кулуарам, толкался в библиотеке, в буфете, в зале для совещаний, как и все остальные, в восторге от того, что может обойти все закоулки этого величественного лабиринта. Но, незнакомый большинству, отвергнутый несколькими членами клуба на Королевской улице, избегавшими его, ненавидимый всей клерикальной группировкой, во главе которой стоял Лемеркье, и финансовым миром, настроенным враждебно к этому миллиардеру, властвовавшему над повышением и понижением курса, подобно кораблю большого тон нажа, вытесняющему воды гавани, — он еще острее ощущал свое одиночество, переходя с места на место, в то время как ему всюду сопутствовала враждебность.

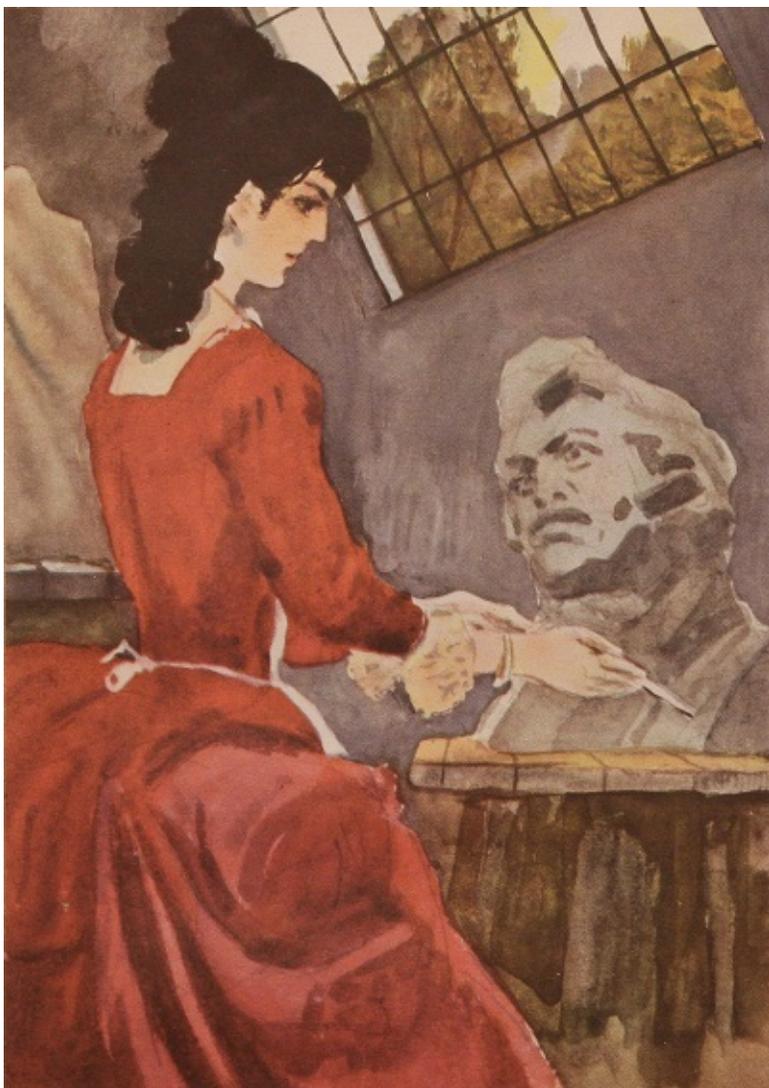
Его жесты, манеры приобрели от этого некоторую связанность, он испытывал нечто вроде легкого недоверия к людям. Жансуле чувствовал, что за ним наблюдают. Если он заходил на минуту в буфет, в этот большой светлый зал с окнами, выходящими в сад председателя, нравившийся ему тем, что перед широкой белой мраморной стойкой, уставленной напитками и закусками, депутаты утрачивали напускную важность, спесь законодателей, становились простыми в обращении, более естественными в силу требований природы, то на следующий день в «Мессаже», появлялась насмешливая, оскорбительная заметка, представлявшая его избирателям как известного «любителя выпить».

И еще приводили его в замешательство страшные избиратели.

Они приходили целыми толпами, заполняли длинный зал, галопировали во всех направлениях, как горячие черные лошадки, перекликаясь с разных концов гулкой комнаты, с наслаждением вдыхая разлитый в воздухе запах власти, правительственной, административной, умильно глядя на проходящих министров, следуя за ними по пятам и словно приносиваясь, как будто из их высокочтимых карманов, из их раздутых портфелей должно было выпасть какое-нибудь доходное местечко; они заваливали «мусью» Жансуле таким количеством назойливых просьб, жалоб, пожеланий, что он, пытаясь избавиться от этих жестикулирующих, суетливых людишек, на которых все оглядывались и которые делали из него представителя племени туарегов среди цивилизованных народов, вынужден был призывать взглядом дежурного пристава, и тот, зная, что надо спасти депутата, подбегал, запыхавшись, и сообщал, что «он срочно нужен в Восьмом отделении». Дошло до того, что, всюду испытывая неловкость, изгнанный из кулуаров, из длинного зала, из буфета, бедный Набоб решил не покидать более своей скамьи, на которой он теперь сидел неподвижно и молча в течение всего заседания.



Тем не менее у него был в Палате друг, вновь избранный в департаменте Де Севр депутат, которого звали г-н Сариг.^[44] Бедняга действительно отчасти напоминал безобидное и обездоленное животное, имя которого он носил, своими тонкими рыжеватыми волосами, боязливыми глазами и скачкообразными движениями обутых в белые гетры ног. Робкий настолько, что не мог сказать двух слов, не запинаясь, почти безгласный, он вечно сосал леденец, что делало его речь еще более невнятной. Никто не мог понять, для чего этот немощный человек появился в собрании народных представителей, чье бредовое женское честолюбие толкнуло на политическую деятельность это существо, неспособное заняться даже частной профессией.



По забавной иронии судьбы, Жансуле, раздираемый треволениями, связанными с утверждением его полномочий, был избран Восьмым отделением для доклада о выборах в Де Севр, и г-н Сариг, понимая свою непригодность, безумно боясь, что его, опозоренного, отправят восвояси, бродил, смиренный и умоляющий, вокруг курчавого здоровяка, чьи широкие лопатки двигались под сюртуком тонкого сукна, как кузнечные мехи; он и не подозревал, что под этой крепкой оболочкой скрывается такое же несчастное, встревоженное существо, как и он сам.

Работая над докладом о выборах в Де Севр, роясь в многочисленных протестах, обвинениях в предвыборных махинациях (обеда и ужины, раздача денег, откупоренные бочонки с вином для всех желающих у входа в мэрии, — все, что происходило обычно на выборах в те времена), Жансуле дрожал за себя. «Ведь я же сам все это проделывал...» — думал он в ужасе. О, г-н Сариг мог быть спокоен! Более благожелательного, более

снисходительного докладчика невозможно было найти. Набоб, сжалившись над своим «пациентом», злая по опыту, как мучительна тревога ожидания, постарался ускорить дело: в огромном портфеле, который он нес под мышкой, выйдя из особняка де Мора, хранился его доклад, приготовленный для прочтения перед коллегами.

Была ли тому причиной первая попытка политической деятельности, добрые ли слова герцога, или чудесная погода, которой наслаждался южанин, привыкший к синему небу и теплому солнцу, целиком отдающийся физическим ощущениям, во всяком случае, перед приставами Законодательного корпуса в этот день появился великолепный, надменный Жансуле, какого они еще не знали. Экипаж толстяка Эмерленга, который он заметил у подъезда, узнав его по необычайной ширине дверец, окончательно вернул ему врожденную смелость и самоуверенность: «Враг здесь... Внимание!» Действительно, войдя в длинный зал, он увидел финансиста, беседовавшего в углу с докладчиком Лемеркье. Набоб прошел мимо, совсем близко от них, и посмотрел на них торжествующим взглядом, который заставил наблюдавших эту сцену подумать: «Что это означает?»

Затем, весьма довольный своим спокойствием, Жансуле направился к отделениям, выходящим справа и слева в длинный коридор обширным залам, где на огромных столах, покрытых зеленым сукном, и на тяжелых одинаковых креслах лежал отпечаток скучной торжественности. Депутаты начали собираться. Крутом образовывались группы людей, споривших, жестикулировавших, кивавших, пожимавших руки, запрокидывавших головы. Они вырисовывались на сияющем фоне окон и напоминали китайские тени. Тут были люди, которые ходили сгорбившись, одиноко, словно подавленные тяжестью мыслей, прорезавших их лбы глубокими морщинами. Некоторые шепотом поверяли друг другу важные тайны, приложив палец к губам, расширив глаза, как бы молча предостерегая. Все это отзывалось провинцией: разнообразные интонации (южная пылкость и медлительный говор Центральной Франции, певучесть Бретани, сливавшиеся в общий тупой, сытый, самодовольный тон), допотопные сюртуки, горные башмаки, домотканое белье, самоуверенность захолустья, клубных завсегдатаев маленького городишки, местные выражения, провинциализмы, вторгшиеся в политический и чиновничий жаргон, плоская и бесцветная фразеология, которая изобрела такие выражения, как «всплывшие жгучие вопросы» и «личности без мандатов».

Видя этих взволнованных или задумчивых людей, вы бы сказали, что они способны рождать великие идеи. К несчастью, в дни заседаний они были неузнаваемы: они сидели тихонько на своих скамьях, боязливые, как

школьники под строгим надзором учителя, подобострастно смеялись шуткам остряка-председателя или же, прерывая оратора, брали слово для совершенно невероятнейших предложений. Можно было подумать, что Анри Монье^[45] запечатлел в своем бессмертном наброске не один тип, а целую расу. Там было лишь два или три настоящих оратора на всю Палату, остальные отлично умели становиться спиной к камину в провинциальной гостиной после превосходного обеда у префекта и гнусаво тянуть: «Управление, господа...» или: «Правительство его величества...» — больше они ни на что не были способны.

Обычно милейшего Набоба ослепляли величественные позы, оглушал грохот вертящегося вхолостую колеса, который производят люди, напускающие на себя важность, но сегодня он сам присоединился к общему хору. В то время как он, сидя в центре за зеленым столом, положив перед собой портфель и удобно опершись на него локтями, читал свой доклад, выправленный де Жери, члены отделения смотрели на него в изумлении.

Это было четкое, точное, краткое изложение их работ за две недели, в котором они увидели свои мысли выраженными так ясно, что с трудом узнавали их. Затем, когда двое или трое из них нашли, что доклад слишком благоприятен, что он скользил по поверхности некоторых протестов, поступивших в отделение, докладчик взял слово и с поразительной уверенностью, многословием и красноречием, свойственным уроженцам Юга, доказал, что депутат может только до известной степени отвечать за неосторожность избирательных агентов, что без этого ни одни выборы не выдержат более или менее тщательного контроля. А так как он, в сущности, защищал свое собственное дело, то он внес в это убедительность, неотразимую пылкость, он не забывал вставлять время от времени одно из тех длинных тусклых существительных со сложными окончаниями, которые так любят комиссии. Остальные слушали его сосредоточенно, обмениваясь между собой впечатлениями с помощью кивков, усердно выводя росчерки и рисуя человечков в блокнотах, чтобы не распылять внимания. Все это живо напоминало школьную обстановку: шум в коридорах, бормотание, похожее на зубрежку уроков, и вдобавок воробьи, чирикавшие под окнами на вымощенном плитам дворе, окруженном аркадами, — настоящем школьном дворе.

Когда доклад был принят, г-на Сарига вызвали для некоторых дополнительных объяснений. Он вышел бледный, осунувшийся, заикающийся, словно преступник, не убежденный в своей невиновности. Вы, наверно, посмеялись бы, глядя, с каким авторитетным и

покровительственным видом Жансуле ободрял, успокаивал его: «Возьмите же себя в руки, дорогой коллега...» Но члены восьмого отделения не смеялись. Все они, или, вернее, почти все, были тоже в своем роде Сариги — расслабленные, частично утратившие дар речи. Самоуверенность и красноречие Набоба привели их в восторг.

Когда Жансуле вышел из Законодательного корпуса, провожаемый до экипажа признательным коллегой, было около шести часов. Прекрасная погода, чудесное солнце, спускавшееся к залитой золотом Сене со стороны Трокадеро, соблазнили пойти домой пешком этого крепкого плебея, которого приличия заставляли ездить в карете и носить перчатки, но который старался как можно чаще обходиться без этого. Он отослал слуг и, взяв под мышку портфель, пошел по мосту Согласия. Такого приятного чувства он не испытывал с 1 мая. Расправив плечи, сдвинув шляпу на затылок — так часто делали на его глазах политические деятели, которые помогали этим своему только что напряженно работавшему мозгу остыть на свежем воздухе, подобно тому, как завод в конце рабочего дня выпускает пары в сточную канаву, — он шагал среди других, похожих на него людей, вышедших из храма с колоннами, возвышающегося напротив церкви св. Магдалины, над монументальными фонтанами площади. Когда они проходили, на них смотрели и говорили: «Вот идут депутаты...» И Жансуле испытывал от этого детскую радость, радость человека из народа, невежественного и наивного в своем тщеславии.

— Покупайте «Мессаже», вечерний выпуск! — слышалось из газетного киоска на углу моста, наполнявшегося обычно в этот час кипами свежих газет, которые две женщины торопливо складывали вчетверо. От газет приятно пахло типографской краской, последними новостями, злободневным успехом или скандальчиком. Почти все депутаты, проходя, покупали номер и быстро просматривали его в надежде найти там свое имя. Но Жансуле побоялся увидеть свое имя и не остановился. Но тут же подумал: «Политический деятель должен быть выше этого. Теперь я достаточно силен, чтобы читать все». Он вернулся обратно, взял газету, как и его коллеги, спокойно развернул ее и бросил взгляд туда, где обычно помещались статьи Моэссара. Сегодня тоже была статья. И под тем же заголовком — «Китайские истории». А вместо подписи — буква М.

«Так, так!» — подумал политический деятель, неуязвимый и холодный, как мрамор, со спокойной, презрительной улыбкой. Наставления де Мора еще звучали в его ушах, а если бы даже он забыл их, ария из «Нормы», внезапно раздавшаяся поблизости, своими пискливыми насмешливыми нотками напомнила бы ему обо всем. Но как бы ни

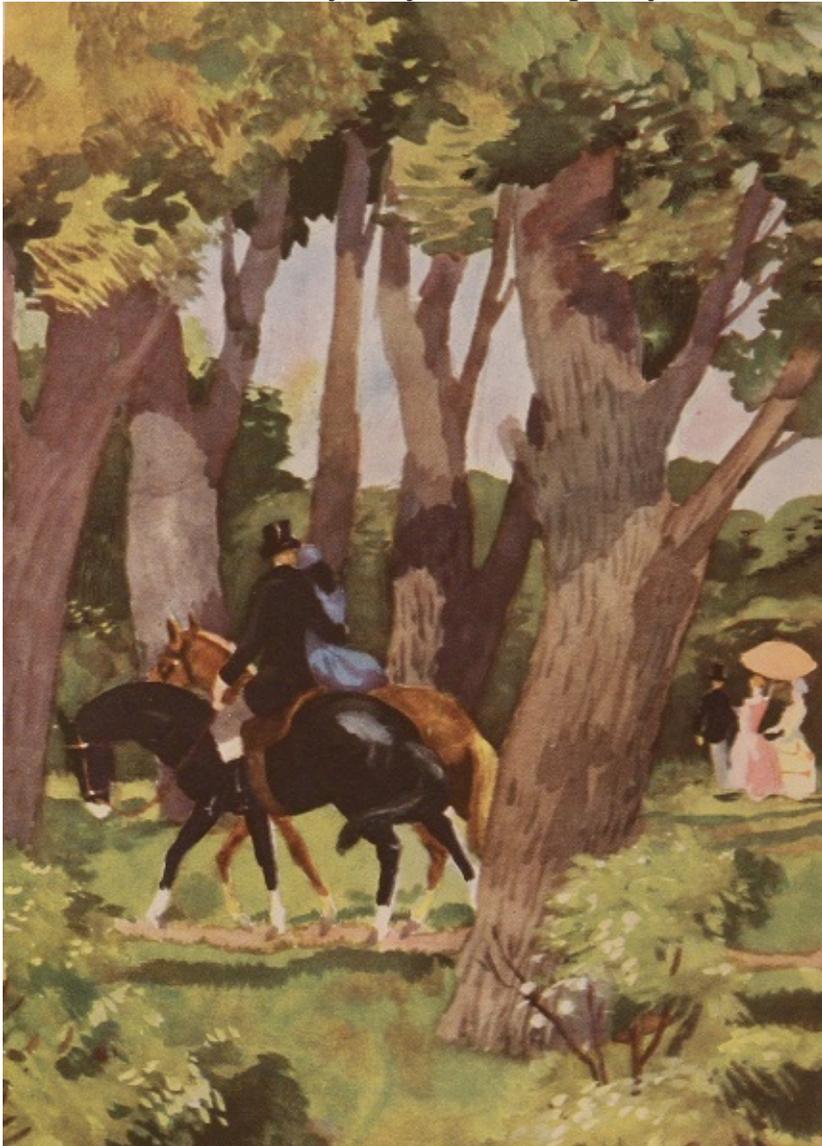
старались мы в быстром потоке событий нашей жизни быть ко всему готовыми и предусмотреть все, может всегда случиться что-нибудь непредвиденное. Бедный Набоб вдруг почувствовал такой прилив крови к голове, что в глазах у него потемнело и крик бешенства едва не вырвался из его судорожно сжавшегося горла. На этот раз к гнусной выдумке о «корабле цветов» примешали его мать, его старую Франсуазу. Как метко стрелял Моэссар, как умел он найти уязвимые места в этом столь наивно обнаженном сердце!

«Спокойствие, Жансуле, спокойствие!..»

Тщетно Набоб повторял это себе на все лады — его охватила ярость, безумная ярость, его одурманенная кровь жаждала крови. Первым его движением было остановить наемную карету, броситься в нее, оторваться от раздражавшей его улицы, избавить свое тело от необходимости двигаться и вести себя надлежащим образом — остановить карету, как для перевозки раненого. Но в этот час всеобщего возвращения из Булонского леса площадь была запружена собственными экипажами — открытыми колясками, пролетками, двухместными каретами, спускавшимися от величавой Триумфальной арки к прохладным садам Тюильри, окутанным лиловой дымкой. Экипажи эти тянулись один за другим, заполонив всю улицу до перекрестка, где неподвижные статуи с коронами в виде башенок на головах, прочно стоявшие на своих пьедесталах, смотрели, как они разъезжаются по направлению к Сен-Жерменскому предместью, по Королевской улице и улице Риволи.

Жансуле, держа газету в руках, пробирался сквозь толчею, не замечая ее и по привычке направляясь к клубу, куда он ежедневно от шести до семи заходил поиграть в карты. Он все еще оставался политическим деятелем, но сейчас он был возбужден: говорил вслух, бормотал проклятия и угрозы голосом, который вдруг становился нежным, когда он вспоминал о своей старушке... Замешать и ее в эту историю! О, если она прочтет, — сможет ли она хотя бы понять?.. Какую кару можно придумать для этого негодяя?.. Набоб дошел до Королевской улицы, куда ныряли, сделав быстрый поворот и блеснув спицами колес, унося женщин под вуалями и белокурых детей, всевозможные экипажи, возвращавшиеся из Булонского леса; они приносили на парижскую мостовую частицы чернозема и весенние испарения, смешанные с ароматом рисовой пудры. Напротив морского министерства при повороте чуть не заехал на тротуар фаэтон на легких высоких колесах, похожий на большого паука-косаря, тельце которого изображали маленький грум, скорчившийся на запятках, и два человека, сидевшие впереди.

Набоб поднял голову и чуть не вскрикнул.



Рыжеволосая, в крошечной шляпке с широкими лентами, накрашенная кокотка, взгромоздясь на кожаную подушку, правила и руками, и глазами, и всей своей размалеванной особой, вытянувшейся и наклонившейся вперед. Рядом с ней сидел тоже розовый и накрашенный, расцветший на той же навозной куче, разжиревший на тех же пороках Моэссар, красавец Моэссар. Девка — и журналист, и не она была наиболее продажною из них двоих! Возвышаясь над женщинами, полулежавшими в колясках, и мужчинами, сидевшими напротив, утопавшими в оборках платьев, в позах, выразивших утомление и скуку, которые пресыщенные люди принимают перед публикой в знак презрения к удовольствиям и богатству, эти двое восседали нахально: она была горда тем, что вывозит на прогулку любовника королевы, а ему было нисколько не стыдно сидеть рядом с этой

тварью, которая подцепляла в аллеях мужчин кончиком своего хлыста, укрываясь на высоком сиденье, как на жердочке, от облав полиции, оздоравливающих общество. Быть может, он счел полезным, чтобы равжечь чувства своей царственной любовницы, покрасоваться под ее окнами в обществе Сюзанны Блок, известной под кличку «Рыжая Сюзан».

— Но, но!..

Сбившийся крупный рысак с тонкими ногами — настоящая лошадь кокотки — вернулся на свою дорогу; он пританцовывал и перебирал ногами на месте, но не двигался вперед. Жансуле бросил на землю портфель и, словно освободившись вместе с ним от всей важности и солидности политического деятеля, сделал огромный прыжок вперед и, схватив лошадь под уздцы, удержал ее своими сильными волосатыми руками.



Задержать кого-то на Королевской улице среди бела дня... Надо было быть таким дикарем, как он, чтобы осмелиться на подобную выходку.

— Слезайте! — крикнул он Моэссару, лицо которого сразу стало изжелта-зеленым. — Слезайте сейчас же!..

— Отпустите мою лошадь, болван!..

— Гони, Сюванна!.. Это Набоб.

Она дернула вожжи, но рысак, крепко удерживаемый, стал на дыбы; еще немного-и хрупкий экипаж, словно праща, метнул бы далеко вперед всех, кто в нем сидел. Тогда, охваченная злобой, от которой у этих девок трескается вся лакировка, наведенная на их наряды и на их кожу, она угостила Набоба двумя ударами хлыста; они лишь скользнули по его обветренному лицу, но придали ему свирепое выражение, которое стало еще заметнее оттого, что его короткий нос, раздвоенный на конце, как у охотничьего терьера, совсем побелел.

— Сойдите, черт побери, или я переверну...

В водовороте остановившихся из-за затора или медленно объезжавших препятствие колясок, откуда устремлялись любопытные взгляды, под окрики кучеров, под звяканье удил два железных кулака сотрясали весь экипаж.

— Сойди! Ну, сойди же! Он нас опрокинет... Ну и кулачищи!

Девка с любопытством смотрела на геркулеса.

Едва Моэссар ступил на землю и прежде чем он успел укрыться на тротуаре, где уже появились черные кепи полицейских, Жансуле бросился на него, поднял его за шиворот, как кролика, и, не обращая внимания на его протесты, на его растерянный лепет, заревел:

— Да, да, я дам тебе удовлетворение, негодяй! Но сначала я сделаю с тобой то, что делают с нечистоплотными животными, чтобы они больше не гадили.

И он стал тыкать в нос Моэссару смятой газетой с его статьей, изо всех сил тер ему ею лицо, душил его, ослеплял, оставлял ссадины, из которых текла кровь и размазывалась на щеках вместе с краской, вместе с румянами. Моэссара вырвали из рук Набоба посиневшим, полузадохшимся. Если б Жансуле дал полную волю своей ярости, он бы убил журналиста.

Одернув рукава, поправив смятую рубашку, подняв портфель, из которого высыпались бумаги по делу Сарига, — некоторые из них залетели в сточную канаву, — Набоб ответил полицейским, спросившим его имя для составления протокола:

— Бернар Жансуле, депутат от Корсики.

Политический деятель!

Только тут он вспомнил, кто он. Можно ли было это подумать, глядя, как он, тяжело дыша, с непокрытой головой, словно подравшийся с кем-то грузчик, стоял под жадными, неумолимо насмешливыми взглядами толпы, которая уже начинала расходиться?

XVII. ВСТРЕЧА

Если бы вам захотелось увидеть искреннее, неподдельное чувство, если бы вам захотелось услышать бурные излияния, изъявления нежности, услышать смех, смех большого счастья, смех, от едва уловимого движения губ, переходящим в слезы, полюбоваться чудесной заразной юной жизнерадостностью, отражающейся в ясных глазах, в которых светится вся душа, — вы могли бы увидеть это сегодня, воскресным утром, в знакомом вам доме, новом доме, в самом конце старого предместья. Витрина нижнего этажа сверкает ярче обычного. Дощечки над дверью пляшут живее, чем всегда, а из открытых окон доносятся веселые возгласы — брызги счастья:

— Принята, принята! Какое счастье! Анриетта, Элиза, идите сюда!.. Пьеса господина Маранна принята!

Андре узнал об этом еще вчера. Кардальяк, директор театра Нувоте, пригласил его и сообщил, что его драму поставят немедленно, что она пойдет в будущем месяце. Они провели целый вечер, обсуждая декорации, распределение ролей. Счастливый автор вернулся из театра поздно, постучать к соседям не решился и стал дожидаться утра с лихорадочным нетерпением. Как только он услышал, что внизу начали ходить, что открылись со стуком ставни, он спустился к своим друзьям, торопясь сообщить им добрую весть. И вот они собрались все: девушки в хорошеньких утренних капотиках, с наспех подколотыми волосами, и г-н Жуайез, застигнутый событиями в разгаре бритья; его лицо под вышитым ночным колпаком, как бы разделенное на две части—одну выбритую и другую небритую, — не может не вызвать удивления. Но больше всех взволнован Андре Маранн: вы же знаете, что означает для него принятие «Мятежа» к постановке и о чем договорились они с Бабусей. Бедный юноша смотрит на нее, словно ища в ее глазах поощрения, и глаза эти, чуть насмешливые и добрые, словно говорят: «Попытайтесь. Чем вы рискуете?» Он смотрит, чтобы придать себе храбрости, и на мадемуазель Элизу, очаровательную, как цветок, с опущенными длинными ресницами. И, наконец, решившись, говорит сдавленным голосом:

— Господин Жуайез! Я должен сообщить вам нечто очень важное.

Г-н Жуайез недоумевает.

— Очень важное? Боже мой, вы меня пугаете!.. — говорит он и, тоже понизив голос, спрашивает:

— Мои девочки нам не помешают?

Нет. Бабуся знает, о чем идет речь. Мадемуазель Элиза, вероятно, тоже догадывается. Вот только две младшие... Мадемуазель Анриетту и ее сестру просят удалиться, что они и делают, одна — величественная и раздосадованная, как родная дочь г-жи де Сент-Аман, другая, маленькая китаяпочка Яйя, — едва удерживаясь от безумного хохота.

Долгая пауза. Затем влюбленный начинает свою речь:

Мне кажется, что мадемуазель Элиза действительно кое о чем догадывается, ибо, как только молодой сосед заговорил о важном сообщении, она вынимает из кармана книжку «Ансар и Рандю» и спешит углубиться в приключения некоего человека по прозвищу «Сварливый» — волнующее чтение, от которого книга дрожит у нее в руках. Да и кто бы не задрожал, увидев растерянность, негодование, изумление, с каким г-н Жуайез встречает эту просьбу о руке его дочери.

— Да что же» то такое? Как это произошло? Какое удивительное событие! Кто бы мог подумать?

И вдруг добряк раздражается оглушительным хохотом. Да нет же, это он нарочно! Он уже давно в курсе дела, его посвятили во все...

Отец посвящен во все! Значит, Бабуся выдала их тайну? Под обращенными на нее взглядами, полными упрека, виновница выходит вперед и, улыбаясь, говорит:

— Да, друзья мои, это я... Умолчать было так трудно! Я не могла сохранять секрет только для себя одной. И потом отец так добр. От отца ничего нельзя скрыть.

Сказав это, ока бросается на шею маленькому человечку. Но места хватит и на двоих, и, после того как мадемуазель Элиза присоединилась к сестре, остается еще рука, дружеская, отеческая, протянутая тому, кого г-н Жуайез считает отныне своим сыном. Молчаливые объятия, выразительные взгляды, нежные и пылкие, брошенные присутствующими друг на друга, счастливые мгновения, которые хотелось бы удержать навсегда, схватив их за хрупкий кончик крыльев!.. Все болтают, тихонько смеются, вспоминают подробности. Г-н Жуайез рассказывает, что в первый раз тайну ему открыли стучащие духи, когда он был один у Андре. «Как идут дела, господин Маранн?» — спрашивали духи, и за отсутствием г-на Мараниа ответил им он: «Недурно для этого времени года, господа духи». Если б вы знали, с каким лукавым видом повторял маленький человечек: «Недурно для этого времени года...», — меж тем как мадемуазель Элиза, придя в смущение при мысли, что это со своим отцом переговаривалась она в тот день, прятала лицо в своих белокурых волосах.

Но вот уже все успокоились, беседа становится серьезнее. Г-жа

Жуайез, рожденная де Сент-Аман, никогда не согласилась бы на этот брак. Андре Маранн не богат, совсем не знатен, но у старого бухгалтера, к счастью, нет той жажды величия, какая была у его жены. Они любят друг друга, они молоды, здоровы, честны — вот вам прекрасное приданое жениха и невесты; и регистрация его у нотариуса обойдется недорого. Молодые супруги будут жить в верхнем этаже. Фотографию надо будет сохранить, если только «Мятеж» не сделает колоссальных сборов. (В этом отношении можете положиться на фантазера.) Во всяком случае, отец всегда будет около них; место его у биржевого маклера прекрасное; кроме того, ему нередко поручаются судебные экспертизы. Лишь бы маленький корабль следовал за большим, и все пойдет отлично с помощью волн, ветра и путеводной звезды.

Один только вопрос беспокоит г-на Жуайеза:

— Согласятся ли родителя Андре на этот брак? Как доктор Дженкинс, такой богатый, такой знаменитый...

— Не будем говорить об этом человеке, — отвечает Андре, бледнея, — это негодяй, я ему ничем не обязан, он для меня ничто...

Андре умолкает на мгновение, сконфуженный этой вспышкой гнева, которого он не мог сдержать и не в состоянии был объяснить, затем продолжает уже спокойнее:

— Моя мать иногда приходит ко мне, несмотря на его запрет. Она первая узнала о наших планах. Она уже полюбила мадемуазель Элизу, как родную дочь... Вы увидите, Элиза, какая она добрая, как она хороша собой, какая она обаятельная. Какое несчастье, что она принадлежит такому скверному человеку: он ее тиранит, мучит, запрещает ей произносить имя сына!

Бедный Маранн вздыхает, выдавая этим тяжкое горе, которое он скрывает в глубине сердца. Но какая печаль может устоять перед дорогим лицом в ореоле белокурых локонов, перед радужными видами на будущее? Важные вопросы разрешены, можно открыть дверь и позвать двух изгнанниц. Чтобы не внушать этим маленьким головкам мыслей не по возрасту, решено ничего им не говорить о необыкновенном событии, ничего не объяснять, кроме того, что им надо поскорее одеться и еще скорее позавтракать, — тогда они смогут провести день в Булонском лесу, где Маранн прочтет им свою пьесу, а затем они отправятся в Сюренн и полакомятся жареной рыбой у Концена: целая программа удовольствий по случаю принятия к постановке «Мятежа» и еще одной приятной новости, которую они узнают позже.

— Правда? А что же именно? — с невинным видом спрашивают

девочки.

Но если вы думаете, что они не знают о чем идет речь, если вы думаете, что, когда Элиза трижды стучала в потолок, они воображали, что это делалось специально для того, чтобы узнать о количестве клиентов, значит, вы еще простодушнее, чем папаша Жуайез.

— Довольно, довольно, девочки!.. Идите одеваться.

Тут начинается другая песенка:

— Какое платье надеть. Бабуся? Серое?

— Бабуся! У меня на шляпе не хватает завязки.

— Бабуся, дочь моя, у меня нет ни одного накрахмаленного галстука!

В течение десяти минут все толкутся вокруг прелестной Бабуси, непрерывно обращаясь к ней со всякими просьбами и требованиями. Она необходима каждому из них: у нее хранятся все ключи, она раздает белые плоеные воротнички, тонкие, красивые, раздает вышитые носовые платки, парадные перчатки. Эти сокровища, извлеченные из картонок и шкафов и разложенные на кроватях, распространяют по всему дому атмосферу светлого, воскресного веселья.

Только труженики, только люди, постоянно занятые, знают эту радость, повторяющуюся каждую неделю, освященную народным обычаем. Для этих шестидневных пленников тесные столбцы календаря раздвигаются, и в них приоткрывается сияющий простор, льется поток свежего воздуха. Это воскресенье, скучный день для светских людей, для парижских фланеров, потому что он нарушает все их привычки, грустный день для изгнанников, лишенных родины и семьи, но для великого множества людей являющийся единственной наградой, единственной целью отчаянных усилий шести дней труда. Дождь ли, град ли — им все нипочем, ничто не помешает им выйти из дому, захлопнуть за собой дверь опустевшей мастерской или душной квартирки. Но если еще вдобавок весна, если майское солнце озаряет этот день, вот так, как сейчас, когда день может облечься в радужные цвета, тогда воскресенье становится праздником из праздников.

Если вы хотите составить себе точное представление о том, что такое воскресенье, вы должны провести его именно в рабочих кварталах, в темных улицах, которые оно озаряет, которые оно делает шире, закрывая лавочки, убирая в сараи ломовые подводы, освобождая место для хороводов чисто вымытых и принаряженных детей и для игры в волан, описывающий большие круги вместе с ласточками под каким-нибудь порталом старого Парижа. Вы должны провести его в кишачих людьми, шумных предместьях, где уже с самого утра видно, как оно парит,

успокаивающее и отрадное, в молчании заводов, как оно носится по воздуху вместе со звоном колоколов и резкими свистками паровозов, которые словно наполняют горизонт парижских пригородов мощными звуками песни — песни выступления в поход и освобождения. Тогда вы его поймете и полюбите.

Парижское воскресенье, воскресенье тружеников и скромных людей! Как часто я зря проклинал тебя, проливал потоки чернильной брани на твои радости, бурные, бьющие через край, на пыль вокзалов, полных твоего шума, на растерянно мечущиеся omnibusy, которые ты берешь приступом, на твои хмельные песенки, распеваемые в фургонах, расцвеченных зелеными и розовыми нарядами, на твои заунывные шарманки, бродящие под балконами на пустынных дворах! Но сейчас, отрекаясь от своих заблуждений, я превозношу тебя и благословляю за радость, за облегчение мужественного и честного труда, которое ты даешь, за смех детей, приветствующих тебя, за гордость матерей, довольных возможностью приодеть своих малышей в твою честь, за достоинство, которое ты придаешь беднейшим жилищам, за праздничный наряд, отложенный для тебя в глубине старого, искалеченного комода. Особенно я благословляю тебя за то счастье, которое ты принесло сегодня утром в большой новый дом в конце старинного предместья.

Туалеты в порядке, с завтраком покончено, до него только дотронулись кончиками пальцев — а вы представляете себе, сколько может уместиться на кончиках пальцев этих девочек? — и вот уже они надевают шляпы перед зеркалом в гостиной. Бабуся всех осматривает, тут вкалывает булавку, там перевязывает бант, поправляет отцовский галстук. Весь этот мирок топает ногами от нетерпения, стремясь на улицу, привлеченный прелестью дня, как вдруг раздается звонок, грозящий омрачить праздник.

— А если не открывать? — предлагают дети.

И какое облегчение, какие радостные возгласы при виде входящего друга: Поль!

— Скорей, скорей, идите сюда, у нас такие хорошие вести!..

Он-то знал раньше всех, что пьеса принята. Ему стоило немалых усилий заставить Кардальяка прочесть ее, ибо тот при одном виде «столбиков», как он называл стихи, вознамерился отослать рукопись левантинке и ее массажисту — так он поступал со всеми драматическими произведениями, от которых ему хотелось отвязаться. Но Поль скрыл от друзей свое участие в этом деле. Что касается другого события, о котором никто не произнес ни слова из-за детей, он без труда догадался о нем по трепетному приветствию Маранна, чья светлая грива торчала надо лбом

совершенно прямо, взъерошенная руками самого поэта — это был его обычный жест в минуты радости, — по легкому замешательству Элизы, по торжествующему виду г-на Жуайеза, вырядившегося в свежееотглаженный костюм и приосанившегося; на его лице отражалось счастье всей его семьи.

Одна Бабуся хранила свою обычную безмятежность. Но в ней, в ее хлопотах о сестре чувствовалась какая — то еще более нежная забота, старание сделать сестру как можно красивее. Как она была прелестна в свои двадцать лет, когда украшала других — без зависти, без сожаления, с чувством, похожим на сладостное самоотречение матери, празднующей юную любовь своей дочери в памяти своего бывшего счастья! Поль видел это, он даже был единственный, кто это видел. Но, продолжая восхищаться Алиной, он с грустью спрашивал себя, найдется ли когда-нибудь в этом материнском сердце место для других привязанностей, кроме семейных, для забот вне спокойного и светлого круга, где Бабуся так мило возглавляла вечерние занятия рукодельем.

Как известно, любовь — это бедный слепец, лишенный к тому же слуха, дара речи, слепец, который руководствуется предчувствиями, предположениями, нервной чуткостью больного. Право, жаль смотреть на то, как она блуждает, бредет ощупью, спотыкается на каждом шагу, нащупывая опору среди окружающих предметов," находя себе дорогу с недоверчивой неловкостью калеки. В ту самую минуту, когда он сомневался в чуткости Алины, Поль, объявив своим друзьям, что уезжает из Парижа надолго, быть может, на несколько месяцев, не заметил внезапной бледности молодой девушки, не услышал страдальческого взгласа, вырвавшегося из ее обычно сдержанных уст:

— Вы уезжаете?

Он уезжает, он едет в Тунис, обеспокоенный тем, что оставляет своего бедного Набоба, окруженного этой бешеной сворой. Правда, покровительство де Мора несколько успокаивает его, да к тому же это путешествие неизбежно...

— А Земельный банк? — спросил старый бухгалтер, возвращаясь к своей мысли. — Как там обстоят дела? Имя Жансуле все еще в списке членов правления... Неужели вы не можете вытащить его из этой пещеры Али-Бабы? Берегитесь, берегитесь!..

— Я это прекрасно понимаю, господин Жуайез. Но чтобы уйти оттуда с честью, нужны деньги, много денег, надо снова пожертвовать двумя-тремя миллионами, а у нас их нет... Для того я и еду в Тунис, чтобы попытаться вырвать у жадного бея часть огромного богатства, которое он

незаконно задерживает... Сейчас у меня есть еще какая-то надежда на успех, а потом, может быть...

— Тогда поезжайте скорее, голубчик, и если вы вернетесь не с пустыми руками, чего я вам от души желаю, займитесь прежде всего бандой Паганетти. Подумайте: ведь достаточно одного акционера, менее терпеливого, чем другие, чтобы все пошло прахом, чтобы потребовать расследования, а вы знаете, что обнаружит расследование... Вот почему, — добавил г-н Жуайез, наморщив лоб, — меня удивляет, что Эмерленг из ненависти к вам не приобрел тайком акций...

Он был прерван хором проклятий и гневных возгласов, вызванных именем Эмерленга у молодежи, ненавидевшей толстого банкира за зло, которое он причинил их отцу, а также за то зло, которое он хотел причинить славному Набобу, а Жансуле из-за Поля де Жери все в этом доме обожали.

— Эмерленг! Бессердечный негодяй! Гадкий человек!

Но под эти крики наш фантазер продолжал развивать мысль о том, что было бы, если бы толстый барон стал акционером Земельного банка с целью подвести своего врага под суд. Можно представить себе изумление Андре Маранна, не имевшего ко всему этому никакого отношения, когда г-н Жуайез повернулся к нему с побагровевшим, налившимся кровью лицом и, указывая на него перстом, произнес грозные слова:

— Самый большой плут из всех присутствующих — это вы, милостивый государь!

— Папа, папа! Что ты говоришь?

— А? Что? Ах, простите, милый Андре!.. Я вообразил, что нахожусь в кабинете судебного следователя и что передо мной стоит этот мошенник. Черт его знает, куда меня заносит мое проклятое воображение!..

Раздавшийся вслед за тем взрыв хохота выплеснулся в открытые окна наружу и смешался со стуком множества экипажей и с шумом повоскресному нарядной толпы на авеню Терн. Тут автор «Мятежа» воспользовался перерывом, чтобы спросить, не пора ли двинуться в путь. Уж поздно: все хорошие места в Булонском лесу будут захвачены...

— В Булонский лес — в воскресенье? — воскликнул Поль де Жери.

— О, наш лес совсем непохож на ваш! — улыбаясь, ответила Алина. — Пойдемте с нами, и вы увидите...

Случалось ли вам прервать одинокую прогулку и отдаться созерцанию, растянувшись на поросшей травой лесной прогалине, среди причудливой растительности, пробивающейся между опавшими осенними листьями, такой разнообразной и пестрой, и предоставить взору блуждать по земле? Постепенно ощущение высоты теряется, ветви дубов, скрестившиеся над

вашей головой, образуют недостижимый свод, и вы видите, как под одним лесом возникает другой, доселе вам неизвестный, как он открывает перед вами свои далеко убегающие, пронизанные таинственным зеленым светом аллеи, образуемые реденькими или, наоборот, разросшимися кустиками с круглыми верхушками, экзотическими и дикими с виду, напоминающими то стебли сахарного тростника, то стройные, чопорные пальмы или изящные чаши с оставшейся в них каплей воды, канделябры с желтыми огоньками, которые ветер задувает, проносясь мимо. И не чудо ли, что под этими легкими тенями живут крошечные растения, тысячи насекомых, чье существование, если его рассмотреть поближе, раскрывает вам все свои тайны? Муравей, отягощенный своей ношей, подобно дровосеку, тащит кусочек коры куда больше его самого; жук семенит по травинке, переброшенной, точно мост, с одного ствола на другой, меж тем как под высоким папоротником, растущим одиноко на круглой площадке, бархатистой от мха, маленькая букашка, синяя или красная, ждет, распрямив усики, когда другая козявка, находящаяся еще где-нибудь в пути на пустынной аллее, придет к ней на свидание под гигантским деревом. Это маленький лесок под большим лесом, слишком близкий к земле, чтобы тот мог его заметить, слишком скромный, слишком скрытый, чтобы до него могли донестись мощные созвучия песен и бурь.

Нечто подобное можно наблюдать и в Булонском лесу. За посыпанными песком, политыми, чистыми аллеями, которые вереницы колес, медленно огибающие озеро, бороздят целый день, пробегая по ним вновь и вновь, за этим восхитительным убранством из зеленых изгородей, плененной воды, покрытых цветами утесов подлинный лес, дикий лес с многолетними зарослями растет и пускает новые побеги, образуя непроницаемые уголки с миниатюрными тропинками и шумными ручьями. Это лес людей маленьких, смиренных, маленький лес под большим. Полю были знакомы лишь длинные аллеи и сверкающее озеро, по которым скользил его взор во время аристократических прогулок, из глубины коляски или с высоты четырехколесного шарабана, возвращающегося, пыля, со скачек, и сейчас он в изумлении оглядывал прелестный укромный уголок, куда его привели друзья.

Он стоял на берегу Зеркального пруда, притаившегося под ивами, покрытого кувшинками и болотными растениями, пересеченного широкими полосами белого муара там, где солнечный свет падал на его поверхность; гладь пруда, словно алмазными острями, была утыкана длинными лапками водяных паучков.

Все уселись на пологом берегу, защищенном уже густой, хотя еще

нежной зеленью. Хорошенькие внимательные личики, дышащие покоем, пышные юбки, яркими пятнами выделявшиеся на траве, приводили на память «Декамерона»,^[46] но только наивного и целомудренного. Словно для того, чтобы усилить умиротворяющее впечатление от окружающей природы, чтобы дополнить сходство этого уголка с глухой сельской местностью, по дороге к Сюренн, в просвете между ветвями вращались два крыла мельницы, меж тем как от ослепительного, блистательного зрелища, возникавшего на перекрестках лесных дорог, сюда доносился лишь смутный непрерывный гул, который в конце концов переставали замечать. Голос поэта, молодой, выразительный, один раздавался в тишине. Стихи улетали, трепеща, чуть слышно повторяемые другими взволнованными устами, сопровождаемые приглушенными возгласами одобрения, вызывавшие дрожь в патетических местах. Бабуся смахнула крупную слезу. Вот что значит не иметь в руках вышивания!

Первое произведение! «Мятеж» для Андре был именно первым произведением, а первое произведение всегда бывает слишком обширно и запутанно, потому что автор вкладывает в него весь свой запас мыслей и чувств, бурлящих, словно вода возле шлюза, но зато оно нередко бывает и самым насыщенным, если не самым лучшим произведением писателя. Никто не мог предсказать судьбу, которая его ожидала; и волнение, вызванное этой неуверенностью, сливалось с белоснежными мечтаниями Элизы, с фантастическими видениями г-на Жуайеза и с более трезвыми надеждами Алины, заранее устраивавшей скромное счастье своей сестры в сотрясаемом ветрами, но возбуждающем зависть толпы семейном гнездышке поэта.

Ах, если бы кто-нибудь из тех, кто гулял, в сотый раз огибая озеро, удрученный привычным однообразием вида, если бы он раздвинул ветви, как удивила бы его эта картина! Но мог ли он подозревать, сколько таилось страсти, мечтаний, поэзии и надежд в этом зеленом уголке, который был немногим шире зубчатой тени папоротника на мху?

— Вы были правы, я не знал Булонского леса, — тихо сказал Поль Алине, опиравшейся на его руку.

Они шли теперь по узкой и тенистой аллее быстро и намного опередили остальных. Однако их привлекали не терраса Концена и не хрустящая на зубах жареная рыба. Нет, прекрасные стихи, которые они только что слышали, унесли их высоко-высоко, и они еще не спустились на землю. Дорога, непрерывно от них убегавшая, расширялась вдали, а даль сияла, сверкала мириадами искр, словно весь солнечный свет этого прекрасного дня ожидал их на опушке. Никогда еще Поль не чувствовал

себя таким счастливым. Эта легкая рука, лежавшая на его руке, эта детская походка, к которой он приноравливал свой шаг, могли бы сделать его жизнь приятной и легкой, как эта прогулка по зеленой мшистой аллее. Он сказал бы об этом молодой девушке просто, так, как он это чувствовал, если бы не боялся вспугнуть доверчивость Алины, несомненно, вызванную тем чувством, которое он — как это ей было известно — питал к другой и которое, по-видимому, исключало для них всякую мысль о любви.

Вдруг прямо перед ними выделились на светлом фоне фигуры всадников, вначале смутные, с трудом различимые; мужчина и женщина на прекрасных лошадях въезжали в таинственную аллею среди золотистых полос, среди теней от листьев, среди солнечных бликов, усеявших землю; эти блики двигались, играя и образуя прихотливые узоры на приближавшихся всадниках, от сбруи лошадей до синей вуали амазонки. Всадники ехали медленно, неровным аллюром, и Алине и Полю, скрытыми за густыми деревьями, было видно, как, поскрипывая новой кожаной сбруей и звякая гордо встряхиваемыми удилами, белыми от пены, точно после бешеного галопа, прошли два породистых коня; сидевших на конях мужчину и женщину сближала узкая тропинка. Одной рукой он поддерживал ее гибкую талию, затянутую в корсаж темного сукна; она положила руку на плечо спутника и нежно склонила к нему маленькую головку, скрытую тюлем вуалетки.

Этого любовного объятия, убаюкиваемого нетерпеливым шагом придерживаемых горячих лошадей, этого поцелуя, спутавшего поводья, этой страсти, которая блуждала по лесу, среди бела дня, с таким пренебрежением к тому, что скажет общество, было бы достаточно, чтобы выдать герцога и Фелицию, если бы их и так нельзя было узнать по гордому и чарующему облику амазонки и по аристократической непринужденности ее спутника, по бледности его лица, лишь слегка порозовевшего от скачки и чудодейственных пилюль Дженкинса.

Герцога всегда можно было встретить в Булонском лесу в воскресенье. Он любил, так же как и его повелитель, показываться парижанам, поддерживать свою популярность во всех слоях общества. К тому же герцогиня никогда не сопровождала его в этот день, и он мог, не стесняясь, сделать привал в сельском домике Сент — Джемс, известном всему Парижу; на его розовые башенки, вырисовывавшиеся между деревьями, показывали друг другу, перешептываясь, школьники. Но надо было быть такой сумасшедшей, такой дерзкой, как Фелиция, чтобы выставить себя напоказ, погубить навсегда свою репутацию... Заглушенные расстоянием стук копыт, шорох задетых кустарников, смятая и вновь распрямившаяся

трава, раздвинутые и вновь сомкнувшиеся ветви — вот все, что осталось от этой встречи.

— Вы видели? — спросил Поль.

Она видела и все поняла, несмотря на свою душевную чистоту; краска стыда покрыла ее лицо — стыда за ошибки тех, кого любишь.

— Бедная Фелиция! — прошептала Алина; она жалела не только промелькнувшую перед ними несчастную девушку, забывшуюся до такой степени, но и того, кого этот поступок должен был поразить в самое сердце.

Однако Поля де Жери ничуть не удивила эта встреча — она подтверждала уже возникшие у него ранее подозрения и оправдывала его инстинктивное отдаление от очаровательницы, начавшееся во время их недавнего совместного обеда. И все же ему было приятно, что Алина его жалеет, приятно уловить сочувствие в ее голосе, ставшем еще более нежным, в этой руке, которая крепче оперлась на его руку. Как дети, притворяющиеся больными, чтобы испытать радость материнской ласки, он позволял утешительнице отвлекать его от горестных мыслей, говорить ему о его братьях, о Набобе и о предстоящем путешествии в Тунис — в чудесный край, если верить бывавшим там.

— Вы должны почаще писать нам длинные письма обо всем интересном, что увидите в дороге, о местах, где будете жить... Гораздо яснее видишь тех, кто вдали, когда отчетливо представляешь себе окружающую их обстановку...

Продолжая беседовать, они дошли до конца тенистой аллеи, выходящей на огромный луг, запруженный колясками, всадниками, сменявшими друг друга, и толпой, которая отсюда казалась топчущейся в пушистой пыли, смутно напоминая сбившееся в кучу стадо. Поль замедлил шаги; последние минуты уединения придали ему смелости.

— Знаете, о чем я думаю? — сказал он, взяв руку Алины. — Так приятно чувствовать себя несчастным, если утешать будете вы!.. Но как ни драгоценна для меня ваша жалость, я не могу позволить вам сочувствовать воображаемому горю. Нет, мое сердце не разбито, напротив, в нем теперь еще больше сил, еще больше желания жить. И если бы я сказал вам, какое чудо спасло его, какой талисман...

Он протянул ей маленькую овальную рамку, окружавшую профиль без теней, простой контурный набросок карандашом, — она узнала себя и удивилась, что она так хороша, словно это было ее отражение в волшебном зеркале Любви. На глаза ее навернулись беспричинные слезы, вырвался на волю источник, скрытый в ее девичьей груди.

Поль продолжал:

— Этот портрет принадлежит мне. Он был сделан для меня. Однако перед отъездом на меня нашло сомнение... Я хочу получить его от вас... Возьмите его, и если найдете более достойного друга, человека, который полюбит вас более глубокой, более преданной любовью, я разрешаю вам отдать ему этот портрет..."

Она оправилась от смятения и, глядя де Жери прямо в глаза, сказала серьезно и ласково:

'- Если бы я слушалась только сердца, я знала бы, что вам ответить: я ведь тоже люблю вас. Но я не свободна, я не одна — Взгляните туда...

Она показала на отца и сестер; подавая им издали знаки, они догоняли их.

— Ну, а я? — живо спросил Поль. — Разве на мне не лежат такие же обязанности, такие же заботы? Мы оба — вдовствующие главы семейств. Разве вы не хотите полюбить моих родных так, как я люблю ваших?

— Правда? Правда? Вы оставите меня с ними? Я буду Алиной для вас и по-прежнему Бабусей для всех наших детей?.. О, тогда! — воскликнула девушка, сияя радостью. — Вот мой портрет, возьмите его... а с ним и всю мою душу, навеки...

XVIII. ПИЛЮЛИ ДЖЕНКИНСА

Примерно через неделю после происшествия с Моэссаром, внесшего новое осложнение в ужасающую путаницу его дел, Жансуле, выйдя в четверг из Палаты, велел отвезти себя в особняк де Мора. Он еще не был там после стычки на Королевской улице, и при мысли, что он встретится с герцогом, по его толстой коже бегали мурашки, словно у школьника, отправляющегося к директору после драки в классе. И тем не менее надо было вынести всю тяжесть этой встречи. В Палате ходили слухи о том, что Лемеркье закончил свой доклад, доказывавший необходимость кассации выборов, — шедевр логики и злобы, который поможет ему легко одержать победу над Набобом, если только де Мора, всесильный в Палате, не пожелает призвать его к порядку. Дело, как видите, принимало серьезный оборот, и недаром щеки Набоба пылали в то время, как он изучал, глядя в зеркальные стекла кареты, разные выражения своей физиономии, улыбки придворного льстеца, стараясь придумать, как бы половчее ему войти, как бы пустить в ход одну из тех добродушных и нахальных выдумок, которые помогали ему снискать благоволение Ахмеда и теперь еще оказывались полезными во дворце французского сановника. Все это сопровождалось у него сердцебиением и тем легким ознобом, который предшествует решительным действиям, хотя бы и предпринятым в раззолоченной карете.

Подъехав к особняку со стороны Сены, он был очень удивлен, увидев, что швейцар этого подъезда, как в дни больших приемов, направляет экипажи на Лилльскую улицу, чтобы ворота оставались свободными для выезда. «Что тут происходит?» — подумал слегка встревоженный Набоб. Может быть, концерт у герцогини, благотворительный базар, какое-нибудь празднество, на которое де Мора не пригласил его из-за недавно учиненного им скандала? Беспокойство Жансуле усилилось, когда, проехав парадный двор среди стука захлопывающихся дверей и непрерывного шуршанья колес по песку, а затем, войдя в подъезд, он очутился в огромном вестибюле, где было полно народу. Все эти люди не входили ни в одну из внутренних дверей и лишь в беспокойстве расхаживали взад и вперед вокруг стола швейцара, где записывались прославленные имена знатного Парижа. Казалось, над домом пронесся порыв разрушительного ветра, который унес какую-то долю его величественного покоя и позволил тревоге и опасности вторгнуться в его безмятежность.

— Какое несчастье!

— Это ужасно...

— И так внезапно!..

Люди встречались и расходились, обмениваясь отрывистыми замечаниями. У Жансуле мелькнула страшная мысль.

— Герцог болен? — спросил он одного из слуг.

— Ах, сударь!.. Он при смерти... До утра не протянет...

Если бы крыша дворца свалилась на голову Жансуле, то и она не оглушила бы его сильнее. В глазах у него замелькали красные пятна, он пошатнулся и опустился на одну из длинных, обитых бархатом скамеек около большой клетки с макаками. Обезьяны, до крайности возбужденные этой сумятицей, зацепившись хвостами и маленькими лапками с длинным большим пальцем за перекладины, висели на них гроздьями и, озадаченные, полные любопытства, усердно строили презабавные гримасы ошеломленному толстяку, уставившемуся на каменные плиты пола и громко повторявшему вслух:

— Я погиб... Я погиб...

Герцог умирал. Он почувствовал себя плохо внезапно, в воскресенье, когда вернулся из Булонского леса. У него начались невыносимые, жгучие боли внутри, словно там кто-то водил раскаленным железом; боли сменялись летаргическим холодом и длительным забытьём. Дженкинса вызвали немедленно, он не сказал ничего определенного, прописал болеутоляющие средства. На следующий день боли возобновились с еще большей силой, сопровождаясь тем же ледяным оцепенением, только выраженным еще резче, как будто жизнь, вырываемая с корнем, яростными толчками выбивалась наружу. Никого из окружающих это не тревожило. «Последствия вчерашней прогулки в Сент-Джемс», — шептали в передней. Красивое лицо Дженкинса было совершенно спокойно. Во время своих утренних визитов он сказал в двух-трех домах о болезни герцога, и то вскользь, так, что никто не обратил на это особого внимания.

Сам де Мора, несмотря на крайнюю слабость и ощущение какой-то удивительной пустоты в голове («полное отсутствие мыслей», — как он выражался), не подозревал всей серьезности своего положения. И только на третий день, когда он проснулся утром, вид тонкой струйки крови, вытекшей у него изо рта и окрасившей подушку, заставил содрогнуться этого изнеженного, изящного вельможу, питавшего отвращение ко всякому человеческому страданию, особенно к болезням, и вдруг заметившего, что коварный недуг подкрался к нему, со всей неопрятностью, слабостью, последствием которой является то, что человек теряет над собой власть — делает первую уступку смерти. Монпавон, войдя вслед за Дженкинсом,

уловил взгляд министра, внезапно омрачившийся пред лицом страшной истины, и ужаснулся разрушительным переменам, происшедшим за несколько часов в изможденном лице де Мора, на котором морщины, свойственные его возрасту и только что появившиеся, слились со страдальческими складками; вялость мышц говорила о серьезных внутренних поражениях. Он отвел Дженкинса в сторону, пока герцогу, верному светским привычкам, несли все, что было нужно для утреннего туалета в кровати, целое сооружение из хрусталя и серебра, составлявшее разительный контраст с желтоватой бледностью больного.

— Гм... Послушайте, Дженкинс!.. Герцог, видимо, очень плох?

— Боюсь, что да, — шепотом ответил ирландец.

— Но что же такое с ним?

— То, чего он добивался, черт возьми! — со злобой ответил тот. — В его годы нельзя безнаказанно быть молодым. Эта страсть ему дорого обойдется.

Дженкинс был полон злорадства, но он все же сумел его скрыть и, изменив выражение лица, надув щеки так, словно голова у него была налита водой, глубоко вздохнул, сжимая руки старому маркизу:

— Бедный герцог!.. Бедный герцог!.. Ах, друг мой, я в отчаянии!..

— Смотрите, Дженкинс, — холодно сказал Монпавон, высвобождая руки, — вы берете на себя большую ответственность. Герцогу так плохо... фф... фф... А вы никого не приглашаете. Ни с кем не советуется?

Ирландец воздел руки к нему, словно говоря: «К чему?»

Монпавон настаивал: необходимо вызвать Бриссе. Жуслена, Бушро, всех светил.

— Вы испугаете его.

Монпавон выпятил грудь — единственную гордость одряхлевшего боевого коня.

— Дорогой мой! Если б вы видели Мора и меня в траншеях Константины...^[47] фф... фф... Мы никогда не опускали глаз... Мы не знали страха... Сообщите своим коллегам, а я беру на себя предупредить его.

Консилиум состоялся вечером, в глубокой тайне — этого потребовал герцог, стыдившийся своей болезнью, своих страданий, которые как бы развенчивали его, низводили до уровня обыкновенных людей. Подобно африканским царькам, которые прячутся, умирая, в глубине своих дворцов, он хотел бы, чтобы его сочли вознесенным на небо, преобразившимся, превратившимся в бога. К тому же он не выносил жалости, соблезнований, выражений сочувствия, которыми окружат его изголовье, не выносил плача, подозревая, что он притворен, а если даже он и был

искренен, то тем сильнее раздражал его своей обнаженной уродливостью.

Он всегда ненавидел сцены, преувеличенные проявления чувств — все, что могло взволновать его, нарушить его душевное равновесие. Окружающие знали это. Вот почему было дано распоряжение не доводить до него отчаянные, трагические призывы, которые шли к де Мора со всех концов Франции, как к одному из пристанищ, чьи огоньки горят в лесу во тьме ночи, в чьи двери стучатся странники. Не то чтоб он был жесток к несчастным, — он даже ощущал в себе склонность к жалости, но он смотрел на нее как на мелкое чувство, как на слабость, недостойную сильного человека, и, отказывая в жалости другим, он опасался вызвать ее по отношению к себе, опасался поколебать свое мужество. Никто во дворце, кроме Монпавона и камердинера Луи, не знал, зачем пришли три человека, таинственно введенные к министру. Даже герцогиня не знала об этом. Отделенная от своего мужа теми преградами, какие политика и высший свет ставят между супругами в высокопоставленных семьях, она считала, что у него легкое недомогание, болезнь, вызванная главным образом его мнительностью, и в ту самую минуту, когда врачи поднимались по главной лестнице, погруженной в полумрак, ее половина ярко осветилась для одного из тех девичьих балов, которые начала вводить в моду изобретательность праздного Парижа.

Консилиум был обычный — торжественный и зловещий. Врачи не носят более огромных париков, как во времена Мольера, но они по-прежнему облакаются все в то же глубокомыслие жрецов Изрды, астрологов, изрекающих кабалистические формулы и покачивающих головами; им не хватает лишь для вящего комического аффекта старинных остроконечных шапок. Здесь благодаря окружающей обстановке картина приобретала внушительный вид. В просторной комнате, преображенной и как бы увеличенной неподвижностью хозяина, строгие, важные фигуры окружали кровать, на которой сосредоточивался свет, падавший среди белизны простынь и пурпура занавесей на изможденное, побледневшее лицо, окутанное спокойствием, как покрывалом, как саваном. Медики говорили шепотом, украдкой бросали друг на друга взгляды, перекидывались тарбарскими словами, оставались бесстрастными, невозмутимыми. Но в этом немом, замкнутом выражении лица, какое бывает у врача и судьи, в этой торжественности, которыми наука и правосудие окружают себя, чтобы скрыть свою слабость или свое невежество, не было ничего, что могло бы взволновать герцога.

Сидя на кровати, он продолжал спокойно говорить, глядя вверх. Казалось, что в его взгляде мысль поднималась ввысь, чтобы улетучиться.

Монпавон холодно отвечал ему, не поддаваясь волнению, — он брал у своего друга последний урок выдержки. А Луи, прислонившись в глубине к двери, ведущей в апартаменты герцогини, стоял, как призрак молчаливого слуги, обязанного хранить небрежное равнодушие.

Лихорадило только Дженкинса; он один был встревожен.

Полный угодливого рвения по отношению к своим «высокочтимым коллегам», как он выражался, сложив губы бантиком, Дженкинс бродил вокруг торжественного соборика, пытаясь присоединиться к нему, но коллеги держали его на расстоянии и отвечали ему надменно, так, как Фагон — Фагон Людовика XIV — мог говорить с лекарем, призванным к королевскому изголовью. Особенно косился на изобретателя пилюль старик Бушро. Наконец, тщательно обследовав, расспросив больного, они удалились на совещание в маленькую гостиную, обставленную лакированными китайскими вещами, с блестящими, расписанными стенами и потолком, наполненную тщательно подобранными безделушками, ничтожность которых составляла странный контраст с важностью совещания.

Торжественная минута! Тревога обвиняемого, ожидающего решения суда — жизнь или смерть, отсрочка или помилование!

Де Мора все время поглаживал длинными белыми пальцами усы — это был его излюбленный жест, — продолжал беседовать с Монпавоном о клубе, об артистическом фойе театра Варьете, расспрашивал, какие новости в Палате, как обстоит дело с избранием Набоба, — все это холодно, без малейшей рисовки. Затем, вероятно, устав или опасаясь, как бы его взгляд, беспрестанно возвращающийся к висящей напротив портъере, из-за которой должно сейчас появиться решение его судьбы, не выдал волнения, таившегося в глубине его души, он откинул голову, закрыл глаза и открыл их лишь тогда, когда вернулись врачи. Все те же лица, холодные и зловещие, лица судей, с чьих уст готово слететь роковое слово, решающее участь человека, смертный приговор, — в суде его оглашают безбоязненно, а врачи, чью науку он зачеркивает, избегают его произносить и лишь намекают на него.

— Ну что ж, господа, каково мнение науки? — спросил больной.

В ответ послышались неясно произносимые, фальшивые, подбадривающие фразы, неопределенные советы; затем трое ученых поспешили удалиться, торопясь покинуть больного, чтобы избежать ответственности за трагический исход. Монпавон бросился за ними. Дженкинс остался около постели, сраженный жестокими истинами, которые он услышал во время консилиума. Сколько он ни прижимал руку к

сердцу, сколько раз ни повторял свой знаменитый девиз, Бушро не пощадил его. Это был не первый пациент ирландца, который внезапно погибал на глазах ученого-медика, но он надеялся, что смерть де Мора послужит высшему обществу спасительным предостережением и что префект полиции после этого ужасного несчастья отправит «торговца шпанскими мушками» сбывать свои возбуждающие средства по ту сторону пролива.

Герцог понял сразу, что ни Дженкинс, ни Луи не передадут ему подлинного заключения консилиума. Он не настаивал и отнесся терпеливо к их наигранному спокойствию, даже сделал вид, что разделяет его, верит в благополучный исход, который они ему возвестили. Но когда вернулся Монпавон, он подозвал его к себе и, разглядев обман даже сквозь румяна, покрывшие эту развалину, сказал:

— Только, пожалуйста, без притворства... Ты-то мне должен сказать всю правду. Что они говорят? Надежды мало, да?

Ответу Монпавона предшествовало многозначительное молчание, затем он грубо, боясь расчувствоваться, сказал:

— Дело дрянь, мой бедный Огюст...

Герцог выслушал это, не изменившись в лице.

— А! — сказал он просто.

Он машинально дотронулся до усов, но черты его оставались неподвижными. И он немедленно принял решение.

То, что какой-нибудь несчастный, умирающий в больнице, без крова и без близких, не имея другого имени, кроме номера на изголовье, принимает смерть как избавление или переносит ее как последнее испытание, то, что старый крестьянин, засыпающий навсегда, скрюченный, разбитый, одеревенелый, в своей кротовой норе, закоптелой и темной, уходит без сожаления, что он заранее ощущает вкус свежей земли, на которую положил столько труда, — это понятно. Но как много среди них и таких, которых привязывает к жизни нужда, таких, которые кричат, цепляясь за свой скарб, за свои лохмотья: «Я не хочу умирать»... — и уходят, до крови расцарапав себе руки, обломав себе ногти этим последним усилием. Здесь же дело обстояло иначе.

Все иметь и все потерять — это катастрофа!

В наступившем молчании грозной минуты, в то время как из гостиных герцогини до него доносились приглушенные звуки бальной музыки, все, что привязывало этого человека к жизни, — власть, почести, богатство, — все это великолепие должно было уже казаться ему далеким, отошедшим в безвозвратное прошлое. Нужно было обладать исключительным мужеством, чтобы устоять перед таким ударом, не утратив чувства

собственного достоинства. Рядом не было никого, кроме Друга, врача и слуги — трех близких людей, знавших все его тайны. Отодвинутые лампы оставляли постель в тени, и умирающий мог отвернуться к стене и растрогаться, думая о своей судьбе. Но нет! Ни одной секунды слабости, никаких бесполезных проявлений чувств. Не сломав ни одной ветви у каштанов в саду, не заставив увянуть ни один цветок на парадной лестнице дворца, приглушая свои шаги мягкими коврами. Смерть пришла, заглянула к этому могущественному сановнику и сделала ему знак: «Пойдем!» И он ответил просто: «Я готов». Уход светского человека, неожиданный, быстрый и благопристойный...

Светский человек! Де Мора был именно светским человеком. Всегда в маске, в перчатках, в манишке, белой атласной манишке, какую носят учителя фехтования в дни больших состязаний, сохраняя незапятнанным, чистым свой боевой убор, все принося в жертву безупречной внешности, которая заменяла ему доспехи, он вкспромтом стал политическим деятелем и, перейдя из гостиных на более широкие подмости, превратился в политического деятеля высшего ранга благодаря одним лишь своим качествам светского человека, искусству слушать и улыбаться, приобретенному опытом знанию людей, скептицизму и стойкости. Стойкость не покинула его и в смертный час.

Упорно вглядываясь в оставшееся ему короткое время, ибо черная гостья спешила, и он уже ощущал на своем лице дуновение на дверей, которых она не закрыла за собой, он думал лишь о том, чтобы, воспользовавшись этим временем, выполнить все обязанности, связанные с кончиной человека, занимавшего высокое положение, когда ничья преданность не должна остаться невознагражденной и никто из друзей не должен быть скомпрометирован. Он назвал людей, которых он хотел видеть, за ними сразу же послали: велел предупредить правителя его канцелярии и, когда Дженкинс заметил, что это утомит его, спросил:

— Вы ручаетесь, что я проснусь завтра утром? Сейчас у меня подъем... Надо этим воспользоваться.

Луи спросил, сказать ли герцогине. Прежде чем ответить, герцог прислушался к аккордам; они улетали с бала в открытые окна, и там, в ночи, их еще длил незримый смычок.

— Подождем. Мне надо кое-что закончить.

Он велел пододвинуть к кровати маленький лакированный столик, чтобы самому отобрать письма, подлежащие уничтожению. Чувствуя, что его силы слабеют, он подозвал Монпавона.

— Сожги все, — сказал герцог упавшим голосом и, видя, что тот

подошел к камину, где, несмотря на приближение лета, пылал огонь, добавил: — Нет, не здесь. Их слишком много... Могут прийти...

Монпавон вынул легкий ящичек из стола и сделал знак камердинеру, чтобы тот осветил ему. Дженкинс рванулся вперед.

— Останьтесь, Луи, вы можете понадобиться герцогу.

Он взял у Луи лампу. Осторожно двигаясь по большому коридору, оглядывая приемные, галереи, где в уставленных искусственными растениями каминах не было заметно ни искры огня, они блуждали, подобно призракам, в тишине и тьме огромного здания, оживавшего только там, справа, где радость пела, как птица на кровле, которая вот-вот обрушится.

— Нигде нет огня. Что нам со всем этим делать? — в полном замешательстве спрашивали друг друга Монпавон и Дженкинс.

Они были похожи на воров, которые тащат шкатулку с ценностями, не зная, как ее взломать. В конце концов Монпавон, потеряв терпение, направился к единственной еще не открывавшейся ими двери.

— Ну что ж!.. Раз мы не можем их сжечь, мы их утопим.

И они вошли.

Куда они попали? Только Сен-Симон, который рассказывает о гибели одного из державных властителей,^[48] о путанице, которую вносит в этикет, в чины и ранги смерть, особенно смерть внезапная, мог бы дать вам на это ответ... Маркиз де Монпавон своими изнеженными, холеными руками спускал воду. Доктор передавал ему разорванные письма, пачки писем, шелковистых, переливавшихся всеми цветами радуги, надушенных, украшенных вензелями, гербами, девизами, листки, исписанные разными почерками — мелкими, торопливыми, цепкими, опутывающими, убеждающими. И все эти странички крутились одна над другой в водоворотах, которые мяли их, пачкали, которые растворяли слабые чернила, перед тем как дать им исчезнуть в сточной трубе, урчавшей в глубине зловонной клоаки.

Это были любовные письма всех сортов, начиная с записки авантюристки: «Я видела, как вы вчера проезжали в Булонском лесу, ваша светлость...» — и кончая аристократическими упреками предпоследней любовницы, жалобами покинутых и еще свежей страницей недавних признаний. Монпавон знал все эти тайны, ставил имя на каждой из них:

— Это госпожа Моор... Ба! Госпожа д Атис!..

Смесь корон и инициалов, прихотей и старых привычек, загрязненных в эту минуту фамильярной взаимной близостью, — все это тонуло в отвратительном уединенном уголке, при свете лампы, под прерывающийся

шум ливня, уходя в забвение постыдным путем. Вдруг Дженкинс приостановил свою разрушительную работу. Два серых атласных конверта затрепетали в его пальцах...

— Кто это? — спросил Моипавон, видя незнакомый почерк и заметив смятение ирландца. — Ах, доктор! Если вы будете все читать, мы никогда не кончим...

Лицо Дженкинса пылало, он держал в руке оба письма, обуреваемый желанием унести их, чтобы упиться ими на свободе, доставить себе сладостные мучения, а быть может, и заготовить себе оружие против неосторожной женщины, поставившей свое имя. Но строгость маркиза смущала его. Как отвлечь Монпавона, как его удалить? Случай представился сам собой. Затерянная в этих же листках крошечная страничка, исписанная дрожащей старческой рукой, привлекла любопытство шарлатана.

— О-о, вот это уже не похоже на любовную записку! — сказал он с наивным видом.

«Герцог, на помощь, я тону! Высшая счетная палата снова сует нос в мои дела...»

— Что это вы читаете? — резко спросил Монпавон, вырывая письмо у него из рук.

И в ту же минуту, изумившись беспечности де Мора, столь небрежно хранившего интимные письма, он представил себе весь ужас положения, в которое поставит его смерть покровителя. Маркиз совсем забыл об этом, весь уйдя в свое горе. Подумав о том, что герцог, готовясь к смерти, может даже не вспомнить о нем, он оставил Дженкинса одного топить шкатулку Дон Жуана и поспешил вернуться в спальню. Но, услышав громкий разговор, он остановился за портьерой. До него донесся слезливый, как у нищего на паперти, голос Луи, пытавшегося разжалобить герцога своим отчаянием и просившего позволения взять несколько свертков золотых монет, валявшихся в каком-то ящике. О, каким хриплым голосом ответил ему герцог, голосом слабым, едва слышным, в котором чувствовалось усилие больного, вынужденного повернуться, оторвать глаза от дали, уже раскрывавшейся перед ним:

— Да, да... возьми... Но, ради бога, дай мне уснуть... Дай мне уснуть...

Ящички отпирались, запирались, слышалось короткое, прерывистое дыхание... Монпавон не зашел в комнату. Свирепая алчность слуги пробудила в нем гордость. Все что угодно, лишь бы не унижаться!

Сон, которого де Мора так настойчиво требовал, вернее, летаргия

длилась всю ночь и утро, с неполными пробуждениями, с мучениями, которые каждый раз успокаивали снотворным. Его уже не лечили, ему пытались лишь облегчить последние минуты, чтобы он проскользнул по этой страшной последней ступени, которая преодолевается так болезненно. Он открывал глаза, уже помутневшие, уставившиеся на витающие тени, на туманные очертания, подобные тем, что встают, дрожа, в волнах перед ныряющим пловцом. В четверг днем, около трех часов, он проснулся окончательно и, узнав Монпавона, Кардальяка и еще двух-трех близких людей, улыбнулся им и выдал одной фразой единственное, что его беспокоило:

— Что говорят об этом в Париже?

Об этом ходили слухи разные и противоречивые, но все говорили только о нем. Распространившаяся с утра по городу весть о том, что герцог де Мора тяжело болен, волновала улицы, гостиные, кафе, мастерские художников, возбуждала споры в редакциях газет, в клубах, в каморках консьержей, в омнибусах — всюду, где развернутые газетные листы сопровождали комментариями эту ошеломляющую последнюю новость.

Де Мора был самым блестящим олицетворением империи. В здании мы видим издали не фундамент, прочный или шаткий, не общий его облик, а позолоченный тонкий шпиль, разукрашенный, ажурный, добавленный для полноты картины. Из всей империи Франции и Европе был виден только де Мора. Шпиль упал — и здание утратило всю красоту форм, дало глубокую, непоправимую трещину. А сколько жизней увлек за собой этот внезапный обвал, сколько огромных состояний поколебали отзвуки сотрясений, вызванных этим крушением! Но ни одно состояние не пострадало так сильно, как у дельца, неподвижно сидевшего внизу, на длинной скамейке возле обезьянника.

Для Набоба эта смерть была его собственной смертью, его разорением; то был конец всему. Он так ясно сознавал это, что, узнав при входе в особняк о безнадежном состоянии герцога, не выразил сожаления, ничего не изобразил на своем лице, а произнес лишь два яростных слова, выразивших всю глубину человеческого эгоизма:

— Я погиб.

Эти слова все время вертелись у Набоба на языке, повторялись им машинально каждый раз, когда весь ужас его положения представлялся ему при внезапных вспысках сознания, как это случается во время опасных гроз в горах, когда неожиданно сверкнувшая молния освещает пропасть до дна, со всеми угрожающими зубцами скалистых стен и щетиною кустарника, который изорвет вас в клочья при падении.

Эта кратковременная острота зрения, какая бывает в момент катастрофы, позволила ему увидеть все подробности. Он видел кассацию своих выборов, почти несомненную теперь, когда нет де Мора, который выступил бы в его защиту; видел последствия этого провала, банкротство, нищету и нечто худшее, ибо когда рушатся неисчислимы богатства, они неизменно погребают под обломками частицу доброго имени человека. Но сколько терний, сколько шипов, царапин и жестоких ран, пока долетишь до дна! Через неделю срок векселям Швальбаха, то есть восемьсот тысяч франков, которые надо заплатить; возмещение убытков Моэссару, который требовал сто тысяч франков, грозя в противном случае потребовать от Палаты разрешения подать на Жансуле жалобу в суд; еще более жуткий процесс, который семьи двух маленьких мучеников Вифлеемских яслей намеревались затеять против основателей этого благотворительного учреждения, и вдобавок осложнения с Земельным банком. Единственная надежда на хлопоты Поля де Жери у бея, но такая смутная, такая несбыточная, такая далекая...

— Я погиб!.. Я погиб!..

Никто в огромном вестибюле не замечал его волнения. Толпа сенаторов, депутатов, государственных советников, вся высшая администрация проходила мимо, не видя его. Иные стояли с обеспокоенным и важным видом, облокотившись на два белых мраморных камина, расположенных друг против друга, и проводили таинственные совещания. Столько разочарованных, обманутых, рухнувших честолюбивых стремлений столкнулось в этом визите за минуту до смерти, что личные заботы преобладали над всеми другими тревогами.

Лица, как ни странно, не выражали ни жалости, ни скорби, а скорее гнев. Все эти люди как будто злились на герцога за его смерть, словно он бросал их на произвол судьбы. Слышались замечания:

— Ничего удивительного при таком образе жизни!

И тут эти господа показали друг другу на высокие окна, на толчею экипажей во дворе, а в этой толчее — на только что подъехавшую маленькую карету, из которой высунулась рука в тесно облегающей перчатке и, задевая дверцу кружевом рукава, протянула загнутую визитную карточку ливрейному лакею, сообщавшему последние известия.

Время от времени один из завсегдатаев дворца, из тех, кого умирающий призвал к себе, появлялся в этой суетлоке, отдавал приказание, затем уходил; озабоченное выражение его лица тотчас же отражалось на двадцати других лицах. Показался на минуту и Дженкинс, с развязанным галстуком, расстегнутым жилетом, со смятыми манжетами, во всем

беспорядке сражения, которое он давал там, наверху, страшной воительнице. Его сразу же окружили, засыпали вопросами. Да, безусловно, макаки, сплюсцивавшие свои короткие носы о решетку клетки, возбужденные необыкновенной суматохой и очень внимательные к тому, что происходило вокруг, словно они сознательно изучали человеческое притвор*ство, имели превосходный образец его в лице ирландского врача. Скорбь Дженкинса была великолепна, это была прекрасная, мужская, сильная скорбь, которая сжимала ему губы, вздымала грудь.

— Агония началась. Вопрос нескольких часов... — сказал он мрачно и, обратившись к подошедшему Жансуле, напыщенным тоном проговорил:

— Ах, друг мой, какой человек! Какое мужество! Он не забыл никого. Только что он говорил мне о вас.

— В самом деле?

— «Бедный Набоб, — сказал он. — Как обстоит дело с его избранием?»

И все! Больше герцог ничего не добавил...

Жансуле опустил голову. На что же он надеялся? Не достаточно ли и того, что в эту минуту такой человек, как де Мора, вспомнил о нем? Он вернулся на свою скамейку; безумная надежда подняла было в нем дух, но сейчас он снова впал в уныние. Он присутствовал, сам того не сознавая, при том, как почти совсем опустел обширный зал, и заметил, что остался единственным и последним посетителем, лишь тогда, когда услышал в надвигающихся сумерках громкую болтовню слуг:

— С меня довольно! Больше я тут не служу.

— А я остаюсь с герцогиней.

И эти планы, эти решения, на несколько часов опережавшие смерть, еще увереннее, чем медицина, выносили приговор светлейшему герцогу.

Набоб понял, что надо уходить. Но он все же решил расписаться у швейцара. Он подошел к столу и низко нагнулся, чтобы разглядеть список. Страница была заполнена. Ему указали свободное место под чьей-то подписью, выведенной совсем крошечными, тонюсенькими буквами, какие иногда выводят толстые пальцы. Когда он расписался, оказалось, что имя Эмерленга висит над его именем, подавляет, душит его, обвивая своим кровавым росчерком. Суеверный, как настоящий латинянин, Жансуле был поражен этим предзнаменованием и ушел, охваченный страхом.

Где он будет обедать? В клубе? На Вандомской площади? Снова слушать разговоры об этой смерти, мысль о которой не оставляла его!.. Он предпочел пойти наугад вперед, как все одержимые навязчивой идеей: он надеялся рассеять ее ходьбой. Вечер был теплый, благоухающий. Жансуле

шел по набережной, все время по набережной, на минуту углубился в гущу деревьев Курла-Рен, затем вернулся туда, где свежесть влаги смешивается с запахом тонкой пыли, характерным для ясных вечеров в Париже. В этот сумеречный час всюду было пусто. То тут, то там зажигались жирандоли для концертов, газовые рожки начинали просвечивать сквозь листву. Звон стаканов и тарелок, донесшийся из ресторана, вызвал у Набоба желание зайти туда.

Здоровяк все же проголодался. Ему подали обед на застекленной веранде, увитой зеленью, с видом на огромный портал Дворца промышленности, где герцог в присутствии тысячи людей приветствовал его как депутата. Тонкое аристократическое лицо всплыло перед ним во мраке таким, каким он видел его тогда, и в то же время воображение рисовало ему лицо герцога на погребальной белизне подушки. Вдруг, взглянув на карточку, поданную ему официантом, Набоб с изумлением увидел на ней число — двадцатое мая... Значит, не прошло даже месяца со дня открытия выставки! Ему казалось, что все это было десять лет назад. Горячая пища подбодрила его. До него донеслись из коридора голоса официантов:

— Что слышно о Мора? Говорят, он совсем плох...

— Да брось ты! Выкрутится... Таким везет.

Надежда так прочно коренится в природе человека, что, несмотря на все виденное и слышанное, достаточно было этих нескольких слов, подкрепленных двумя бутылками бургундского и несколькими рюмками ликера, чтобы вернуть Жансуле мужество. В конце концов ведь бывает, что люди в худшем состоянии и то выздоравливают. Врачи часто преувеличивают серьезность болезни, чтобы потом, когда удастся ее победить, им было от этого больше чести. «Пойти посмотреть?..» Он вернулся к особняку, полный иллюзий, призывая счастье, которое столько раз служило ему в жизни. И в самом деле, внешний вид дворца мог укрепить в нем надежду. Начиная с проезда, освещенного уходящими вдаль огнями, величественного и пустынного, и кончая входной дверью, у которой ожидала широкая старомодная карста, во всем было что-то успокаивающее, мирное, как будто это был обычный вечер.

В столь же мирном вестибюле горели две огромные лампы. Ливрейный лакей дремал в углу, швейцар читал у камина. Он поглядел на вошедшего поверх очков, не сказал ни слова, а Жансуле не решился спросить. Кипы газет, валявшиеся на столе в бандеролях на имя герцога, казалось, были брошены как ненужные. Набоб развернул одну из них и только начал читать, как вдруг чья-то быстрая скользящая походка и

монотонный шепот заставили его поднять глаза: он увидел сгорбленного седого старика, разукрашенного, как аналой, кружевами, — он молился, удаляясь большими шагами, и его длинная красная сутана тянулась по ковру, как шлейф. То был архиепископ Парижский в сопровождении двух священнослужителей. Это видение, как порыв ледяного ветра, пронеслось перед Жансуле, кануло в бездну огромной кареты и исчезло, унося его последнюю надежду.

— Этого требуют приличия, дорогой мой, — произнес Монпавон, внезапно появившийся подле него. — Де Мора — эпикуреец, воспитан в духе... как, бишь... ну как его?., восемнадцатого века. Но очень дурно для масс, если человек в его положении... фф... фф... Ах, всем нам следует учиться у него!.. Он держал себя безукоризненно.

— Значит, все кончено? — сказал Жансуле, совершенно убитый. — Надежды больше нет?

Монпавон сделал ему знак прислушаться. По проезду со стороны набережной с глухим стуком катился экипаж. Звонки у входных дверей прозвенели несколько раз подряд. Маркиз считал вслух:

— Раз, два, три, четыре...

При пятом звонке он поднялся.

— Теперь надежды больше нет. Сам пожаловал, — сказал он, намекая на суеверие парижан, будто посещение монарха всегда бывает роковым для умирающего.

Отовсюду спешили лакеи, распахивали настежь двери и выстраивались цепочкой. Швейцар в плотно надвинутой на лоб треуголке звонким ударом булавы о каменные плиты возвестил прибытие двух августейших теней. Жансуле мельком увидел их между ливреями, но хорошо разглядел в длинной перспективе открытых дверей, когда они поднимались по парадной лестнице, предшествуемые лакеем, несущим канделябр. Женщина шла, прямая и гордая, закутанная в черную испанскую мантилью; мужчина держался за перила, поднимался медленно и устало; воротник его светлого пальто был поднят над слегка сгорбленной спиной, содрогавшейся от рыданий.

— Идемте, Набоб. Здесь нам больше нечего делать, — сказал старый щеголь, беря Жансуле под руку и увлекая его из дома.

Он остановился на пороге и, подняв руку, махнул кончиками перчаток тому, кто умирал там, наверху.

— Привет, доро...

Жест и акцент были светские, безупречные, но голос чуть заметно дрожал.

Клуб на Королевской улице, славившийся бешеной игрою, никогда не видел еще такой игры, как в эту ночь. Начавшись в одиннадцать часов, в пять утра она еще продолжалась. Огромные суммы передвигались по зеленому сукну, меняя обладателя и направление, собираясь в кучу, рассыпаясь и вновь соединяясь. Целые состояния поглотила эта чудовищная партия, в конце которой Набоб, начавший ее, чтобы заглушить страх азартом игры, после капризов переменчивого счастья, внезапных переходов от удачи к неудаче, от которых мог поседеть новичок, удалился, выиграв пятьсот тысяч франков. На другой день на бульваре говорили: «Пять миллионов!», и все кричали: «Какой скандал!» — особенно «Мессаже», на три четверти заполненный статьей о некоторых авантюристах, которых терпят в клубах и которые становятся причиной разорения почтенных семейств.

Увы! Того, что выиграл Жансуле, едва хватило на оплату первых векселей Швальбаха.

Во время этой сумасшедшей игры имя де Мора не было произнесено ни разу, хотя он являлся невольным поводом к ней и как бы ее душою. Ни Кардальяк, ни Дженкинс не появлялись. Моипавон слег в постель, он был потрясен гораздо сильнее, чем показывал это на людях. Никаких новостей не было.

«Умер?»-спросил себя Жансуле, выходя из клуба, и ему захотелось наведаться туда до возвращения домой. Теперь его побуждала к этому уже не надежда, а какое-то болезненное и нервное любопытство, вроде того, которое после большого пожара привлекает разоренных, лишившихся крова погорельцев к развалинам их дома.

Хотя было еще очень рано и в воздухе реяла розовая дымка зари, весь особняк был раскрыт настежь, как бы для торжественного отъезда. Лампы все еще коптели на каминах в облаках пыли. Набоб прошел по непонятно опустевшему жилищу на второй этаж, и тут он услышал наконец знакомый голос Кардальяка, диктовавшего имена, и скрип перьев по бумаге. Ловкий постановщик празднеств бея с таким же рвением организовывал теперь пышные похороны герцога де Мора. Какое разнообразие способностей! Его светлость скончался вечером, а утром уже печаталось десять тысяч извещений, и все в доме, кто только умел держать в руке перо, надписывали адреса.

Миновав эту импровизированную канцелярию, Жансуле дошел до приемной, обычно многолюдной, а сегодня пустынной: ни одно кресло не было занято. Посреди комнаты на столе лежали шляпа, трость и перчатки герцога, их всегда держали здесь наготове для неожиданного выезда, чтобы

не затруднять герцога необходимостью отдать распоряжение. Вещи, которые мы носим, хранят что-то от нас самих. Изгиб шляпы напоминал изгиб усов герцога, светлые перчатки готовы были обхватить упругую и крепкую трость из китайского камыша; все было полно трепета жизни, словно герцог вот-вот появится, протянет, беседуя, руку, возьмет все это и выйдет из дома.

О нет, герцог не собирался выходить... Жансуле приблизился к приоткрытой двери и увидел кровать на возвышении в три ступеньки (снова подмости, даже после смерти!); окаменевшую надменную голову, постаревшее лицо, преображенное отросшею за одну ночь седой бородой; возле покатога изголовья-приникшую к белым простыням коленопреклоненную женщину с распущенными белокурыми волосами, которым предстояло завтра же быть отрезанными в знак вечного вдовства; священника и монахиню, благоговейно сосредоточенных в атмосфере погребального бдения, где сливаются усталость бессонных ночей, шепот молитв и шорохи теней.

Эта комната, где столько людей, обуреваемых честолюбивыми стремлениями, ощущали, как растут их крылья, где было пережито столько надежд и разочарований, теперь была объята покоем, сопутствующим смерти. Ни шелеста, ни вздоха. И только там, на мосту Согласия, несмотря на столь ранний час, высокие резкие звуки кларнета покрывали грохот первых экипажей. Но его назойливая насмешка уже не доходила до того, кто спал тут, охладевший, бледный, готовый сойти в могилу, и показывал устрaшенному Набобу прообраз его собственной судьбы.

Другим пришлось увидеть эту комнату смерти еще более мрачной. Окна широко распахнуты. Ночная тьма и ветер свободно вливаются в нее из сада. На подмостках тело, которое только что набальзамировали. Пустая голова, заполненная губкой, мозг в тазу. Вес мозга государственного деятеля оказался действительно необычайным. Он весил... весил... Газеты того времени указывали цифру. Но кто помнит ее теперь?

XIX. ПОХОРОНЫ

— Не плачь, моя фея, ты отнимаешь у меня остатки мужества. Поверь: ты будешь куда счастливее, когда избавишься от своего несносного «бесенка»... Ты вернешься в Фонтенебло разводить кур. Десяти тысяч франков Ибрагима тебе будет достаточно, чтобы устроиться. Не волнуйся: как только я доберусь туда, я пришлю тебе денег. Раз этому бею угодно иметь мои скульптуры, мы заставим его как следует заплатить за них, будь спокойна. Я вернусь богатой-пребогатой. Как знать? Может быть, султаншей...

— Да, ты будешь султаншей... Но я умру и не увижу тебя больше.

Тут добрая Кренмиц в отчаянии забилась в угол кареты, чтобы не было видно ее слез.

Фелиция покидала Париж. Она пыталась бежать от неутешной бесконечной печали, от пагубной тоски, в которую ввергла ее смерть де Мора. Какой страшный удар для надменной девушки! Скука и досада бросили ее в объятия этого человека. Гордость, целомудрие — все отдала она ему, и вот он все унес, оставив ее навсегда увядшей, вдовой без слез, без траура, без достоинства. Посещение Сен-Джемса, несколько вечеров, проведенных в глубине ложи бенуара маленького театрлика, за решеткой, где уединяется запретное и постыдное наслаждение, — вот единственные воспоминания, оставленные ей двухнедельной связью, этим грехом без любви, в котором даже ее тщеславие не могло насытиться шумихой громкого скандала. Ненужное и несмываемое пятно, дурацкое падение в лужу случайно оступившейся женщины, которой насмешливая жалость прохожих мешает встать.

Она подумала было о самоубийстве, но мысль, что причину его станут искать в разбитом сердце, остановила ее. Она представила себе сентиментальные комментарии в гостиных, глупый вид, какой будет иметь ее предполагаемая страсть на фоне бесчисленных побед герцога, и пармские фиалки, оборванные лепесток за лепестком смазливими Моэссарами над ее могилой, вырытой совсем близко от другой. Ей оставалось путешествие, далекое путешествие, такое далекое, что в пути даже мысли успевают рассеяться. К несчастью, ей не хватало денег. Тут она вспомнила, что на другой день после ее огромного успеха на выставке ее посетил старик Ибрагим-бей и сделал ей от имени своего господина блестящее предложение — в Тунисе надо было выполнить большие

работы. Тогда она отказалась, не дав соблазнить себя по-восточному щедрой оплатой, широким гостеприимством, прекрасным, славившимся своими кружевными аркадами внутренним двором дворца в Бардо, где должна была быть ее мастерская. После обмена депешами, наспех уложившись и заперев дом, как будто уезжала на неделю, она отправилась на вокзал, дивясь быстроте своего решения. Авантюристка и художник, уживавшиеся в ней, были приятно возбуждены надеждой на новую жизнь под незнакомыми небесами.

Увеселительная яхта бея должна была ожидать ее в Генуе, и, сидя с закрытыми глазами в увозившей ее наемной карете, она уже видела перед собой окаймлявшие перламутровое море белые камни итальянского порта, где солнце пылало уже как на Востоке, где все пело, вплоть до парусов, надувавшихся в синеве. В этот день, как нарочно, Париж был грязен, однотонно сер, затоплен одним из непрерывных дождей, которые льют, кажется, только в этом городе, поднимаются облаками от его реки, от его домов, от его чудовищного дыхания и вновь льются потоками с крыш, из водосточных труб, с бесчисленных окон мансард. Фелиции хотелось бежать от этого печального Парижа, и ее лихорадочное нетерпение выливалось в досаду на кучера, который медлил, на лошадей, двух извозчичьих кляч, на необъяснимое скопление экипажей, омнибусов, оттесненных от въезда на мост Согласия.

— Что же мы стоим, кучер? Поезжайте!

— Не могу, сударыня. Похороны.

Она высунула голову в окошечко и сразу откинулась в ужасе. Шеренги солдат, маршировавших с ружьями дулом книзу, каски, шляпы, приподнимаемые при прохождении нескончаемой процессии. Это были похороны де Мора!

— Не стойте здесь, поезжайте в объезд! — крикнула она кучеру.

Тот повернул, неохотно отрываясь от блестящего зрелища, которого Париж ждал уже четыре дня. Карета выехала на авеню, свернула на улицу Монтеня и, проехав медленно и уныло по бульвару Мальзерб, выбралась к церкви св. Магдалины. Здесь давка была еще сильнее. В дождевой мгле были видны ярко освещенные окна церкви, доносились отголоски похоронного пения, звучавшего глухо из-за множества черных драпировок, скрадывавших очертания греческого храма, — всю площадь заполнило торжественное богослужение, меж тем как большая часть похоронного шествия теснилась еще на Королевской улице, до самых мостов: это была длинная черная линия, связывавшая покойного с решетчатой оградой Законодательного корпуса, куда он так часто входил. За церковью св.

Магдалины открывалась уходившая вдаль перспектива Больших бульваров, совершенно свободных от экипажей, казавшихся какими-то особенно широкими между двумя рядами солдат с ружьями к ноге, удерживавших любопытных на тротуарах, запруженных народом. Магазины были закрыты, а балконы, несмотря на дождь, набиты людьми, которые свешивались над перилами, глядя в сторону церкви, как глядят при прохождении карнавального быка или возвращении победоносных войск. Париж падох на зрелища, и его волнует все что угодно — от гражданской войны до похорон политического деятеля.

Карете пришлось вернуться обратно и пуститься снова в объезд. Можно себе представить, как были раздосадованы кучер и его лошади, все трое — парижане в душе, тем, что пришлось лишиться себя такого замечательного спектакля. И вот по пустынным и молчаливым улицам — вся жизнь Парижа прилила к большой артерии Бульваров — начался прихотливый и беспорядочный пробег, бессмысленное блуждание экипажа, который доезжал до самого конца Сен-Мартенского предместья и предместья Сен-Дени, затем возвращался к центру и каждый раз, покружив, прибегнув ко всяческим уловкам, наталкивался все на ту же засаду, все на то же скопление народа, на часть вынырнувшего из-за угла черного шествия, медленно двигавшегося под дождем, под приглушенный стук барабанов, тусклый и тяжелый, как стук сыплющейся в яму земли.

Какая пытка для Фелиции! Это ее грех, ее угрызения совести шли через Париж с торжественной пышностью, скорбной процессией, в трауре, который разделяли даже тучи. В этой гордой девушке все восставало против оскорбления, наносимого ей тем, что происходило вокруг. Она скрывалась от него в глубине кареты и сидела подавленная, с закрытыми глазами. Старушка Кренмиц, видя, что она так нервничает, и решив, что это от боли расставания, пыталась утешить ее, плакала при мысли о предстоящей разлуке и тоже пряталась в глубине кареты, предоставив окно в распоряжение громадной алжирской борзой, которая принюхивалась к ветру, выставив тонкую морду и властно упираясь обеими лапами в дверцу фиакра, неподвижная, как геральдическая фигура. После множества дальних объездов карета вдруг остановилась, еще раз тяжело содрогнулась, попыталась двинуться вперед под крики и ругань, долго раскачивалась, приподнималась, теряя равновесие из-за привязанного сзади багажа, и, наконец, совсем перестала двигаться; ее остановили, затормозили, словно поставили на якорь.

— Боже, сколько народу!.. — пробормотала испуганная Кренмиц.
Фелиция очнулась от своего забытья.

— Где же мы?

Под тусклым, закопченным небом, затянутым тонкой сеткой дождя, набросившего вуаль на окружающий мир, простиралась площадь, гигантский перекресток, куда людской океан вливался из всех прилегающих улиц и замирал вокруг высокой бронзовой колонны, высившейся над толпою, как исполинская мачта затонувшего корабля. Эскадроны всадников с обнаженными саблями, батареи пушек тянулись вдоль освобожденной середины улицы — огромная грозная сила, ожидавшая того, кто должен проследовать сейчас, быть может, чтобы попытаться отбить его у страшного врага. Увы, весь натиск кавалерии, все орудия были бессильны! Пленник удалялся, связанный по рукам и ногам, огражденный тройной стеной из дерева, металла и бархата, неуязвимой для картечи, и не от этих солдат мог он ждать избавления..

— Поезжайте! Я не хочу здесь стоять! — воскликнула Фелиция, ухватившись за мокрую пелерину кучера, вне себя от безумного страха перед преследовавшим ее кошмаром, перед тем, что надвигалось с ужасным грохотом, еще далеким, но с каждой минутой становившимся все ближе.

Однако при первом же движении колес окрики и гиканье возобновились. Думая, что ему удастся пересечь площадь, кучер с большим трудом добрался до первых рядов толпы, сомкнувшейся теперь за ним и не дававшей ему проехать. Ни туда, ни сюда... Волей — неволей приходится стоять, вдыхать этот запах человеческих тел и алкоголя, терпеть взгляды, уже загоравшиеся любопытством в предвкушении необычайного зрелища, а теперь устремленные на прекрасную путешественницу, уезжавшую «ух, с какими сундучищами!» и с огромным псом в качестве защитника. Кренмиц пребывала в смертельном страхе, а Фелиция думала об одном: он должен проследовать мимо нее, она будет смотреть на него из первых рядов.

Внезапно раздался громкий крик:

— Вот он!

Затем на площади, свободно вздохнувшей после трех тяжелых часов ожидания, воцарилась тишина.

Он приближался.

Первым движением Фелиции было опустить штору окошечка со своей стороны, с той, где должна была пройти процессия. Но, услышав раздавшуюся совсем близко барабанную дробь, сознавая невозможность уйти от этого наваждения, наэлектризованная, быть может, заразившаяся окружающим ее нездоровым любопытством, она подняла резким движением штору и придвинулась к окну, опершись подбородком на

сжатые кулаки. Взволнованное выражение ее бледного лица как бы говорило: «Ах, так? Ты этого хочешь? Хорошо, я буду смотреть на тебя».

То были самые пышные похороны, какие только можно себе представить, последние почести, воздававшиеся во всей их суетности, такой же звонкой, пустой, как ритмичный аккомпанемент обтянутых крепом барабанов. В пяти первых траурных каретах мелькнуло белое облачение духовенства. За ними, влекомая шестью черными лошадьми, подлинными конями Эреба,^[49] такими же черными, такими же медлительными, такими же тяжелыми, как его струи, двигалась погребальная колесница, вся в плюмажах, кистях, серебряном шитье, украшениях в виде слезинок, геральдических коронах, венчающих гигантские «М»- роковые инициалы, украшенные восемью розетками, как будто принадлежащие Могиле, ее светлости Могиле.

Столько балдахин и массивных покровов маскировали вульгарный остов похоронных дрог, что дроги эти колыхались, содрогались при каждом шаге от основания до верха, как бы подавленные величием мертвеца. Лежавшие на гробе шпага, мундир, расшитая шляпа — не бывшая в употреблении парадная ветошь — отливали золотом и перламутром под темным сводом тканей, среди свежих ярких цветов, которые говорили о весне, несмотря на хмурое небо. На расстоянии десяти шагов шли члены семьи герцога. За ними в величественном одиночестве офицер в плаще, несший знаки почетных наград: целую выставку орденов всех стран мира, кресты, разноцветные ленты, свешивавшиеся с черной бархатной подушки, отороченной серебряной бахромой.

Далее шел церемониймейстер, за ним — президиум Законодательного корпуса и несколько депутатов, избранных по жребию, среди которых выделялась высокая фигура Набоба в парадном мундире, как будто насмешливая судьба хотела дать еще не утвержденному депутату предвкушение всех парламентских радостей. Следовавшие за ними друзья покойного образовывали небольшую группу, необыкновенно удачно подобранную для показа всей поверхности и пустоты жизни высокопоставленного лица, дружившего с директором трижды прогоравшего театра, торговцем картинами, нажившимся на ростовщичестве, дворянином с подмоченной репутацией и несколькими безвестными прожигателями жизни и завсегдатаями бульваров. До сих пор все шли пешком, с непокрытой головой, только среди представителей парламента виднелись черные шелковые ермолки — их робко надевали по мере приближения к рабочим кварталам. Далее тянулся ряд карет.

Когда умирает великий полководец, обычно за похоронной процессией

следует любимый конь героя, его боевой конь, вынужденный приноравливать к замедленному шагу кортежа резвый аллюр, от которого веет порохом и полыханием знамен. Здесь же большая карета де Мора, восьмирессорный экипаж, отвозивший его на светские или официальные собрания, заменяла спутника побед. Стекла ее были затянуты флером, фонари окутаны длинными легкими креповыми вуалями, с почти женственной грацией спускавшимися, развеваясь, до самой земли. Завуалированные крепом фонари — это была новая погребальная мода, «высший шик» траура. И это было в духе такого денди, как герцог, — дать последний урок изысканного изящества парижанам, сбжавшимся на его погребение, как на ипподром смерти!

Еще три церемониймейстера, затем бесстрастный декорум, всегда один и тот же для браков, похорон, крестин, открытия парламента или приемов иностранных монархов: нескончаемая вереница парадных экипажей, блестящих, с зеркальными стеклами, с кучерами в кричащих ливреях, расшитых золотом. Они проезжали среди ослепленной толпы зрителей, напоминая им волшебные сказки, упряжку Золушки, среди зрителей, издававших такие же восторженные восклицания, какие взлетают и вспыхивают вместе с ракетами во время ночного фейерверка. И всегда находился в толпе услужливый полицейский или мелкий буржуа, празднующийся всезнайка, охотник до публичных церемоний, который называл вслух сидевших в экипажах, по мере того, как они проезжали мимо, сопровождаемые, согласно уставу, драгунами, кирасирами или муниципальными гвардейцами.

Сначала ехали представители императора, императрицы, всех членов императорского дома. Затем, в тщательно разработанном иерархическом порядке, малейшее нарушение которого могло вызвать серьезные конфликты между различными корпорациями, следовали члены Тайного совета, маршалы, адмиралы, великий канцлер Почетного легиона, потом члены Сената, Законодательного корпуса. Государственного совета, судебных и научных организаций; их одеяния — горностаевые мантии и соответствующие головные уборы, нечто пышное и устарелое, неуместное в скептическую эпоху рабочей блузы и фрака, — возвращали вас к временам старого Парижа.

Фелиция, чтобы заставить себя не думать, всматривалась в это монотонное, раздражающе долгое шествие. Постепенно ее охватывало оцепенение, как если бы она, сидя в дождливый день за круглым столиком в скучной гостиной, перелистывала альбом в красках, историю парадного мундира с самых отдаленных времен до наших дней. Все эти люди,

которых она видела в профиль, неподвижно выпрямившиеся за широкими стеклами карет, действительно напоминали фигурки на раскрашенных картинках; они, словно нарочно, придвинулись к самому краю сидений, чтобы можно было как следует разглядеть их золотое шитье, пальмовые ветви, галуны, тесьму — манекены, предназначенные для удовлетворения любопытства толпы, хранящие равнодушный и небрежный вид.

Равнодушие!.. То была характернейшая особенность похорон Мора. Оно ощущалось на лицах и в сердцах у всех этих чиновников, большинство которых знало герцога только в лицо, у шедших пешком между дрогами и его каретой, у близких людей и у слуг, бывших при нем постоянно. Равнодушен и даже весел был толстый министр, вице-президент совета, который крепко зажал в своем здоровенном кулаке, привыкшем стучать по деревянным трибунам, шнуры от покрова. Казалось, он тянул их вперед, торопясь еще больше, чем лошади и дроги, опустить в отведенные для него шесть футов земли своего врага двадцатипятилетней давности, вечного соперника, препятствовавшего всем его честолюбивым стремлениям. Остальные три сановника двигались не так резво, длинные шнуры болтались в их усталых руках с красноречивой вялостью. Равнодушны были священники, как этого требует их профессия. Равнодушны были слуги, которых герцог называл «как вас» и с которыми обращался как с неодушевленными предметами. Равнодушен был г-н Луи, для которого похороны герцога означали последний день его рабства: невольник был теперь достаточно богат, чтобы купить себе свободу. Даже в среду близких людей проник ледяной холод. А ведь некоторые из них были очень привязаны к покойному. Но Кардальяк слишком внимательно следил за порядком и ходом церемонии, чтобы позволить себе малейшее проявление чувств; впрочем, это вообще было не в его характере. Старик Монпавон, пораженный в самое сердце, счел бы дурным тоном, недостойным своего прославленного друга, допустить малейшую складку на своей полотняной броне, согнуть свою высокую фигуру. Глаза его оставались сухими и такими же блестящими, как всегда, потому что бюро похоронных процессий само поставляет слезы для большого траура, вышитые серебром на черном сукне. И все же среди членов парламентской группы один человек плакал, но он простодушно расчувствовался, думая о самом себе. Бедному Набобу, размякшему от музыки, от всей этой помпы, казалось, что он хоронит все свое достояние, все свои стремления к славе и почестям. И это тоже было одним из видов равнодушия.

В публике удовольствие, доставляемое красивым зрелищем, приятная возможность обратить будничные день в воскресный преобладали над

всеми другими чувствами. На бульварах зрители, усеявшие балконы, чуть не аплодировали. В густонаселенных кварталах непочтительность проявлялась еще откровеннее. Жаргонные словечки, остроты по поводу любовных походов покойника, известных всему Парижу, смешки, вызванные большими шляпами раввинов или забавной наружностью членов ремесленного третейского суда, перебивались раскатами барабанной дроби. Стоя в лужах воды, одетые в блузы и рабочие куртки, сдвинув по привычке кепку на затылок, люди, олицетворявшие нищету, принудительный труд, безработицу и забастовки, смотрели, ухмыляясь, как проезжает мимо них обитатель другого мира, блестящий герцог, спустившийся со своих высот, гордый вельможа, который, быть может, при жизни никогда не заглянул бы в этот район. И все же, чтобы добраться туда, куда в конце концов попадают все, нельзя было миновать эту дорогу — через Сент-Антуанское предместье, через улицу Ла-Рокет, до высоких ворот у городской черты, широко распахнутых в бесконечность. Черт его дери, приятно смотреть на то, как вельможи, вроде де Мора, герцоги, министры проходят тот же путь и к той же цели!.. Это равенство в смерти служит утешением, помогает переносить несправедливости, которыми полна жизнь. Завтра хлеб покажется не таким дорогим, вино — вкуснее, инструмент — не таким тяжелым, если можно будет сказать себе, встав с постели: «А старику Мора тоже пришлось отправиться туда, как и всем прочим!»

Шествие все тянулось, не столько печальное, сколько утомительное. Теперь хоровые кружки, депутации от армии, от флота, офицеры всех родов оружия теснились, как стадо, перед длинной вереницей пустых экипажей, траурных карет, собственных выездов, вытянувшихся в ряд для соблюдения этикета. Затем настала очередь войск, и в грязное предместье, в длинную улицу Ла-Рокет, уже и так кишевшую, как муравейник, влилась целая армия — пехотинцы, драгуны, уланы, карабинеры, тяжелые пушки с раскрытой пастью, готовые взречь, сотрясавшие мостовые и оконные стекла, но не заглушавшие раскатов барабанной дроби, мрачного и дикого грохота, вызвавшего в воображении Фелиции картину похорон африканского царька, когда тысячи убитых сопровождают душу повелителя, чтобы ей не одной переселяться в царство духов. Фелиции чудилось, что, быть может, это торжественное нескончаемое шествие спустятся и исчезнет в призрачном рву, который поглотит его без остатка.

— ...И ныне и в смертный наш час. Аминь! — пробормотала Кренмиц, когда карета двинулась по очистившейся площади, где Свобода, [\[50\]](#) вся в золоте, как бы устремлялась ввысь в волшебном полете.

Молитва старой балерины прозвучала, быть может, единственной взволнованной и искренней ноткой на — всем протяжении похоронной процессии.

Речи окончены, три длинные речи, такие же ледяные, как склеп, куда только что спустилась смерть, три речи, прочитанные официальным тоном и предоставившие ораторам повод громко объявить о своей приверженности царствующей династии. Пятнадцать раз будили пушки эхо кладбища, колебля венки из черного стекла и иммортелей — дары благочестивой памяти, развешанные на могилах. И в то время как красноватый дымок плыл и клубился, распространяя запах пороха над городом мертвых, а затем поднимался и медленно смешивался с фабричным дымом рабочего квартала, многолюдное сборище тоже рассеивалось, рассыпалось по отлогим склонам, высоким лестницам, белевшим среди зелени, с неясным гулом, подобным журчанию струй, стекающих по скалам. Пурпурные сутаны, черные сутаны, синие и зеленые мундиры, золотые аксельбанты, тонкие шпаги, поддерживаемые на ходу, спешили к экипажам. Происходил обмен церемонными поклонами, сдержанными улыбками, а траурные кареты с черными сгорбившимися кучерами в треуголках набекрень, в пелеринах, развевавшихся на ветру, уже мчались по аллеям.

Общее впечатление было таково, что люди только что избавились от долгой и утомительной работы статистов и теперь с полным правом спешат сбросить с себя административные доспехи, парадные костюмы, отстегнуть портупей, металлические нагрудники, воротнички, расправить кожу на лицах, на которые тоже были надеты путы.

Грузный и низкорослый, с трудом волоча свои распухшие ноги, Эмерленг торопился к выходу, отказываясь от приглашений сесть в экипаж, ибо он знал, что только его собственная карета способна вместить его расплывшееся тело.

— Барон, барон, к нам!.. Есть место!

— Нет, благодарю. Я пойду пешком, чтобы размяться.

Чтобы избавиться от этих предложений, начинавших тяготить его, он пошел боковой аллеей, почти пустынной, даже слишком пустынной. Едва свернув на нее, он пожалел об этом. С того самого мгновения, как Эмерленг вошел на кладбище, он был весь поглощен одной мыслью: страхом встретиться лицом к лицу с Жансуле, вспыльчивость которого была ему известна. Набоб был способен забыть о величии этого места и повторить в центре Пер-Лашез скандал, разыгравшийся на Королевской улице. Несколько раз во время погребальной церемонии банкир заметил

вынырнувшую из общей массы бледных фигур, заполнивших все вокруг, массивную голову своего бывшего приятеля, который направлялся к нему, искал встречи с ним. Еще там, в одной из главных, людных аллей, где в случае неприятностей есть к кому обратиться за помощью, — куда ни шло... Но здесь — брр!.. Беспокойство заставляло его ускорять свои шагки и еще сильнее пыхтеть. Но все было напрасно: стоило ему из боязни преследования обернуться, как высокие и могучие плечи Набоба показали в начале аллеи. Толстый коротышка никак не мог проскользнуть в узкий проход между могилами, расположенными так близко одна от другой, что там не было даже места, чтобы стать на колени. Ноги вязли в жидкой грязи. Эмерленг решил продолжать свой путь как ни в чем не бывало, в надежде, что Набоб не столкнется с ним. Но сзади уже раздался громкий, хрипловатый голос:

— Лазарь!

Богача звали Лазарем. Он не ответил, он пытался догнать группу офицеров, шедших далеко впереди.

— Лазарь! Постой, Лазарь!

Совсем как когда-то на набережной Марсея... Эмерленг чуть было не остановился по старой привычке, но воспоминание о своем предательстве, о том зле, которое он причинил Набобу и которое он продолжал причинять ему, вдруг вспыхнуло в нем вместе с острым чувством страха, доходившим до пароксизма; и в этот момент его внезапно схватила железная рука. От испуга пот обильно выступил на всем его расслабленном теле, лицо еще больше пожелтело, глаза зажмурились в предчувствии страшной пощечины, которую он ожидал, а жирные руки инстинктивно поднялись, чтобы отразить удар.

— Не бойся! Я не хочу тебе зла, — с грустью в голосе сказал Жансуле. — Я только хочу просить тебя, чтобы и ты мне его больше не причинял.

Он остановился, чтобы передохнуть. Банкир с глупым видом, оторопело уставился своими круглыми, совиными глазами на Жансуле, которого душило волнение.

— Послушай, Лазарь, в этой войне, которую мы ведем уже давно, ты оказался сильнее меня. Я повержен, лежу на земле, да, да... Мои лопатки уже коснулись ее. Так будь же великодушен, не добивай старого приятеля. Пощади меня, пощади меня!..

Все трепетало в этом южанине, сраженном, ослабевшем под впечатлением похорон. Эмерленг, стоя против него, был не в лучшем состоянии. Печальная музыка, разверстая могила, речи, пушечная пальба и

размышления о неизбежности смерти перевернули душу толстому барону. Голос прежнего товарища помог окончательно пробудиться тому, что еще оставалось человеческого в этой горе студня.

Его старый приятель! Впервые за десять лет, со времени ссоры, он видел его снова так близко. Сколько воспоминаний вызывали в нем это смуглое лицо, эти сильные плечи, такие нескладные в расшитом мундире! Шерстяное одеяло, тонкое и дырявое, в которое они закутывались вдвоем, чтобы уснуть на палубе «Синая», по-братски разделенный паек, блуждание по выжженным солнцем окрестностям Марселя, где они воровали лук и ели его на краю канавы, мечты, планы, медяки, которые откладывали сообща, а когда счастье улыбнулось им, — проделки, которые они совершали вместе, славные пирушки, когда они, облокотившись на стол, поверяли друг другу все свои тайные мысли...

Как можно поссориться, когда так хорошо знаешь друг друга, когда они жили раньше, как два близнеца у груди тощей и сильной кормилицы — нищеты, делили ее прокисшее молоко и грубые ласки! Эти мысли, разбираться в которых было бы слишком долго, молниеносно пронеслись в уме Эмерленга. Почти инстинктивно вложил он свою ручищу в руку, протянутую Набобом. Какое-то животное чувство пробудилось в них, более сильное, чем старая вражда, и эти два человека, в течение десяти лет пытавшиеся разорить и обесчестить друг друга, начали задушевную беседу.

Обычно, когда друзья после долгой разлуки встречаются снова, они, закончив первые излияния, умолкают, словно им нечего рассказать друг другу, хотя на самом деле именно избыток чувств, их стремительный прилив мешают этим чувствам вырваться наружу. Приятели были именно в таком состоянии. Но Жансуле крепко сжимал руку банкира, боясь, что тот ускользнет, будет сопротивляться душевному порыву, который он вызвал в нем.

— Ведь ты не торопишься? Мы можем пройтись немного, если ты ничего не имеешь против... Дождь перестал, погода хорошая... Словно двадцать лет сброшено с плеч.

— Да, это приятно, — сказал Эмерленг, — только я не могу много ходить. У меня ноги отяжелели.

— Ах, верно, твои бедные ноги... Вон скамейка! Пойдем сядем. Обопрись на меня, старина.

Набоб с братской заботливостью подвел его к одной из скамеек, расставленных между могилами; на них отдыхают безутешные, скорбные фигуры, для которых кладбище — место прогулок и постоянного времяпрепровождения. Жансуле усадил барона, смотрел на него добрым

взглядом, выражал сочувствие его болезненному состоянию, и они заговорили о своем здоровье, о приближающейся старости, что было вполне естественно в таком месте. Один страдал водянкой, другой — приливами крови. Оба лечились пилюлями Дженкинса, средством опасным, доказательством чему служила скорая смерть де Мора.

— Бедный герцог! — сказал Жансуле.

— Большая потеря для страны, — проникновенно сказал банкир.

Набоб продолжал простодушно:

— Особенно для меня, потому что, если б он остался жить... Ах, тебе повезло, тебе повезло!

И, боясь, что оскорбил банкира, он поспешил добавить:

— К тому же ты силен, очень силен.

Барон посмотрел на него, забавно прищурив глаза, так что его черные реснички утонули в желтом сале.

— Нет, — сказал он, — это не я силен... Это Мария.

— Мария?

— Да, баронесса. Крестившись, она переменяла имя и теперь называется не Ямина, а Мария. Вот это настоящая женщина. Она лучше меня знает банк, и Париж, и дела. Она заправляет всем в доме.

— Счастливчик!.. — вздохнул Жансуле.

Его печальный тон ясно говорил о том, чего не хватало его жене.

Немного помолчав, барон продолжал:

— Знаешь, Мария очень рада на тебя... Она будет недовольна, когда узнает, что мы с тобой разговаривали.

Он нахмурил брови, как бы сожалея о примирении, при мысли о семейной сцене, которую оно вызовет.

— Я же ничего ей не сделал.- пробормотал Жансуле.

— Полно, полно, вы были с ней не очень-то любезны... Вспомни, какое оскорбление вы ей нанесли, когда мы приехали к вам со свадебным визитом: твоя жена велела передать нам, что она не принимает бывших рабынь. Как будто наша дружба не должна быть сильнее предрассудков! Женщины таких вещей не забывают...

— Но ведь я здесь ни при чем, старина. Ты знаешь, как горды эти Афшены.

Он-то не был горд, бедняга. У него появилось такое несчастное, такое умоляющее выражение при виде нахмуренных бровей друга, что тому стало жаль его. Нет, кладбище положительно разволновало барона.

— Послушай, Бернар, тут все зависит от одной вещи... Если ты хочешь, чтобы мы были товарищами, как прежде, чтобы сегодня мы

недаром пожали друг другу руки, нужно добиться от моей жены, чтобы она помирилась с вами. Иначе ничего не выйдет. Когда Афшен отказалась принять нас, ты это допустил, не так ли? И если Мария скажет мне сейчас: «Я не хочу, чтобы вы были друзьями», — то, сколько бы я ни возражал, я все равно буду вынужден швырнуть тебя за борт. Против этого никакая дружба не устоит. Самое главное — это иметь покой в доме.

— Но как же тогда быть? — испуганно спросил Набоб.

— Я тебе подскажу... Баронесса принимает каждую субботу. Приезжай к ней с визитом вместе с женой послезавтра. Вы встретите у нас дома лучшее парижское общество. О прошлом разговора не будет. Дамы поболтают о тряпках, о туалетах, скажут друг другу то, что обычно говорят женщины. И все придет в порядок. Мы снова будем друзьями. Ты увяз? Что ж, мы поможем тебе выбраться!

— Ты думаешь? Не так-то это просто, — сказал Набоб, покачав головой.

И снова лукавые зрачки Эмерленга исчезли в его щеках, как мухи, увязшие в масле.

— Что верно, то верно... Я играл осторожно. Ловкости у тебя достаточно... Ссудить бею пятнадцать миллионов — это было придумано недурно. Смелость у тебя есть, безусловно, только ты плохо держишь карты. Все видно.

До сих пор они говорили вполголоса под влиянием безмолвия, царившего на огромном кладбище. Но постепенно человеческие интересы стали одерживать верх даже там, где вся их тщета была написана вокруг на плоских камнях, испещренных датами и цифрами, словно смерть была лишь делом времени и результатом расчетов, искомым решением задачи.

Эмерленг наслаждался, видя, что его бывший друг до такой степени принижен, давал ему советы, касавшиеся его дел, которые он, видимо, знал досконально. По его мнению, Набоб вполне еще мог выпутаться. Все зависело от утверждения депутатских полномочий, от карты, которую вытянешь. Надо вытянуть хорошую карту. Но Жансуле уже утратил веру в себя. Потеряв де Мора, он потерял все.

— Ты потерял де Мора, зато снова нашел меня. Одно другого стоит, — спокойно заметил банкир.

— Нет, нет, это невозможно. Слишком поздно! Лемеркье закончил доклад. Говорят, он ужасен.

— Что ж, если он закончил доклад, надо, чтобы он написал другой, который не так бы тебя порочил.

— А как это сделать?

Барон посмотрел на него в изумлении.

— Слушай, ты действительно начинаешь сдавать! Дай сто, двести, триста тысяч франков, если нужно.

— Что ты! Лемеркье — это воплощение честности. «Моя совесть», как его называют...

На этот раз хохот Эмерленга разразился с необычайной силой и проник в самую глубину ближайших склепов, не привыкших к такому неуважению.

— «Моя совесть», воплощение честности!.. Ты меня насмешил. Разве ты не знаешь, что эта совесть принадлежит мне и что...

Встревоженный каким-то шумом, он, не договорив, обернулся.

— Послушай...

Это его смех отозвался эхом, исходившим из глубины склепа, словно мысль о совести Лемеркье развеселила даже мертвецов.

— Походим немного, — сказал банкир, — становится свежо.

Расхаживая среди могил, он стал объяснять Набобу с оттенком самоуверенного превосходства, что во Франции взятки играют такую же огромную роль, как и на Востоке. Только здесь разводят больше церемонии, чем там. Надо чем-то маскировать эти взятки...

— Вот, например, Лемеркье. Вместо того, чтобы дать ему деньги открыто, в большом кошельке, как сераскиру, надо действовать иначе. Этот человек любит картины. У него какие-то дела с Швальбахом, который пользуется им, чтобы привлечь покупателей-католиков. Вот и надо предложить ему что-нибудь на память, какое-нибудь полотно, которое можно повесить на стене в кабинете. Главное, чтобы на нем была цена. Впрочем, ты сам увидишь... Я свезу тебя к нему. Я покажу тебе, как это делается.

Довольный удивлением Набоба, который, чтобы польстить ему, преувеличивал глубину своего изумления, широко и восхищенно раскрывая глава, банкир расширил тему своих наставлений, превратив их в настоящий курс парижской светской философии.

— Видишь ли, друг мой, главное, о чем надо заботиться в Париже, — это о соблюдении приличий. Здесь только с приличиями и считаются! А ты слишком мало о них думаешь. Ходишь, словно в расстегнутом жилете, таким простачком, рассказываешь о своих делах, душа нараспашку... Гуляешь, как на базарах в Тунисе. Вот почему тебя и обобрали, дружище Бернар.

Он остановился в изнеможении, чтобы перевести дух. За один час столько движений и слов, сколько он не тратил за год! И тут друзья

заметили, что, расхаживая и беседуя, они случайно вернулись к усыпальнице де Мора, расположенной на открытом возвышении, откуда были видны, над множеством сгрудившихся крыш, Монмартр, Шомонские холмы, вздымавшиеся вдали, словно высокие волны. Вместе с холмами Пер-Лашез они напоминали гребни, которые морской прибой образует на равном расстоянии друг от друга. В провалах, точно фонари на баркасах, сквозь сиреневую дымку уже мигали огоньки. Трубы на крышах устремлялись вверх, точно мачты или трубы пароходов, извергающие дым. Качая их на своих волнах, парижский океан тремя постепенно слабеющими бросками как бы выносил их к черному берегу.

Небо прояснилось далеко вокруг, как это часто бывает к концу дождливого дня, и теперь это было необъятное небо, переливавшееся всеми красками вечерней зари, на фоне которого высились четыре аллегорические фигуры фамильного склепа де Мора, молящие, сосредоточенные, задумчивые; умирающий день придавал особое величие их позам. От речей, от официальных соболезнований ничего не осталось. Только истоптанная вокруг земля да каменчики, отмывавшие порог, испачканный известью, напоминали о недавнем погребении.

Вдруг массивная металлическая дверь герцогского склепа захлопнулась с тяжким грохотом. Отныне бывший министр остался один, совсем один во мгле своей ночи, более непроницаемой, чем та, что поднималась теперь из глубины сада и окутывала извилистые аллеи, лестницы, основания колонн, пирамид, мавзолеев, верхушки которых гораздо медленнее исчезали во тьме. Могильщики, белые, как мел от праха высохших костей, проходили со своими сумками и инструментами. Скорбные фигуры, неохотно прервав слезы и молитвы, украдкой скользили меж кустов, задевая их, словно бесшумно летящие ночные птицы, а в далеких уголках кладбища слышались голоса, меланхолические возгласы, объявляющие о закрытии. Кладбищенский день окончился. Город мертвых, возвращенный природе, превращался в огромный лес с разветвлениями дорожек, обозначенными крестами. Вдали в одной из ложбин зажглись огни в окнах сторожки. В воздухе пробежал трепет, сливаясь с шорохом в глубине смутно видневшихся аллей.

— Пойдем отсюда... — сказали друг другу приятели под впечатлением постепенно надвигавшихся сумерек, которые были здесь холоднее, чем в каком-либо другом месте Парижа.

Но, прежде чем удалиться отсюда, Эмерленг, развивая свою мысль, показал на памятник, на его статуи в развевающихся одеждах, с простертыми к небу руками:

— Смотри! Вот кто умел соблюдать приличия.

Жансуле взял его под руку, чтобы помочь при спуске.

— О да, он был силен. Но ты, ты сильнее всех, — говорил он со своим ужасным гасконским акцентом.

Эмерленг не возражал.

— Я обязан этим жене. Потому-то я и предлагаю тебе заключить с нею мир, иначе...

— Будь спокоен, мы придем в субботу. Но ты свезешь меня к Лемеркье.

И в то время как два человека, один высокий и широкоплечий, другой тучный и низкорослый, исчезали в извилинах громадного лабиринта, в то время как голос Жансуле, который вел своего друга: «...Сюда, старина... Обопришь на меня хорошенько...»-терялся вдали, заблудившийся луч заката осветил позади них, на возвышении, колоссальный, чрезвычайно выразительный бюст — высокий лоб, длинные, откинутае назад волосы, насмешливо выпяченная нижняя губа, — бюст Бальзака, смотревшего на них...

XX. БАРОНЕССА ЭМЕРЛЕНГ

В самом конце длинного сводчатого помещения, где находилась банкирская контора Эмерленга, — черного туннеля, который папаша Жуайез разукрашивал и освещал своими фантазиями в течение десяти лет, — монументальная лестница с коварными железными перилами, характерная для старого Парижа, поднималась влево к гостиным баронессы, выходявшим окнами во двор, над самой кассой. В летнее время, когда окна раскрыты настежь, позвякивание золотых монет, громкий стук экю, высыпаемых грудками на конторки, слегка заглушённый тяжелыми мягкими портъерами на окнах, создавали торгашеский аккомпанемент к шелестевшим беседам светского католицизма.

Все это сразу давало полное представление о характере салона, не менее странного, чем его хозяйка: легкий запах ризницы примешивался здесь к биржевым страстям и к самой утонченной светскости. Эти разнородные элементы встречались, сталкивались беспрестанно, но оставались разделенными так же, как Сена разделяет благородное католическое предместье, под покровительством которого произошло на шумевшее обращение мусульманки в новую веру, и финансовые кварталы, где у Эмерленга была своя жизнь и свои связи. Все бывшие левантинские дельцы — а их в Париже немало — главным образом немецкие евреи, банкиры или комиссионеры, которые, нажив на Востоке колоссальные состояния, продолжают и здесь заниматься коммерцией, чтобы не утратить навыков, — все они были постоянными посетителями баронессы. Тунисцы, бывавшие в Париже проездом, не упускали случая повидать жену крупного банкира, пользовавшегося покровительством императора; старый полковник Ибрагим, поверенный в делах бея, с дряблым ртом и воспаленными глазами, дремал каждую субботу в уголке все того же дивана.

— В вашей гостиной пахнет дымом от костров, дитя мое, — говорила, смеясь, старая княгиня де Дион новоиспеченной Марии, у купели которой она и мэтр Лемеркье были восприемниками.

Однако присутствие многочисленных еретиков — евреев, мусульман и даже вероотступников, толстых женщин, краснолицых, разряженных, увешанных золотом и побрякушками, настоящих «тумб», — не мешало Сен — Жерменскому предместью посещать новообращенную, окружать ее вниманием, присматривать за ней. Она была игрушкой для втих знатных

дам, удобной, послушной куклой, которую они всюду возили с собой, всем показывали, цитируя ее ханжеские благоглупости, особенно пикантные, если сопоставить их с ее прошлым. Быть может, в сердца любезных покровительниц закрадывалась надежда найти в этом мирке людей, вернувшихся с Востока, еще один подходящий объект для обращения в христианскую веру, возможность еще раз показать в аристократической часовне конгрегации Миссий трогательное зрелище крещения взрослого человека, которое переносит вас в первые времена христианства, туда, на берега Иордана. А за крещением следует приобщение святых тайн, повторение обетов, первое причастие — предлоги для крестной матери, чтобы сопутствовать своей крестнице, руководить юной душой, присутствовать при наивных порывах новой веры, а заодно чтобы выставлять напоказ разнообразные туалеты, соответствующие пышности или умиленности церемонии. Но не так уж часто случается, что влиятельный банкир-финансист привозит в Париж рабыню-армянку, которую он сделал своей законной супругой.

Рабыня! Вот пятно, лежавшее на прошлом этой дочери Востока, купленной некогда на рынке в Андриано — поле для марокканского султана, а затем, после его смерти, когда гарем его был распущен, проданной молодому бею Ахмеду. Эмерленг женился на ней после того, как она вышла из этого нового сераля, но не смог добиться того, чтобы ее принимали в Тунисе, где ни одна женщина, будь то мавританка, турчанка или европейка, не заставила бы себя обращаться как с равной с бывшей рабыней из предрассудка, весьма схожего с тем, который проводит черту между креолкой и тщательно скрывающей свое происхождение кварталонкой. Здесь действовало какое-то непреодолимое отвращение, с которым чета Эмерленгов столкнулась даже в Париже, где иностранные колонии образуют маленькие кружки, щепетильные, придерживающиеся туземных традиций. Ямина провела, таким образом, два или три года в полном одиночестве. Но ее вынужденные досуги и накопившиеся обиды принесли свои плоды, ибо это была женщина честолюбивая, наделенная сильной волей и упрямством. Она в совершенстве изучила французский язык, распрощалась навсегда с вышитыми курточками и розовыми шелковыми шароварами, сумела приспособить свою внешность и походку к европейским туалетам, к неудобству длинных юбок. Затем однажды вечером в Опере она показала восхищенным парижанкам еще немного дикую, но тонкую, элегантную и такую своеобразную фигурку мусульманки в декольтированном платье от Леонара.

Вслед за костюмом была принесена в жертву и религия. Г-жа

Эмерленг уже давно отказалась от мусульманских обрядов. Лемеркье, близкий друг дома и ее провожатый по Парижу, убедил супругов, что торжественное обращение баронессы в новую веру откроет ей двери той части высшего света Парижа, доступ в которую становился все более и более затруднительным, по мере того как демократизировалось окружающее общество. А после покорения Сен-Жерменского предместья можно будет добиться и всего остального. И в самом деле, когда после на шумевшего крещения баронессы Эмерленг стало известно, что самые знатные фамилии Франции не пренебрегают ее субботаами, тогда и г-жи Гугенгейм, Фюренберг, Караицаки, Морис Тротт, супруги миллионеров в фесках — миллионеров, прославившихся на денежных рынках Туниса, отказавшись от своих предубеждений, стали добиваться, чтобы их принимала бывшая рабыня. Одна лишь недавно прибывшая г-жа Жансуле, у которой голова была набита восточными понятиями, подобно тому, как ее комнаты были битком набиты трубками с кальяном, страусовыми яйцами и всевозможными тунисскими безделушками, выразила протест против того, что она называла «неприличием» и «трусостью», и заявила, что ноги ее не будет у «этой». Г-жи Гугенгейм, Караицаки и прочие «тумбы» подались чуточку назад, как это всегда бывает в Париже, когда человек с шаткой репутацией старается ее укрепить, но чье-либо упорное противодействие побуждает лиц, поддержавших этого человека, сожалеть о сделанном и бить отбой. Все зашли слишком далеко, чтобы отступить, но решили дать сильнее почувствовать цену своей благосклонности, подчеркнуть, что они пожертвовали своими предрассудками. Баронесса Мария хорошо уловила этот оттенок уже в одном покровительственном тоне левантинок, которые с пренебрежительным высокомерием называли ее «милое дитя» или «дорогая малютка». С тех пор ее ненависть к Жансуле не знала границ — то была гаремная ненависть, сложная и жестокая, которая кончается тем, что жертву душат и топят без шума. Правда, в Париже это сделать труднее, нежели на берегах озера Эль-Бахейра, но тем не менее баронесса уже приготовила крепкий мешок с веревкой.

Можете себе представить то изумление, а затем волнение, которые охватили этот экзотический уголок общества, знавшего о ненависти баронессы и ее причинах, когда стало известно, что «толстуха Афшен», как ее называли эти дамы, не только согласилась встретиться с баронессой, но что именно она должна была нанести ей первый визит в ближайшую субботу. Вы, конечно, понимаете, что ни Фюренберги, ни Тротты ни за что на свете не упустили бы возможности присутствовать при таком событии. Баронесса со своей стороны сделала все, чтобы пышно обставить

торжественное примирение: она стала рассылать записки, наносить визиты, хлопотать.

В результате, несмотря на приближавшийся конец сезона, если бы г-жа Жансуле подъехала в четыре часа дня к особняку в предместье Сент-Оноре, она увидела бы перед высоким проемом дверей рядом со скромной ливреей цвета увядших листьев княгини де Дион и большим количеством подлинных гербов кричащие, претенциозные новые гербы, разноцветные колеса множества экипажей, принадлежащих финансистам, и рослых лакеев Караицаки в пудренных париках.

Наверху, в гостиных, сборище пестрое и блестящее. В двух первых, устланных коврами пустынных комнатах слышалось непрерывное шуршание шелков: это проходили приглашенные дамы, — а дальше, в будуаре, баронесса принимала гостей, деля свое внимание и льстивые любезности между двумя резко разграниченными лагерями: с одной стороны — туалеты темных тонов, скромные, изысканность которых мог оценить только опытный взгляд, с другой — кричащие весенние костюмы с пышными корсажами, бриллиантами необыкновенной величины, развевающимися шарфами, привозные наряды, словно говорившие о тоске их обладательниц по более жаркому климату и жизни в роскоши, выставленной напоказ. Тут — широкие взмахи веером, там — сдержанное перешептывание. Очень мало мужчин — несколько благонамеренных молодых людей, молчаливых, неподвижных, посасывающих набалдашники тростей, несколько дельцов, которые стояли за широкими спинами своих супругов и разговаривали, не поднимая глаз, словно предлагали друг другу контрабандные товары. В уголке — длинная патриархальная борода и лиловая мантия православного армянского епископа.

Баронесса, пытаясь объединить эти столь разнородные круги светского общества, сохранить гостиную заполненной до знаменательной встречи, беспрестанно переходила с места на место. Чарующая, обворожительная, она принимала участие в десяти беседах сразу, повышая свой мелодичный, бархатистый голос, щебечущий, как у восточных женщин, блистая умом, не менее гибким, чем ее стан, затрагивая все темы: театры и аукционы, исповедальню и ателье, мешая моду и благотворительность. Ее неотразимое обаяние сочеталось с усвоенным ею искусством хозяйки большого дома, искусством, чувствовавшимся во всем, вплоть до простого черного платья, оттенявшего ее монашескую бледность, глаза гурии, блестящие волосы, заплетенные в косы и разделенные пробором над узким девственным лбом, и необычайно тонкие губы. Этот маленький рот усиливал таинственность выражения ее лица, замыкая от любопытных

взоров богатое и пестрое прошлое этой бывшей одалиски, которая не имела возраста, сама не знала года своего рождения, не помнила себя ребенком.

Если бы безграничная сила зла, столь редкая в женщинах, которых природная впечатлительность отдает во власть самых различных порывов, была способна сосредоточиться в какой-нибудь одной душе, такую душу могла иметь лишь эта рабыня, с детства приучившая себя к угодливости и низости, непокорная, но терпеливая и владеющая собою, как все, кого постоянно опущенное на глаза покрывало приучило лгать без опасений и без зазрения совести.

Никто не догадался бы о терзавшей ее тревоге, глядя, как она стоит на коленях перед княгиней, добродушной и простой в обращении старухой, про которую г-жа Фюренберг говорила: «И это княгиня!»

— Крестная, прошу вас, побудьте еще немного!

Она приставала к княгине с проявлениями нежности, строила ей умильные рожицы, не признаваясь, разумеется, что непременно хочет удержать ее до прихода Жансуле, что она необходима ей для торжества.

— Дело в том, — говорила старушка, указывая на величавого армянина, молчаливого и серьезного, державшего на коленях шляпу с кистями, — дело в том, что я должна свезти его преосвященство в церковь Гран-Сен — Кристоф, чтобы он закупил там образков. Без меня ему, бедному, не управиться.

— Нет, нет, умоляю вас!.. Ну для меня!.. Еще несколько минут!..

Баронесса украдкой бросила взгляд на роскошные старинные стенные часы, висевшие в углу гостиной.

Пять часов, а толстухи Афшен все нет. Левантинки начали посмеиваться, прикрываясь веерами. К счастью, подали чай, испанские вина и бесчисленное количество восхитительных турецких сладостей, которыми можно было полакомиться только здесь. Рецепты их изготовления, которые взяла с собой одалиска, хранятся в гаремах так же тщательно, как некоторые секреты утонченного кондитерского искусства в наших монастырях. Это оживило общество. Толстяк Эмерленг, который по субботам выходил время от времени из своей конторы, чтобы приветствовать дам, пил мадеру за чайным столиком и беседовал с Морисом Троттом, бывшим банщиком Саид — паши. Баронесса подошла к нему, по-прежнему кроткая и спокойная. Он знал, какую ярость скрывает эта непроницаемая безмятежность, и спросил ее робким шепотом:

— Их все еще нет?

— Нет... Видите, как вы меня осрамили!

Она улыбалась, потупив глаза, снимая ногтем крошку от пирожного,

застрявшую в его длинных черных бакенбардах, но ее маленькие прозрачные ноздри трепетали до ужаса красноречиво.

— Она приедет! — сказал банкир с полным ртом. — Я уверен, что приедет!

Шелест тканей, шлейфа, расправляемого в соседней комнате, заставил баронессу быстро обернуться. К великой радости кружка «тумб», наблюдавших за всем, что происходило, это была не та, кого ожидали.

Она совсем не походила на урожденную Афшен, эта высокая элегантная блондинка с усталым выражением лица, в безупречном туалете, вполне достойная носить такую известную фамилию, как фамилия доктора Дженкинса. За последние два-три месяца эта красавица очень изменилась; она сильно постарела. В жизни женщины, долго сохранявшей молодость, наступает такой момент, когда прожитые годы, до этого не оставлявшие на ее лице ни малейшей морщинки, вдруг налагают на него неизгладимую печать. При виде ее уже не говорят: «Как она хороша!», а: «Как она, вероятно, была хороша!» И эта жестокая манера употреблять прошедшее время, отбрасывать в далекое прошлое то, что вчера еще было реальностью, говорит о начале старости, о том, что пора уйти на покой, заменить триумфы воспоминаниями. Было ли то разочарование при виде жены доктора вместо г-жи Жансуле? Или же урон, нанесенный репутации модного врача смертью герцога де Мора, отразился и на той, что носила его имя? Наверно, эти обстоятельства — а может быть, и еще что-нибудь. — явились причиной холодного приема, оказанного баронессой г-же Дженкинс. Легкое, небрежное приветствие, несколько торопливо произнесенных слов — и г-жа Эмерленг вернулась к благородному батальону, уплетавшему лакомства за обе щеки. Под влиянием испанских вин гостиная оживилась. В ней уже не шептались, а разговаривали. Внесенные лампы придали новый блеск сборищу, но вместе с тем напомнили о его близком окончании. Несколько человек, не заинтересованных в великом событии, уже направились к дверям. А Жансуле все не приезжали.

Вдруг слышались шаги, тяжелые, торопливые. Появился Набоб, один, в черном сюртуке, в аккуратно завязанном галстуке и в перчатках, но с расстроенным видом, с блуждающим взглядом, еще трепещущий от ужасной сцены, которая разыгралась перед этим.

Г-жа Жансуле не соизволила приехать.

Утром Набоб велел горничным приготовить все для их госпожи к трем часам, как он это делал обычно, когда брал левантинку с собой (бывали случаи, когда он считал необходимым сдвинуть с места эту апатичную

особу). Не будучи в состоянии взять на себя хоть в чем — либо малейшую долю ответственности, она предоставляла другим думать, решать, действовать за нее. А вообще она охотно шла куда угодно, если уж выходила из дому. На эту уступчивость Набоб и рассчитывал, чтобы завлечь ее к Эмерленгам. Но когда после завтрака Жансуле, уже одетый, расфранченный, вспотев (так усердно натягивал он перчатки), велел узнать, скоро ли будет готова госпожа, ему ответили, что госпожа остается дома. Положение было серьезное, настолько серьезное, что, не рассчитывая на посредничество лакеев и горничных, которых они посылали друг к другу при переговорах, он поднялся по лестнице, шагая через несколько ступенек, и влетел, как порыв мистралья, в теплые, уставленные мягкой мебелью комнаты левантинки.

Она была еще в постели, в длинной открытой двухцветной тунике, которую мавританки называли «джебба», и в маленькой шитой золотом шапочке, из-под которой выбивалась ее густая черная грива, спутанная вокруг лунообразного лица, разгоряченного только что законченным завтраком. Из-под откинутых рукавов джеббы выглядывали безобразно толстые руки, отягощенные браслетами, длинными цепочками, задевавшими при движении множество зеркалец, красных четок, коробок с духами, крошечных трубок, портсигаров — детскую, игрушечную выставку товаров на ложе мавританки при ее утреннем туалете.

Во всей комнате чувствовался опьяняющий запах турецкого табака, приправленного опиумом, и царил такой же беспорядок, как на туалетном столике. Негритянки входили и выходили, не торопясь убирали кофейный прибор своей госпожи. Любимая газель вылизывала чашечку, которую она опрокинула своей острой мордочкой на ковер; сидевший с трогательной фамильярностью у постели мрачный Кабассю читал вслух драму в стихах, которую должны были вскоре играть у Кардальяка. Левантинка была подавлена, просто оглушена этим произведением.

— Дорогой мой! — сказала она Жансуле со своим тяжелым фламандским акцентом. — Я не понимаю, о чем думает наш директор? Я сейчас читаю эту пьесу «Мятеж», от которой он без ума... Но ведь это ж смертельная скука! Это совсем не годится для театра.

— Плевал я на театр! — воскликнул рассвирепевший Жансуле, несмотря на все свое уважение к дочери Афшенов. — Как, вы еще не одеты? Разве вам не сказали, что мы едем в гости?

Ей сказали, но она начала читать эту дурацкую пьесу. И она заявила со свойственным ей сонным выражением лица:

— Мы поедем завтра.

— Завтра? Это невозможно! Нас ждут именно сегодня. Очень важный визит!

— Куда это?

Он немного помялся, потом ответил:

— К Эмерленгу.

Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза, думая, что он шутит. Тогда он рассказал ей о своей встрече с бароном на похоронах де Мора и об их взаимном уговоре.

— Поезжайте, если хотите, — сказала она холодно, — но вы меня плохо знаете, если думаете, что я, урожденная Афшен, когда-нибудь переступлю порог этой рабыни.

Предусмотрительный Кабассю, чувствуя, что спор этот может завести далеко, незаметно удалился в соседнюю комнату, унося под мышкой все пять тетрадей «Мятежа».

— Я вижу, — сказал жене Набоб, — вы не понимаете, в каком ужасном положении я нахожусь. В таком случае я вам расскажу...

Не обращая никакого внимания на горничных и негрятенок, с величайшим пренебрежением восточного человека к слугам, он стал описывать ей свое бедственное положение: там его состояние в чужих руках, здесь им утрачен кредит. Он говорил о том, что вся его жизнь висит на волоске в ожидании решения Палаты, о влиянии Эмерленга на докладчика-адвоката и необходимости принести в эту минуту все свое самолюбие в жертву столь важным для них обоим интересам. Он говорил с жаром, стараясь убедить ее, увлечь. Но она ему ответила: «Я не поеду», — как будто речь шла о не имеющей значения прогулке, слишком долгой и потому для нее утомительной.

Он весь дрожал:

— Нет-нет, я не верю, что вы это серьезно!.. Не забывайте, что речь идет о моем состоянии, о будущем наших детей, об имени, которое вы носите... Все зависит от этого шага, и вы не можете мне отказать!

Если бы он продолжал говорить ей в таком духе до самого вечера, все равно он в конце концов натолкнулся бы на то же упрямство, твердое, непоколебимое. Она урожденная Афшен, она не поедет с визитом к рабыне.

— Право же, милая моя, — грубо крикнул он, — эта рабыня куда лучше вас! Своим умом она удвоила состояние мужа, а вот вы...

Впервые за все двенадцать лет их совместной жизни Жансуле осмелился в разговоре с женой повысить голос. Устыдился ли он преступного оскорбления величества или понял, что эта фраза может образовать между ними непроходимую пропасть? Так или иначе, он сразу

переменил тон. Опустившись перед кроватью на колени, он сказал с той нежной шутивостью, с помощью которой пробуют уговорить детей:

— Марта, малютка, ну, пожалуйста!.. Встань и оденься! Ведь я прошу об этом ради тебя же самой, ради твоей роскоши, твоего благополучия... Что будет с тобой, если из-за каприза, из-за злого упрямства мы окажемся обреченными на нищету?

Слово «нищета» не доходило до сознания левантинки. О нищете можно было говорить при ней так, как при малышах говорят о смерти. Это слово не пугало ее, потому что она не знала, что это такое. Притом ей уж очень хотелось остаться в кровати, в своей джеббе. И, чтобы утвердиться в своем решении, она зажгла новую папиросу от той, которую докуривала.

Пока Набоб осыпал свою «дорогую женушку» извинениями, просьбами, мольбами, обещая ей жемчужную диадему в сто раз лучше той, которая у нее была, если только она пойдет, она смотрела, как поднимается к расписанному потолку усыпляющий дымок, словно обволакивавший ее и сообщавший ей невозмутимое спокойствие. В конце концов, упершись, как в каменную стену, в этот отказ, в это молчание, в это упрямое выражение лица, Жансуле дал волю своему гневу.

— Идем! — вскричал он, выпрямляясь во весь рост. — Я этого требую! — И обратился к негритянкам:—Одевайте вашу госпожу. Сейчас же!

В Жансуле проснулся глубоко сидевший в нем неотесанный грубиян, сын торговавшего гвоздями южанина; он весь дрожал в приливе ярости. Откинув резким и пренебрежительным движением занавеси у кровати, сбросив на пол лежавшие на ней бесчисленные безделушки, он принудил полуголую левантинку вскочить на ноги с удивительной для этой грузной особы быстротой. Она взвыла от оскорбления, стянула на груди складки туники, сдвинула набок шапочку на рассыпавшихся волосах и принялась бранить мужа:

— Ни за что, слышишь ты, ни за что! Ты можешь только силой потащить меня к этой...

Грязные ругательства полились потоком из ее толстых губ, как из отверстия сточной трубы. Жансуле казалось, что он находится в одном из гнусных притонов марсельского порта, присутствует при драке девки с грузчиком или при уличной ссоре между генуэзками, мальтийками и провансалками, подбирающими на набережной зерно около сваленных мешков и ругающимися ползая на четвереньках в вихрях золотой пыли. То была настоящая левантинка портового города, набалованная, выросшая без присмотра девчонка, которая слышала вечером со своей террасы или

катаясь в гондоле, как ругаются матросы на всех языках латинских морей, и все это запомнила. Набоб смотрел на нее растерянный, подавленный тем, что она заставляла его выслушивать, всей ее карикатурной внешностью. А она хрипела с пеной У рта:

— Нет, я не пойду! Нет, я не пойду!

И это была мать его детей, урожденная Афшен!

Вдруг, при мысли о том, что его судьба в руках этой женщины, что ей стоит только надеть платье, чтобы сласти его, а что время уходит, что скоро уже будет поздно, жажда крови затуманила его мозг, исказила его черты. Он пошел прямо на нее, подняв руки и сжав их в кулаки с таким грозным видом, что дочь Афшенов в страхе бросилась к двери, в которую вышел массажист, крича:

— Аристид!

Этот крик, этот голос, эта близость его жены с жалким наемником!.. Жансуле остановился, мгновенно отрезвев, и, полный отвращения, выбежал из комнаты, хлопнув дверь. Он не столько торопился туда, где ему обещали помочь, сколько торопился уйти от своего несчастья и позора.

Четверть часа спустя он входил в гостиную Эмерленга. Мимоходом выразив банкиру жестом свое отчаяние, он подошел к баронессе и пробормотал готовую фразу, которую ему так часто повторяли на его балу:

— Моя жена нездорова... очень сожалеет, что не могла...

Она не дала ему закончить, медленно встала, изогнувшись змеей в отороченных складках своего узкого платья, сказала, не глядя на него, со своим мягким акцентом: «О, я так и знала... Я так и знала...» — затем перешла на другое место и больше не обращала на него внимания. Он попытался подойти к Эмерленгу, но тот, видимо, был поглощен своей беседой с Морисом Троттом. Тогда он сел подле г-жи Дженкинс, остававшейся, подобно ему, в одиночестве. Но, продолжая беседовать с бедной женщиной, которая томилась так же сильно, как сильно он был озабочен. Набоб наблюдал, как баронесса исполняет роль хозяйки в этой гостиной, такой уютной по сравнению с его золочеными сараями.

Гости начали расходиться. Г-жа Эмерленг проводила некоторых дам, подставила лоб старой княгине, подошла под благословение к армянскому епископу, подарила улыбкой молодых франтов с тросточками. При прощании она находила для каждого нужные слова и произносила их самым непринужденным тоном. Бедняга не мог не сравнить эту восточную рабыню, настоящую парижанку, казавшуюся такой изысканной среди самого избранного общества, с другой, с той, что жила у него в доме, с европейкой, одичавшей на Востоке, отупевшей от турецкого табака и

расплывшейся от праздности. Его честолюбие, его супружеская гордость были обмануты, унижены этим союзом, всю опасность и пустоту которого он увидел теперь, — это была последняя жестокость судьбы, отнимавшая у него личное счастье, убежище от всех неудач на общественном поприще.

Гостиная понемногу пустела. Левантинки исчезали одна за другой, каждая оставляла после себя обширное незаполненное место. Г-жа Дженкинс ушла, в комнате оставались незнакомые Жансуле дамы, в кругу которых хозяйка дома укрылась от него. Но Эмерленг был свободен, и Набоб подошел к нему в ту минуту, когда тот собирался проскользнуть в свой директорский кабинет, находившийся в том же этаже, напротив его квартиры. Жансуле вышел вместе с ним, от волнения забыв попрощаться с баронессой. Как только они очутились на площадке лестницы, обставленной в виде передней, лицо толстяка Эмерленга, бывшее, пока жена наблюдала за ним, сдержанным, холодным, приняло более приветливое выражение.

— Очень жаль, что госпожа Жансуле не захотела прийти, — сказал он тихо, словно боясь, что его услышат.

Жансуле ответил ему жестом, полным отчаяния и угрюмой беспомощности.

— Очень, очень жаль!.. — повторил тот, отдуваясь и нашаривая в кармане ключ.

— Послушай, старина, — сказал Набоб, беря его за РУКУ.- если наши жены не могут сойтись, это еще не причина... Это не мешает нам остаться друзьями... Как мы славно поболтали тогда, а?

— Конечно, — сказал барон, высвобождая руку, чтобы толкнуть дверь; дверь бесшумно распахнулась, и Набоб увидел высокий рабочий кабинет, где одиноко горела лампа перед огромным пустым креслом. — Ну, до свидания, я тебя покидаю... Надо посмотреть почту.

— *Ja didou, merci...*^[51] - сказал бедный Набоб, пытаясь пошутить и пуская в ход левантинское наречие, чтобы оживить у старого приятеля приятные воспоминания, пробужденные третьего дня. — Наш визит к Лемеркье должен все-таки состояться... Ему надо предложить картину, помнишь? Когда тебе удобно?

— Ах, да, Лемеркье!.. Верно!.. Ну что ж, на днях... Я тебе напишу...

— Правда? Время не терпит, сам понимаешь...

— Да, да, я напишу... Прощай.

С этими словами толстяк быстро захлопнул дверь, словно опасаясь, как бы не появилась его жена.

Два дня спустя Набоб получил исписанный мелкими каракулями

листочек от Эмерленга. Его почерк почти невозможно было разобрать; дело еще усложнялось сокращениями, более или менее похожими на те, которые приняты в коммерческой переписке: бывший маркитант пытался с их помощью скрыть свою полную безграмотность.

«Дорог, стартов.

Я ник. не могу идти с тоб. к Лемерк. Слишк. мн. дел в наст. вр. К том. же в. луч. поговор. с глазу на гл. Иди прям, к нему. Тебя ждут. Ул. Кассет, каж. утр. 8-10.

Серд. прив.

Эм.».

Внизу кто-то приписал тоже очень мелким, но более разборчивым почерком:

«Если можно, лучше картину религиозного содержания!..»

Как понять такое письмо? Что это, действительно доброжелательство или вежливая отговорка? Во всяком случае, нельзя было больше колебаться. Времени оставалось в обрез. Жансуле сделал над собой усилие: он очень робел перед Лемеркье — и однажды утром отправился к нему.

Париж, этот необычайный город, по своему населению и внешнему облику похож на коллекцию образцов, собранных со всех концов света. В квартале Маре встречаются узкие улицы со старинными резными дверьми, изъеденными древооточцем, с выступающими коньками крыш, балконами с деревянными решетками, напоминающими старый Гейдельберг. Улица предместья Сент-Оноре там, где она расширяется около русской церкви с белой колокольней и золотыми куполами, напоминает Москву. На Монмартре существует живописный, тесно застроенный уголок — настоящий Алжир. Маленькие особнячки, низенькие и чистенькие, с медной дощечкой на дверях и отдельным садиком, тянутся рядами, как на улицах Англии, от Нейи до Елисейских полей. А вся площадь св. Сульпиция, улица Феру и улица Кассет, мирно дремлющие под сенью высоких башен, с неровными мостовыми и молоточками у входных дверей, словно перенесены из какого-нибудь набожного провинциального городка. Тура или Орлеана, из его прилегающих к собору кварталов и епископского дворца, где огромные деревья, возвышающиеся над стенами, раскачиваются под звон колоколов и пение хоралов.

В этом-то квартале, по соседству с католическим клубом, почетным председателем которого он недавно был избран, и жил Лемеркье, адвокат, депутат от Лиона, поверенный всех крупных общин Франции, которому толстяк Эмерленг из соображений особой важности доверил интересы своего банкирского дома.

Около девяти часов утра Жансуле подъехал к старинному особняку, нижний этаж которого был занят лавкой духовных книг, пропитанной усыпляющим запахом ризницы и той грубой бумаги, на какой печатаются изображения чудес. Поднимаясь по широкой лестнице, выбеленной, как в монастырях, он чувствовал себя так словно вновь окунулся в провинциальную католическую атмосферу, с которой у него были связаны воспоминания проведенной на юге молодости, впечатления детства, еще не тронутые и свежие из-за его длительной разлуки с родными местами. Отречься от этих чувств сын Франсуазы со дня своего прибытия в Париж не имел ни времени, ни достаточных оснований. До сих пор он познакомился со всеми формами светского лицемерия, со всеми его масками, кроме одной — личины святости. Поэтому он отказывался верить в продажность человека, живущего в таком окружении. Когда его ввели в приемную адвоката, огромную комнату с накрахмаленными муслиновыми занавесками, тонкими, как стихарь, единственным украшением которой была висевшая нэд дверьми большая превосходная копия «Распятия» Тинторетто, неуверенность и смущение Жансуле сменились негодующей убежденностью. Нет, не может быть! Относительно Лемеркье его обманули. Это была наглая клевета-известно, как легко в Париже распространяется клевета, — или, быть может, ему поставили одну из тех коварных ловушек, на которые он вот уже полгода непрерывно натыкался. Нет, с этой непреклонной совестью, прославившейся во Дворце правосудия и в Палате, с этим строгим и холодным человеком нельзя было обращаться как с толстыми пузатыми пашами, расхаживающими с ослабленным поясом и широчайшими рукавами, словно нарочно приспособленными для того, чтобы удобнее было прятать кошельки с цехинами. Попытаться подкупить Лемеркье таким способом значило получить наверняка позорный отказ, стать предметом законного возмущения человека, честность которого подвергли сомнению.

Набоб думал об этом, сидя на дубовой скамье, тянувшейся вдоль всей залы и до лоска вытертой одеяниями из грубой шерсти и шершавым сукном сутан. Несмотря на ранний час, в приемной ожидало много народу. Доминиканский монах с аскетическим и безмятежным видом, расхаживавший взад и вперед большими шагами; две монахини в низко надвинутых чепцах, перебиравшие длинные четки, измеряя ими часы и минуты ожидания; священники из Лионской епархии, которых можно было узнать по форме их шляп, и еще другие люди с суровыми и сосредоточенными лицами, усевшиеся у большого, черного дерева стола на середине комнаты и перелистывавшие душеспасительные журнальчики, из

тех, что печатаются на Фурвьерском холме^[52] — «Эхо чистилища», «Розовый куст девы Марии» — и дают годовым подписчикам в виде премии папские индульгенции, облегчение загробных мук. Несколько слов, произнесенных тихим голосом, приглушенный кашель, тихое жужжание монахинь, бормотающих молитвы, вызывали у Жансуле смутные и далекие воспоминания о долгих часах ожидания в углу родной деревенской церкви, возле исповедальни, в канун больших праздников.

Наконец настала его очередь. Если у него оставались еще какие-то сомнения относительно Лемеркье, то они рассеялись окончательно, когда он вошел в простой и строгий просторный кабинет адвоката, все же не столь бедный убранством, как приемная. Этот большой кабинет служил неплохим обрамлением для суровых принципов Лемеркье и для всей его тощей фигуры, длинной, сгорбленной, узкоплечей, вечно затянутой в черный сюртук с короткими рукавами, из которых выступали две темные кисти рук, угловатые, плоские, похожие на две палочки китайской туши, расписанные иероглифами вздувшихся вен. Лицу набожного адвоката, бледному, как у всех лионцев, плесневеющих от сырости между своими двумя реками, придавал особенную выразительность его двойственный взгляд, порою искрящийся, но непроницаемый за стеклами очков, чаще же быстрый, недоверчивый и мрачный по верху тех же очков, из-под глубокой тени, лежащей на дугу бровей, когда человек смотрит исподлобья.

После приема, почти сердечного по сравнению с холодным поклоном, которым коллеги обменивались в Палате, после слов: «Я ждал вас», быть может, сказанных не без умысла, адвокат указал Набобу на кресло возле письменного стола и велел слуге с ханжеским лицом, одетому во все черное, не «затянуть потуже власяницу ремнем», а просто-напросто не приходить, пока он не позвонит. Затем он привел в порядок разбросанные бумаги и, наконец, скрестив ноги, усевшись поглубже в кресло, с видом человека, который приготовился слушать, который, так сказать, весь обратился в слух, оперся подбородком на руку и застыл, устремив взгляд на большую зеленую репсовую портьеру, спускавшуюся напротив него до самого пола.

Момент был решительный, положение затруднительное. Но Жансуле не колебался. Это была одна из иллюзий бедного Набоба — будто он умеет так разбираться в людях, как умел разбираться де Мора. И вот это самое чутье, которое, по его словам, никогда его не обманывало, подсказывало ему теперь, что он встретился с суровой и несокрушимой честностью, с твердокаменной совестью, под которую никак нельзя подкопаться. «Моя совесть!» И он внезапно изменил выработанный план, отбросил хитрости,

недомолвки, претившие его смелому и прямодушному характеру, и с высоко поднятой головой, не боясь раскрыть свою душу, заговорил с этим честным человеком языком, который тот был призван понять.

— Не удивляйтесь, дорогой коллега, — так начал он голосом, который вначале дрожал, но вскоре окреп от убежденности в своей правоте, — что я пришел сюда к вам вместо того, чтобы просто попросить Третье отделение выслушать меня. Объяснения, которые я должен вам дать, такого щекотливого и интимного свойства, что я не мог бы изложить их в общественном месте, перед собравшимися коллегами.

Лемеркье с растерянным видом посмотрел поверх очков на портьера. Разговор явно принимал неожиданный оборот.

— Я не стану затрагивать существо дела, — продолжал Набоб. — Ваш доклад, я уверен, беспристрастен и честен, таков, каким вам должна была продиктовать его ваша совесть. Но, видите ли, обо мне распространяется отвратительная клевета, которую я до сих пор еще не опроверг. А между тем она может повлиять на мнение Отделения. Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить. Мне известно, каким доверием вы пользуетесь у ваших коллег, господин Лемеркье, — после того, как я сумею вас убедить, достаточно будет одного вашего слова, и мне не придется выставлять перед всеми напоказ мою скорбь. Вы знаете, в чем меня обвиняют. Я говорю о самом страшном, самом подлом из обвинений. Их столько, что в них легко запутаться. Мои враги называют имена, даты, адреса... Но я принес вам доказательства моей невиновности. Я раскрываю их перед вами, и только перед вами, потому что у меня есть серьезные причины держать все это дело в тайне.

И Жансуле показал адвокату удостоверение туниССкого консульства в том, что в течение двадцати лет он только два раза выезжал из Туниса: первый раз — когда навещал своего отца, умиравшего в Бур-Сент-Андеоль, а второй раз — когда ездил на три дня вместе с беом в свой замок Сен-Роман.

— Как же могло случиться, что, имея в руках такой оправдательный документ, я не подал на своих оскорбителей в суд, чтобы уличить их во лжи и дискредитировать их? Увы, сударь, в некоторых семьях приходится иногда стоять друг за друга, как бы это ни было тяжело... У меня был брат, несчастное существо, слабое, испорченное, который долго таскался по парижской грязи, оставив в ней свой ум и честь... Опустился ли он до того предела гнусности, который вместо него приписывают мне? Не знаю. У меня не хватило духа проверить это. Я утверждаю лишь, что мой бедный отец, который знал обо всем больше, чем кто бы то ни было у нас в доме,

прошептал мне перед смертью: «Бернар! Меня убивает мой Старший... Я умираю от стыда, сын мой».

Жансуле остановился, чтобы преодолеть душившее его волнение, затем продолжал:

— Мой отец умер, мэтр Лемеркье, но моя мать еще жива, и это ради нее, ради ее покоя я воздержался и продолжаю еще воздерживаться от широкой огласки моего оправдания. До сих пор грязь, которою меня забрасывали, не могла долететь до нее. Эта грязь не выходит за пределы определенного круга людей, некоторых газет — моя старушка бесконечно далека от всего этого. Но суд, процесс — это означает, что наше горе будут трепать по всей Франции, что статьи «Мессаже» будут перепечатаны во всех газетах, даже в той глуши, где живет моя мать... Клевета, моя самозащита, оба ее сына, одновременно покрытые позором, доброе имя — единственная гордость старой крестьянки, — запятнанное навеки... Это будет для нее слишком тяжело. Это может ее убить. Я считаю, что довольно одной жертвы... Вот почему у меня хватило мужества молчать, постараться утомить врагов моим молчанием. Но мне нужно, чтобы кто — нибудь поручился за меня перед Палатой. Я хочу отнять у нее право отвергнуть меня по причинам, которые меня бесчестят, и поскольку она выбрала вас докладчиком, я пришел рассказать вам все, как на исповеди, как священнику, с просьбой ничего не разглашать из нашей беседы, хотя бы даже это было в интересах моего дела... Только об этом я и прошу вас, дорогой коллега, — хранить все в тайне! Что касается остального, то тут я полагаюсь на вашу справедливость, на вашу честность.

Он встал. Лемеркье не двигался, продолжая вопрошать взглядом зеленую портьеру, как бы стараясь найти в ней вдохновение для ответа. Наконец он произнес:

— Будет так, как вы этого желаете, дорогой коллега. Это признание останется между нами. Вы мне ничего не говорили, я ничего не слышал.

Набоб, все еще разгоряченный своим порывом, который взывал как будто бы к сердечному ответу, горячему пожатию руки, почувствовал, что его охватывает странное ощущение беспокойства. Эта холодность, этот отсутствующий взгляд привели его в такое замешательство, что он устремился к двери, отвесив неуклюжий поклон докучливого гостя. Но адвокат остановил его. "

— Подождите, дорогой коллега! Как вы спешите покинуть меня! Еще несколько минут, прошу вас! Мне так приятно беседовать с таким человеком, как вы. Тем более что у нас с вами много общих интересов. Наш друг Эмерленг говорил мне, что вы тоже большой любитель картин...

Жансуле вздрогнул. Эти два слова: «Эмерленг» и «картины», встретившиеся в одной фразе и так неожиданно, вновь пробудили в нем сомнения, колебания. Однако он еще не сдался и предоставил Лемеркье осторожно подыскивать слова, нащупывать почву для рискованного продвижения вперед... Ему много говорили о галерее уважаемого коллеги... Будет ли нескромно просить разрешения посмотреть ее?..

— Что вы! Это большая честь для меня, — сказал польщенный Набоб, у которого затронули чувствительное место, ибо ив всех способов удовлетворять свое тщеславие именно этот обходился ему дороже всего. Окинув взглядом стены кабинета, он добавил тоном знатока:

— У вас тоже есть прекрасные вещи...

— О, всего несколько полотен!.. — скромно заметил адвокат. — Живопись ценится нынче так дорого! Это очень обременительная прихоть, страсть, которая, право, является роскошью. Страсть набоба, — сказал он, улыбнувшись и бросив украдкой взгляд поверх очков.

Тут столкнулись лицом к лицу два осторожных игрока. Только Жансуле был несколько сбит с толку в этом новом для него положении, ему надо было остерегаться — ему, который был способен лишь на смелые поступки!

— Когда я подумаю, — пробормотал адвокат, — что мне понадобилось десять лет на то, чтобы завесить эти стены, и что у меня осталось еще свободное место...

Действительно, на высокой стене, на самом виду, зияло пустое пространство, вернее, опустевшее, так как большой золоченый гвоздь под потолком говорил о явной, грубой ловушке, поставленной бедному простаку, который глупо попался в нее.

— Дорогой господин Лемеркье! — сказал Набоб ласковым, добродушным тоном. — У меня как раз есть мадонна Тинторетто, ^[53] подходящая по размеру к пустому месту на вашей стене...

На этот раз в глазах адвоката, скрывавшихся за поблескивающими стеклами очков, ничего нельзя было прочесть.

— Позвольте мне повесить ее там, напротив вашего стола. Это будет вам напоминать обо мне...

— И смягчит суровость моего доклада, не так ли, сударь? — грозно воскликнул Лемеркье, вставая с места и кладя руку на звонок. — Я видел много бесстыдства в своей жизни, но подобного еще не встречал. Сделать такое предложение — мне, в моем доме!

— Но, дорогой коллега, клянусь вам...

— Проводите, — сказал адвокат вошедшему слуге с лицом

висельника.

Стоя посреди кабинета, дверь которого осталась открытой, перед приемной, где замерли неподвижно четки, он прокричал вслед Жансуле, который согнул спину и, что-то лепеча, спешил к выходу, гневные слова:

— Вы оскорбили в моем лице честь всей Палаты, сударь! Нашим коллегам все будет известно сегодня же, и когда ко всем остальным жалобам на вас прибавится еще эта, вы узнаете по собственному опыту, что Париж не Восток и что здесь не занимаются торговлей и постыдными сделками с человеческой совестью.

Изгнав торговца из храма, праведник закрыл дверь и, подойдя к таинственной зеленой портьере, спросил слащавым тоном, сменившим притворный гнев:

— Вы довольны, баронесса?

XXI. ЗАСЕДАНИЕ

Сегодня в доме № 32 по Вандомской площади на вавтрак в виде исключения не были приглашены гости. Поэтому около часу дня желающие могли полюбоваться белым передником на величественном брюхе г-на Барро, стоявшего у подъезда в обществе четырех-пяти поварят в колпаках и такого же количества конюхов в шотландских шапочках, — эта внушительная группа придавала пышному особняку вид гостиницы, персонал которой решил подышать свежим воздухом в перерыве между двумя партиями постояльцев. Сходство довершалось остановившейся у подъезда каретой; кучер вытаскивал старинный кожаный чемодан, а в это время высокая старуха в желтом чепце, в короткой зеленой шали, с корзинкой в руке, легко соскочив на тротуар и внимательно посмотрев на номер дома, подошла к слугам справиться, здесь ли живет г-н Бернар Жансуле.

— Здесь, — ответили ей. — Но его сейчас нет.

— Не беда, — сказала старуха.

Она вернулась к кучеру, велела поставить чемодан у подъезда, расплатилась с ним, а затем сунула кошелек поглубже в карман красноречивым жестом, характерным для недоверчивого провинциала.

С тех пор как Жансуле стал депутатом от Корсики, к нему приезжали такие странные типы, что слуги не особенно удивились этой женщине с лицом, опаленным солнцем, и глазами, как горящие угли. В своем строгом головном уборе она вполне могла сойти за корсиканку, за какую-нибудь старую плакальщицу, приехавшую прямо из лесных дебрей Корсики: от приезжих островитян она отличалась только непринужденностью и спокойствием своих манер.

— Значит, хозяина нет дома? — спросила она тоном, каким говорят с работниками на ферме в ее родных краях, а не с дерзкой прислугой в богатом парижском доме.

— Нет.

— А дети?

— Занимаются с учителем. Их нельзя сейчас видеть.

— А хозяйка?

— Спит. Раньше трех часов к ней в комнату никто не допускается.

Добрая женщина как будто удивилась тому, что можно так поздно валяться в постели; но верный инстинкт, руководящий, за отсутствием

образования, чуткими натурами, не позволил ей высказать свое мнение перед слугами. Она пожелала видеть Поля де Жери.

— Он уехал.

— Ну, а Жан-Батист Бомпен?

— На заседании, вместе с хозяином.

Ее густые седые брови сдвинулись:

— Ну, все равно. Отнесите наверх мой чемодан.

Слегка прищурив лукавые глаза, она с гордостью как бы в отместку устремленным на нее нахальным взглядом — добавила:

— Я мамаша.

Поварята и конюхи почтительно расступились. Г-н Барро приподнял шапочку:

— То-то мне показалось, что я где-то видел вас, сударыня...

— Мне тоже, сынок, — ответила матушка Жансуле, у которой сжалось сердце при воспоминании о печальных празднествах в честь бея.

Сказать «сынок» господину Барро — такой важной особе!.. Это сразу подняло ее в глазах всей компании.

Величие и роскошь не ослепляли стойкую старуху. Это была не тетушка Боби из оперетты, приходящая в восторг от позолоты и красивых побрякушек. Когда она поднималась вслед за слугой, несшим ее чемодан, по большой лестнице, корзины с цветами на площадках и канделябры с бронзовыми фигурами не помешали ей заметить, что на перилах лежит слой пыли толщиной в палец, а ковер в нескольких местах разорван. Ее провели на третий этаж, на половину, отведенную левантинке и детям, и там, в большой комнате, служившей бельевой, которая, видимо, находилась рядом с классной, потому что за дверью слышались неясные звуки детских голосов, поставив на колени корзинку, она стала ждать возвращения своего Бернара, быть может, пробуждения невестки или радостной возможности обнять внучат. Окружавшая ее сейчас обстановка могла дать ей самое верное представление о беспорядке в доме, оставленном на попечение слуг, доме, где недостает женского глаза, присмотра заботливой хозяйки. В обширных шкафах, раскрытых настежь, белье было сложено неровными, разворошенными, оползшими стопками; батистовые простыни — и тут же столовое белье, скомканное, помятое; замки, не действовавшие из-за какой-нибудь застрявшей в них вышивки, которую никто не дал себе труда вытащить. А ведь в эту бельевую часто заглядывали служанки. Негритянки в желтом Мадрасе, выдергивавшие наспех из шкафа салфетку или передник, порой наступали на это разбросанное домашнее богатство, волочили через всю комнату на своих плоских ногах кружевные оборки,

отпоротые от пышной юбки и небрежно кинутые горничной. Тут наперсток, там ножницы — так бросают работу, за которую вот-вот возьмутся снова.

Все это заставляло страдать простую деревенскую труженицу, какую оставалась мать миллионера Жансуле, оскорбляло то чувство уважения, ту нежность, то умиление, какие возникают у провинциалки при виде бельевого шкафа, понемногу заполняющегося доверху, набитого реликвиями былой бедности, шкафа, содержимое которого постепенно растет и становится все изысканнее и дороже — первый знак достатка, богатства. Добрая старушка по-прежнему не выпускала прялки из рук, и если при виде такой картины хозяйка в ней возмущалась, то прядильщица готова была заплакать, как при виде святотатства. Наконец она почувствовала, что не может оставаться терпеливой наблюдательницей, встала и, горбясь под своей короткой зеленой шалью, сползавшей при каждом ее движении, принялась старательно собирать, расправлять, тщательно складывать великолепное белье, подобно тому, как она это делала на лужайках Сен-Романа, устраивая праздник большой стирки, когда хватало работы на двадцать поденщиц. Корзины бывали тогда переполнены развевавшимся белым полотном, раскачивавшиеся на утреннем ветру простыни сохли на длинных веревках. В самом разгаре этой деятельности, заставившей ее забыть путешествие, Париж, даже место, где она находилась, в бельевую вошел полный, коренастый бородатый мужчина в высоких лакированных сапогах и бархатной куртке, обрисовывавшей фигуру этого здоровяка.

— Э! Кабассю!

— Это вы, госпожа Франсуаза? Вот так сюрприз! — сказал массажист, тараша свои круглые глаза гяура с каминных часов.

— Я, голубчик Кабассю, я. Только что приехала. И, как видишь, уже за работой. У меня сердце кровью обливается — такой тут кавардак.

— Вы, значит, приехали на заседание?

— На какое заседание?

— На большое заседание Законодательного корпуса... Оно состоится сегодня.

— Вовсе нет. Какое мне до него дело? Все равно я там ничего не пойму. Нет, я приехала потому, что захотела познакомиться с моими внучатами и потому, что начала уже беспокоиться. Я ему написала уйму писем, а ответа все нет. Боялась, не заболел ли кто-нибудь из детишек, не случилось ли у Бернара каких неприятностей, — словом, всякие мрачные мысли стали приходить в голову. Я сильно затосковала, и вот приехала...

Но ведь здесь все благополучно, правда?

— Конечно, госпожа Франсуаза... Слава богу, все здоровы.

— А Бернар? Как его дела? Все идет как следует?

— Как сказать. У всякого человека бывают, знаете, маленькие неудачи... В общем, как будто дела идут неплохо... Но вы, наверно, проголодались? Я сейчас скажу, чтобы вам подали завтрак.

Он уже сделал непринужденное движение, чтобы позвонить. Видно было, что он чувствовал себя здесь как дома, куда больше, чем старуха мать. Она остановила его:

— Нет, нет, мне ничего не надо! У меня еще остались дорожные запасы.

Она вынула из корзины и положила на краешек стола две фиги и ломоть хлеба и стала закусывать.

— А ты, мой милый, как поживаешь? — снова заговорила она. — Я вижу, ты раздобыл с тех пор, как приезжал в последний раз в Бур. Какое белье на тебе, как ты разодел! Чем же ты занимаешься?

— Я профессор массажа, — серьезно ответил Аристид.

— Профессор, ты? — сказала она с почтительным удивлением, но не осмелилась спросить, что же он преподает.

Кабассю, которого эти расспросы несколько смутили, поспешил переменить тему разговора:

— Может быть, сходить за детьми? Им не сказали, что бабушка приехала?

— Я сама не хотела отрывать их от занятий. Но сейчас они, наверное, уже кончили урок. Прислушайся...

За дверями дети нетерпеливо переминались с ноги на ногу — обычная манера школьников, которые спешат вырваться на свободу, на свежий воздух. Старуха наслаждалась этим милым топотаньем, — оно усиливало порыв ее материнского чувства, хотя и задерживало наступление желанной минуты! Наконец дверь отворилась. Сначала появился преподаватель — остроносый, широкоскулый аббат, — мы уже встречали его на парадных завтраках. Поссорившись с епископом, честолобивый викарий покинул свой приход и, учитывая всю шаткость положения духовного лица, оставшегося без прихода — у духовенства тоже есть своя богема, — с радостью принял предложение обучать маленьких Жансуле, недавно изгнанных из коллежа Бурдалу. С торжественным, высокомерным видом человека, на которого возложена большая ответственность, — с видом, какой, наверно, бывал у прелатов, которым поручалось воспитание французских дофинов, — он шествовал впереди, а за ним шли три

мальчугана. Завитые, в спортивных шляпах, в коротеньких курточках, в перчатках, с кожаными сумками через плечо, в длинных красных чулках, доходивших до середины ляжек, худеньких, как у всех подростков, они производили впечатление заядлых велосипедистов, собирающихся на прогулку.

— Дети! — сказал Кабассю, свой человек в доме.

Это госпожа Жансуле, ваша бабушка. Она приехала в Париж специально повидать вас.

Они остановились, выстроившись по росту и с удивлением принялись разглядывать ее морщинистое лицо, обрамленное желтыми оборками чепца, ее странную в своей простоте одежду — такой они еще никогда не видели. Их удивлению вполне соответствовало удивление бабушки, осложненное разочарованием и чувством мучительной неловкости, которые охватили ее при виде этих надутых и презрительных барчуков: они напомнили ей маркизов, графов, объезжавших свой округ префектов, которых ее сын привозил в Сен-Роман. Когда воспитатель велел им «поздороваться с бабушкой», они по очереди подошли и пожали ей руку своими короткими ручками — эту процедуру они много раз проделывали в мансардах. Да, эта старушка, с темным лицом, в опрятной, но очень простой одежде, напомнила им их благотворительные посещения, практиковавшиеся в коллеже Бурдалу. Они ощущали между собой и ею точно такое же отчуждение. Между ними лежала бездна, которой не заполняли ни воспоминания, ни рассказы родителей. Аббат уловил их замешательство и, чтобы рассеять его, произнес краткую речь звучным голосом, с широкими жестами, свойственными людям, воображающим, что они говорят с высоты кафедры:

— Итак, сударыня, настал, наконец, день, великий день, когда господин Жансуле сокрушит своих врагов. *Confundantur hostes mei, quia iniuste iniquitatem fecerunt in me*, ибо они подвергли меня несправедливому гонению.

Старуха благоговейно склонилась перед церковной латынью, но на ее лице появилось смутное выражение беспокойства, вызванное упоминанием о врагах и гонении.

— Враги могущественны и многочисленны, почтеннейшая госпожа Жансуле, но тревожиться особенно не следует. Будем уповать на волю божию и на правоту нашего дела. Оно под защитой господя, оно не будет сокрушено, *in medio ejus non commovebitur...*

Гигантского роста негр в новой ливрее, шитой галуном, прервал его, объявив, что велосипеды готовы для ежедневного урока на террасе

Тюильри. Прежде чем уйти, дети еще раз торжественно пожали морщинистую узловатую руку бабушки, та растерянно посмотрела им вслед, и сердце у нее сжалось. Вдруг самый младший, уже дойдя до дверей, повинувшись бессознательному трогательному влечению, оттолкнул громадного негра, бросился, выставив голову, как маленький бычок, уткнулся в юбку бабушки Жансуле, обнял ее обеими руками и подставил ей свой гладкий лоб, обрамленный темными завитками волос; то была прелестная непосредственность ребенка, дарящего свою ласку, как цветок. Быть может, этот птенчик, недавно расставшийся с гнездышком и его теплом, с баюкавшей его кормилицей, певшей ему народные песни, почувал материнскую нежность, которой он был лишен. Захваченная врасплох этим порывом, старая бабка вздрогнула.

— Ах ты, мой маленький!.. Ах ты, мой маленький! — воскликнула она, обхватив большую детскую головку с шелковистыми кудрями, напомнившую ей о другой голове, и принялась страстно ее целовать.

Спустя мгновение ребенок вырвался и молча убежал, унося на своих волосах горячие слезы старухи.

Когда старая бабка, утешенная этим поцелуем, осталась одна с Кабассю, она попросила разъяснить ей слова священника. Разве у ее сына действительно так много врагов?

— В его положении это не удивительно, — заметил Кабассю.

— Но что же это за важный день? Что это за заседание?

— М-да... Сегодня станет известно, будет Бернар депутатом или нет.

— Как, разве он еще не депутат? А я-то развонила по всей округе, устроила торжество в Сен-Романе месяц тому назад!.. Выходит, я ввела людей в обман?

Массажисту с трудом удалось объяснить ей парламентские формальности по утверждению полномочий. Она слушала краем уха, в волнении расхаживая по бельевой.

— Так Бернар сейчас там? — Да.

— А женщинам можно войти в эту Палату? Почему его жена не пошла туда? Ведь это для него такое важное дело. В такой день все, кого он любит, должны быть около него. Вот что, мой мальчик, проводи-ка ты меня на это заседание. Далеко туда идти?

— Нет, совсем близко. Только, наверно, там уже началось. И потом, — добавил слегка смущенный гяур, — я сейчас нужен госпоже...

— Да, ведь ты профессор! Стало быть, ты обучаешь ее... Как это называется?

— Массаж. Мы это переняли у древних. Вот она звонит. Сейчас за

мною придут. Сказать ей, что вы здесь?

— Нет, нет, я пойду туда.

— Но ведь у вас нет билета!

— Я скажу, что я мать Жансуле и пришла послушать, как *будут сулить моего сына*.

Бедная мать! Она не сознавала, до чего точно она выразилась.

— Подождите, госпожа Франсуаза. Я вам дам кого — *нибудь* в провожатые.

— Ты же знаешь, что я к прислуге не привыкла. Язык у меня есть. По улицам ходит народ. Я сама найду дорогу.

Он сделал последнюю попытку, не выдавая своей затаенной мысли:

— Только имейте в виду: его враги будут выступать в Палате против него. Вам придется услышать неприятные вещи.

С какой прекрасной улыбкой, полной веры и материнской гордости, ответила она ему!

— Разве я не знаю лучше их всех, чего стоит мое дитя? Разве что-нибудь может заставить меня отречься от него? Какой же я тогда должна быть подлой и неблагодарной! Этого еще не хватало!

Свирепо тряхнув своим чепцом, она вышла.

Выпрямившись, высоко подняв голову, старуха шла быстрым шагом по указанной ей дороге, под большими аркадами, слегка смущенная непрерывным грохотом катящихся экипажей и своей праздностью — она впервые рассталась с верной прялкой, бессменно вращавшейся в ее руках в течение пятидесяти лет. Все эти мысли о вражде, о гонениях, таинственные слова священника, недомолвки Кабассю тревожили ее. Они как будто подтверждали предчувствия, которые овладели ею настолько, что оторвали ее от привычных обязанностей, от надзора за замком и присмотра за больным Старшим. Странное дело! С того дня, как богатство надело на ее сына и на нее свою тяжелую золотую мантию, матушка Жансуле все никак не могла привыкнуть к нему, все ждала внезапного исчезновения этого великолепия. Как знать, быть может, именно сейчас и начнется падение? И вдруг среди мрачных мыслей, при воспоминании о только что происшедшей сцене с ребенком, о малыше, который терся об ее жесткие юбки, на ее старческих губах появилась нежная улыбка, и она, придя в восторг, пробормотала на своем родном наречии:

— Ну и малыш, вот уж, можно сказать...

Величественная, огромная, ослепительная площадь, два снопа воды, разлетающиеся серебряной пылью, большой каменный мост, а там дальше квадратный дом, статуи перед ним, решетчатая ограда, за которой стоят

экипажи, народ, входящий в здание, столпившиеся полицейские... Это здесь. Она храбро протиснулась сквозь толпу и дошла до высоких стеклянных дверей.

— Ваш билет, милейшая?

У «милейшей» не было билета, но она сказала одному из стороживших вход приставов в мундирах с красными отворотами:

— Я мать Бернара Жансуле... Я пришла на *заседание моего сына*.

Это заседание было действительно заседанием ее сына, ибо в толпе, осаждавшей двери, заполнявшей кулуары, залы, галереи, весь дворец, произносили шепотом, с усмешкой одно и то же имя, и в связи с этим именем плели всякие небылицы. Ожидали грандиозного скандала, страшных разоблачений докладчика, которые, несомненно, должны были вызвать безумную выходку со стороны загнанного в тупик дикаря. И все теснились, как на премьере или как в суде, когда слушается громкое дело. Старухе матери, разумеется, не удалось бы заставить выслушать себя кого-либо в этом вливавшемся в здание потоке людей, если бы золотая борозда, оставляемая Набобом за собою всюду, где только он проходил, и отмечавшая его царственный след, не открыла перед ней все двери. И вот она уже шла за дежурным приставом по лабиринту кулуаров с хлопающими дверями, по огромным гулким залам, где совсем не было мебели и где жужжание исходило как бы из стен, словно камни, пропитанные звуками «говорильни», присоединяли эхо былых речей к резонансу звучащих теперь голосов. Проходя по одному из коридоров, она заметила маленького брюнета, который жестикулировал и кричал дежурным:

— Скажите мусью Зансуле, что я мэр Сарлазаччо, что это меня присудили к пяти месяцам тюрьмы из-за него. Стоило дать за это билет на заседание, черт побери!

Пять месяцев тюрьмы из-за ее сына..» За что же? Беспокойство охватило ее, в ушах шумело. Наконец она добралась до площадки лестницы, где над маленькими дверцами, напоминавшими двери меблированных комнат или вход в театральную ложу, красовались надписи: «Места Сената», «Места дипломатического корпуса», «Места депутатов». Она вошла и, удивленная тем, что попала сюда, ослепленная, ошеломленная, не видя вначале ничего, кроме нескольких рядов скамей, заполненных людьми, и прямо перед собой отделенную от этой галереи обширным светлым пространством другую галерею, тоже переполненную, прислонилась к стене прохода. Волна горячего воздуха, хлынувшая ей в лицо, гул поднимавшихся снизу голосов привлекли ее к краю галереи, к

чему — то, похожему на пропасть, разверзшуюся посреди громадного сводчатого зала, в которой, без сомнения, находился ее сын.

Как хотелось ей увидеть его! Съезжившись еще больше, работая локтями, острыми и твердыми, как ее веретено, она протискалась, проскользнула между стеной и скамьями, не обращая внимания на вызываемые ею легкие вспышки гнева, на презрение нарядных женщин, чьи кружева и весенние уборы задевала она по дороге. Как видно, собрание было элегантное, светское. Матушка Жансуле узнала по негнущейся манишке и аристократическому носу бывшего красавца маркиза, посетившего Сен-Роман, маркиза, которому так шла его фамилия — название нарядной и бесполезной птицы, но маркиз не видел ее. Пройдя несколько рядов, она остановилась перед спиной сидевшего на скамье человека — огромной спиной, которая загораживала все и мешала идти дальше. К счастью, отсюда, немного наклонившись, она могла видеть почти весь зал — и расположенные полукругом скамьи амфитеатра, где теснились депутаты, и зеленые обои на стенах, и кресло в глубине, занятое лысым человеком с суровым выражением лица. Все это, в падавшем сверху сосредоточенном сероватом свете, показалось ей похожим на класс, где должен вскоре начаться урок, а пока идет болтовня и школьники пересаживаются с места на место.

Ее поразила пристальность взглядов, направленных в одну сторону, к одной притягивавшей их точке. Проследив, куда устремлено любопытство зала и галерей, старуха обнаружила, что все упорно смотрят на ее сына.

На родине Жансуле еще можно видеть в старинных церквях, в глубине клироса, у задней стены, маленькую каменную ложу, куда допускали прокаженного послушать обедню; толпа с любопытством и страхом смотрела на этот мрачный силуэт хищного зверя, присевшего на задние лапы у амбразуры в стене. Франсуаза отлично помнила, как она видела, в деревне, где она выросла, прокаженного, — это был кошмар ее детства: он слушал обедню из глубины своей каменной клетки, всеми отверженный, скрывавшийся в тени. И когда она увидела, что ее сын, обхватив руками голову, сидит один, наверху, отделившись от всех, перед ней всплыло это воспоминание.

— Точно прокаженный, — пробормотала крестьянка.

И в самом деле: бедный Набоб, на которого привезенные с Востока миллионы как бы накладывали печать страшной и таинственной экзотической болезни, был прокаженный. Случайно он выбрал скамью, где пустовало много мест, — некоторые из сидевших здесь уехали, получив отпуск, а кое-кто недавно умер. И в то время как другие депутаты

разговаривали между собой, смеялись, делали друг другу знаки, он сидел молчаливый, одинокий, привлекая к себе внимание всей Палаты, внимание — как об этом догадывалась матушка Жансуле — недоброжелательное, насмешливое, которое попутно обжигало и ее. Как дать ему знать, что она здесь, около него, что невдалеке от его сердца бьется другое, преданное ему сердце? Он старался не смотреть на эту галерею. Казалось, он чувствовал ее враждебность, боялся увидеть здесь то, что могло огорчить его... Внезапно, после того как на председательском возвышении прозвенел колокольчик, по собравшейся толпе пробежал трепет, все головы склонились в том приливе внимания, от которого черты лица делаются неподвижными, и тощий человек в очках, неожиданно вставший во весь рост, один среди бесчисленного количества сидящих, что уже придавало его позе внушительность, заявил, открывая папку с записями, которую он держал в руке:

— Господа! От имени Третьего отделения я предлагаю аннулировать выборы во втором округе департамента Корсики.

Среди глубокой тишины, воцарившейся после того как была произнесена эта фраза, которую матушка Жансуле не поняла, толстяк, сидевший впереди, начал отчаянно пыхтеть, и вдруг из первого ряда галереи к нему обернулась красивая женщина, бросившая на него многозначительный и удовлетворенный взгляд. Бледное лицо, тонкие губы, брови, черноту которых подчеркивала белая шляпа, произвели на добрую старуху непонятное, болезненное впечатление. Весь облик этой женщины поразил ее, как поражает вспышка молнии, когда в самом начале грозы за быстрой сменой электрических разрядов следует тревожное ожидание грома.

Лемеркье читал свой доклад. Медлительный, тусклый, монотонный голос, лионский акцент, тягучий и мягкий, длинная фигура адвоката, почти механические движения головы и всего корпуса странным образом контрастировали с жестокой четкостью обвинительного заключения. Сначала давался краткий обзор нарушений правил и порядка выборов. Никогда еще со всеобщей подачей голосов не обращались с такой примитивной и варварской бесцеремонностью. В Сарлазаччо, где конкурент Жансуле должен был, по-видимому, одержать над ним верх, в ночь перед подсчетом голосов сломали избирательную урну. Та же история или почти та же — в Леви, в Сент-Андре, в Авабессе. И ведь это сами мэры, пользуясь своей властью, совершали правонарушения, уносили урны к себе домой, срывали печати, рвали избирательные бюллетени. Никакого уважения к закону. Всюду мошенничество, интриги, даже насилие. В

Калькатоджо все время, пока происходили выборы, у окна трактира, прямо против мэрии, стоял человек с ружьем и всякий раз, когда какой-нибудь приверженец Себастьяни, противника Жансуле, показывался на площади, прицеливался в него: «Если войдешь — пуля в лоб!» К тому же, когда видишь, что полицейские комиссары, мировые судьи, контролеры мер и весов не боятся самочинно производить себя в избирательные агенты, запугивать, подавлять население, покорное тираническим местным властям, — разве это не доказательство бесстыдного нарушения закона? В этом замешаны были все, вплоть до священников, до пастырей, заблуждавшихся из-за своего рвення, из-за желанья собрать больше пожертвований на бедняков и на свой бедный приход: они произносили поистине миссионерские проповеди в пользу Жансуле. И еще одна более мощная, хотя и менее почтенная сила была пущена в ход для того, чтобы выиграть дело, — бандиты. «Да, господа, бандиты, я не шучу». Далее следовала краткая характеристика корсиканского бандитизма вообще и семейства Пьедигриджо в частности.

Палата насторожилась. Ей сообщали о действиях как-никак официального кандидата, эти необыкновенные предвыборные нравы, оказывается, процветали в привилегированной стране, колыбели императорской фамилии, в стране, столь тесно связанной с судьбами династии, что нападки на нее, казалось, метили выше — в самого монарха. Но когда депутаты увидели на правительственной скамье нового министра, преемника де Мора и его врага, сиявшего по случаю провала креатуры покойного и сочувственно улыбавшегося беспощадным издевательствам Лемеркье, всякое смущение исчезло, и министерская улыбка, повторенная на трех сотнях лиц вскоре перешла в едва сдерживаемый смех, смех поработенной толпы, готовый разразиться по первому знаку властелина. Публику на галереях, которую обычно мало баловали живописными подробностями, эти истории с бандитами забавляли, как настоящий роман, — там царило всеобщее ликование, радостное оживление на лицах женщин, довольных тем, что они могут казаться красивыми без ущерба для торжественности места. Цветы и перья на светлых шляпках так и дрожали, округлые руки, обвитые золотыми браслетами, облакачивались поудобнее, чтобы обладательницы браслетов могли лучше слышать. Суровый Лемеркье, чтобы доставить удовольствие профанам, придал заседанию развлекательность спектакля, легкую комедийную нотку, допускаемую на благотворительных концертах. Оставаясь, несмотря на свой успех, бесстрастным и холодным, он продолжал читать унылым голосом, пронизывающим, как лионский дождь:

— Спрашивается, господа: каким образом иностранец, уроженец Прованса, вернувшийся с Востока, незнакомый с интересами и нуждами этого острова, где его никогда не видали до выборов, образец того, что корсиканцы презрительно называют «человек с континента», каким образом мог он вызвать такой энтузиазм, такую преданность, доходящую до преступления, до профанации? Нам даст на это ответ его богатство, его губительное золото, брошенное в лицо избирателям, насильно сунутое в их карманы с бесстыдным цинизмом, которому мы имеем множество доказательств.

Далее следовал поток разоблачительных записок: «Я, нижеподписавшийся Кроче (Антуан), свидетельствую в интересах истины, что полицейский комиссар Нарди, придя к нам однажды вечером, сказал мне: «Послушай, Кроче (Антуан), клянусь тебе огнем этой лампы, что, если ты будешь голосовать за Жансуле, завтра же утром ты получишь пятьдесят франков». Или: «Я, нижеподписавшийся Лавецци (Жак-Альфонс), заявляю, что с презрением отказался от семнадцати франков, которые предлагал мне мэр Поццонегро за то, чтобы я голосовал против моего родственника Себастьяни...» Возможно, что, если б ему прибавили три франка, Лавецци (Жак-Альфонс) спрятал бы в карман свое презрение. Но Палата не желала в это вникать. Неподкупная Палата содрогалась от возмущения. Она гудела, ерзала на мягких, обитых красным бархатом скамьях, издавала негодующие возгласы. Депутаты ахали, приподнимали брови, резко откидывались или устало поникали, подавленные, обескураженные зрелищем человеческого падения. За метьте, что большинство этих депутатов прибегало к тем же предвыборным махинациям, что многие из них устраивали веселые попойки на чистом воздухе, когда при всеобщем ликовании водят украшенных лентами и цветами быков, словно на пиршествах у Гаргантюа. Вот эти-то люди и кричали громче других, устремляя яростные взоры к полупустой скамье на возвышении, где несчастный прокаженный слушал, не шевелясь, обхватив голову руками. И все же один голос поднялся в его защиту, но голос глухой, неопытный; это были не столько слова, сколько сочувственное бормотанье, в котором можно было различить отдельные фразы: «...Значительные услуги, оказанные населению Корсики... Начаты большие работы... Земельный банк...»

Это лепетал человек маленького роста, в белых гетрах, альбинос с редкими встопорщенными пучками волос. Неловкое вмешательство этого доброжелателя дало возможность Лемеркье сделать быстрый и совершенно естественный переход. Отвратительная улыбка раздвинула его мягкие губы:

— Достопочтенный господин Сариг упомянул о Земельном банке. Мы

можем ему ответить.

И действительно, докладчик был, видимо, близко знаком с логовищем Паганетти. Его четкие, живые фразы пролили свет в самые глубины мрачной берлоги, показали ловушки, пропасти, окольные пути, капканы — так проводник потрясает факелом над «каменными мешками» зловещего монастырского подземелья. Он говорил о мнимых разработках недр, о железных дорогах, существующих только на чертежах, о мифических пароходах, исчезнувших в собственном дыму. Не были забыты ни страшный пустырь Таверны, ни старая генуэзская башня, служившая конторой морскому агентству. Но что доставило особенное удовольствие Палате, так это рассказ о жульнической церемонии, организованной директором банка в честь прорытия туннеля сквозь Монте-Ротондо — гигантского предприятия, оставшегося в проекте, откладываявшегося из года в год, предприятия, которое потребовало бы не один миллион франков, не одну тысячу рабочих рук и за которое взялись с колоссальной помпой за неделю до выборов. В докладе забавно рассказывалось о первом ударе киркой, сделанном кандидатом в депутаты у высокой горы, покрытой вековыми лесами, о речи префекта, о молебне, о криках: «Да здравствует Бернар Жансуле!» — но двух стах рабочих, которые немедленно приступили к делу, трудились день и ночь в течение недели, а затем, как только с выборами было покончено, ушли, оставив обломки камня вокруг смехотворной выемки — еще одного убежища для опасных бродяг, скрывающихся в лесу. Прodelка удалась. После длительного вымогательства денег у акционеров Земельным банком воспользовались для ловких трюков с избирательными бюллетенями.

— А вот, господа, последняя подробность, с которой я, в сущности, мог бы начать, чтобы набавить вас от прискорбного рассказа об этой предвыборной комедии. Мне сообщили, что как раз сегодня начинается худебное следствие против корсиканской банкирской конторы и что тщательная экспертиза ее книг, весьма вероятно, приведет к одному из финансовых скандалов, в наши дни, увы, слишком частых. Кому дорога честь Палаты, тот вряд ли пожелает, чтобы хоть один из ее членов был замешан в этом скандале.

После этого неожиданного разоблачения докладчик на мгновение остановился, сделал паузу, как актер, обыгрывающий эффектное место в роли, и в драматической тишине, вдруг нависшей над собранием, раздался стук захлопнувшейся двери. Это директор банка Паганетти, бледный, с выпученными глазами, вытянув губы как бы для свиста, как у петрушки, который, почуяв в воздухе страшный удар дубинки, быстро вышел из

галереи. У неподвижного Монпавона под манишкой вздымалась грудь. Сидевший впереди старухи толстяк пыхтел над цветами, украшавшими белую шляпку его жены.

Матушка Жансуле смотрела на сына.

— Я уже говорил о чести Палаты, господа. Я хочу сказать о ней еще несколько слов.

Лемеркье уже не читал. После докладчика настала очередь оратора, вернее, полноправного судьи. Лицо его потухло, взгляд стал неуловимым, ничто не жило, ничто не двигалось в этой огромной фигуре, кроме правой руки, длинной, узловатой руки в коротком рукаве, которая опускалась механически, как меч правосудия, заканчивая каждую фразу свирепым и неумолимым жестом, как бы отсекающим голову. И в самом деле, собравшиеся присутствовали при смертной казни. Оратор уже не касался скандальных легенд, тайны, витавшей над колоссальным богатством, приобретенным в дальних странах, вдали от всякого контроля. Но были в жизни депутата непонятные моменты, непонятные подробности... Он колебался, делал вид, что ищет, выбирает слова, затем, не имея возможности сформулировать прямое обвинение, произнес:

— Не будем снижать уровень, на котором протекают наши прения, господа. Вы меня поняли, вы знаете, на какие гнусные слухи я намекаю, на какую клевету, желал я сказать. Но истина вынуждает меня заявить, что, когда от господина Жансуле, призванного в Третье отделение, потребовали опровержения выдвинутых против него обвинений, его объяснения были столь туманны, что, оставаясь убежденными в его невиновности, мы все же должны, тщательно оберегая вашу честь, отвергнуть эту кандидатуру, запятнанную подобными подозрениями. Нет, этот человек не должен сидеть здесь, среди вас. Да и что бы стал он тут делать? Прожив столько лет на Востоке, он отвык от законов, от нравов, обычаев своей страны. Он верит в правосудие, которое вершат на месте, в палочную расправу на улице, он опирается на злоупотребления властью и, что еще хуже, на продажность, предельную низость человеческой натуры. Это откупщик, воображающий, что все можно купить, если дать надлежащую цену, даже голоса избирателей, даже совесть своих коллег...

Надо было видеть, с каким наивным восторгом славные толстяки-депутаты, осовевшие от благополучия, слушали этого аскета, этого человека из другой эпохи, подобного святому Иерониму,^[54] явившемуся из своей пустыни на собрание сенаторов Римской империи времен упадка, чтобы заклеймить яростным красноречием бесстыдную роскошь корыстных нарушителей долга и лихоимцев. Как понятно было им теперь

прекрасное прозвище «Моя совесть», которое дали ему во Дворце правосудия и которое так соответствовало его высокому росту и повелительным жестам!.. Энтузиазм на галереях все возрастал. Хорошенькие головки наклонялись, чтобы видеть оратора, чтобы упиться его словами. Шепот одобрения проносился по рядам, заставляя колыхаться эти прелестные букеты всех оттенков, подобно тому, как ветер колышет цветущий луг. Женский голос с легким иностранным акцентом восклицал:

— Bravo!.. Bravo!..

А мать?

Застыв на месте, вся превратившись в слух, силясь хоть что-нибудь понять в судебной фразеологии, в этих таинственных намеках, она была как глухонемая, которая улавливает то, что ей говорят, лишь по движению губ, по мимике. Но ей достаточно было взглянуть на своего сына и на Лемеркье, чтобы понять, какое зло причинял адвокат Бернару, какие коварные, ядовитые стрелы пускал он в несчастного во время своей длинной речи. Можно было подумать, что Жансуле, закрывший лицо руками, спит, если бы его мощные плечи не вздрагивали, а пальцы в ярости не теребили волосы. Как хотелось ей крикнуть с места: «Не бойся, сын мой! Пусть все они презирают тебя-твоя мать тебя любит! Уйдем отсюда... На что они нам?» На одно мгновение ей показалось, что эти слова, произносимые ею в душе, каким-то таинственным путем дошли до него. Он встал, тряхнул своей курчавой головой; его по-детски пухлые губы дрожали от слез, к щекам прилила кровь. Но вместо того, чтобы покинуть свою скамью, он словно прирос к ней; его огромные пальцы вдавились в дерево пюпитра. Адвокат кончил, настала очередь Жансуле отвечать.

— Господа!.. — начал он и тут же остановился, сам испугавшись хриплого, до ужаса глухого и грубого звука своего голоса, который он впервые слышал в общественном месте.

Эта пауза, сопровождавшаяся мучительными гримасами, поисками верных интонаций, которые он никак не мог найти, была ему необходима, чтобы собраться с силами для самооправдания. И если его тревога производила тяжелое впечатление в зале, то там, наверху, на лице старухи матери, которая, наклонившись вперед, задыхаясь, шевелила губами, как бы помогая ему отыскивать слова, попытка его отражалась, как в зеркале. Хотя он и не видел матери, как и во время доклада, он старался не смотреть на галерею, ее дыхание, магнетизм ее горящих черных глаз вдохнули в него жизнь, и его слова и жесты внезапно утратили скованность.

— Прежде всего, господа, я должен заявить, что я пришел сюда не для того, чтобы отстаивать свое избрание. Если вы думаете, что предвыборные

нравы в Корсике не были такими же и прежде, что все имевшие место нарушения правил следует приписать растлевающему влиянию моего золота, а не пылкому и необузданному темпераменту корсиканского народа, отвергните меня, это будет справедливо, я не скажу ни слова. Но во всем этом деле, кроме моего избрания, есть и нечто другое — против меня выдвинуто обвинение, задевающее мою честь, жестоко на нее посягающее, и вот на это я и хочу ответить.

Голос его постепенно становился увереннее; он звучал надтреснуто, глуховато, но в нем теперь появились трогательные нотки, его врожденная грубость несколько сгладилась. Кратко и сжато Жансуле рассказал о своей жизни, о своих первых шагах, об отъезде на Восток. Все это походило на старинные предания восемнадцатого века, на рассказы о берберийских корсарах, носящихся по латинским морям, о беях и об отважных провансальцах, коричневых, как сверчки, которые всегда кончают тем, что женятся на какой-нибудь султанше и, по сохранившемуся с давних времен выражению марсельцев, «надевают чалму».

— Мне, — говорил Набоб с добродушной улыбкой, — не понадобилось «надеть чалму», чтобы разбогатеть. Я ограничился тем, что принес в эти края лени и беспечности деятельность, гибкость француза-южанина, и за несколько лет мне удалось нажить состояние, какое можно нажить только в этих дьявольски жарких странах, где все огромно, стремительно, несоразмерно, где цветы вырастают за одну ночь, где одно дерево легко превращается в целый лес. Оправдать подобные богатства можно лишь способом их использования, и я смею думать, что ни один баловень судьбы не пытался так, как я, заставить людей простить мне размеры моего состояния. Но мне это не удалось.

Нет, ему это не удалось. С безумной щедростью разбросав столько золота, он встретил лишь презрение или ненависть. Ненависть! Кто бы мог похвастаться тем, что возбудил столько ненависти в людях, уподобившись большому кораблю, всколыхнувшему тину, когда его киль коснулся дна? Он был слишком богат — это заменяло ему все пороки, все преступления, отдавало его в жертву безымянной мести, жестокой и нескончаемой неприязни!

— Ах, господа! — восклицал бедный Набоб, подняв судорожно сжатые кулаки. — Я знал нужду, я боролся с ней один на один, и это была страшная борьба, клянусь вам. Но бороться с богатством, отстаивать свое счастье, честь, покой, плохо защищенные грудой золотых монет, которые сыплются на вас и давят вас, — это нечто еще более мерзкое, еще более отвратительное. Никогда, в дни самого мрачного отчаяния, я не знал таких

горестей, тревог, бессонных ночей, какие принесло мне богатство, ужасное богатство, которое я ненавижу и которое душит меня! Меня прозвали в Париже Набобом. Нет, меня надо было прозвать не Набобом, а Парией, Парией, — он простирает руки к обществу, а оно отталкивает его!..

Эти слова, изображенные с помощью печатных знаков, могут показаться холодными. Но там, перед собранием, на самозащите этого человека лежала печать величавой красноречивой правдивости, и эта правдивость неотесанного мужлана, необразованного выскочки, ничего не читавшего, с голосом ронского лодочника и манерами грузчика, сначала поразила, а затем глубоко взволновала аудиторию всем, что было в ней невежественного, дикого, чуждого парламентским обычаям. По рядам людей, привыкших к монотонному, серому проливному канцелярских речей, пробежал шепот одобрения. В ответ на вопль ярости и отчаяния, обращенный неудачником к богатству, которое его засасывало, крутило, топило в своих золотых волнах, в то время как он отбивался, взывая о помощи, из водоворота своей золотиносной реки, вся Палата поднялась с мест, разразившись аплодисментами, протягивая к нему руки, как бы выражая этим несчастному Набобу свое уважение, которого он так жаждал, и в то же время спасая его от крушения. Жансуле почувствовал это и, согретый дружелюбием, продолжал, подняв голову и глядя уверенно перед собой:

— Вам только что сказали господа, что я недостойн занять место среди вас. Меньше всего я мог ожидать этих слов от того, кто их произнес, потому что он один знает горестную тайну моей жизни, он один мог заступиться за меня, оправдать меня и убедить вас. Но он не захотел. Что ж, попытаюсь сделать это сам, хотя мне это и дорого стоит. Меня так жестоко оклеветали перед страной, что я обязан ради самого себя, ради своих детей оправдаться публично, и я на это решаюсь.

Он повернулся резким движением к галерее, где, как он знал, его подстерегал враг, и в ужасе смолк. Там, как раз напротив него, за бледным, полным ненависти личиком баронессы, его мать — его мать, которая, как он думал, была за двести миль от опасной грозы, — смотрела на него, прислонясь к стене, обратив к нему свое священное для него лицо, залитое слезами, но все же сияющее и гордое успехом ее Бернара. О, это был подлинный успех искреннего чувства, такого человеческого чувства! Еще несколько слов — и он мог бы превратиться в триумф.

— Говорите!.. Говорите!.. — кричали ему со всех концов, чтобы успокоить его, ободрить.

Но Жансуле молчал. А ведь ему надо было сказать в свою защиту

совсем немного: «Клеветники умышленно спутали два имени. Меня зовут Бернар Жансуле. А того звали Луи Жансуле». И больше ничего...

Но это было слишком много для матери, все еще не знавшей о бесчестии старшего сына. Этого было слишком много для его чувства почтения к ней, для семейной чести. Ему почудился голос старика: «Я умираю от стыда, дитя мое...» Разве она тоже не умрет от стыда, если он расскажет?

Он бросил навстречу материнской улыбке последний взгляд — взгляд отчаяния, затем глухим голосом, с жестом отчаяния произнес:

— Простите меня, господа, но это объяснение выше моих сил — Прикажите произвести расследование моей жизни, открытой всем, выставленной, увы, напоказ, так что каждый волен толковать по-своему все мои действия. Клянусь вам, что вы не найдете там ничего, что помешало бы мне находиться среди представителей моей страны.

Как все были ошеломлены, как все были разочарованы этим отступлением! Оно показалось внезапным провалом безмерной наглости, у которой не оставалось никакого выхода. На скамьях произошло движение, депутаты быстро проголосовали. В неясном свете, падавшем из окон, Набоб видел все это, как в тумане, словно осужденный, глядящий с эшафота на волнующуюся толпу. Затем, после долгого, как вечность, ожидания, за которым должна наступить решающая минута, председатель произнес в полной тишине:

— Избрание господина Бернара Жансуле признано недействительным.

Никогда еще жизнь человека не была пресечена с меньшей торжественностью и шумом.

Там, наверно, на галерее, матушка Жансуле ничего не понимала; она только видела, что скамьи кругом пустели, что люди вставали, уходили. Вскоре с ней остались лишь толстяк и дама в белой шляпке, которые перегнулись через перила, с любопытством глядя на Бернара. Тот, видимо, тоже собирался уходить и спокойно засовывал толстые пачки бумаг в большой портфель. Сложив их, он встал. Да, люди, живущие на виду, попадают порой в убийственное положение... Медленной, тяжелой походкой под взглядами всего собрания он спустился по ступеням, на которые он взбирался ценой таких усилий и такого количества денег, но неумолимый рок столкнул его вниз.

Этого-то и ждали Эмерленги, провожавшие его взглядом до двери, следившие за его скорбным, унижительным уходом, напоминавшим постыдное изгнание. Как только Набоб исчез, они посмотрели друг на друга с безмолвной улыбкой и вышли из галереи. Старуха мать так и не

решилась попросить у них разъяснения, инстинктивно ощущая их глухую враждебность. Оставшись одна, она обратила все свое внимание на следующий доклад, — она была уверена, что все еще говорят о ее сыне. Речь шла о выборах, о баллотировке, и бедная мать, наклонив голову в желтом чепце, хмуря густые брови, благоговейно слушала бы до самого конца доклад об избрании Сарига, если бы не пришел дежурный пристав, проводивший ее сюда. Он сказал ей, что все кончено, что ей лучше уйти. Старуха была очень удивлена.

— Правда? Уже все кончено? — спросила она, поднимаясь как бы с сожалением.

И совсем тихо, робко добавила:

— Скажите, он выиграл?

Это было до того наивно, до того трогательно, что пристав даже не улыбнулся.

— К сожалению, нет, сударыня. Господин Жансуле не выиграл... Но почему он запнулся на середине такой прекрасной речи? Если это правда, что он никогда не бывал в Париже и что другой Жансуле проделывал все, в чем обвиняют его, почему же он этого не сказал?

Страшно побледнев, старуха мать оперлась на перила. Теперь она поняла все...

Она вспомнила, как, увидев ее, Бернар внезапно прервал свою речь, она поняла, какую жертву принес он ей — и так просто, глядя на нее неотразимым взглядом затравленного животного. В одну минуту позор Старшего, любимого ребенка, смешался в ее сознании с жизненной катастрофой другого сына. Боль ее материнского сердца была подобна ножу с двумя лезвиями, который впивался в нее, в какую сторону она бы ни повернулась. Да, да, это из-за нее он не захотел говорить. Но она не примет такой жертвы. Надо, чтобы он сию же минуту вернулся, объяснился перед депутатами.

— Мой сын! Где мой сын?

— Внизу, сударыня, в своем экипаже. Он послал меня за вами.

Сопровождаемая приставом, она быстро шагала, говорила вслух, расталкивала на пути черных бородатых человечков, жестикулировавших в кулуарах, миновала за длинным залом громадный круглый вестибюль, где почтительный ряд лакеев образовал живой пестрый бордюры у высокой голой стены. Из вестибюля были видны стеклянные двери, решетчатая ограда, собравшаяся у здания толпа и среди прочих экипажей карета ожидавшего ее Набоба. Проходя, крестьянка увидела в одной из групп своего тучного соседа, разговаривавшего с тем самым бледным человеком в

очках, который метал грома и молнии против ее сына, — теперь его все поздравляли и жали ему руки. Услыхав имя Жансуле, произнесенное среди издевательских и довольных смешков, она замедлила свой стремительный шаг.

— В конце концов, — говорил красивый молодой человек с лицом продажной женщины, — он так и не доказал, в чем была ложность наших обвинений.

Услыхав это старуха пулей пролетела сквозь толпу и, подскочив к Моэссару, заявила:

— То, чего не сказал он, скажу вам я. Я его мать, и я должна сказать все.

Она схватила за рукав собиравшегося улизнуть Лемеркье.

— Прежде всего вы должны выслушать меня, алой вы человек... Что сделал вам мой сын? Разве вы не знаете, кто он? Погодите, сейчас вы узнаете.

И, обернувшись к журналисту, она продолжала:

— У меня было два сына, сударь...

Моэссар уже скрылся. Она обернулась к Лемеркье.

— Два сына, сударь...

Лемеркье исчез.

— Да выслушайте же меня! — твердила бедная мать, размахивая руками и не жалея слов, только чтобы удержать слушателей.

Но все ускользали, исчезали, улетучивались — депутаты, репортеры, незнакомые насмешливые лица... А она хотела рассказать свою историю во что бы то ни стало, невзирая на их равнодушие, в котором тонули ее горести и радости, ее гордость и материнская нежность, которые она выражала на понятном только ей одной наречии.

Со сбившимся чепцом, растерянная, смешная и величавая одновременно, как все дети природы, переживающие трагедию цивилизации, она волновалась, горячилась, уверяла окружающих в честности своего сына и в несправедливости к нему всех людей, вплоть до ливрейных лакеев, чье презрительное бесстрашие было особенно жестоко, а в это время Жансуле, обеспокоенный тем, что ее не видно, бросился ее разыскивать и вдруг очутился подле нее.

— Возьмите меня под руку, матушка... Пойдемте отсюда.

Он сказал это громко и так спокойно и твердо, что смешки прекратились, и старуха, сразу успокоенная, опираясь на его крепкую руку и все еще продолжая дрожать от гнева, прошла к выходу между двумя шеренгами почтительно расступившихся перед нею людей. Удивительная

пара, в которой величественность сочеталась с крайней простотой, — миллионы сына, озарявшие крестьянское обличье матери, рубище святой в золотой раке!.. И наконец они исчезли в ярком дневном свете улицы, в великолепии сверкающей кареты, которое казалось злобным издевательством над их безмерным отчаянием. Какой яркий символ ужасающей нищеты богачей!..

Они сидели в глубине кареты и, опасаясь, что их увидят, сначала не говорили друг с другом. Но как только экипаж тронулся, как только исчезла Голгофа, где на кресте осталась его честь, Жансуле, в изнеможении положив голову на материнское плечо, спрятав лицо в складках старой зеленой шали, дал волю жгучим слезам, и все его мощное тело содрогалось от рыданий. Внезапно у Жансуле вырвался крик, какой вырывался у него в детстве, жалобный крик мальчика из простонародья:

— Ма-ам! Ма-ам!..

XXII. ПАРИЖСКИЕ ДРАМЫ

*Мой друг! Зачем так краток час
Любви, что обольщает нас
Как будто на одно мгновенье,
Как бы не дольше сновиденья?*

В большой, погруженной в полумрак гостиной, убранной полетному, — много цветов, штофная мебель в белых чехлах, люстры обернуты кисеей, шторы опущены, окна открыты, — г-жа Дженкинс, сидя за роялем, разбирает новую песенку модного композитора: несколько звучных музыкальных фраз, сопровождающих изысканные стихи, печальную песню, разделенную на неравные строфы, как будто написанную для ее мягкого, низкого голоса, в соответствии с тревожным состоянием ее души.

*Уносит время в миг свиданья
Былой любви очарованье...*

Растроганная жалобной песней, бедная женщина вздыхает. Звуки улетают во двор особняка, обычно тихий, где струится фонтан среди рододендронов. Певица останавливается, руки ее лежат на клавишах, взор как будто бы устремлен на ноты, а на самом деле блуждает далеко. Доктор в отъезде. Заботы о делах, о своем здоровье заставили его на несколько дней покинуть Париж, и, как это случается в одиночестве, мысли прекрасной г-жи Дженкинс приняли серьезный оборот, проявили ту склонность к анализу, которая иногда делает краткую разлуку роковой для самого согласного супружества... А согласия уже давно не было между ними. Они виделись только за столом, в присутствии слуг, почти не разговаривали друг с другом, если только этот елейный человек не позволял себе какого-нибудь грубого, обидного замечания о ее сыне, о ее возрасте, который уже давал себя знать, или о ее платье, когда оно было ей не к лицу. Внешне спокойная, кроткая, она сдерживала слезы и выслушивала все, делая вид, что не понимает. Не то чтобы она еще любила его после стольких жестокостей, после такого пренебрежения, но это было

именно то, о чем рассказывал их кучер Джо: история «старой надоеды, которая добивалась, чтобы хозяин женился на ней». До сих пор это позорное положение не могло измениться из-за ужасного препятствия — жива была законная супруга. Теперь же, когда этого препятствия больше не существовало, она хотела покончить с этой комедией из-за Андре — ведь в нем со дня на день могло вспыхнуть презрение к матери, — из-за света, который они обманывали десять лет: каждый раз, когда она бывала в обществе, у нее отчаянно билось сердце при мысли о том, как к ней отнесутся, когда все откроется.

На ее намеки, на ее просьбы Дженкинс сначала отвечал громкими фразами: «Неужели вы во мне сомневаетесь? Разве наши обеты не священные?..» Он ссылался также на трудность сохранить в тайне такой важный акт. Наконец он замкнулся в злобном молчании, чреватом приступами холодного бешенства и внезапными беспощадными решениями. Смерть герцога, крах безудержного тщеславия нанесли последний удар их семейной жизни, ибо катастрофы, часто сближающие сердца, способные понять друг друга, довершают разрыв людей разобщенных. А это была подлинная катастрофа. Мода на пилули Дженкинса внезапно прошла, и когда положение, в котором очутился врач — иностранец и шарлатан, — было четко обрисовано стариком Бушро в журнале Академии наук, светские люди стали поглядывать друг на друга растерянно, бледнея больше от страха, чем от принятого мышьяка. Ирландец начал уже испытывать на себе действие сокрушительных перемен: ветер изменил направление, а эти перемены опасны для всех, кем увлекается Париж.

Вот почему, вероятно, Дженкинс и счел уместным исчезнуть на некоторое время, предоставив своей «супруге» посещать еще открытые для нее салоны, чтобы прощупать общественное мнение и удержать людей в рамках почтительности. Трудная задача для бедной женщины, встречавшей почти всюду такой же холодный и сухой прием, какой был оказан ей у Эмерленгов! Но она не жаловалась, рассчитывая добиться таким образом бракосочетания, привязать Дженкинса к себе горестными узами жалости, переносимых сообщая испытаний, — это было последнее средство, которое еще оставалось в ее распоряжении. Она знала, что в свете ею дорожат главным образом из-за ее таланта, из-за удовольствия, которое она, как певица, доставляла на вечерах, всегда готовая положить на рояль веер, длинные перчатки и исполнить что-нибудь из своего богатого репертуара. Для этого она работала непрерывно, целыми днями просматривая новинки, отдавая предпочтение печальным и сложным мелодиям, той современной

музыке, которая, не довольствуясь тем, что она искусство, хочет быть наукой, отвечать на нашу внутреннюю тревогу, успокаивать не столько наши чувства, сколько нервы.

Как будто на одно мгновенье,
Как бы не дольше сновиденья?
Уносит время в миг свиданья
Былой любви очарованье...

Поток света ворвался в дверь, которую отворила горничная, подавшая хозяйке визитную карточку: «Эрте, частный поверенный».

- Этот господин ждет. Он настаивает на том, чтобы его приняли.
- Вы сказали ему, что доктор в отъезде?
- Да, ему сказали, но он хочет поговорить с супругой доктора.
- Со мной?

Встревоженная, она рассматривала грубый, шершавый кусок картона с написанной на нем незнакомой фамилией: Эрте. «Кто это может быть?»

— Хорошо, просите.

Частный поверенный Эрте, попав после яркого дневного света в полумрак гостиной, неуверенно щурился, пытаясь что-нибудь увидеть. А она, наоборот, хорошо рассмотрела его топорное лицо с седеющими бакенбардами и выдающеюся нижнею челюстью. То был один из подозрительных ходатаев, вертящихся возле Дворца правосудия. Эти люди словно так и родились — пятидесяти лет, с горькими складками у рта, завистливым взглядом и кожаным портфелем под мышкой. Посетитель уселся на край указанного ему стула, обернулся, чтобы удостовериться, вышла ли горничная, затем методическим движением раскрыл портфель, как бы для того, чтобы поискать в нем бумагу.

— Я должна вас предупредить, сударь, что моего мужа нет, а я совсем не в курсе его дел, — с нетерпеливой ноткой в голосе заявила г-жа Дженкинс.

Нисколько не смутившись, посетитель ответил, перебирая свои бумажонки:

— Я знаю, что господин Дженкинс отсутствует, сударыня. — Он подчеркнул эти два слова: «господин Дженкинс». — Я и пришел от его имени.

— От его имени?

— Увы, сударыня! Положение доктора — вам это, вероятно, известно

— в настоящее время крайне затруднительно. Неудачные операции на бирже, крах большого финансового предприятия, в которое он вложил свой капитал, — Вифлеемские ясли — ноша слишком тяжелая для одного человека, — все эти потери, вместе взятые, вынудили его принять героическое решение. Он продает свой особняк, лошадей, все, что имеет, и дал мне на это доверенность...

Поверенный нашел наконец то, что искал, — одну из тех гербовых бумаг, усеянных сносками и приписками, в которых бесстрастный закон нагромождает порой столько гнусностей и обманов. Г-жа Дженкинс хотела сказать: «Но ведь я здесь. Я бы выполнила все его желания, все его распоряжения...» — но вдруг поняла по бесцеремонности посетителя, по его уверенному, почти дерзкому тону, что ее тоже включили в этот разгром, в эту ликвидацию дорогостоящего особняка, бесполезной роскоши, и что ее отъезд послужит сигналом к распродаже.

Она порывисто встала. Продолжая сидеть, поверенный добавил:

— То, что мне остается сообщить вам, сударыня (о, она это знала, она могла сама сказать то, что ему оставалось еще сообщить!), столь тягостно, столь щекотливо... Господин Дженкинс покидает Париж надолго и, боясь подвергнуть вас случайностям, превратностям новой жизни, которую он собирается начать, боясь отдалить вас от нежно любимого сына, в чьих интересах, может быть, лучше...

Она больше не слушала его и не видела. Он разматывал клубок своих тягучих фраз, а г-жа Дженкинс, почти обезумев от отчаяния, прислушивалась к поющей в ней назойливой мелодии, преследовавшей ее в момент, когда все вокруг нее рушилось, подобно тому как в глазах человека, который тонет, запечатлевается последнее, что он видит:

Уносит время в миг свиданья
Былой любви очарованье...

И вдруг чувство гордости вернулось к ней.

— Довольно, сударь! Все ваши хитросплетения и громкие слова — только лишнее оскорбление. На самом деле меня просто выгоняют, выбрасывают на улицу, как служанку.

— Сударыня, сударыня!.. Положение и без того тяжелое, не будем обострять его еще словами. Изменив свой *modus vivendi* господин Дженкинс расстается с вами, но сердце у него при этом обливается кровью, и предложения, которые мне поручено вам передать, являются

доказательством его чувств к вам. Во-первых, что касается обстановки и носильных вещей, я уполномочен дозволить вам взять...

— Довольно!

Она бросилась к звонку.

— Я ухожу! Скорее шляпу, накидку, что-нибудь! Я очень спешу...

Пока горничная выполняла ее приказание, она успела добавить:

— Все, что здесь, принадлежит господину Дженкинс у. Пусть он этим распоряжается по своему усмотрению. Мне от него ничего не надо... Не настаивайте... Это бесполезно...

Ходатай и не настаивал. Он выполнил свое поручение, остальное его не интересовало.

Она спокойно, неторопливо, старательно надела шляпу перед зеркалом; горничная прикрепила вуаль, поправила на плечах складки накидки; затем г-жа Дженкинс осмотрелась вокруг, припоминая, не забыла ли она что —нибудь ценное. Нет, ничего, письма сына были у нее в кармане; она никогда не расставалась с ними.

— Прикажете подать карету?

— Нет, не надо.

И она ушла.

Было уже около пяти часов вечера. В эту минуту Бернар Жансуле выходил из Законодательного корпуса, ведя под руку мать. Как ни была тяжела драма, разыгравшаяся там, эта драма, внезапная, непредвиденная, лишенная всякой торжественности, глубоко интимная, была еще тяжелее, — такие драмы случаются в Париже в любое время дня и ночи, и, быть может, именно это придает его воздуху ту наэлектризованность, тот трепет, который так возбуждает нервы. Погода была прекрасная.

1 Образ жизни (*лат.*).

Улицы богатых кварталов, широкие и ровные, как проспекты, блистали в уже тускневшем свете дня. Их оживляли открытые окна, балконы, полные цветов, зелень бульваров, такая легкая, такая трепетная среди прямых и суровых рядов каменных зданий. Г-жа Дженкинс шла быстро, шла наугад, в каком-то горестном забытии. Какое ужасное, какое стремительное падение! Пять минут назад она была богата, окружена уважением и комфортом, она жила на широкую ногу. А теперь у нее ничего нет. Нет даже кровли над головой, даже имени. У нее есть только улица.

Куда идти? Что делать?

Сначала она подумала об Андре. Но признать свою ошибку, краснеть в присутствии почтительного сына, плакать при нем, сознавая, что она не имеет права на утешение, — это было свыше ее сил... Нет, ей оставалась

только смерть. Умереть как можно скорее, избавиться от позора, исчезнуть навсегда, воспользоваться роковой развязкой всех безвыходных положений... Но где умереть? Как? Есть столько способов уйти из жизни! И она мысленно перебирала их, продолжая идти. Вокруг нее бурлила жизнь, такая жизнь, которой не хватало зимнему Парижу: на свежем воздухе расцветала вся его роскошь, все его изящество, которые можно наблюдать в этот час дня, в это время года возле церкви св. Магдалины и ее цветочного базара, там, где воздух насыщен ароматом гвоздик и роз. На широком тротуаре, где выставлялись напоказ наряды, шуршанье которых сливалось с шелестом обновленной листвы деревьев, что-то напоминало приятную встречу в гостинной — знакомые лица гуляющих, улыбки, сдержанные приветствия. И вдруг г-жа Дженкинс с беспокойством подумала о том, что лицо ее искажено мукой, что у людей могут возникнуть всевозможные предположения при виде того, как она бежит, озабоченная, никого не замечая, и она пошла медленнее, словно гуляя, задерживаясь у витрин. Цветистые, воздушные вещи в окнах говорили о путешествиях, о жизни за городом — легкие юбки для прогулок по песчаным дорожкам парка, шляпы, окутанные газом для защиты от солнца на пляже, веера, яркие зонтики, большие сумки. Она пристально рассматривала эти ухищрения моды, не видя их. Вглядываясь в свое смутное, бледное отражение на светлых стеклах, она видела себя лежащей неподвижно на кровати в меблированных комнатах, спящей тяжелым сном от принятого снотворного, или нет: она лежит под лодкой, причаленной к берегу, и медленно погружается в тину. Что лучше?

Она колебалась, думала, сравнивала. Затем, приняв решение, быстро пошла дальше решительными шагами женщины, неохотно отрывающейся от искусных соблазнов витрин. В ту самую минуту, когда она двинулась вперед, маркиз де Монпавон, изысканный и элегантный, с цветком в петличке, приветствовал ее издали щегольским поднятием шляпы, столь приятным женскому самолюбию: то был высший шик приветствия на улице — не наклоняя головы, высоко поднять шляпу. Г-жа Дженкинс ответила ему, как истая парижанка, еле заметным движением — слегка повернула корпус и улыбнулась глазами. При виде этого обмена светскими любезностями среди праздника весны никто бы никогда не заподозрил, что одна и та же злоеющая мысль руководила этими случайно встретившимися людьми, шедшими в разные стороны, но к одной и той же цели.

Слова камердинера де Мора оказались для маркиза пророческими: «Мы можем умереть, лишиться власти. Тогда вас притянут к ответу — и уж вы пощады не ждите». И пощады ждать не пришлось. С большим трудом

бывший главный податной инспектор получил отсрочку на две недели для возмещения денег казне; в качестве последнего шанса он рассчитывал на то, что Жансуле после своего утверждения в звании депутата, отвоевав свои миллионы, еще раз придет ему на помощь. Решение Палаты отняло у него последнюю надежду. Как только маркиз о нем узнал, он вернулся в клуб, очень спокойный, и поднялся в свою комнату, где Франсис ожидал его в величайшем нетерпении, чтобы передать какую-то важную бумагу, полученную днем. Это было извещение господину Луи-Мари-Аженору де Монпавону о том, что ему завтра надлежит явиться в кабинет судебного следователя. Было ли оно адресовано члену совета Земельного банка или бывшему главному податному инспектору, растратившему казенные деньги? Во всяком случае, резкая форма вызова к следователю, примененная сразу, вместо частного приглашения, достаточно ясно говорила о серьезности дела и о твердом решении судебных властей.

Эту крайнюю меру старый щеголь давно ждал и предвидел, поэтому его решение было принято заранее. Представитель рода Монпавонов — в исправительной тюрьме! Представитель рода Монпавонов — библиотекарь в Маза! Нет, ни за что!.. Он все привел в порядок, уничтожил некоторые бумаги, опустошил свои карманы и сунул в них несколько вещей из туалетного прибора так спокойно и естественно, что, когда он, уходя, сказал Франсису: «Я хочу принять ванну... Проклятая Палата... Чертова пыль!..» — слуга поверил ему на слово. Впрочем, маркиз не лгал. После длительного, полного волнений пребывания там, наверху, в пыльной галерее, он чувствовал себя разбитым, как после двух ночей, проведенных в вагоне. Сочетая решение умереть с желанием хорошенько помыться, старый сибарит хотел уснуть в ванне, «как этот...^[55] как бишь, его... фф... фф... и другие прославленные герои древности». Надо отдать ему справедливость, ни один из этих стойков не шел навстречу смерти с такой невозмутимостью, как он.

Воткнув в петлицу над своей орденской розеткой белую камелию, которую ему предложила мимоходом хорошенькая цветочница ив его клуба, он шел легкой походкой к бульвару Капуцинов, но встреча с г-жой Дженкинс на мгновение нарушила его безмятежное состояние духа. Ему почудился огонек у нее в глазах; она показалась ему такой моложавой, такой пикантной, что он остановился поглядеть на нее. Высокая, красивая, в развевающемся длинном черном газовом платье, облегающей плечи кружевной накидке, на которую спадала гирлянда осенних листьев с букета на ее шляпе, она удалялась, исчезала в ароматном воздухе среди других женщин, не менее элегантных. Мысль, что его глаза закроются навсегда и

не увидят больше этого прелестного зрелища, которым он наслаждался, как знаток, слегка омрачала старого щеголя, заставила его замедлить шаги. Но спустя минуту встреча совершенно иного рода вернула ему утраченное было мужество.

Какой-то человек в потертой одежде, боязливый, ослепленный ярким светом, переходил бульвар. Это был старик Марестан, бывший сенатор, бывший министр, столь серьезно скомпрометированный в «деле о мальтийских крабах», что, несмотря на его возраст, на его заслуги, несмотря на скандальность судебного процесса, он был приговорен к двум годам тюрьмы и вычеркнут из списков кавалеров Почетного легиона, большой крест которого был ему когда-то пожалован. Бедняга, освобожденный досрочно за давностью дела, только что вышел из тюрьмы; он был растерян, не знал, что предпринять, не знал, чем скрасить свое жалкое существование, ибо ему пришлось вернуть все награбленное. Стоя на краю тротуара, он ждал, опустив голову, когда наконец можно будет перейти запруженную колясками улицу. Застряв между пешеходами и вереницей открытых экипажей, где сидело столько знакомых, он был явно смущен этой остановкой на самом людном месте. Монпавон, проходя мимо него, поймал его робкий, беспокойный взгляд, молящий о приветствии и в то же время избегающий его. Мысль, что и ему придется унизиться до такой степени, привела его в негодование. «Ну уж нет!..» Выпрямившись, выпятив грудь, он продолжал свой путь еще тверже и решительнее.

Г-н де Монпавон движется навстречу смерти. Он направляется к ней по длинным бульварам, сверкающим огнями в стороне церкви св. Магдалины, он в последний раз ступает на их упругий асфальт, он идет как празднующийся, задрал нос, заложив руки за спину. Время у него есть, ему некуда торопиться, он может явиться на свидание, когда ему заблагорассудится. Он ежеминутно кому-нибудь улыбается, посылает легкий снисходительный привет кончиками пальцев или высоко поднимает шляпу, как он это только что сделал. Все восхищает, все чарует его — грохот бочек для поливки улиц, тенты над дверями кафе, которые выставили свои столики до середины тротуара. Близкая смерть придает ему остроту чувств выздоравливающего, особую восприимчивость ко всей утонченной прелести, к скрытой поэзии чудесного летнего часа, пробившего в разгар парижской жизни, чудесного часа, который будет его последним часом. Ему хочется продлить его до ночи. Потому-то, вероятно, он и проходит мимо роскошного заведения, где он принимает обычно ванну; не останавливается он и у Китайских бань. Его здесь слишком хорошо знают. Ве- чером происшествие станет известно всему Парижу. Его

смерть вызовет пошлую сенсацию в клубах и гостиных, пополвет множество мерзких слухов, а г-н де Монпавон, натура утонченная, человек хорошего тона, хотел бы избавиться себя от такого стыда, хотел бы нырнуть, погрузиться в небытие, совершив самоубийство незаметное и безмолвное, уподобиться тем солдатам, которые на другой день после крупных сражений числятся не ранеными, не живыми и не мертвыми, а пропавшими без вести. Вот почему он позаботился, чтобы при нем не было ничего такого, что позволило бы его опознать, что дало бы ясные указания полиции; вот почему он ищет в огромном Париже отдаленный, затерянный квартал, где произойдет это страшное, но успокоительное обезличение в общей могиле. Пока Монпавон идет, вид бульвара меняется. Толпа уплотнилась, стала более подвижной и озабоченной, дома не так велики, зато на них множество торговых вывесок. За воротами Сен-Дени и Сен-Мартен, через которые постоянно текут потоки людей из кишачих, перенаселенных предместий, провинциальный облик улиц становится заметнее. Старый щеголь уже не знает здесь никого; он может похвалиться тем, что и его тут никто не знает.

Лавочки, с любопытством глядящие на него, на его выставленную напоказ манишку, сюртук тонкого сукна, изгиб талии, принимают его за знаменитого актера, вышедшего перед спектаклем прогуляться по старинному бульвару — свидетелю его первых триумфов — и подышать воздухом. Ветер свежеет, сумерки заволакивают дали, длинная дорога, продолжая пылать огнями на уже пройденных поворотах, становится темнее с каждым шагом. Так бывает с прошлым, когда его сияние открывается тому, кто оглянулся назад и проникся сожалением... Монпавону кажется, что он входит в ночь. Он вздрагивает, но не слабеет и продолжает шагать, подняв голову, выпятив грудь.

Г-н де Монпавон идет навстречу смерти. Теперь он углубляется в сложный лабиринт шумных улиц, где грохот omnibusов сливается с гудением тысяч станков рабочих кварталов, где жар фабричных труб смешивается с лихорадочной борьбой народа с голодом. Воздух струится, от сточных канав идет пар, дома содрогаются, когда проезжают ломовики, тяжелые повозки сталкиваются на поворотах узких улочек. Внезапно маркиз останавливается: он нашел то, что ему нужно. Между черной лавочкой угольщика и заведением упаковщика, чьи сосновые доски, прислоненные к стене, вызывают у Монпавона легкую дрожь, открываются ворота; над ними вывеска-два слова: «Ванное заведение», написанные на тусклом фонаре. Монпавон проходит через сырой садик, где в раковину стекает струйка фонтана. Именно такой мрачный уголок он и искал. Кому

может прийти в голову, что маркиз де Монпавон пришел сюда, чтобы перерезать себе горло? Дом стоит в глубине, низкий, с зелеными ставнями, стеклянной дверью; как у всех подобных учреждений, у него обманчивое сходство с виллой. Маркиз заказывает ванну поглубже, входит в узенький коридорчик и, пока ему готовят ее, пока вода с шумом льется за его спиной, курит сигару у окна, смотрит на тощую сирень, на высокую стену.

Рядом большой казарменный двор пожарной команды с гимнастическими принадлежностями; видны брусья, шесты, турники, похожие на виселицы. Во дворе трубит рожок, вызывая сержанта. Этот звук уносит маркиза на тридцать лет назад, напоминает ему алжирские походы, высокие стены Константины, приезд де Мора в полк, дуэли и веселые пирушки... Ах, как весело начиналась жизнь! Если б не эти проклятые карты! ФФ... фф... Хорошо, что хоть удалось соблюсти приличия.

— Сударь, ванна готова, — говорит служитель.

В этот момент г-жа Дженкинс, задыхающаяся, бледная, входила в ателье Андре, куда ее привел инстинкт, оказавшийся сильнее воли, потребность обнять свое дитя перед смертью. Открыв дверь — Андре дал ей запасной ключ, — она все же вздохнула с чувством облегчения, увидев, что он еще не вернулся, что у нее хватит времени овладеть своим волнением, которое только усилилось от долгой ходьбы, непривычной для изнеженной, богатой женщины. Никого. Но на столе записочка, которую он всегда оставлял уходя, чтобы его мать, чьи посещения из-за тирании этого гнусного человека становились все реже и короче, могла узнать, где ее сын, спокойно дожидаться его или пойти к нему. Эти два существа не переставали любить друг друга, любить нежно, глубоко, несмотря на жестокость жизни, вынуждавшую их вносить в отношения между матерью и сыном предосторожности, скрытность и таинственность совсем иного рода любви.

«Я на репетиции моей пьесы, — гласила сегодня записка. — Вернусь к семи часам».

Это внимание ее сына, которого она не навещала три недели и который тем не менее упорно ее ждал, исторгло из глаз матери поток слез, давно уже душивших ее. Можно было подумать, что она вступила в новый мир. Комнатка была такая светлая, такая спокойная, она была так высоко над землей, она хранила на стеклах окон последний отблеск дня, пылая в лучах уже тускневшего солнца. Как и все мансарды, она казалась врезанной в небо; ее голые стены украшал лишь один большой портрет — ее портрет, улыбающийся, на почетном месте, а другой портрет стоял на столе в поволоченной рамке. Да, это скромное жилище, где было столько света в

час, когда весь Париж погружался во мрак, произвело на нее впечатление чего-то сверхъестественного, несмотря на скудость обстановки, на жалкую мебель, разбросанную по двум комнатам, на простую ситцевую обивку и камин с двумя большими букетами гиацинтов — тех, что возят утром по улицам целыми грудями на тележках. Какую прекрасную, деятельную и достойную жизнь могла бы она вести здесь, подле своего Андре! И в одно мгновение, с быстротой, какая бывает свойственна людям только во сне, она мысленно поместила свою кровать в одном углу, рояль в другом и представила себе, как она дает уроки, заботится о домашнем очаге, в который она вносит свою долю средств и свою долю мужественной жизнерадостности. Как она раньше не поняла, что в этом ее долг, в этом гордость ее вдовства? Какое это было ослепление, какая недостойная слабость!..

Ошибка большая, несомненно, но ей можно было найти некоторое оправдание в мягкой, податливой натуре г-жи Дженкинс, в ловкости и коварстве ее сообщника, говорившего все время о браке и скрывавшего от нее, что он не свободен. Вынужденный наконец признаться, он настолько картинно описал свою безрадостную жизнь, свое отчаяние, свою любовь, что бедная женщина, и так уже скомпрометировавшая себя в глазах света, неспособная на героическое усилие, ставящее человека выше ложных положений, в конце концов уступила, согласилась на это двусмысленное положение, такое блестящее и такое жалкое, основанное на обмане, длившемся десять лет. Десять лет опьяняющих успехов и невыразимых волнений, когда, спев один романс и готовясь к другому, она трепетала, как бы ее не выдали, когда малейшее слово о незаконных связях ранило ее, как намек; десять лет, в течение которых ее лицо приобрело выражение смиренной покорности, как у преступницы, молящей о пощаде... Впоследствии уверенность в том, что он ее бросит, испортила ей даже эти поддельные радости, омрачила всю окружающую ее роскошь. Сколько тревог, сколько молча перенесенных мучений, непрерывных унижений, вплоть до последнего, самого ужасного!

И вот сейчас она в вечерней прохладе и покое пустой квартиры с болью припоминает всю свою жизнь, а снизу до нее доносится звонкий смех, задорное веселье счастливой юности. Вспоминая признания Андре, его последнее письмо, в котором он сообщал ей большую новость, она пытается различить среди этих чистых молодых голосов голос ее дочери Элизы, невесты сына, которую она не знает, которую ей не суждено узнать. Эта мысль окончательно обездоливает женщину, еще усиливает тяжесть ее последних минут, наполняет их горечью сожалений, мучительными

угрызениями совести, и, несмотря на все свое желание быть мужественной, она плачет, плачет...

Начинает темнеть. Тени огромными пятнами покрывают косые окна, в которых бездонно глубокое небо бледнеет, как бы исчезает во мраке. Крыши сгрудились к ночи, как солдаты перед атакой. От одной колокольни к другой несется медленный, торжественный звон отбиваемых часов, ласточки кружат около невидимого гнезда, ветер гуляет, как обычно, среди обломков снесенных зданий на строительной площадке. Сегодня вечером он несет с собой жалобный плеск воды и пронизывающий туман, он дует с реки, как бы напоминая несчастной женщине, что ей придется пойти туда. Ее уже заранее пробирает дрожь, хотя на ней кружевная накидка. Зачем она пришла в эту комнату, где к ней вернулось желание жить, когда жить нельзя после признания, которое она вынуждена будет сделать? На лестнице слышны быстрые шаги, дверь стремительно открывается... Это Андре, он напевает, он доволен, а главное, очень спешит, потому что его ждут к обеду у Жуайезов. Надо скорей зажечь свет, чтобы влюбленный мог принарядиться. Но сразу, чиркая спичками, он угадывает, что в ателье кто — то есть, какая-то тень движется среди неподвижных теней.

— Кто здесь?

Ему отвечают не то приглушенным смехом, не то рыданиями. Ему приходит в голову, что это какая-то детская шалость, проделка маленьких соседок, решивших подшутить над ним. Он идет на этот звук. Две руки сжимают его, обнимают.

— Это я...

Лихорадочно, торопливо, стараясь придать голосу твердость, она говорит, что отправляется в долгое путешествие, перед отъездом...

— В путешествие? Куда же ты едешь?

— Не знаю. Мы едем далеко, к нему на родину. По его делам...

— Как! Значит, ты не будешь на моей премьере? Ведь это же через три дня! А потом свадьба... Не может же он не пустить тебя на мою свадьбу!

Она придумывает оправдания, извинения, но по ее пылающим рукам, которые сжимают руки сына, по ее изменившемуся голосу он понимает, что она обманывает его. Он хочет зажечь свет, она удерживает его:

— Нет, нет, не надо. Так лучше... Мне нужно собраться, я должна идти.

Оба стоят, готовые к разлуке. Но Андре не отпустит ее, пока она не признается, что с ней, какое трагическое происшествие затуманило ее прекрасное лицо, на котором глаза — или это так кажется в полумраке? — горят мрачным огнем.

— Ничего, ничего, уверяю тебя... Только мысль о том, что я не смогу принять участие в твоём празднике, в твоём торжестве... Но ты же знаешь, что я люблю тебя, ты не сомневаешься во мне, правда? Не было ещё такого дня, когда бы я не думала о тебе... И ты тоже береги свою любовь ко мне... А теперь поцелуй меня, и я пойду... Я и так задержалась.

Ещё минута — и у нее не хватит сил уйти. Она устремляется к выходу.

— Нет, нет, ты не выйдешь отсюда... В твоей жизни происходит что-то необычайное, ты не хочешь мне сказать, но я это чувствую... Я уверен, что у тебя большое горе. Этот человек совершил подлость...

— Нет, нет... Пусти меня... пусти...

Но он удерживает ее, удерживает насильно.

— В чем дело? Скажи!

И совсем тихо, на ухо, нежным, настойчивым и приглушенным, как поцелуй, голосом спрашивает:

— Он бросил тебя, да?

Несчастливая вздрагивает, вырывается:

— Не спрашивай меня ни о чем. Я не хочу ничего говорить. Прощай!

А он, прижимая ее к груди, продолжает: " — Да и что ты можешь сказать мне, чего бы я уже не знал, бедная моя мамочка? Разве ты не поняла, почему я ушел полгода назад?

— Ты знаешь?

— Все знаю. А что произошло сегодня — это я уже давно предчувствовал, давно этого желал.

— Несчастливая я, несчастная! Зачем я пришла?

— Затем, что твое место здесь, затем, что за тобой долг — десять лет материнской любви... Вот видишь: ты обязана остаться у меня.

Он говорит ей это, стоя на коленях перед диваном, на который она упала, заливаясь слезами, с последним мучительным воплем уязвленной гордости. Она плачет долго-долго: сын у ее ног. Жуайезы, обеспокоенные тем, что Андре не спускается вниз, в полном составе отправляются за ним. Комната наполняется прелестными лицами, ясными улыбками, развевающимися локонами, скромными нарядами, и все это озарено светом большой лампы, доброй старой лампы с огромным абажуром, которую г-н Жуайез несет торжественно, высоко и прямо, как древние греки несли светильники. Они останавливаются как вкопанные, увидев бледную, убитую горем женщину, а та в глубоком волнении смотрит на эти улыбающиеся лица, на эти грациозные фигурки и особенно внимательно на Элизу, стоящую сзади и до того смущенную их нескромным вторжением, что это смущение мгновенно обличает в ней невесту.

— Элиза, поцелуй нашу маму и поблагодари ее. Она пришла, чтобы остаться жить со своими детьми.

И вот ее охватывают ласковые руки, прижимают к четырем женским сердечкам, которым давно уже не хватает материнской опоры, ее вводят — и так осторожно — в сияющий круг под семейной лампой, слегка расширенный, чтобы она могла занять в нем свое место, осушить глаза, согреть, озарить свою душу этим мощным пламенем, что поднимается, не колеблясь, даже в маленьком ателье художника, под самой крышей, где только что бушевали зловещие бури, которые надо забыть.

Тот, кто умирает там, в окровавленной ванне, не знал этого священного пламени. Эгоистичный и черствый, он всегда жил напоказ, с высокомерным тщеславием выставляя свою манишку. И это тщеславие было еще лучшим из его свойств. Именно оно так долго поддерживало в нем мужество и стойкость, и оно помогло ему теперь стиснуть зубы, чтобы подавить предсмертную икоту. В сыром садике тоскливо журчит фонтан. Рожок у пожарных играет сигнал к гашению огней.

— Сходите в седьмой, поглядите, что там такое, — говорит хозяйка. — Засиделся он в ванне.

Служитель идет. Раздается крик изумления, ужаса:

— Сударыня, он умер! Но это не тот, это другой...

Все сбегаются, и никто не хочет признать изящного господина, недавно вошедшего сюда, в этой зловещей мертвой кукле, с головой, свисающей через край ванны, с лицом, на котором грим слился со смывающей его кровью. Он лежит, раскинув руки и ноги, безмерно усталый от роли, сыгранной до конца, сыгранной так, что она убила актера. Два пореза бритвой поперек великолепной негнущейся манишки — и все его искусственное величие обмякло, растворилось в этом безымянном ужасе, в этой гряде грязи, крови, жалких покрашенных останков, в которых никак нельзя узнать человека хорошего тона, маркиза Луи-Мари-Аженора де Монпавона.

XXIII. ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРИСТА. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ

Записываю наспех, дрожащим пером, страшные события, игрушкой которых я являюсь вот уже несколько дней. На этот раз с Земельным банком и всеми моими честолюбивыми мечтами покончено... Векселя опротестованы, на имущество накладывается арест, полиция производит обыски, все наши книги у судебного следователя, патрон сбежал, член нашего совета Буа-Ландри — в Маза, член нашего совета Монпавон исчез. Есть от чего потерять голову. И подумать только, что если б я внял тому, что мне подсказывал вдумчивый смысл, я бы уже с полгода сидел спокойно в Монбаре, возделывал свой виноградничек, ни о чем не заботясь, и только глядел бы, как наливаются и золотятся грозди под добрым бургундским солнышком, или собирал бы после ливня на лозах маленьких серых улиток, превосходных в жареном виде. На свои сбережения я построил бы себе на краю участка, на холмике, в местечке, которое так и стоит у меня перед глазами, каменный павильончик, как у г-на Шальмета, такой удобный для послеполуденного отдыха, когда кругом в винограднике посвистывают перепелки. Но нет! Непрестанно соблазняемый обманчивыми мечтами, я хотел разбогатеть, спекулировать, заниматься крупными банковскими операциями, приковать свою судьбу к колеснице сегодняшних триумфаторов — и вот вернулся к самым печальным страницам моей жизни: я всего лишь мелкий служащий в прогоревшем банке, мне поручено отвечать полчищам обезумевших от ярости кредиторов и акционеров, которые осыпают меня тягчайшими оскорблениями, не щадя моих седин, и хотят сделать меня ответственным за разорение Набоба и бегство патрона. Как будто я сам не пострадал ужаснейшим образом, снова потеряв свое жалованье, не выплаченное мне за четыре года, и мои семь тысяч, истраченные на патрона и на банк, — все, что я доверил этому проходимцу Паганетти из Порто-Веккьо.

Но мне, видимо, было на роду написано испытать чашу унижений и неприятностей до дна. Я предстал перед судебным следователем, я, Пассажон, бывший служитель филологического факультета, тридцать лет работавший безупречно и награжденный академическим значком... Когда я поднимался по лестнице Дворца правосудия, такой большой, такой широкой, без перил, за которые можно было бы ухватиться, у меня

закружилась голова и ноги отказались двигаться. У меня было время предаться размышлениям, пока я проходил через залы, где было полно адвокатов и судей в черных мантиях, отделенные один от другого высокими зелеными дверями, из-за которых доносился внушительный гул судебных заседаний. Да и там, наверху в коридоре, пока я битый час ждал, сидя на скамье, и мне уже казалось, что по моим ногам ползают тюремные насекомые, пока я слушал, как бандиты, жулики, девки из Сен-Лазар весело болтают с муниципальными гвардейцами, как стучат ружейные приклады, а во дворе дребезжат арестантские кареты. Тут я понял, как опасны *combinazioni*, понял, что не всегда следует смеяться над простаками.

Меня успокаивало, однако, то, что я никогда не принимал участия в совещаниях в Земельном банке и потому не играл никакой роли в сделках и грязных делишках. Но как это объяснить? Очутившись в кабинете следователя, прямо против человека в бархатной ермолке, смотревшего на меня через стол маленькими острыми глазками, я почувствовал, что меня пронизывают, обшаривают, выворачивают наизнанку, и, несмотря на свою невиновность, я, представьте себе, ощутил желание сознаться. В чем? Не знаю! Но таково воздействие правосудия. Этот дьявол в человеческом образе добрых пять минут разглядывал меня, ничего не говоря и перелистывая исписанную крупным почерком тетрадь, которая показалась мне знакомой, и вдруг обратился ко мне насмешливо и в то же время строго:

— Ну-с, господин Пассажон, давно вы не проделывали трюка с возчиком?

Воспоминание об одной скверной проделке, в которой я принимал участие в трудные дни, было уже таким далеким, что сначала я ничего не понял. Но эти слова показали мне, насколько следователь был в курсе дел нашего банка. Этот ужасный человек знал все до мельчайших подробностей, вплоть до тайных махинаций.

Кто же мог его так хорошо осведомить?

При всем том он был весьма лаконичен и сух. Я попытался разъяснить кое-что представителю судебной власти, сделав несколько метких замечаний, но он довольно дерзко обрывал меня всякий раз:

— Прошу без громких фраз.

Это было тем более оскорбительно — да еще в моем возрасте, с моей репутацией остроумного человека! — что мы были в кабинете не одни. Сидевший возле меня секретарь записывал мои показания; сзади слышался шелест переворачиваемых листов бумаги. Следователь задавал мне самые

разные вопросы относительно Набоба, о том, когда он делал свои взносы, о месте, где мы хранили наши книги, и вдруг, обращаясь к человеку, которого мне не было видно, сказал:

— Позвольте кассовую книгу, господин эксперт.

Маленький человечек в белом галстуке положил на стол толстую книгу. Это был г-н Жуайез, бывший кассир банкирской конторы «Эмерленг и сын». Но я не успел засвидетельствовать ему свое почтение.

— Кто это сделал? — спросил меня следователь, открывая книгу в том месте, где из нее была вырвана страница. — Только не лгите...

Я не лгал; я просто ничего не знал, так как никогда не занимался отчетностью. Однако я считал долгом упомянуть о г-не де Жери, секретаре Набоба, который часто приходил по вечерам в нашу контору и подолгу сидел один в бухгалтерии. Тут коротышка Жуайез покраснел от злости:

— Это чепуха, господин следователь. Де Жери — тот самый молодой человек, о котором я вам говорил. Он заходил в Земельный банк, только чтобы контролировать его операции, он был на страже интересов бедного господина Жансуле, и он не мог уничтожать записи о получении от него взносов, являющиеся доказательством его слепой, но безукоризненной честности. К тому же господин де Жери, задержавшийся в Тунисе, сейчас уже на пути в Париж и скоро представит необходимые разъяснения.

Я почувствовал, что мое усердие может повредить мне.

— Смотрите, Пассажон! — строго сказал мне следователь. — Пока вы только свидетель, но если вы будете пытаться ввести следствие в заблуждение, то можете оказаться обвиняемым. (У этого чудовища был такой вид, словно ему этого хотелось!) Ну-ка, подумайте: кто вырвал эту страницу?

Тогда я весьма кстати припомнил, что за несколько дней до отъезда из Парижа наш патрон велел мне принести книги к нему домой, и там они оставались до утра. Секретарь записал мои показания, после чего следователь знаком отпустил меня, предупредив, что я в его распоряжении. Когда я был уже у двери, он вернул меня:

— Пойдите, господин Пассажон, возьмите вот это. Мне эти бумаги больше не нужны.

Он протянул мне тетрадь, в которую заглядывал, допрашивая меня. Каково же было мое изумление, когда я увидел на обложке слово «Записки», выведенное мною старательно, красивыми буквами! Я сам дал в руки суду оружие, драгоценные сведения. Быстрота случившейся катастрофы Помешала мне скрыть тетрадь при обыске в нашем банке.

Вернувшись к себе, я хотел первым делом разорвать на мелкие

кочки эти нескромные бумажки, но, поразмыслив и убедившись, что в моих записках не было ничего компрометирующего, я решил продолжать их: я убежден, что когда-нибудь они мне еще пригодятся. В Париже немало сочинителей романов, которые лишены воображения и способны рассказывать в своих книгах только о том, что происходит в действительности. Они охотно купят у меня эту тетрадку со всякими полезными для них сведениями. Так я отомщу этой шайке первостатейных разбойников, в которую я затесался на горе и на позор себе.

Потом надо же мне хоть чем-то занять досуг. В конторе, совершенно пустой после вторжения судебных органов, делать нечего, разве только складывать груды судебных повесток различных цветов. Я снова начал вести запись расходов для кухарки с третьего этажа, мадемуазель Серафины, от которой получаю взамен съестные припасы; я храню их в нестораемом шкафу, который опять стал моей кладовой.' Жена патрона тоже очень добра ко мне и каждый раз, когда я прихожу в их великолепную квартиру на Шоссе д'Антей проводить ее, набивает мне полные карманы. Там ничего не изменилось. Та же роскошь, тот же комфорт; вдобавок еще трехмесячный младенец, седьмой по счету, и превосходная кормилица, нормандский чепец которой вызывает восторг у всех гуляющих в Булонском лесу. Видно, людям, устремившимся вперед по путям фортуны, чтобы убавить ход или совсем остановиться, требуется некоторое время. И то сказать, бандит Паганетти, предвидя беду, все перевел на имя жены. Вот почему эта вечно лопочущая по-своему итальянка от него в восхищении, которое ничто не может поколебать. Он сбежал, он прячется, но она по-прежнему уверена, что ее муж невинен, как Иоанн Креститель, и стал жертвой своей доброты, своей доверчивости. Ее стоит послушать:

— Вы-то его знаете, мусью Пассажон. Вы знаете, какой он *шипительный*. Но говорю вам, — и это так же правда, как то, что есть бог, — если бы мой муж делал все такие нечестности, как говорят кругом, я бы сама — вы слышите, сама — вложила ему пистолю в руку и сказала: «На, Чекко! Взорви себе голову!»

Глядя, как она, вздернув носик, раздувает ноздри и широко раскрывает глаза, черные и круглые, словно два агатовых шарика, можно поверить, что эта корсиканочка с Иль-Русс действительно так бы и поступила. Каким же он должен быть ловким, этот проклятый Паганетти, чтобы надувать даже свою жену, играть комедию у себя дома — там, где даже самые большие пройдохи показывают себя в настоящем свете!

Покуда вся эта компания лакомится деликатесами, а Буа-Ландри доставляют в Маза обеды на Английского кафе, дядюшка Пассажон дошел

до того, что вынужден питаться обедками из чужих кухонь. Ну, мне еще грех жаловаться. Есть люди куда более несчастные, чем я: взять хотя бы г-на Франсиса. Сегодня утром он зашел в Земельный банк — худой, бледный, в грязном до безобразия белье, с обтрепанными манжетами, которые он все еще выпускает по привычке.

Я как раз поджаривал в этот момент славный кусочек сала у камина в зале совета, поставив себе прибор на уголке столика с инкрустациями и подостлав газету, чтобы его не запачкать. Я пригласил камердинера Монпавона разделить со мной скромную трапезу, но, побывав на службе у маркива, он вообразил, что и сам сделался аристократом, и потому отказался с важным видом, просто нелепым, если поглядеть на его впалые щеки. Он начал с того, что по-прежнему ничего не знает о своем хозяине, что его выставили из клубной квартиры на Королевской улице, что все бумаги маркиза опечатаны и куча кредиторов налетела, как саранча, на его скудные пожитки.

— Так что сейчас у меня с деньгами туговато, — добавил г-н Франсис.

Проще говоря, у него нет ни гроша в кармане, и он уже два дня спит на бульваре, где его поминутно будят полицейские и ему приходится вставать, делать вид, что он загулявший пьянчужка, и искать себе другое пристанище. А по части того, чтобы пожевать чего-нибудь, ему, видно, давно уже ничего не перепало: он глядел на еду такими голодными глазами, что тяжело было на него смотреть, а когда я сунул ему под нос ломтик жареного сала и стакан вина, он набросился на них, как волк. У него сразу прилила кровь к лицу, и, уплетая за обе щеки, он принялся болтать без умолку.

— А знаете, дядюшка Пассажон, — сказал мне г-н Франсис, глотнув вина, — я ведь знаю, где он... я его видел...

И хитро прищурил один глаз. Я смотрел на него с большим удивлением.

— Кого это вы видели, господин Франсис?

— Маркиза, моего хозяина... В беленьком домике за Собором Богоматери. (Ему не хотелось произносить слово «морг»: видимо, он считал его слишком грубым.) Я был уверен, что найду его там. Пошел прямо туда на другой же день. И нашел. Но вид у него далеко не прежний, можете мне поверить! Надо быть его камердинером, чтобы узнать его! Волосы совсем седые, зубов нет, а морщины, которые он так ловко скрывал, все на виду — как полагается в шестьдесят пять лет. Лежит на мраморной доске, а сверху на него каплет из крана вода — мне показалось, будто он за туалетным столиком!

— И вы ничего не сказали?

— Нет. Я знал его намерения на этот счет, давно знал... Я дал ему возможность уйти незаметно, по-английски, как он этого хотел. А все-таки он должен был, уходя, оставить мне кусок хлеба: ведь я у него двадцать лет прослужил!

И вдруг, ударив кулаком по столу, он в бешенстве крикнул:

— Подумать только: если б я захотел, я мог бы поступить не к Монпавону, а к Мора, быть на месте Луи!.. Вот кому повезло! На сколько тысяч заграбастал он золота, когда умирал герцог!.. А одежда, сотни рубашек, халат из голубых песцов, который стоит больше двадцати тысяч... Все равно что Ноэль — тот, верно, тоже набил себе мошну! И как, должно быть, спешил, черт возьми! Знал ведь, что это скоро кончится. А теперь на Вандомской площади ничего не выцарапаешь. Мамаша, старый жандарм в юбке, заправляет всем. Сеи-Ромая продают, картины продают. Половина особняка сдается внаем. Полный разгром!

Должен признаться, что я не мог скрыть свое удовольствие: ведь этот негодяй Жансуле — источник всех наших бед! Он хвастался своим сказочным богатством, болтал об этом всюду. Публика шла на эту приманку, как рыба, увидевшая в верше блестящие чешуйки... Он потерял миллионы — пусть. Но зачем было делать вид, что у него еще достаточно припрятано? Они арестовали Буа-Ландри, а лучше бы забрали этого... Ах, если б у нас был другой эксперт, я уверен, что это было бы уже сделано! К тому же, как я сказал Франсису, достаточно посмотреть на выскочку Жансуле, чтобы понять, что он собой представляет. Лицо нахального бандита!

— И такой вульгарный! — добавил бывший камердинер.

— Совершенно безнравственный человек.

— Не имеет никакого понятия о хорошем тоне. Вот он и вылетел в трубу, так же как Дженкинс и многие другие...

— Как? И доктор тоже? Вот это жаль!.. Такой воспитанный, такой обходительный человек...

— Да, и ему пришлось бросить свой дом... Лошади, экипажи, обстановка — все продается. Во дворе расклеены объявления о распродаже имущества. Весь дом — пустой и гулкий» словно в нем побывала смерть. Вилла в Нантерре тоже продается. Там еще оставалось с полдюжины маленьких «вифлеемцев»; их напихали в экипаж и увезли... Это разгром, дядюшка Пассажон, уверяю вас, разгром, конца которого мы с вами, вероятно, не увидим, потому что слишком стары для этого, но это будет полный разгром. Все сгнило, все должно рухнуть...

Какой зловещий вид был у этого старого лакея эпохи империи, худого, измученного, грязного, вопящего, как пророк Иеремия, широко раскрыв свой беззубый, черный рот: «Это разгром!» Мне было страшно и стыдно глядеть на него; хотелось, чтобы он поскорее убрался. И я думал про себя: «О господин Шальмет, о мой маленький виноградник в Монбаре!»

Того же числа. Важная новость. Сегодня днем приходила г-жа Паганетти, принесла мне потихоньку письмо от патрона. Он в Лондоне, организует великолепное предприятие. Превосходное помещение для конторы в лучшей части города. Создано солиднейшее товарищество на паях. Он предлагает мне приехать к нему. «Я счастлив, — пишет он, — что могу возместить таким образом убыток, который Вы понесли». У меня будет жалованье вдвое больше, чем в Земельном банке квартира с отоплением, пять акций нового предприятия, и мне выплатят полностью задержанные деньги. Нужен только маленький аванс на дорожные расходы и на уплату неотложных долгов в нашем квартале. Какое счастье! Мое благополучие обеспечено. Пишу нотариусу в Монбар, чтобы он взял закладную под мой виноградник.

XXIV. В БОРДИГЕРЕ

Поль де Жери, как сообщил г-н Жуайез судебному следователю, возвращался из Туниса после трехнедельного отсутствия. Три бесконечно долго тянувшиеся недели он провел в борьбе против интриг и козней могущественных и озлобленных Эмерленгов, в скитаниях из зала в зал, из министерства в министерство, по этой огромной резиденции Бардо, объединяющей за грозной крепостной стеной, оцетинившейся старинными пушками, все государственные учреждения, находящиеся под надзором бея, его конюшни и гарем. По приезде Поль сразу узнал, что судебная палата начала в секретном порядке собирать улики, чтобы состряпать против Жансуле процесс, исход которого был заранее предрешен. Закрытые конторы Набоба на Флотской набережной, печати, наложенные на его сейфы, его корабли, накрепко пришвартованные в Гулете, стража из чаушей^[56] вокруг его дворцов — все возвещало о его гражданской смерти, об остающемся после него наследстве, делом которого вскоре предстоит заняться.

Ни одного защитника, ни одного друга в этой ненасытной своре. Вся французская колония, казалось, была рада падению придворного, который так долго занимал и преграждал другим пути к благоволению владыки. Пытаться вырвать у бея его добычу — если только не будет шумного триумфа в Палате — нечего было и думать. Все, на что мог надеяться де Жери, — это спасти какую-то частицу, да и с этим надо было спешить, потому что он со дня на день ждал известия о полном крахе своего друга.

И Поль начал действовать, хлопотать, не пренебрегая ничем: он прибегал к восточной лести, к этой утонченной и приторной любезности, за которой кроются свирепость и развращенность нравов, к благожелательно-равнодушным улыбкам; когда человеческая ложь не помогала, он склонял голову и скрещивал на груди руки, взывая к божественному промыслу. Молодому человеку была свойственна вспыльчивость уроженца юга Франции, но он сумел воспитать в себе выдержку, и она сослужила ему не меньшую службу, чем безукоризненное знание французских законов, искаженную копию которых представлял собой тунисский кодекс.

Несмотря на происки Эмерленга-сына, пользовавшегося большим влиянием в Бардо, Полю благодаря его ловкости и осторожности удалось спасти от конфискации деньги, ссуженные Набобом несколько месяцев

тому назад, и вырвать десять миллионов из пятнадцати у алчного Мухаммеда. Утром того самого дня, когда ему должны были вручить эту сумму, он получил из Парижа депешу, сообщавшую о признании выборов недействительными. Поль устремился во дворец, чтобы опередить эту новость. Возвращаясь домой с запертыми в портфеле десятью миллионами в переводных векселях на Марсель, он встретил на дороге в резиденцию коляску Эмерленга-сына, запряженную тремя мулами, мчавшимися во весь опор. Лицо тощего филина сияло. Де Жери понял, что если он пробудет в Тунисе еще несколько часов, то рискует, что его векселя будут конфискованы, и купил билет на итальянский пароход, уходивший на другой день в Геную. Ночь он провел на пароходе и успокоился только, когда увидел, как скрываются из виду белые дома Туниса, раскинувшегося уступами на берегу залива и меж скал Карфагенского мыса. При входе в Генуэзский порт пароход, подходя к пристани, прошел мимо большой яхты, на которой среди праздничных флажков развеялся тунисский флаг. Де Жери встревожился — он решил, что его преследуют, что ему придется, сойдя на берег, иметь дело с итальянской полицией, как простому воришке. Но нет, яхта спокойно покачивалась на якоре, матросы были заняты уборкой палубы и перекрашиванием красной сирены на носу; видно было, что ожидалась какая-то важная особа. Поль, не поинтересовавшись, кто эта особа, быстро прошел через мраморный город и уехал по железной дороге, идущей из Генуи в Марсель вдоль берега моря. Дорога эта, где из тьмы туннелей вырываешься к ослепительной синеве моря, восхитительна, но до того узка, что на ней нередко бывают несчастные случаи.

В Савойе поезд остановился, пассажирам объявили, что дальше ехать нельзя, так как ночью обвалился один из мостиков, переброшенных через горные потоки, стекающие в море.

Пришлось ждать инженера, рабочих, вызванных по телеграфу, — задержка, быть может, на полдня. Было утро. Итальянский городок просыпался, подернутый дымкой, предвещавшей жаркий день. Пассажиры разбрелись в разные стороны-укрылись в гостиницах, расположились в кафе, некоторые отправились погулять по городу. Де Жери в полном отчаянии ломал голову, как бы ему не потерять даром время. Он думал о бедном Жансуле, о том, что деньги, которые он везет, быть может, спасут несчастному честь и жизнь; он думал о своей милой Алине, чей образ не покидал его ни на один день во время путешествия, так же как и портрет, подаренный ею. И вдруг ему пришла в голову мысль нанять один из запряженных четверкой *calesino*,^[57] которые курсируют между Генуей и Ниццей вдоль итальянского побережья. Эту очаровательную поездку часто

позволяют себе иностранцы — влюбленные или счастливые игроки, возвращающиеся из Монако. Кучер клялся, что они будут в Ницце рано утром. Но если бы даже случилось так, что подоспевший поезд обогнал бы Поля в пути, все же вместо беспомощного ожидания на станции теперь с каждым поворотом колес расстояние, отделявшее его от желанной цели, сокращалось.

Когда прекрасным июньским утром ты несешься на четверке лошадей по белой дороге Ривьеры, то, если ты так же молод, как Поль, и сердце твое так же переполнено любовью, какое это опьяняющее, ни с чем не сравнимое наслаждение! Слева, в ста футах, море, все в пеке, начиная от круглых бухт до туманных далей, где синева волн сливалась с синевой неба; красные и белые паруса, точно распростертые крылья, скользящие по водяной глади, изящные силуэты пароходов, в виде прощального привета оставляющие за кормой дымок; у пляжей, мелькающих на поворотах, рыбаки — не больше дроздов — в пришвартованных баркасах, похожих на гнезда. Дальше дорога спускается по крутому откосу, мимо, скал и высоких, почти отвесных мысов. Свежий морской ветер доносит звон бубенчиков. Справа, на склоне горы, сосны, зеленые дубы с извилистыми корнями, вылезавшими из бесплодной почвы, площадки с насаждениями оливковых деревьев спускаются уступами к широкому рву, белому, каменистому, окаймленному зеленью травы, говорящей о том, что здесь прежде протекала вода: это высохшее русло потока, по которому поднимаются нагруженные мулы, уверенно ступающие среди валунов, и где женщина, стирающая белье, склоняется над лужицей, над каплями воды, оставшимися после большого зимнего паводка. Время от времени экипаж проезжает по главной улице деревни, или, вернее, старинного городка, порыжевшего от солнца. Его домики, соединенные сумрачными аркадами, тесно прижались друг к другу, образуя подобие круто поднимающихся ущелий, с узкими просветами неба над ними. Через отверстия в стенах, похожие на входы в рудники, видны стайки ребят с головками, окруженными ореолом кудрей, корзины сверкающих плодов, женщина, спускающаяся по неровной мостовой с кувшином на голове или с прялкой в руке. Затем, на повороте, голубая рябь волн и вновь обретенная ширь...

Постепенно день разгорался, солнце, поднимаясь все выше, метало в тяжелое, оцепенелое, неподвижное, отсвечивающее, как горный хрусталь, море, выступавшее из утреннего тумана, тысячи лучей, которые падали в воду, ранив ее, как стрелы, и этот ослепительный блеск воды еще усиливали белизна скал, солнечный свет и горячий ветер, настоящий африканский

сирокко, поднимавший на дороге позади экипажа спиральные столбы пыли. Поль доехал до самых жарких, укрытых, от ветра уголков Ривьеры. Тут была поистине тропическая температура, тут росли на свободе финиковые пальмы, кактусы, высокие алоэ, похожие на канделябры. Видя, как эти устремленные вверх стволы, эта фантастическая растительность разрезает раскаленный добела воздух, слыша, как под колесами хрустит, словно снег, слепящая пыль, де Жери, полузакрыв глаза, загипнотизированный свинцовым полднем, представил себе, что снова проделывает утомительный путь из Туниса в Бардо, снова едет по людной дороге, среди левантинских колясок с лакеями в сверкающих ливреях, верблюдов с длинными шеями и отвислыми губами, мулов, покрытых попонами, осликов, арабов в лохмотьях, полуголых негров, чиновников в парадных мундирах, сопровождаемых почетным эскортом. Не окажется ли там, где дорога идет вдоль пальмовых садов, громоздкое и причудливое здание дворца бея, с частым переплетом окон, с мраморными дверьми, с резными деревянными решетками, раскрашенными яркими красками? Но нет, то был не Бардо, а прелестная Бордигера, разделенная, как и все прибрежные городки, на две части — приморскую, раскинувшуюся вдоль берега, и верхний город, — соединенные лесом неподвижных пальм со стройными стволами и ниспадающей кроной; это были настоящие фейерверки зелени, исчерчивавшие небо множеством ровных борозд.

Жара стала невыносимой, лошади выбились из сил, и путешественнику пришлось остановиться на несколько часов в одной из больших гостиниц, расположенных у дороги. Начиная с ноября такие гостиницы вносят в этот чудесный, укрытый от непогоды городок элемент роскоши, космополитическое оживление аристократического зимнего курорта. Но в это время года на пляже Бордигеры не бывает никого, кроме рыбаков, да и те сейчас попрятались; виллы, гостиницы казались вымершими, все шторы и жалюзи были опущены. Приезжего провели по длинным коридорам, прохладным и тихим, в просторную гостиную с окнами на север, являвшуюся частью одного из обширных помещений, которые снимают на целый сезон; тонкие дверцы такой гостиной соединяют ее с другими комнатами. Всюду белые занавески, ковры, полукомфорт, которого требуют англичане даже во время путешествия; за окнами, которые хозяин распахнул, чтобы завлечь постояльца, задержать его на более долгий срок, — великолепный вид на гору. Удивительный покой царил в этой большой безлюдной гостинице без метрдотеля, без повара, без рассыльных — персонал появлялся лишь с наступлением прохладной погоды. Все хозяйство вела местная стряпуха, мастерица по

части *stoffato* и *risotto*, а прислуживали два конюха, надевавшие в часы обеда фраки, белые галстуки и мягкие башмаки официантов. К счастью, де Жери предстояло пробыть здесь час-другой, только чтобы дать глазам отдохнуть от матово-серебристого блеска моря и сбросить с отяжелевшей головы словно надетую на нее солнцем каску с мучительно режущим ремешком.

С дивана, на котором Поль растянулся, открывался пленительный вид: рощи легких, трепещущих оливковых деревьев и лес более темных померанцев с блестящими листьями, на которых играли солнечные блики, спускались, казалось, до самого окна уступами разных оттенков зелени. Разбросанные среди нее виллы сверкали белизной: одна из них, принадлежавшая банкиру Морису Тротту, бросалась в глаза причудливостью архитектуры и вышиною пальм. Жилище левантинца, сады которого доходили до окон гостиницы, было уже в течение нескольких месяцев предоставлено знаменитости из артистического мира, скульптору Бреа, умиравшему от чахотки и поддерживавшему свою жизнь лишь благодаря этому царскому гостеприимству. Соседство со знаменитым больным, которым хозяин гостиницы настолько гордился, что охотно поставил бы его в счет, имя Бреа, так часто с восторгом произносившееся в мастерской Фелиции Рюис в присутствии Поля, воскресило в его памяти прекрасное лицо с точеным профилем, которое он последний раз видел мельком в Булонском лесу склоненным к плечу де Мора. Что случилось с несчастной девушкой, когда она лишилась этой опоры? Послужит ли это ей уроком на будущее? Странное совпадение: в то время как он вспоминал о Фелиции, прямо перед ним, на склоне соседнего сада, огромная белая борзая промчалась по аллее. Как она была похожа на Кадура: такая же короткая шерсть, такая же розовая морда, острая и злая! В одну минуту перед мысленным взором Поля, лежавшего у открытого окна, пронеслись видения, печальные и радостные. Быть может, дивная природа, которою он любовался, высокая гора, по которой пробегала голубоватая тень, ложившаяся на все изгибы местности, унесли вдаль его блуждающие мысли... Под померанцами, под лимонными деревьями, отягощенными золотыми плодами, расстилались обширные поля фиалок, посаженных правильными и тесными рядами, и поля эти были пересечены маленькими оросительными каналами, белые камни которых разрезали буйную зелень.

От фиалок, вянувших на солнце, исходило дивное благоухание, жаркий аромат будуаров, волнующий, расслабляющий, вызывающий в памяти Поля де Жери женские образы — Алину, Фелицию, скользивших по феерическому ландшафту в голубоватом воздухе райского дня, в котором

запах бесчисленного множества распустившихся цветов становился как бы зримым. Скрип двери заставил его открыть глаза... Кто-то вошел в соседнюю комнату. Он услышал шелест платья, коснувшегося тонкой перегородки, шуршанье перевернутой страницы книги, которую читали, видимо, без особого интереса. Глубокий вздох, перешедший в зевок, заставил его вздрогнуть. Не спал ли он еще? Не грезил ли?

Не послышался ли ему «вой шакала в пустыне», гармонирующий с тяжелой, палящей жарою?.. Нет... Ничего... Он снова уснул, и на этот раз все смутные образы, преследовавшие его, слились в сновидении, чудесном сновидении...

Он и Алина совершали свадебное путешествие. Новобрачная была прелестна. Ясные глаза, полные любви и веры, глядели только на него. В этой самой гостиной, за тем же круглым столиком сидела хорошенькая девушка в белом утреннем капоте, приятно пахнувшем фиалками и тонкими кружевами свадебной корзинки. Они завтракали. Завтрак свадебного путешествия, поданный сразу после пробуждения, на фоне синего моря и чистого неба, бросающих лазурный отблеск на стаканы, из которых пьют, на глаза, в которые смотрят, на будущее, на жизнь, на светлый простор перед ними!.. Какая красота, какой божественный, какой омолаживающий свет! Как им было хорошо!

И вдруг после поцелуев, от которых кружилась голова, Алина помрачнела. Ее прекрасные глаза затуманились слезами. Она сказала: «Там Фелиция. Ты больше не будешь любить меня...» Он засмеялся: «Фелиция — здесь? Что за вздор!» «Да, да, она там...» Алина показывала, дрожа, на соседнюю комнату, откуда доносились яростный лай собаки и голос Фелиции: «Кадур, сюда! Кадур, сюда!» — низкий, приглушенный, злобный голос человека, который скрывался, но которого все-таки обнаружили.

Внезапно разбуженный, очнувшийся от своих грез, влюбленный снова оказался один в комнате, перед ничем не заставленным круглым столиком, а его чудесное сновидение улетело в окно, на откос, как бы заполнявший это окно и склонявшийся к нему. Но из соседней комнаты действительно доносились собачий лай и торопливый стук, от которого дрожала дверь.

— Откройте! Это я, Дженкинс!

Поль от изумления присел на диван. Дженкинс — здесь? Каким образом? И к кому он обращается? Чей голос ответит ему? Ответа не последовало. Легкие шаги направились к дверям; нервно щелкнула задвижка."

. — Наконец-то я вас нашел! — сказал ирландец, входя.

Если б он не потрудился назвать себя, Поль, слушая его за

перегородкой, в этих резких, грубых, хриплых звуках ни за что не узнал бы вкрадчивого голоса доктора.

— Наконец-то я вас нашел после целой недели поисков, после бешеной гонки — из Генуи в Ниццу, из Ниццы в Геную!.. Я знал, что вы еще не уехали: яхта по-прежнему стоит на рейде... Я уже собирался осмотреть все гостиницы в этих местах, но вспомнил о Бреа и решил, что вы захотите повидать его по дороге. Я сейчас от него. Это он сказал мне, что вы здесь.

Но с кем же он говорил? Кто с таким странным упрямством не отвечал ему? Наконец красивый сердитый голос, хорошо знакомый Полю, прозвучал в отяжелевшем, гулком воздухе знойного полудня:

— Да, Дженкинс, я здесь. В чем дело?

Поль словно видел сквозь стену надменный рот с опущенными уголками губ, со складкой отвращения.

— Я хочу удержать вас от этой поездки, от этого безумия...

— Какое же тут безумие? У меня работа в Тунисе, я должна ехать туда.

— Но вы не подумали, дитя мое...

— Бросьте этот отеческий тон, Дженкинс. Мне хорошо известно, что за ним кроется. Говорите лучше так, как начали. Я предпочитаю видеть в вас пса, который рычит, чем собаку, которая ластится, виляя хвостом. Первого я меньше боюсь.

— Что ж, я могу только повторить: надо сойти с ума, чтобы ехать туда совершенно одной, такой молодой и красивой...

— А разве я не всегда одна? Неужели я должна была ваять с собой Констанцию? У нее не тот возраст.

— А меня?

— Вас? — Она протянула это слово с оттенком издевательства. — А Париж? А ваши пациенты? Лишить общество Калиостро!^[58] О, нет, ни за что!

— Я решил следовать за вами всюду, куда бы вы ни поехали, — твердо заявил Дженкинс.

Наступило молчание. Поль думал, красиво ли с его стороны слушать этот спор, который, как он предчувствовал, был чреват страшными разоблачениями. Но, помимо усталости, его приковывало к месту непреодолимое любопытство. Ему казалось, что загадочное существо, которое так долго волновало его и влекло к себе, еще удерживая его мысли кончиком покрывала своей тайны, заговорит наконец, откроется и обнаружит страдающую или просто развратную женщину, скрытую под обликом художницы. И он сидел, не шевелясь, затаив дыхание, не имея,

впрочем, надобности подслушивать, ибо те двое, думая, что они одни в гостинице, не приглушали ни голосов, ни страстей.

— Чего же вы от меня хотите в конце концов?

— Я хочу вас...

— Дженкинс!

— Да, да, я знаю, вы запретили мне произносить в вашем присутствии такие слова. Но другие говорили вам их, и притом в более интимной обстановке...

Послышались нервные шаги. Она подошла к ханже и бросила прямо в его широкое, чувственное лицо полный презрения ответ:

— А хотя бы и так, низкий вы человек? Если я не сумела убереечь себя от отвращения и скуки, если я утратила свою гордость, вам ли говорить мне об этом?! Как будто не вы в этом виноваты, как будто не вы навсегда омрачили, навсегда отравили мне жизнь!

И тут она несколькими быстрыми, жгучими словами нарисовала перед потрясенным Полем жуткую сцену посягательства под личиной нежной заботливости опекуна, посягательства, с которым пришлось так долго бороться уму, мыслям и мечтам девушки и которое вызывало в ней неизлечимую тоску, преждевременную горечь, отвращение к жизни, такой еще молодой, скорбную складку в углу рта вместо исчезнувшей улыбки.

— Я любил вас!.. Я люблю вас!.. Страсть побеждает все!.. — глухо ответил Дженкинс.

— Что ж, любите меня, если это вам нравится... А я ненавижу вас не только за зло, которое вы мне причинили, не только за то, что вы убили во мне веру, все прекрасные порывы, но и за то, что вы являетесь для меня воплощением самого гнусного, самого отвратительного из всего, что существует на свете, — лицемерия и фальши. Да, в этом светском маскараде, в этом сплетении обманов, уродливых гримас, нивких и лживых условностей, которые опротивели мне до такой степени, что я бегу от них, что я обрекаю себя на изгнание, лишь бы не видеть их больше, что я предпочла бы им каторгу, притоны, панель, словно уличная девка, — во всем этом ваша маска, добродетельный Дженкинс, внушает мне наибольшее отвращение. Вы осложнили наше французское лицемерие с его улыбками и любезностями вашими рукопожатиями на английский лад, вашим сердечным, подчеркнутым прямодушием. Все попались на эту удочку. Все говорят: «Добрый Дженкинс, славный, честный Дженкинс». Но я-то вас знаю, дружок, и, несмотря на ваш прекрасный девиз, бесстыдно украшающий конверты с вашими письмами, вашу печать, ваши запонки, подкладку ваших шляп, дверцы вашей кареты, я всегда вижу вас таким,

каков вы есть, — плутом, которого не может скрыть маскарадный костюм!

Все это она цедила сквозь зубы, каждое слово приобретало в ее устах необычайную выразительность. Полю казалось, что со стороны Дженкинса, возмущенного градом оскорблений, вот-вот последует взрыв ярости. Но нет, ненависть и презрение любимой женщины, по-видимому, скорее причиняли ему боль, чем вызывали гнев, потому что он ответил тихо, с кроткой печалью в голосе:

— О, как вы жестоки! Если бы вы знали, как вы меня терзаете! Лицемер — да, правда, но человек не рождается лицемером. Он становится им поневоле, столкнувшись с тяготами жизни. Когда ветер дует тебе в лицо, а ты хочешь идти вперед, приходится лавировать. Я лавировал... Осуждайте мои жалкие первые шаги, неудачное вступление в жизнь, но признайте по крайней мере, что одно было во мне всегда искренне — моя страсть! Ваше пренебрежение, обидные слова, все, что я читаю в ваших глазах, за столько лет ни разу не улыбнувшихся мне, — ничто не могло убить ее. Это она дает мне силы — даже после того, что я услышал от вас, — объяснить вам, почему я здесь... Выслушайте меня. Вы мне заявили однажды, что вам нужен муж, человек, который заботился бы о вас, пока вы работаете, кто сменил бы бедную Кренмиц, выбившуюся из сил... Это ваши собственные слова; они мучили меня тогда, потому что я был не свободен. Теперь все изменилось. Хотите выйти за меня замуж, Фелиция?

— А ваша жена? — воскликнула девушка.

Полю в это время задал себе тот же вопрос.

— Моя жена умерла.

— Умерла? Госпожа Дженкинс? Это правда?

— Вы не знаете той, о ком я говорю. А другая — я не был ее законным мужем. Когда я встретил ее, у меня уже была жена в Ирландии. Старая история!.. Тягостный брак, петля на шее. Дорогая моя! В двадцать пять лет мне предстоял выбор: долговая тюрьма или мисс Стренг — старая дева с лицом в красных пятнах, больная подагрой, сестра ростовщика, ссудившего мне пятьсот фунтов, которые я внес за обучение на медицинском факультете. Я предпочел тюрьму, но после долгих страданий мое мужество иссякло, и я женился на мисс Стренг, которая принесла мне в приданое... мой вексель. Вообразите мою жизнь между двумя чудовищами, обожавшими друг друга: больной, ревнивой женой и ее братом, шпионившим за мной, ходившим за мной по пятам. Я мог сбежать. Но меня удерживало одно: говорили, что ростовщик невероятно богат. Я хотел, по крайней мере, воспользоваться плодами моего малодушия... Видите: я ничего не скрываю от вас. К тому же я был достаточно наказан, поверьте!

Старый Стренг умер несостоятельным должником; он играл и разорился, скрыв это от нас. Тогда я устроил свою жену со всеми ее болезнями в санаторий и приехал во Францию. Надо было снова начинать жизнь, снова бороться, терпеть нужду... Но у меня уже был опыт, ненависть и презрение к людям и вновь завоеванная свобода — я тогда еще не подозревал, что жестокие кандалы этого проклятого брака будут даже издали мешать мне двигаться вперед... К счастью, теперь все кончено, я свободен.

— Так, так, Дженкинс, вы свободны... Но почему вы не хотите сделать своей женой бедное создание, женщину скромную и преданную, которая так долго была вашей спутницей жизни, — ведь мы же все это знаем...

— И то и другое — каторга;- сказал он с искренним волнением. — Но я, кажется, предпочел бы первую, — там я мог быть откровенно равнодушным или откровенно ненавидеть. Но без устали играть мучительную комедию супружеской любви, неизменного счастья, когда я так давно люблю только вас, думаю только о вас!.. Нет на земле пытки, равной этой! Если судить по себе, эта несчастная женщина в момент разрыва должна была только вздохнуть с облегчением и радостью. Это единственный прощальный привет, на который я надеялся...

— Но кто же заставил вас так принуждать себя?

— Париж, общество, свет. В глазах общественного мнения мы были женаты, и это связывало нас.

— А теперь не связывает?

— Теперь одно лишь владеет мною: боязнь потерять вас, не видеть вас больше... Когда я узнал о вашем бегстве, когда я увидел на ваших дверях объявление: «Сдается внаем», — я почувствовал, что с позами и гримасами кончено, что мне остается только помчаться вслед за моим счастьем, которое вы уносили с собой. Вы покинули Париж — и я расстался с ним. У вас продавали все; у меня тоже все будет продано.

— А она? — продолжала, вся дрожа, Фелиция. — Она, безупречная подруга, честная женщина, всегда стоявшая выше всяких подозрений, — куда пойдет она? Что будет делать она? И вы предлагаете мне ее место!.. Место украденное, и в каком аду!.. А как же девиз, славный Дженкинс, добродетельный Дженкинс? Как мы поступим с ним? «Делать добро, не ища награды» — не так ли, мой друг.

На этот смех, который, как удар хлыста, оставляет на лице багровую полосу, жалкий человек ответил, задыхаясь:

— Довольно!.. Довольно!.. Не издевайтесь надо мной!.. Это слишком жестоко!.. Значит, вам безразлично, что вас любят так, как я вас люблю, что приносят вам в жертву все: богатство, счастье, почет? Взгляните на меня!..

Как бы хорошо ни была прикреплена моя маска, я сорвал ее ради вас, я сорвал ее при всех!.. Вот он, лицемер! Он перед вами!..

Дженкинс глухо стукнулся коленями об пол. Что-то лепеча, потеряв голову от любви, распростершись перед Фелицией, он умолял ее согласиться на брак, дать ему право следовать за ней всюду, охранять ее. Потом ему уже не хватило слов, они потонули в страстном рыдании, таком бурном, таком душераздирающем, что оно смягчило бы любое сердце, особенно на фоне дивной бесстрастной природы, в этом благоуханном, расслабляющем зное... Но Фелицию это не тронуло.

— Довольно, Дженкинс, — сказала она все так же надменно, — то, о чем вы просите, неосуществимо. Нам нечего скрывать друг от друга. После ваших излияний я тоже скажу вам нечто такое, что заставит страдать мою гордость, но ваше упорство достойно этого. Я была любовницей де Мора.

Полю это было известно. И все же прекрасный, чистый голос, оскверненный подобным признанием, так печально прозвучал в этом воздухе, опьяняющем своим благовонием и синевой, что у Поля сжалось сердце; он ощутил во рту вкус слез, который оставляет невысказанная скорбь.

— Я это знал, — сдавленным голосом ответил Дженкинс. — Письма, которые вы писали ему, у меня...

— Мои письма?

— О, я вам возвращаю их, вот они. Я знаю их наизусть: столько раз я читал и перечитывал их... Вот что причиняет боль, когда любишь... Но я испытал и другие муки. Когда подумаешь, что именно я... (он остановился, ему не хватало воздуха)... я должен был подбрасывать горячее в пламя ваших страстей, согревать этого ледяного любовника, посылать его к вам пылким и помолодевшим... Сколько моих пилюль он проглотил! Много раз я ему отказывал, но он все требовал и требовал их. Наконец у меня не хватило терпения. Ты хочешь сгореть, несчастный? Ну что ж, гори!..

Поль вскочил в испуге... Как бы его не посвятили в тайну преступления!

Но его избавили от стыда слушать дальше.

Сильный стук, — на этот раз к нему, — известил его, что *calesino* подан.

— *Signore franchesc!*.. [\[59\]](#)

В соседней комнате воцарилась тишина, затем послышался шепот. Они поняли, что кто-то был там, рядом, что он слышал их. Поль де Жери быстро спустился вниз. Он спешил уйти из этой комнаты, от этого наваждения, от всей этой грязи.

В то самое мгновение, когда почтовая коляска, покачнувшись, двинулась в путь, Поль увидел среди белых занавесок на окне, выходявшем на юг, побледневшее лицо, обрамленное волосами богини, и огромные горящие глаза, напряженно смотревшие в его сторону. Но один лишь взгляд Поля на портрет Алины прогнал волнующее видение, и, навсегда излеченный от былой любви, он ехал до самого вечера по волшебным местам, храня в душе образ прелестной новобрачной, уносившей в складках своего скромного платья, своей девичьей накидки все фиалки Бордигеры.

XXV. ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МЯТЕЖА»

— Прошу на сцену! Начинаем первый акт!

Возглас помощника режиссера, который стоит, сложив руки рупором, внизу, у артистической лестницы, уносится вверх по ее высокой клетке, звучит, теряясь в глубине коридоров, полных шума, — хлопают двери, слышатся торопливые шаги, отчаянные голоса взывают к парикмахеру, к костюмершам. А на площадках появляются один за другим, медленно и величаво, не поворачивая головы из боязни помять или испортить какую-нибудь мелочь в своем сценическом наряде, все действующие лица первого акта «Мятежа» в современных элегантных бальных туалетах, скрипя новыми туфлями, шурша шелковыми шлейфами, застегивая на ходу перчатки и позвякивая роскошными браслетами. Все эти люди явно взволнованы, нервны, бледны под гримом. По искусно наведенному атласу плеч, покрытых белилами, волнистой тенью пробегает дрожь. Говорят они мало, во рту у них пересохло. У наиболее уверенных с виду, пытающихся улыбнуться, в глазах, в голосе сквозит нерешительность; мысли их далеко; они полны страха перед сражением при огнях рампы — самым могущественным соблазном в профессии актера: в этом и заключается ее волнующая увлекательность, ее вечная новизна.

На сцене, забитой снующими взад и вперед рабочими, реквизиторами, спешащими, толкающими друг — друга под мягким, белесым светом софитов, который скоро сменится, при поднятии занавеса, ослепительным блеском зала, Кардальяк, сияющий, парадный, в черном фраке и белом галстуке, в цилиндре, сдвинутом на затылок, бросает последний взгляд на декорации, торопит рабочих, отпускает комплимент инженеру в пышном наряде, что-то напевает. Глядя на него, никто бы не подумал, какая тревога гложет его сердце. Крах Набоба поглотил и его пай. Директор театра сделал последнюю ставку на эту пьесу; если она не будет иметь успеха, чем он заплатит за эти чудные декорации, за эти ткани по сто франков за метр? Его ждет уже четвертый по счету провал. Не беда! Директор не теряет надежды. Успех, как все чудовища, пожирающие людей, любит молодость, вот почему никому не известное имя автора, впервые появляющееся на афише, обнадеживает суеверного игрока.

Андре Маранн далеко не так спокоен. Подавленный видом

зрительного зала, на который он смотрит сквозь проделанную в занавесе дырочку, как в узкую линзу стереоскопа, он, по мере того, как приближается начало спектакля, теряет веру в свое творение.

Сияющий зал набит битком, несмотря на конец весны и на стремление светской публики как можно раньше выезжать за город. Кардальяк, убежденный враг природы и жизни в деревне, всегда пытающийся как можно дольше задержать парижан в Париже, сумел заполнить его до отказа, сделать таким же блестящим, как в разгар зимы. Полторы тысячи человек толпятся под люстрой — приподнятые, наклоненные, отвернувшиеся головы в живой игре отблесков и теней, вопросительные взгляды. Одни сгрудились в темных уголках узкого прохода вокруг партера, на других, на тех, что сидят в ложах, падает, когда — отмываются двери, яркий отсвет от белых стен фойе. Публика премьер всегда одна и та же: «весь Париж», дерзкий Париж, который бывает всюду, захватывая с бою места, если их не представляет ему чья-нибудь благосклонность или служебное положение.

В первых рядах партера щеголи в вырезных жилетах, клубные завсегдатаи, сверкающие лысины, широкие проборы в редких волосах, светлые перчатки, наведенные на окружающих массивные бинокли. В балконе между бенеуаром и бельэтажем смесь приличного общества и полусвета в самых разных нарядах, знаменитости, неизменно появляющиеся в подобных торжественных случаях, стеснительное соседство сдержанной и целомудренной улыбки, свойственной порядочной женщине, и горящих, подведенных глаз, карминных губ кокоток. Белые шляпы, розовые шляпы, бриллианты и стразы. Над ними, в ложах, та же смесь: актрисы и проститутки, министры, послы, известные писатели." самоуверенные критики с нахмуренным челом, развалившиеся в креслах с бесстрастным высокомерием судей, которых ничто не может подкупить. Аванложи выделяются на общем фоне ярким освещением, роскошью; в них расселись крупные банкиры, дамы с обнаженными руками, декольтированные, усыпанные драгоценными камнями, — каждая из них похожа на царицу Савскую, навещающую царя израильского. Слева одна из этих больших лож, совершенно пустая, привлекает внимание своим причудливым убранством; она освещена в глубине мавританским фонарем. Над зрителями летает неощутимая пыль, мигает газ — его запах примешивается ко всем развлечениям Парижа, его резкое, короткое шипение, напоминающее дыхание чахоточного, аккомпанирует шелесту раскрываемых вееров. Скучно, смертельно скучно видеть одни и те же лица, встречающиеся в одних и тех же местах, лица, со всеми их

недостатками, со всей их рисовкой, скучно, смертельно скучно однообразие светских сборищ, которое каждую зиму превращает Париж в провинцию, еще более мелочную, вздорную и ограниченную, чем провинция подлинная!..

Маранн, наблюдая за угрюмой и усталой публикой, — думал о том, насколько успех его драмы изменит его скромную жизнь, основанную на одних надеждах, с тревогой спрашивал себя, как поступить, чтобы довести свою мысль до этого множества людей; отвлечь их от забот о своей внешности, создать в этой толпе единый поток, обратить к нему эти рассеянные взгляды, все эти по-разному настроенные души, которые так трудно заставить звучать в унисон. Он инстинктивно искал дружеские лица, ложу напротив сцены, в которой находилось семейство Жуайез: Элиза и девочки сидели впереди, Алина и отец — сзади. Это была очаровательная семейная группа, словно букет живых цветов, покрытых росой, на выставке искусственных цветов. В то время как весь Париж пренебрежительно спрашивал: «Что это за люди?» — поэт вверял свою судьбу ручкам фей, затянутым для такого случая в новые перчатки, готовым подать сигнал к овации.

Занавес!.. Маранн едва успевает броситься за кулисы. И вдруг он слышит где-то далеко-далеко первые слова своей пьесы, которые взлетают, как стая робких птиц, в тишине необъятного зрительного зала. Страшная минута! Куда деваться? Что делать? Остаться тут, приклеенным к кулисе, и со сжимающимся сердцем насторожить слух? Ободрять актеров, когда он сам нуждается в ободрении? Маранн предпочитает смотреть в лицо опасности. Он проскальзывает через маленькую дверцу, выходящую в коридор зрительного зала, в одну из лож бенуара, дверь которую кто-то тихонько отворяет. «Тс-с! Это я...» Кто-то сидит в тени. Это женщина, которую знает весь Париж и которая прячется от него. Андре садится рядом, и, прижавшись друг к другу, не видимые никому, мать и сын, трепеща, следят за представлением.

Сначала публика была в недоумении. Театр с ярко освещенным подъездом, расположенный в центре бульвара, между большими ресторанами, шикарными клубами; театр, куда приезжали тесной компанией, после изысканного обеда, посмотреть до ужина один или два акта какой-нибудь идиотской пьесы, стал в руках своего изобретательного директора одним из наиболее посещаемых театров Парижа, не отдающим предпочтения какому-нибудь определенному жанру, но и не чуждающимся любого жанра, от оперетты-феерии, оголяющей женщин, до глубокой современной драмы, обнажающей нравы. Кардальяку было особенно

важно оправдать свое звание директора театра «Новинки», и с тех пор, как миллионы Набоба стали поддерживать его предприятие, он старался преподносить завсегдаям бульваров необычайные сюрпризы. Сегодняшний сюрприз превзошел все остальные: пьеса была в стихах — и притом нравственная.

Нравственная пьеса!

Старый ловкач понял, что настал момент испробовать этот хитроумный ход, и он сделал его. Несколько минут все пребывали в изумлении, слышались кое-где в ложах недовольные восклицания: «О-о! Стихи!..» — затем атмосфера разрядилась, и зал ощутил очарование этого бодрящего, здорового произведения, зал словно опрыскали духами с нежным и острым запахом, sprыснули эликсиром жизни, который пахнет тимьяном, растущим на холмах.

— Как хорошо!.. Как это освежает!..

То был общий голос, этот облегченный вздох блаженного упоения сопровождал каждую строфу. Это освежало толстяка Эмерленга, задыхавшегося в ложе бельэтажа, как в бочке, обитой вишневым атласом. Это освежало долговязую Сюзанну Блок, с античной прической, с завитками, выбивавшимися из-под золотой диадемы. Рядом с ней сидела Ами Фера, вся в белом, как новобрачная, с веточкой померанца во взбитых кудряшках, — ее это тоже освежало!

Там было множество подобных созданий: были тучные, заплывшие грязным салом, накопленным в гаремах, с тройным подбородком и глупым выражением лица; были совершенно зеленые, несмотря на румяна, как будто их окунули в ванну с мышьяковистой медью, именуемой в продаже «парижской зеленью», такие морщинистые, такие увядшие, что им приходилось прятаться в глубине своих лож, выставляя напоказ лишь часть белой руки или все еще округлое плечо. Там были дряблые, тощие франты, которых называли «дохлыми клячами», с вытянутой шеей, отвислыми губами, неспособные стоять на ногах, неспособные внятно выговорить ни единого слова. И все эти люди восклицали хором:

— Как хорошо!.. Как это освежает!..

Красавец Моэссар с белокурыми усиками шептал это, словно напевая, в то время как его королева в центральной ложе напротив сцены переводила эти слова на свой варварский иностранный язык. Положительно это их освежало. Однако они не говорили, после чего им надо было освежиться, после какой тошнотворной работы, после какого принудительного занятия праздных и никчемных людей.

Доброжелательный, дружный шепот одобрения начинал создавать в

зрительном зале атмосферу триумфа. Успех носился в воздухе, лица прояснились, женщины словно похорошели от восторга, отражавшегося на лицах, во взглядах, возбуждавших, как крики «браво». Андре, сидя рядом с матерью, вздрагивал от неизведанного наслаждения, от горделивой радости, какую испытывает даже бродячий певец предместья, в репертуаре у которого — одна, патриотического содержания, песенка, а в голосе — две прочувствованные нотки, когда ему удастся расшевелить толпу. Внезапно перешептывания усилились, превратились в слитный шум. Люди посмеивались, люди задвигались на своих местах. Что произошло? Что-нибудь случилось на сцене? Андре, в испуге повернувшись к актерам, удивленным, как и он, увидел, что все бинокли устремились на до сего времени пустовавшую аванложу: туда только что кто-то вошел, уселся в мрачном одиночестве и, положив локти на обитый бархатом барьер, вынул из футляра бинокль.

За десять дней Набоб постарел на двадцать лет. Пылкие южане способны на безудержные порывы, на огневые вспышки, но зато они и падают духом быстрее других. После кассации выборов несчастный заперся в своей комнате и задернул занавески: ему претил, дневной свет, ему невольно было переступить порог, за которым его ждала жизнь, взятые им на себя обязательства, данные обещания, гряда опротестованных векселей и судебных повесток. Левантинка, совершенно равнодушная к разорению семьи, вместе с массажистом и негритянками укатила на воды. Бомпен — человек в феске — растерялся от бесчисленных требований денег, он не знал, как подступиться к хозяину, который все время лежал на диване и сразу поворачивался к стене, как только с ним заговаривали о делах. Старуха мать со своими ограниченными и прямолинейными понятиями вдовы-крестьянки, знающей, что такое гербовая бумага и подпись, и считающей честь величайшим из всех земных благ, боролась с бедствиями в одиночку. Ее желтый чепец мелькал на всех этажах; она проверяла счета, меняла слуг, не боясь ни криков, ни унижений. В любое время дня можно было видеть, как эта славная женщина расхаживала большими шагами по дому на Вандомской площади, жестикулируя, разговаривая сама с собой, заявляя вслух: «Гм! Пойду-ка я к судебному приставу!» С сыном она советовалась только тогда, когда это было крайне необходимо, изъяснялась сдержанно и кратко, старалась даже не глядеть на него. Только депеша от де Жери, посланная из Марсея и извещавшая о том, что он приезжает с десятью миллионами, вывела Жансуле из оцепенения. Десять миллионов! Значит, можно избежать банкротства, оправиться, начать жизнь сызнова. И вот наш южанин, опьянев от радости,

полный надежд, мигом выбрался из ямы. Он велел открыть окна, принести газеты. Премьера «Мятежа»! Превосходный случай показаться парижанам, считавшим, что он исчез, вернуться в гигантский водоворот, хлопнув дверью ложи в Новинках! Мать по внушению инстинкта робко пыталась удержать его. Париж пугал ее. Ей хотелось увезти свое дитя в глухой уголок на Юге, ухаживать за ним и за Старшим — за двумя жертвами большого города. Но хозяином был он. Невозможно устоять перед волей человека, избалованного богатством. Она помогла ему одеться, «принарядила» его, как она сказала в шутку, и когда он уходил, не без некоторой гордости поглядела ему вслед. Он был великолепен, он воскрес, он преодолел страшный упадок сил.

Войдя в театр, Жансуле сразу заметил движение, вызванное в зале его появлением. Привыкший к такому любопытствующему вниманию, он отвечал на него обычно без малейшего смущения, отвечал своей широкой, доброй улыбкой. Но на этот раз его окружало недоброжелательство, почти возмущение.

— Как! Это он?

— Вон там! Видите?

— Какое бесстыдство!

Это доносилось из первых рядов вместе с другими невнятными восклицаниями. Несколько дней он пробыл в уединении, в полумраке; он понятия не имел о том, какое озлобление вызывал он всюду, не знал о проповедях, о вдохновенных словах, расточаемых газетами по поводу его развращающего богатства, о бьющих на аффект статьях, о лицемерной фразеологии, с помощью которой общественное мнение время от времени мстит безвинным за все свои поблажки виновным. Это была неприятная неожиданность; она вызвала у него скорей огорчение, чем гнев. Взволнованный, он скрывал свое замешательство за стеклами бинокля, всматривался в мельчайшие подробности происходившего на сцене, сел вполоборота к публике и тем не менее продолжал оставаться жертвой всеобщего скандального внимания. В ушах у него звенело, в висках стучало, в запотевших стеклах бинокля вертелись многоцветные круги — это были первые признаки кровоизлияния в мозг.

Занавес опустился, первый акт кончился, а Набоб все еще оставался в этом неудобном положении, но более отчетливые перешептывания, уже не заглушаемые диалогом на сцене, настойчивость некоторых любопытных, менявшихся местами, чтобы лучше разглядеть его, принудили его выйти из ложи и, подобно зверю, убегавшему с цирковой арены, ринуться в фойе. Под низким потолком в круглом фойе он попал в плотную толпу франтов,

журналистов, женщин в шляпках, в облегающих фигуру корсажах, — все они смеялись глупым смехом, откинувшись назад, прислонившись к стене. Из открытых лож, где людям дышалось свободнее, чем в этом гудящем непрерывном потоке, доносились обрывки разговоров, сливавшиеся одна с другой неоконченные фразы:

— Очаровательная пьеса... Такая чистая!.. Такая глубоко нравственная...

— А Набоб! Какое нахальство!

— Да, она действительно освежает... Чувствуешь, что становишься лучше...

— Как его еще не арестовали!

— Говорят, совсем молодой человек... Это его первая пьеса.

— Буа-Ландри в Маза? Не может быть! А маркиза здесь, прямо перед нами, в первом ряду балкона... На ней новая шляпка...

— Это еще ничего не доказывает... Такова ее профессия — рекламировать новые модели. Шляпка очень хороша... цвета лошади Дегранжа.

— А Дженкинс? Что случилось с Дженкинсом?

— Он в Тунисе, с Фелицией... Старый Ибрагим видел их обоих. По-видимому, бей решил прибегнуть к пилюлям...

— Однако!

Дальше нежные голоса шепчут:

— Подойди к нему, папа, ну подойди же! Посмотри, как он одинок...

— Дети! Я же с ним незнаком.

— А ты только поклонись. Пусть он увидит, что не все от него отвернулись.

Маленький старичок в белом галстуке, весь красный от смущения, подбежал к Набобу и отвесил ему низкий, почтительный поклон. Какая признательная, какая любезная улыбка была ответом на этот единственный поклон, поклон человека, которого Жансуле не знал, которого он никогда раньше не видел и который, однако, оказал такое огромное влияние на его судьбу: ведь если бы не папаша Жуайев, председатель правления Земельного банка разделил бы участь маркиза Буа — Ландри. Так в путанице современного общества, в сплетении интересов, честолюбивых стремлений, принятых и оказанных услуг все слои этого общества, таинственно соединенные скрытыми пружинами, начиная с высокопоставленных лиц и кончая самыми скромными, сообщаются между собой. Вот чем объясняется пестрота наблюдений, сложность изучения нравов, собирания разрозненных нитей, из которых писатель, не желающий

отступать от правды, вынужден создавать основу своей драмы.

Взгляды, устремленные в пространство, шаги, вдруг бесцельно меняющие направление, шляпы, внезапно надвинутые на глаза, — в течение десяти минут Набоб испытал все проявления жестокого остракизма парижского света, где у него не было ни родственников, ни серьезных связей, света, чье презрение обрекало его на одиночество более полное, чем одиночество прибывшего с визитом монарха, отделенного от людей всеобщей почтительностью. Он зашатался от смущения, от стыда. Кто-то громко сказал:

— Он пьян...

Несчастному оставалось вернуться в аванложу и запереться в ней. Обычно этот уголок заполнялся во время антрактов биржевиками и журналистами. Все смеялись, курили, шумели; директор театра приходил приветствовать участника своего предприятия. В этот вечер — никого. Отсутствие Кардальяка, всегда чужавшего успех, показывало Жансуле всю глубину немилости, в которую он впал.

— Что же я сделал им? Почему Париж от меня отрекся?

Так спрашивал он себя в одиночестве, которое ощущалось еще сильнее благодаря звукам, раздававшимся вокруг, — резким поворотам ключей в дверях лож, возгласам веселившейся толпы. И вдруг новизна окружавшего его роскошного убранства, мавританский фонарь, отбрасывавший причудливые тени на блестящий шелк диванов и стен, напомнили ему о том, как он прибыл сюда... Полгода! Всего лишь полгода, как он в Париже! За полгода все погибло, все сгорело дотла! Он погрузился в оцепенение, из которого его немного погода вывели аплодисменты и восторженные крики «Браво!».* «Мятеж» имел большой успех. Теперь дошла очередь до сильных сатирических мест. Пылкие тирады, искренние в своей выпренности, овеванные дыханием молодости, особенно сильно волновали после лирических излияний первого акта. Жансуле захотелось слушать, захотелось видеть. В конце концов этот театр принадлежал ему. Его место в этой ложе стоило ему больше миллиона. Уж, во всяком случае, он занимает его по праву!

И вот он снова сидит у барьера своей ложи. В зале жарко, душно; духота слегка умеряется трепещущими веерами, которые, сверкая блестками, слабо светясь отраженным светом, вторят неуловимому дыханию тишины. Публика благоговейно слушает смелый, гневный монолог против хищников, столь многочисленных в те времена, занявших самое почетное положение в обществе после того, как они шныряли по тротуарам и чистили карманы прохожих. Когда Маранн писал эти

прекрасные стихи, он, разумеется, меньше всего думал о Набобе. Но публика увидела в этом намек. Наградив конец монолога тройным взрывом рукоплесканий, все обернулись к левой аванложе и устремили к ней негодующие, откровенно оскорбительные взгляды. Несчастного Набоба пригвоздили к позорному столбу в его собственном театре! К позорному столбу, который так дорого ему обошелся! На сей раз Жансуле не пытался уйти от оскорблений, он уселся с решительным видом, скрестив руки, бросая вызов глазевшей на него толпе, добродетельному «всему Парижу», который избрал его козлом отпущения и изгонял, взвалив на него все свои грехи.

Да, это общество вправе было проявлять такую строгость! Напротив — ложа обанкротившегося банкира; жена и любовник сидят рядышком в первом ряду, а сзади уныло прячется в тени муж. Дальше — столь часто встречающаяся троица: мать, выдавшая дочь замуж по велению сердца, чтобы сделать своего возлюбленного зятем. Еще дальше — сомнительной репутации пары, продажные самки, выставяющие напоказ цену своего позора — огненные обручи бриллиантов, точно собачьим ошейником охватывающие им руки и шеи. Эти особы набивают себе полный рот конфетами и едят скотски грубо — они знают, что животная натура нравится в женщине ее покупателю. А чего стоят женственные франты с открытыми шеями и подрисованными бровями!.. Вышитыми батистовыми рубашками и белыми атласными корсетами их предков можно полюбоваться в Компьене, в комнатах для гостей: это фавориты времен Агриппы, ^[60] называвшие друг друга «моя радость», «моя красотка»... В ложах и в партере сосредоточены все скандалы, все мерзости, продающаяся или уже продавшаяся совесть, вся порочность нашего времени, лишенного величия, лишенного оригинальности, но пытающегося повторить все извращения былых времен, порочность, которая гонит на публичные балы Бюлье герцогиню, жену министра, состязающуюся с самыми бесстыдными посетительницами этих балов... И такие люди отталкивали его, такие люди кричали ему: " «Уходи! Ты недостойн!..»

— Я недостойн! Но я в тысячу раз лучше вас всех, презренные твари. Вы попрекаете меня моими миллионами. А кто помог мне растратить их? Ты, мой бывший товарищ, трус и предатель, прячущий сейчас в глубине ложи свое тело, распухшее, как у больного паши. Я сам обогащался и помог тебе нажать состояние в ту пору, когда мы все делили по-братски. Ты, бледный маркиз, — я заплатил клубу сто тысяч франков, чтобы тебя не выгнали оттуда с позором. Ты, распутница, которую я осыпал драгоценностями, чтобы все принимали тебя за мою любовницу, потому

что в нашем кругу это считается хорошим тоном, и ничего не требовал от тебя взамен... А ты, наглый газетчик, у которого в голове чернильная гуща вместо мозгов, а на совести столько же язв, сколько на теле у твоей королевы, — ты считаешь, что я слишком мало заплатил тебе, и вот источник твоей брани... Да, да, смотрите на меня, подлецы... Я горд... Я лучше вас...

Вот что мысленно твердил себе несчастный Набоб в припадке неистовой ярости, которая была заметна по тому, как дрожали его толстые побелевшие губы. Близкий к помешательству, он, быть может, выкрикнул бы все это в тишине зала, ринулся бы на эту глумившуюся над ним толпу, рванулся бы — как знать? — в самую гущу ее, чтобы убить кого-нибудь, — о проклятье! — убить кого-нибудь... Но в это мгновение он почувствовал, что кто-то коснулся его плеча, увидел белокурую голову, серьезное, открытое лицо, две руки, протянутые ему, и он судорожно, как утопающий, за них ухватился:

— Ах, дорогой мой!.. Ах, дорогой мой!.. — лепетал несчастный Набоб.

Больше он ничего не мог сказать. Радостное волнение, охватившее его в пылу бешеной злобы, выразилось в судорожном рыдании, в приливе крови, от которого слова застревали у него в горле. Лицо его побагровело. Он сделал знак: «Уведите меня...» Шатаясь, опираясь на руку де Жери, он с трудом переступил порог своей ложи и тут же рухнул на пол.

«Браво! Браво!» — кричали актеру. Аплодисменты сыпались, как град, зрители от восторга топали ногами, а в это время рабочие, через силу подняв огромное безжизненное тело, шли через залитые светом кулисы, где любопытные, столпившиеся вокруг сцены, оживленные успехом пьесы, не обратили почти никакого внимания на побежденного, которого мимо них, точно жертву бунта, пронесли на руках. Его уложили на кушетку в складе бутафории. Подле него стояли Поль де Жери, врач и двое служителей, деятельно им помогавшие. Кардальяк, занятый спектаклем, обещал зайти справиться «попозже, после пятого...»

Кровопускание за кровопусканием, пиявки, горчичники — ничто не вызывало ни малейшей дрожи у больного, не реагировавшего ни на одно из средств, применяемых при апоплексии. Бесчувственность всего организма являлась преддверием смерти, переходом к окоченению. И переход этот совершался в грязном и мрачном месте, освещенном лишь тусклым фонарем, среди сваленного как попало хлама, оставшегося после сошедших со сцены пьес, — позолоченной мебели, ярких занавесок, колясок, сундуков, ломберных столов, разобранных лестниц и перил,

канатов, блоков, среди груд ненужного театрального реквизита, разбитого, поломанного, истрепавшегося. Бернар Жансуле, распростертый посреди этих обломков, в разорванной на груди рубашке, окровавленный и бледный, в самом деле потерпел крушение, он был изувечен и выброшен на берег вместе с жалкими остатками своей дутой роскоши, раскиданной и развеянной парижским круговоротом. Поль де Жери с болью в сердце смотрел на это лицо с коротким носом, сохранявшее в своей неподвижности гневное и вместе с тем доброе выражение безобидного существа, пытавшегося защищаться перед смертью и не успевшего укунить врага. Поль упрекал себя за то, что не сумел по-настоящему помочь ему. Что осталось от его прекрасного плана — провести Жансуле через трясины, охранить его от козней? Все, что он смог сделать, — это спасти несколько миллионов, но и они прибыли слишком поздно.

Открылись окна на полукруглый балкон здания, выходящий на бульвар, полный шумного оживления и блеска. Театр был окружен цепью газовых рожков — пол осой огня, от которой улица, пронизанная движущимися фонарями карет, точно звездами, путешествующими по ночному небу, казалась вдали еще темнее. Спектакль кончился. Начался разъезд. Теснившаяся в вестибюле черная толпа рассыпалась по белым тротуарам, готовая разнести по городу слух об огромном успехе, разгласить неизвестное доселе имя, которому завтрашний день должен был принести триумф и славу. Чудесный вечер зажигал весельем окна ресторанов и заставлял блуждать по улицам запоздалые экипажи. Праздничная суতোлка, которую так любил бедный Набоб, потому что она соответствовала всей его бурной жизни, оживила его на секунду. Губы его шевельнулись, расширившиеся глаза, смотревшие на де Жери обрели перед смертью страдальческое, молящее и гневное выражение: они как бы призывали Поля в свидетели одной из самых чудовищных, самых жестоких несправедливостей, какие когда-либо совершал Париж.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Примечания

1

Меровинги — династия королей франков (V–VIII века). В ту эпоху франки носили длинные волосы.

То есть и всеильный вельможа и первый щеголь в стране. Бреммель, Джордж-Бриан (1778–1840) — английский «дэнди», законодатель мод в Лондоне в первые два десятилетия прошлого века.

Фаланстер — общий дом, где, согласно утопическому учению Фурье, должна обитать «фаланга» — свободная коммуна тружеников.

Венсан де Поль (1581–1660) — французский священник, сделавший целью своей жизни помощь бедным и обездоленным, создатель многих благотворительных учреждений. Католической церковью причислен к лику святых.

По-старофранцузски *mon pavon* — «мои павлин».

Тунисское регентство. — С 1574 до 1881 года, то есть до французского завоевания, Тунис управлялся династией беев, зависевших от Турции.

Гизо, Франсуа (1787–1874) — французский политический деятель и крупнейший историк. В 60-х годах выступал противником вмешательства Франции в дело объединения Италии и сторонником светской власти папы.

Ей-богу (итал.).

Габбема, Мейндерт (1638–1709) — голландский художник, один из крупнейших мастеров реалистического пейзажа.

Барнав, Антуан (1761–1793) — деятель французской революции.

Маза — каторжная тюрьма в Париже.

Комбинации (итал.).

Увы! (итал.).

Курульное кресло — кресло, напоминавшее очертаниями колесницу (по-латыни *currus*); занимать его могли только высшие должностные лица Римской республики.

Паоли, Паскуале (1725–1807) — корсиканский политический деятель, освободивший остров от власти Генуэзской республики и давший на роду демократическую конституцию.

«Волшебная флейта» — опера Моцарта (1791).

Имеется в виду статуя Наполеона I, венчавшая сорокачетырехметровую колонну на Вандомской площади (воздвигнута в 1810 году).

Ментор — наставник Телемаха, сына Одиссея (Гомер, «Одиссея»).
Здесь иронически: младший и подчиненный должен руководить старшим и начальствующим.

Богема — первоначальное значение этого слова — орда цыган.

Мюрже, Анри (1822–1861) — французский писатель, автор знаменитого романа «Сцены из жизни богемы», в котором жизнь бедных студентов, художников и работниц представлена в сентиментально-романтическом свете.

Батман — балетное па с сильным выбросом ноги вперед.

Салон 1862 года. — «Официальный салон» — периодическая (с 1863 года — ежегодная) выставка произведений современных художников. Получила название по одному из залов Лувра, где она первоначально располагалась.

Дора, Клод-Жозеф (1734–1780) — посредственный французский поэт и писатель, автор напыщенно-сентиментальных поэм, романов и пьес.

Шарден, Жан-Батист v (1699–1779) — французский художник, автор жанровых картин из жизни «третьего сословия».

Патио (исп.) — внутренний двор.

Бур-Сент-Андеоль — южнофранцузский городок на берегу Роны.

«Журналь офисьель» — официальный орган империи, в котором публиковались списки награжденных, новые назначения чиновников и т. п.

На картине Давида «Клятва Горацев» (1784–1785) изображены три юных римских воина, поднявших руки к мечам, которые передает им отец.

Вольное переложение стихотворения Гейне:

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней.
Одни — своею любовью.
Другие — враждою своей.

Но та, от которой всех больше
Душа и поныне больна,-
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она.
(Перевод Аполлона Григорьева.)

Кассандр — персонаж итальянской комедии масок, глупый и доверчивый старик, которого все дурачат.

цитата из басни Лафонтена «Крыса городская и крыса полевая».

Суды любви — в средневековом Провансе собрания кавалеров и дам, судивших о вопросах рыцарской любви, поэзии, этикета.

Никола Фуке (1615–1680) — суперинтендант финансов, использовавший свое положение для беззастенчивых махинаций и сделавшийся самым богатым человеком Франции. Чувствуя неприязнь молодого короля Людовика XIV, Фуке попытался задобрить его: он устроил в Во, в своем роскошном летнем дворце, празднество в его честь (1661). Однако чрезмерная роскошь празднества только обострила зависть и гнев короля. Вскоре Фуке был арестован и осужден.

Сарданапал — легендарный последний царь Ассирийского царства, славившийся своей любовью к роскоши и изнеженностью.

Остров Итака — родина Одиссея, о которой у Гомера сказано («Одиссея», IX, 27):

Почва на ней камениста, но юношей крепких питает...

(Перевод В. Вересаева.)

«Жизель» — балет композитора Адольфа Адана на либретто Теофиля Готье; поставлен в 1841 г. «Пери» — балет композитора Бюрмюлле, также на либретто Готье; поставлен в 1843 году.

Королева Амалия (1782–1866) — жена Луи-Филиппа.

Бари, Антуан-Луи (1796–1875) — французский скульптор-анималист.

Андромеда (греч. миф.) — царица эфиопов, обреченная в жертву морскому чудовищу и спасенная героем Персеем. Обнаженная фигура Андромеды, прикованной к скале, — чрезвычайно популярный мотив в живописи и в скульптуре.

Франклин, Бенджамин (1706–1790) — американский ученый и политический деятель, один из самых просвещенных и гуманных людей своего времени.

Кастен, Эдм-Самюэль (1797–1823) — французский врач, казненный за то, что он отравил своего друга Ипполита Балле, подделал завещание в пользу его младшего брата, Огюста, а затем, став наследником Огюста, отравил и его.

Лапоммере, Дезире-Эдмон (1830–1864) — французский врач, казненный за отравление своей тещи, а затем своей любовницы, страховая премия которой была записана на его имя.

дуэт из финала оперы Винченцо Беллини «Норма» (1831).

Сариг — мелкое животное из отряда сумчатых, двуутробка.

Монье, Анри (1805–1877) — французский писатель, карикатурист и актер. Здесь имеется в виду серия его рисунков «Нравы нашего чиновничества, срисованные с натуры».

Имеется в виду введение к «Декамерону» Боккаччо, описывавшему времяпрепровождение молодых флорентийских кавалеров и дам в загородном дворце.

крепость в Алжире, 11 месяцев оборонявшаяся от войск французских колонизаторов (1836–1837).

Герцог Луи де Рувруа де Сен — Симон (1675–1755) — французский писатель, автор сорокатомных «Мемуаров о царствовании Людовика XIV и о Регентстве» (впервые изданы в 1829–1830 гг.), являющихся ценнейшим источником по истории эпохи. Доде имеет в виду описание смерти Людовика XIV.

Эреб (греч. миф.) — подземное царство мертвых.

Имеется в виду площадь Бастилии с установленным на месте разрушенной тюрьмы памятником скульптора Дюмона «Гений Свободы» (1836).

Послушайте, милостивый государь (провансальск.).

На Фурвьерском холме близ Лиона находилась церковь Богоматери, пользовавшаяся чрезвычайной популярностью и являвшаяся в XIX в. одним из оплотов католицизма во Франции.

Тинторетто (Якопо Робусти, 1518–1594) — один из крупнейших художников венецианской школы.

Иероним (330 или 347–420) — один из «отцов церкви», переводчик Библии на чатинский язык. В 382 г. был вызван папой Дамасием в Рим, где стал духовным наставником многих знатных римлян.

Имеется в виду философ Сенека (4 г. до н. э.- 65 г. н. э.), покончивший с собой по приказу Нерона: он вскрыл себе вены в ванне и спокойно продолжал диктовать своему рабу.

«Чауши» — в Турции и ее владениях — дворцовая стража и посыльные.

Calesino — небольшая коляска (итал.).

Калиостро, Алеосандро (Джузеппе Бальзамо, 1743–1795) — международный авантюрист, выдававший себя за мага и изготовителя чудодейственных снадобий.

Господин француз!., (итал.)

Агриппа д'Обинье (ок. 1552–1630) — французский историк и поэт.